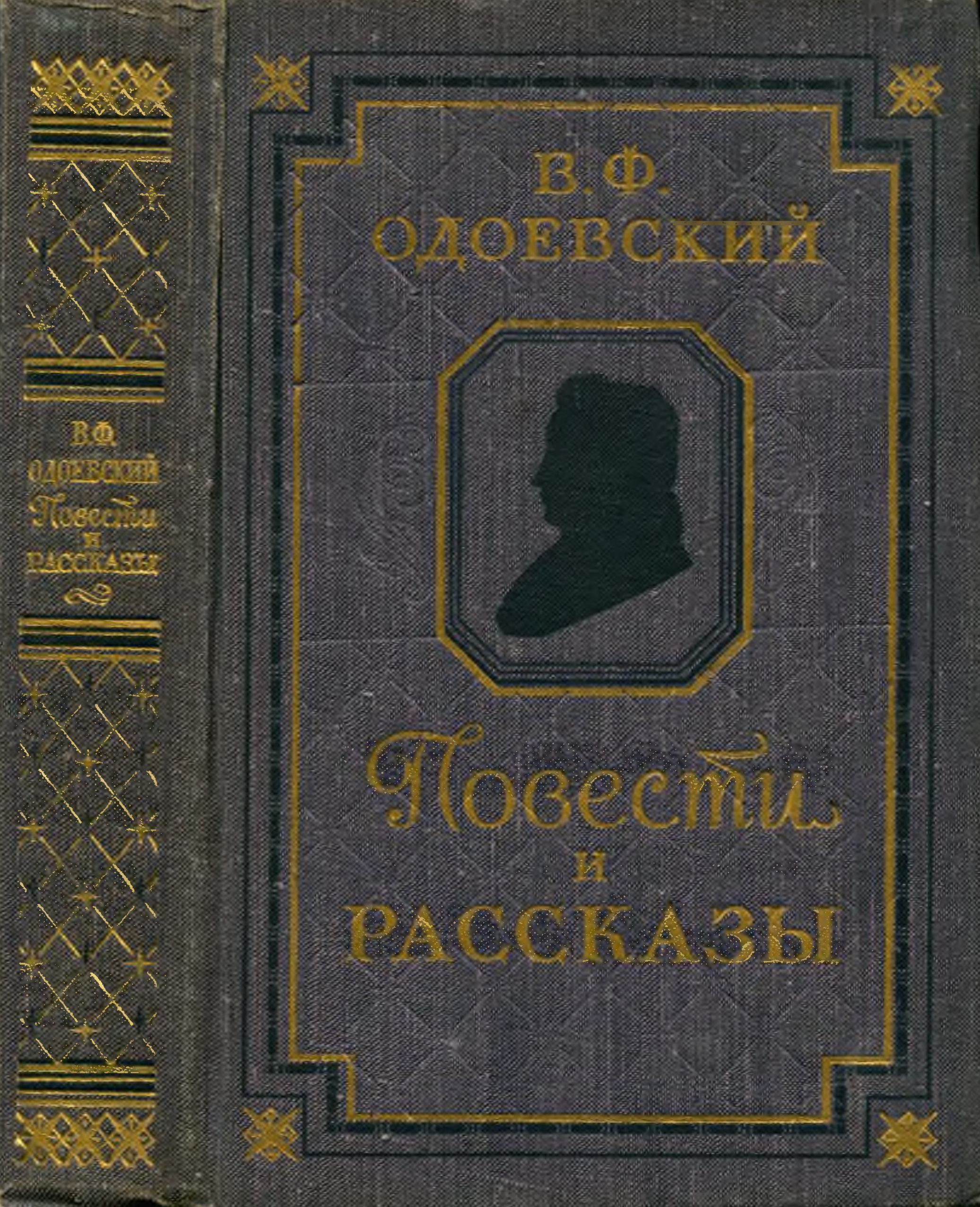
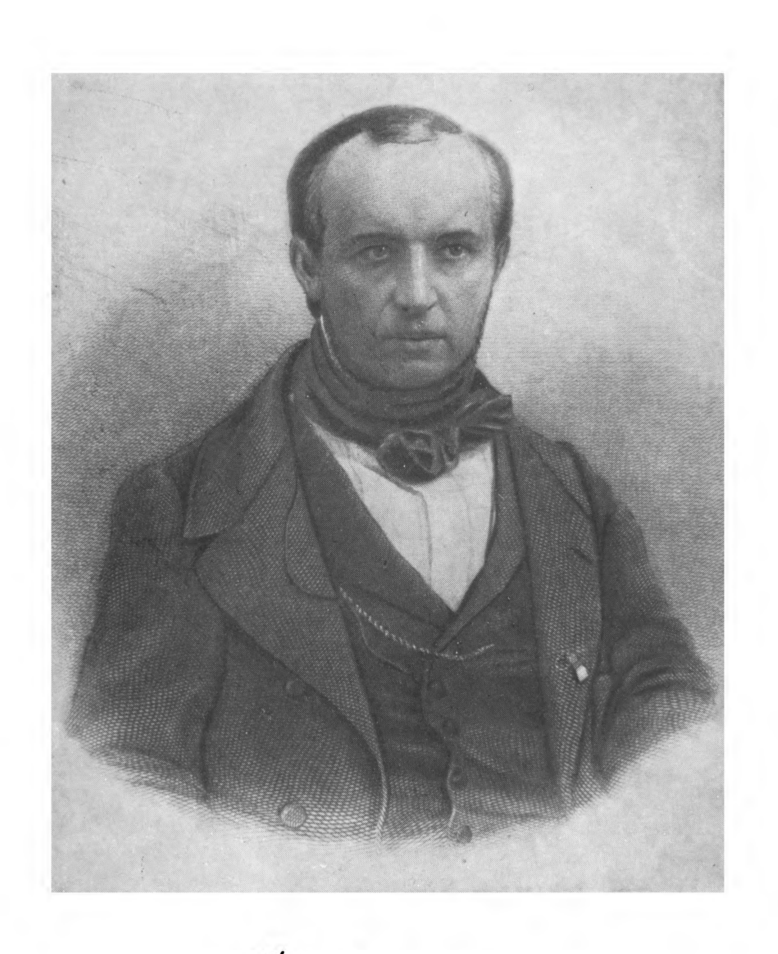

В.Ф.
ОДОЕВСКИЙ
Повести
и
РАССКАЗЫ
В.Ф.
ОДОЕВСКИЙ
Повести
и
РАССКАЗЫ



В. Ф. ОДОЕВСКИЙ



Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва — 1959

Подготовка текста, вступительная статья и примечания
Е. Ю. ХИН

Оформление художника
М. БОЛЬШАКОВА



В. Ф. ОДОЕВСКИЙ

Есть судьбы писателей, перед которыми останавливаешься в недоумении: как могло случиться, что они забыты, что новый современный читатель не знает ни их имени, ни их произведений.

Такова литературная судьба одного из примечательнейших русских людей первой половины прошлого столетия — Владимира Одоевского, талантливого писателя, публициста, музыковеда, многие произведения которого читались современниками «с восторгом», «с жадностью», и «благодатны были плоды этого чтения» (В. Г. Белинский).

Невозможно открыть альманах или журнал 20—30-х годов XIX века и не повстречаться с именем Одоевского, нельзя познакомиться с перепиской крупнейших представителей русской культуры — будь то Грибоедов, Пушкин или Гоголь, Глинка или Чайковский — и не найти в числе адресатов Одоевского. Огромная мемуарная литература первой половины века в большей или меньшей степени упоминает имя этого человека.

Односторонняя оценка писателя, данная буржуазной школой дореволюционного литературоведения (Сакулин, Кубасов), как романтика, идеалиста, последователя немецкой идеалистической философии, заслонила истинную ценность этого незаурядного таланта. Литературное наследие Одоевского почти не разрабатывалось советским литературоведением. Немногочисленны и издания произведений Одоевского в советское время [1].

А между тем связь писателя с ведущими течениями литературного развития своего времени, участие в борьбе за создание русской повести, острая непримиримая полемика за лучшие традиции Грибо-

---

[1] См. В. Ф. Одоевский, Романтические повести, под ред. О. Цехновицера, изд. «Прибой», Л. 1929; «Русские повести XIX века», под ред. Б. С. Мейлаха. М.—Л. 1950.

едова и Пушкина заслуживают того, чтобы привлечь внимание к этому интересному писателю. Путь формирования идейно-философских, эстетических взглядов писателя был сложен и противоречив. Одоевский — идеалист, романтик постоянно боролся с Одоевским — реалистом, чутким художником, гуманистом, просветителем.

Разобраться в сложности и противоречивости идейного облика Одоевского и, выделив те произведения, в которых он выступает как передовой писатель своего времени, познакомить советского читателя с этим одаренным представителем русской культуры — задача настоящей книги.

* * *

Владимир Федорович Одоевский родился в Москве 1 августа 1804 года, в старинной дворянской семье. Ему не было и пяти лет, когда умер его отец Ф. С. Одоевский, директор Московского ассигнационного банка. Мать его — Е. А. Филиппова — была до брака крепостной крестьянкой.

В 1816 году Владимир Одоевский поступает в Московский университетский благородный пансион. В этом учебном заведении в разные годы получили образование выдающиеся русские люди: Жуковский, Грибоедов, Пнин, Вяземский, Лермонтов. Исследователь декабристского движения М. В. Нечкина недаром называет пансион и университет — питомником декабристов. В числе молодых людей, прошедших через студенческие аудитории, мы встречаем «первого декабриста» Владимира Раевского и Петра Каховского, Никиту Муравьева и Николая Тургенева, Петра Чаадаева и многих других.

После войны с Наполеоном, окончившейся блистательной победой русского оружия, вольнолюбивые настроения, охватившие передовую часть дворянства, создавали особую идейную атмосферу и в жизни московской молодежи. В дневниках студентов того времени мы встречаем имена Дидро, Вольтера и Монтескье. Они читают Радищева и Пнина, знакомятся с запрещенной литературой, изучают Плутарха и историю греков и римлян. Передовая молодежь поднимает острые вопросы «о зле существующего... порядка вещей», о крепостном праве, продажности судей и произволе властей. Учащиеся живут в постоянном творческом содружестве: издается рукописный журнал, организуются театральные представления, существуют литературные объединения, основанные еще В. А. Жуковским. Юноша Одоевский принимает самое активное участие в жизни своего учебного заведения. Здесь были заложены основы его будущих разносторонних знаний в области химии, физики, русской и древней истории. С ранних лет он с особым интересом изучает философию и эстетику, много времени посвящает музыке и литературным занятиям. Но необхо-

димо отметить, что именно здесь под влиянием лекций профессоров И. И. Давыдова и М. Г. Павлова, проповедников идеалистической натурфилософии, определяются его философские взгляды в духе Шеллинга, надолго окрасившие романтический период его творческой деятельности.

Юношеские годы писателя отмечены его восторженной дружбой с двоюродным братом, Александром Одоевским, поэтом и будущим декабристом. Сохранился в архиве В. Ф. Одоевского его «Дневник студента» 1820—1821 годов, который многое раскрывает в их отношениях.

«Александр, — пишет Владимир Одоевский на страницах своего дневника, — был эпохою в моей жизни. Ему я обязан лучшими минутами своими» [1]. Братья обмениваются стихами, делятся мыслями, непрерывно пишут друг другу. Александр пытается руководить младшим Одоевским: «Спасайся общества, которое заводит людей в артиллерийское болото», — пишет он (16 апреля 1822 г.) и резко критикует его философские занятия, посмеиваясь над тем, что для Владимира в «глубокомысленных умозрениях непонятного Шеллинга заключена вся человеческая премудрость». Он требует от брата применения к жизни «высокого, полезного и прекрасного», а не «отвлеченного умозрительного философствования».

В 1822 году Одоевский оканчивает курс Московского университетского пансиона. Отношение профессоров к его талантам укрепляет в нем интерес к философским занятиям. «Из всех известных мне ученых Россиян вы одни поняли настоящее значение философии», — писал профессор Д. М. Велланский двадцатилетнему Одоевскому в письме от 17 июля 1824 года [2]. Наряду с изучением философии Одоевский много работает над своими прозаическими произведениями. В журнале пансиона «Каллиопа» появляются его первые литературные опыты. Интерес к художественной литературе очень скоро приводит его к литературным объединениям. Мы встречаем его на заседаниях «Вольного общества любителей российской словесности», деятельность которого в 20-х годах находится под влиянием Ф. Глинки и других декабристов [3]. Входит В. Ф. Одоевский и в кружок С. Е. Раича, поэта, переводчика, члена Союза благоденствия. В составе этого литературного объединения не было единства, —

---

[1] Отдел рукописей Государственной публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина, Ленинград, фонд Од., оп. № 1, пер. 95, лл. 56—71 (в дальнейшем именуется ОР ГПБ).

[2] Из бумаг кн. В. Ф. Одоевского. «Русский архив», 1864, вып. 7—8, стр. 805.

[3] См. В. Базанов «Вольное общество любителей российской словесности», Петрозаводск, 1949.

здесь бывают Д. Д. Веневитинов и Ф. И. Тютчев, В. К. Кюхельбекер и А. Н. Муравьев, М. П. Погодин и С. П. Шевырев, и на подъеме освободительного движения и этот кружок в преддекабрьское время стоит на прогрессивных позициях, хотя большинство членов его увлекается идеалистической эстетикой и романтической литературой. Много внимания уделялось в кружке переводам. Одоевский прочитал там свой перевод главы из натурфилософии Окена. «Мы затевали журнал, — вспоминает об этом времени Погодин, — и при рассуждении о составе первой будущей книжки Одоевский смело сказал: для первой книжки я напишу повесть. Уверенность, с которою были произнесены эти слова, подействовала на некоторых из нас очень сильно» [1].

К этому времени имя молодого писателя появляется в московских журналах. «Вестник Европы» — «пристанище для новобранцев словесности» — печатает его «Письма к Лужницкому старцу», «Странный человек», «Похвальное слово невежеству» и «Дни досад».

А. С. Грибоедов один из первых замечает литературные опыты Одоевского. Прочитав его произведения, напечатанные под разными псевдонимами, Грибоедов, по свидетельству Одоевского, «старался узнать, кто их сочинитель. Это дало повод к ближайшему знакомству, а потом и к дружбе между обоими, никогда не изменявшейся» [2]. Грибоедова, конечно, привлекло в авторе «Дней досад» сатирическая направленность писателя, близость героя Ариста — Чацкому. В прозе тогдашнего времени никто не подошел столь близко к персонажам «Горя от ума», как Одоевский. «Досада» его героя вытекает из того же источника, что и «горе» Чацкого. Арист, как и Чацкий, разделяет идейные убеждения декабристов и стоит в рядах молодой России против лагеря крепостников. Бесконечно более слабые по форме произведения Одоевского говорили о тех же проблемах, которые так гениально поставил Грибоедов своим «Горем от ума». Сближению молодых писателей способствовали также и общие музыкальные интересы. Еще в 20-х годах Одоевский усердно посещает ближайшего друга Грибоедова С. Н. Бегичева и его музыкальные вечера. Кроме музыки, они «занимались и теорией музыки, *как науки*, что в то время было большою редкостию» [3]. Дружба писателей, которых сблизила любовь к литературе, философии и музыке, отчетливо выступает в их переписке.

---

[1] М. Н. Погодин, Воспоминание о князе Владимире Федоровиче Одоевском. Сб. «В память о князе Владимире Федоровиче Одоевском», М. 1869, стр. 49.

[2] Из бумаг кн. В. Ф. Одоевского, «Русский архив», 1864, вып. 7—8, примечание 1, стр. 808.

[3] Там же, стр. 809.

Эти факты говорят, что молодой писатель находился в той же атмосфере, в которой вызревало мировоззрение декабристов, и уже в очень молодом возрасте был связан с его представителями теснейшими дружескими отношениями.

В 1823 году Одоевский принимает участие в организации «Общества любомудрия», председателем которого он становится. «Общество, — рассказывает один из членов кружка А. И. Кошелев,—было особенно замечательно: оно собиралось *тайно*, и об его существовании мы никому не говорили. Членами его были: кн. Одоевский, Ив. Киреевский, Дм. Веневитинов, Рожалин и я. Тут господствовала немецкая философия» [1].

Вся работа общества отмечена серьезными идейными противоречиями. Философские позиции «любомудров» впоследствии объективно привели их к правому реакционному крылу русской общественности, но в начале 20-х годов стремление к передовым идеям времени, шедшим навстречу запросам русской национальной культуры, еще уживались с увлечением идеалистической натурфилософией. Тема России, «любовь к отечеству», наполненная в это время вольнолюбивыми настроениями декабризма, была одним из звеньев, связывающих различных по своим идейным позициям членов общества. Именно здесь Одоевский впервые высказал мысль о том, что «юная Россия поможет одряхлевшей Европе» — мысль, впоследствии развитая в его «Русских ночах», в публицистике, многих записях его дневников.

«Любомудры» были связаны со многими декабристами. В кружке бывал В. К. Кюхельбекер, Е. П. Оболенский, И. И. Пущин. Рылеев насаждал там идеи «всеобщего усовершенствования». О сближении членов кружка с будущими деятелями 14 декабря свидетельствует тот же Кошелев: «...Неудовольствие было сильное и всеобщее. Никогда не забуду одного вечера, проведенного мною, 18-летним юношею, у внучатного моего брата Мих. Мих. Нарышкина; это было в феврале или марте 1825 года. На этом вечере были: Рылеев, кн. Оболенский, Пущин и некоторые другие, впоследствии сосланные в Сибирь. Рылеев читал свои патриотические думы; а все свободно говорили о необходимости d'en finir avec ce gouvernement [2]. Этот вечер произвел на меня сильное впечатление» [3]. На следующий день Кошелев встречается со своими друзьями по кружку и рассказывает обо всем. «Много мы в этот день, — прибавляет он, — толковали о политике и о том, что необходимо произвести в России перемену в образе правления. Вследствие этого мы с особенною жадностью налегли на сочинение Бенжамена Констана, Рое-Коллара и других французских

---

[1] А. И. Кошелев, Записки, Berlin, 1884, стр. 12.
[2] покончить с этим правительством *(франц.)*.
[3] А. И. Кошелев, Записки, стр. 13.

политических писателей; и на время немецкая философия сошла у нас с первого плана»[1].

Общество попадает в орбиту неблагонадежных. В одном из доносов в Третье отделение «любомудры» характеризуются как «истинно бешеные либералы, занимающиеся одними политическими науками». «Образ мыслей их, речи и суждения отзываются самым явным карбонаризмом... — пишет автор доноса Булгарин. — Собираются они у князя Владимира Одоевского, который слывет между ими философом»[2]. При всей преувеличенности этой характеристики нельзя не отметить, что Одоевский зачислен в число «неблагонадежных», так же как и его друзья Грибоедов и Кюхельбекер. Последний давно уже имел репутацию «крайнего» и «опасного». Владимир Одоевский сближается с Кюхельбекером как раз в то время, когда тот находится в расцвете своих революционных настроений. Поездка за границу, лекции в Париже, которые справедливо считают первыми до Герцена открытыми выступлениями русского освободительного движения[3], дружба с Грибоедовым в Грузии сформировали к этому времени из Кюхельбекера одного из самых пламенных деятелей декабристского движения. В 1823 году Владимир Одоевский с Вильгельмом Кюхельбекером приступает к изданию журнала «Мнемозина». На страницах «Мнемозины» печатались произведения Пушкина, Грибоедова, Кюхельбекера, Баратынского, Языкова, Полевого, Вл. Одоевского. В программной статье журнала «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие»[4] В. Кюхельбекер впервые заговорил о самобытности и народности поэзии, отстаивая права «высоких», насыщенных гражданскими мотивами поэтических жанров, ратовал за раскрытие богатств русского языка. Основные положения этой знаменитой в свое время статьи были поддержаны Владимиром Одоевским. Его участие в дискуссии в защиту этих положений говорит об этом достаточно ясно. В своей статье «Несколько слов о «Мнемозине» самих издателей» он защищает от нападок основные тезисы Кюхельбекера. Особенно горячее сочувствие вызывает его положение о богатстве русского языка: «Мы, отыскивая в чужих странах безделки для своих занятий, забываем о сокровищах, вблизи нас находящихся», — пишет Одоевский, и прямо

---

[1] А. И. Кошелев, Записки, стр. 13.

[2] «Русская старина», 1902, № 1, стр. 34.

[3] См. «Лекция Кюхельбекера о русской литературе и языке, прочитанная в Париже в 1821 г.». «Литературное наследство», т. 59, стр. 345—380.

[4] «Мнемозина», издаваемая кн. В. Ф. Одоевским и В. К. Кюхельбекером. Собрание сочинений в стихах и прозе, М. 1824, ч. II, стр. 29—44.

заявляет о необходимости «народной поэзии»[1]. О совместной работе писателей говорит и сохранившийся в рукописи набросок «Обозрение российской словесности 1824 г.»[2].

Опубликованная в том же журнале повесть Одоевского «Элладий»[3] была заметным явлением литературной жизни 20-х годов. В ней писатель впервые в своем творчестве дал резкую сатирическую характеристику нравов светского общества.

Выход «Мнемозины» был крупным событием в журналистике преддекабрьского периода. Один из современников, Н. А. Полевой, так формулировал свои впечатления: «Там были неведомые до того взгляды на философию и словесность... это был первый смелый удар старым теориям, нанесенный рукою неопытною, но тем не менее удар меткий... Многие смеялись над «Мнемозиною», другие задумывались»[4].

Советские историки с полным правом рассматривают «Мнемозину» в русле декабристской журналистики, наряду с «Полярной звездой». Первые же книжки сделались предметом ожесточенной журнальной полемики. «Новости литературы» Воейкова и «Сын отечества» Греча опубликовали отрицательные рецензии. В «Литературных листках» и «Северной пчеле» выступил Булгарин, заняв резко враждебную позицию по отношению к новому журналу[5].

Горячо поддержал журнал Рылеев, поместивши в «Благонамеренном» хвалебную рецензию на «Мнемозину»[6]. Из всего альманаха он выделил аполог Одоевского, написанный, по его словам, «со всем остроумием и веселостью, свойственной сатирическому предмету», а также «любопытную статью «Листки, вырванные из Парнасских ведомостей», где Одоевский зло разоблачал ненавистную ему реакционную журналистику. В своей рецензии Рылеев воспринял «Мнемозину» как соратника в борьбе с реакционной и бульварной литературой и выступил со страстной защитой нового издания.

---

[1] «Мнемозина», 1824, кн. IV, стр. 233, за подписью Одвск. См. также статью Одоевского «Прибавление к предыдущему разговору, или замечания на статью, напечатанную в № 38 «Сын отечества», под названием «Журнальные статьи» («Мнемозина», М. 1824, ч. III, стр. 178—188).

[2] «Литературные портфели», П. 1923, кн. I, стр. 72—75.

[3] «Мнемозина», 1824, часть II, стр. 94—135, за подписью Одвск.

[4] Ксенофонт А. Полевой, «Записки о жизни и сочинениях Николая Алексеевича Полевого», в кн. Н. Полевой, Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов, Л. 1934, стр. 150.

[5] См. «Литературные листки» № 21, 22, стр. 90—100; «Северная пчела», 1825, № 127.

[6] «Благонамеренный», 1824, № 8, стр. 130—135. (См. Сообщение М. К. Константинова «О принадлежности Рылееву рецензии на «Мнемозину». «Литературное наследство», т. 59, стр. 273—284.)

Но при всем этом нельзя и преувеличивать идейного значения «Мнемозины». Стесненная цензурными барьерами, она не могла развернуть критики общественного строя и оставалась в кругу литературных проблем. Кроме того, Одоевский, возглавлявший философский раздел, старался сделать журнал проводником немецкой идеалистической философии «любомудров», и трактаты по этим вопросам занимали в нем немаловажное место. Однако увлечение «глубокомысленными умозрениями Шеллинга» и романтико-идеалистическими исканиями никогда не заслоняло у писателя живой действительности, и как только вставали перед ним острые вопросы развития отечественной литературы, в нем пробуждался передовой и страстный публицист. Недаром Кюхельбекер называет его своим «боевым соратником». Именно таким проявил себя писатель в острой полемике, разыгравшейся вокруг «Горя от ума» Грибоедова. Перу В. Ф. Одоевского принадлежит редакционная статья «Несколько слов о «Мнемозине» самих издателей», одной из первых в русской периодике отметившей великое значение бессмертного произведения, «делающего честь нашему времени, блистающего всею свежестию творческого вымысла... заслуживающего уважение всех своих читателей» [1].

В полном единении с критиками декабристского лагеря (А. А. Бестужев, О. М. Сомов, В. Кюхельбекер) Одоевский отстаивает и уясняет на страницах журналов острую сатирическую направленность комедии, верность ее реальной действительности. «Кто из ваших читателей, — обращается Одоевский к противникам «Горя от ума», — вам поверит, что г. Грибоедов не попал на нравы описанных им обществ» [2] и целиком солидаризуется с отзывом А. Бестужева, назвавшего комедию «живой картиной живого общества». От лица молодой России, в среде которой он чувствовал себя единомышленником, Одоевский считал, что Чацкий «составляет совершенную противоположность с окружающими его лицами», и тем подчеркивал конфликт двух лагерей тогдашнего русского общества. Он находил в Чацком «патриотизм, доходящий до фанатизма», и, как Пушкин, заявлял, что «слышал целые разговоры, взятые из «Горя от ума». Одоевский вложил столько страстности в полемику, что Грибоедов счел нужным предостеречь его: «За статью в «Телеграфе» приношу тебе... мою благодарность... Виноват, хотя ты за меня подвизаешься, а мне за тебя досадно. Охота же так ревностно препираться о нескольких стихах...» [3] Именно об ожесточенной полемике 1825 года

---

[1] «Мнемозина», 1824, кн. IV, стр. 232.

[2] Московский телеграф», 1825, май, № 10, ч. III, стр. 1—12, подпись У. У.

[3] А. С. Грибоедов, Полн. собр. соч., П. 1917, т. III, стр. 176 (письмо от 10 июня 1825 г.).

вспоминал Одоевский в рассказе «Новый год», когда писал, что «мы принадлежали к литературной партии и защищали одного добросовестного журналиста против его соперников и ужасно горячились» (стр. 59).

«Горе от ума» наложило огромный отпечаток на сознание Одоевского. Многие персонажи грибоедовской комедии продолжили свою жизнь на страницах его произведений. Следы ее мы находим и в повестях «Княжна Мими», и «Княжна Зизи», и в «Перехваченных письмах», и во многих музыкальных статьях.

Таков молодой Одоевский перед наступлением в Москве в первых числах декабря тех тревожных дней, о которых сохранился рассказ в «Записках» Кошелева. В этот промежуток времени (между получением известий о кончине Александра и вторичной присягой вместо Константина Николаю) «мы часто, почти ежедневно, — свидетельствует Кошелев, — собирались у М. М. Нарышкина, у которого сосредоточивались все доходившие до Москвы слухи и известия из Петербурга. Толкам не было границ. Не забуду никогда одного бывшего в то время разговора о том, что нужно сделать в Москве в случае получения благоприятных известий из Петербурга» [1].

Знаменательно, что именно в этот момент Александр Одоевский, член тайного общества, приезжает на несколько дней в Москву, по свидетельству Завалишина, с поручениями к московской группе декабристов. По словам Оржицкого, А. Одоевский дает понять, что «что-то у них приуготовляется» [2]. Логично предположить, что если он откровенен с Завалишиным и Оржицким, то, вероятно, еще более откровенен с «братом и другом» Владимиром Одоевским.

Существует документ, ярко иллюстрирующий намерения В. Кюхельбекера и Ал. Одоевского привлечь Владимира Одоевского к декабристскому движению, — это письмо Кюхельбекера, пересланное через Александра Одоевского. Вот многозначительные строки этого письма:

«...Вырвись, ради бога, из этой гнилой вонючей Москвы, где ты душою и телом раскиснешь! Твое ли дело служить предметом удивления Полевому и подобным филинам? Что за радость щеголять молодыми, незрелыми, не улегшимися еще познаниями перед совершенными невежами? Учись, погляди на белый свет: узнай людей истинно просвещенных, каков, напр., тот, который подаст тебе это письмо. Посмотри, какая разница!

Я желал бы быть волшебником, чтоб тебя махом вырвать из кругу, в котором находишься и которого я хуже для тебя вообразить

---

[1] А. И. Кошелев, Записки, стр. 14.
[2] М. В. Нечкина, Грибоедов и декабристы, М. 1951, стр. 162.

не могу; вспомни, чего от тебя ожидают *истинные друзья твои?*.. Вверься ему: это человек, который для тебя все сделает. Он и лучше тебе доскажет то, что не умею выразить, как бы хотел...»[1]

Совершенно ясно, чего ждут от Одоевского «истинные друзья» куда за собой влекут его. Мы ничего не знаем о разговоре двух братьев. Более того, близко знакомые Вл. Одоевскому люди, как А. П. Пятковский и родственница писателя Е. В. Львова стараются объяснить дело так, что Владимир не примкнул к движению, — но не происходило ли это из желания выгородить его от возможных репрессий?

Между тем тревога в Москве нарастает. По городу ползут слухи о движении на Москву Ермолова и 2-й армии, с целью провозгласить конституцию. «Мы, немецкие философы, забыли Шеллинга и компанию, ездили всякий день в манеж и фехтовальную залу учиться верховой езде и фехтованию и таким образом готовились к деятельности, которую мы себе предназначали», — свидетельствует Кошелев[2].

Только события на Сенатской площади и начавшиеся в Москве аресты московской группы декабристов уяснили «любомудрам» истинное положение вещей — и желание борьбы сменилось в них готовностью к мученичеству. «Мы, молодежь, менее страдали, чем волновались, и даже почти желали быть взятыми и тем стяжать и известность, и мученический венец»[3]. Эти же настроения определили и поведение Одоевского. Он не отделял себя от заговорщиков и готовился к самым печальным последствиям. Е. В. Львова, видевшая писателя в момент получения известий о восстании 14 декабря, рассказывает: «Владимир, как мне помнится, был сумрачен, но спокоен, только говорил, что заготовил себе медвежию шубу и сапоги на случай дальнего путешествия»[4]. Н. П. Огарев также вспоминает, что Одоевский «держал наготове шубу и теплую шапку, потому что ждал, что его не сегодня-завтра возьмут»[5].

Из опасений репрессий тайный кружок «любомудров» прекращает свои собрания. «Как потому, что не хотели навлечь на себя подозрение полиции, — объясняет Кошелев, — так и потому, что политические события сосредоточивали на себе все наше внимание. Живо помню, как после этого несчастного числа князь Одоевский нас созвал и

---

[1] «Русская старина», 1904, № 2, февраль, стр. 382.

[2] А. И. Кошелев, Записки, стр. 15.

[3] Там же, стр. 16—17.

[4] Цит. по книге П. Н. Сакулина: «Из истории русского идеализма. Князь В. Ф. Одоевский. Мыслитель-писатель, т. I, ч. 1, М. 1913, стр. 307.

[5] «Литературное наследство», т. 61 стр. 667.

с особенной торжественностью предал огню в своем камине и устав и протоколы нашего Общества любомудрия» [1].

Существует глубоко взволнованное свидетельство Кюхельбекера, род завещания, писанное из далекого Кургана через двадцать лет после того, как друзья были разделены. В этом письме он прямо заявляет, что передовые современники Одоевского считали его своим.

«Ты, — писал ему Кюхельбекер 3 мая 1845 года, — *наш*: тебе и Грибоедов, и Пушкин, и я завещали все наше лучшее; ты перед потомством и отечеством представитель нашего времени, нашего *бескорыстного* стремления к художественной красоте и к истине безусловной. Будь счастливее нас!» [2]. И если вспомнить, что М. В. Нечкина, выясняя вопрос об участии Грибоедова в «Северном обществе», доказала, что в среде декабристов выражение: «он — наш» было «не случайной фразой в разговоре, а формулой членства», то становится ясно, что Владимир Одоевский развивался в атмосфере декабристского влияния.

Факты говорят, что писатель был близок к движению, разделяя взгляды декабристов о крепостном праве, о роли России и русского национального искусства, и, может быть, был посвящен в тайну заговора. Близость в это время (до 1825 г.) Одоевского к декабристам вне сомнения, утверждает и М. В. Нечкина в своей работе «Грибоедов и декабристы» [3].

Но политическая ограниченность Одоевского, предрассудки и заблуждения его времени и класса, шаткость его мировоззрения так и не позволили писателю до конца правильно оценить события 1825 года.

На страницах своего дневника Одоевский оставил нам свои трагические раздумья над прошедшими событиями. «Был ли этот заговор своевременен», — спрашивает он и отвечал: «В нем участвовали представители всего — талантливого, образованного, знатного, благородного, блестящего в России — им не удалось, но успех не был безусловно невозможен. Вместо брани не лучше ли обратиться к тогдашним событиям с серьезной и покойной мыслию и постараться понять их смысл» [4].

* * *

Драматизм разыгравшихся после восстания событий: казнь пяти, ссылки в Сибирь ближайших друзей и брата произвели глубокое впечатление на Одоевского. Долгие годы он не прерывает отношений

---

[1] А. И. Кошелев, Записки, стр. 12.

[2] Отчет императорской публичной библиотеки за 1893 год. Приложение, СПб. 1896, стр. 71.

[3] М. В. Нечкина, Грибоедов и декабристы. М. 1951, стр. 434.

[4] ОР ГПБ, фонд Од., оп. 1, № 20, л. 201.

с ссыльными друзьями, переписывается с ними, хлопочет об облегчении их участи, держит корректуру «Инжорского» Кюхельбекера.

В 1826 году Одоевский переезжает в Петербург, женится, устраивает свою жизнь в столице. Имя его после 1825 года почти исчезает со страниц журналов. Но архив его говорит о плодотворной творческой деятельности. Именно в это время возникает у писателя замысел большого романа о Джордано Бруно. Образ философа и поэта, ученого и мужественного борца за науку, погибшего на костре инквизиции, не мог не связываться в сознании Одоевского с современной ему николаевской действительностью. Еще в «Мнемозине» Одоевский называл Бруно «необыкновенным явлением во мраке XVI столетия» [1].

Фрагменты незаконченного романа рисуют непоколебимость Бруно в остром столкновении с враждебной средой, с родными и близкими, толкавшими его на отказ от своих убеждений. Аналогия с сценами, происходившими в это время в Петропавловской крепости и за столами следственной комиссии, напрашиваются сами собой. «Дня через два после казни, — записывает Одоевский на одном из разрозненных листков рукописи,— два старика с молодою женщиной собирали хладный пепел Бруно и плакали. «Что вы плачете над еретиком?» — сказал кто-то из проходящих. «Если бы ты знал его — ты бы не сказал это: он был истинно добрым человеком» [2]. Если прибавить, что на черновых автографах романа стоит дата: «Нач. в 1825 году», — то понятно, о ком думал автор, выписывая эту сцену после казни.

Но, кроме этого романа, Одоевский создает произведения, которые идут вразрез с наметившейся для него линией критического истолкования действительности.

Неудача декабрьского восстания, самодержавная расправа с декабристами накладывают на него свой тяжелый отпечаток. «Душою всех мыслящих людей овладела грусть», — писал об этом времени Герцен. Противоречия в миросозерцании Одоевского, шаткость его политических позиций выступают особенно отчетливо в этот период. Как будто прячась от реальных конфликтов жизни, он углубляется в дебри идеалистической философии, в изучение реакционной романтической литературы на Западе, доходит до увлечения мистиками и алхимиками. Одоевский пишет аллегорические «апологи», философско-мистические рассказы, в которых пытается воплотить свои идеалистические воззрения. Сама форма этих преданий, легенд, рассказов, условная и рассудочная, придавала его творчеству сухой нравоучи-

---

[1] «Мнемозина», 1824, часть IV, стр. 167—168.

[2] Неопубликованные фрагменты романа под заглавием «Иордан Бруно и Петр Аретино». Роман в нравах XVI столетия. ОР ГПБ, фонд Од., пер. № 1, л. 220—221.

тельный характер, а переключение внимания писателя на иной, иллюворный мир фантастики приводило к пассивному созерцательству, уходу от конкретных жизненных противоречий. Так прогрессивные критические элементы мировоззрения писателя, сказавшиеся во многих сторонах его творчества, в его просветительских взглядах сочетались в нем с мистическим философствованием и были зачастую, по выражению Белинского, «ниже идей современных». И мертвая сухая мысль, удаленная от живой жизни, выглядела так же мертво и безжизненно в художественном произведении, как в идеалистическом философском трактате. Такова мистическая повесть «Косморама», в которой Одоевский воплотил характерную для его тогдашних философских взглядов идею «двоемирия» — добра и зла. Рассудочно-прозаическое миропонимание, по мнению писателя, должно быть заменено стремлением к «высшему», стоящему над земными страстями, идеалу. Все эти идеалистические построения подменяли реальные противоречия жизни условными философскими абстракциями. К произведениям подобного рода относятся «Саламандра», «Сегелиель», «Импровизатор» и др.

Но наряду с этими рассказами постепенно возрождается и вновь укрепляется другая линия творчества писателя — по терминологии Белинского, «гумор», то есть сатирическая направленность. В рассказах, обличающих мир пустых и ничтожных чиновников, пошлость светского общества, продажность бюрократов, он выступает как «живой, блестящий рассказчик», со «знанием жизни и людей». Страстное просветительство, пропаганда наук в русском обществе, огромная культура, отрицательное отношение к крепостному праву не позволили ему остаться в стороне от передового общественно-литературного движения 20—30-х годов.

Изучение немецкой философии привело его к знакомству с творчеством немецких романтиков. Тик, Новалис, Гофман и другие немецкие писатели видели в романтизме средство ухода от острых социальных противоречий, бегство от действительности в иллюзорный мистический мир фантазии. Одоевский в лучших своих произведениях пошел по иному пути.

Фантастическая невероятность сюжета в рассказах писателя, необычная в русской литературе, шла в известной степени от немецких романтиков, но имела совершенно своеобразное преломление. Заимствуя от западноевропейской романтической школы фантастическую гротескную форму, Одоевский пошел по линии критического истолкования окружающей его действительности. Сатира его обратилась на факты русской жизни: на чиновничий мир, живущий по «табели о рангах», на острое разоблачение бюрократизма, на пошлость и равнодушие высшего общества, на вопросы воспитания на

заграничный манер. В этом глубокое, принципиальное отличие романтизма Одоевского от романтических исканий на Западе. В этом его сближение с основным главенствующим направлением 20-х годов — с прогрессивным русским романтизмом.

Ведь русский романтизм не был единым по своему составу. Среди романтиков находились и приверженцы феодально-монархического строя, идеализировавшие средневековье и призывавшие к уходу в иррационально-мистический мир. Это была дорога Жуковского с его пассивным идеалистическим романтизмом, с его взглядами на поэзию как на «миротворительницу», возвышающуюся над действительностью.

Одоевский в своих противоречивых взглядах зачастую оказывался близким к этой группе, особенно в сложных вопросах взаимоотношения искусства и действительности, но в основном в лучших своих произведениях его творчество шло по иному пути, примыкало к другому направлению русского романтизма. Это направление, которое Пушкин называл «истинным» романтизмом, возникло на иной политической почве и принадлежало прогрессивно настроенным писателям. Русская романтическая эстетика этого направления была прежде всего выражением протеста против крепостнической действительности, против угнетения и изламывания личности. Проникнутые пафосом возмущения повести А. Бестужева (Марлинского) с их утверждением героической личности, горячая защита Н. Полевым прав демократических слоев общества, выступление Н. Павлова в его повестях «Именины», «Ятаган» против крепостнических отношений и, более всего, южные поэмы Пушкина были ярким выражением основных принципов прогрессивного романтизма. Борьба за народность литературы, обращение к источникам народного искусства и главным образом критическое отношение к действительности стали основными принципами этого движения. Лучшими сторонами своей деятельности Одоевский примыкал к этому направлению.

Цикл «Пестрых сказок», выпущенных Одоевским в 1833 году, явился значительной вехой его романтической эволюции. В этих сказках, написанных от имени литературного героя—Иринея Модестовича Гомозейко, — под прикрытием эзоповского языка писатель поднимается до острых и верных наблюдений, до сатирически метких обобщений. В условно-фантастическую форму входит и быт того времени, и реальная действительность пустого и пошлого общества. В «Пестрых сказках» громко зазвучали мотивы протеста против косности и неподвижности в общественной жизни.

Самый образ рассказчика глубоко символичен и свидетельствует о связи писателя с передовой прозой его времени. Достаточно вспомнить пушкинского Белкина или гоголевского сказочника Рудого Панько.

Ириней Модестович задуман как философ и просветитель. «Знаю все возможные языки: живые, мертвые и полумертвые; знаю все науки, которые преподаются и не преподаются на всех европейских кафедрах; могу спорить о всех предметах, мне известных и неизвестных; а пуще всего люблю себе молоть голову над началом вещей и прочими тому подобными нехлебными предметами», — говорит о себе рассказчик в предисловии сочинителя [1]. Почтенный философ живет в бедности, фрак его пришел в «пепельное состояние», «от проявлений крепостного права он приходит в отчаяние», у него, в сущности, нет ничего общего с «великосветской чернью». Но он старается бывать в свете, чтобы рассказать о нем «сущую правду». Так, в «Сказке о том, по какому случаю коллежскому советнику Ивану Богдановичу Отношенью не удалося в светлое воскресенье поздравить своих начальников с праздником» дана разоблачительная гротескная картина тупости и непрочности чиновничьего мира. В наиболее интересной «Сказке о том, как опасно девушкам ходить толпою по Невскому проспекту», писатель нарисовал злую пародию на воспитание дворянской молодежи на заграничный манер. Мысль эта находится в полном соответствии с тенденциями передовых русских писателей избавиться от «английского и французского владычества» в литературе и заставляет нас смотреть на Одоевского как на писателя прогрессивного в своем сатирическом видении действительности.

Связь «Пестрых сказок» с фантастикой и сатирой Гоголя неоспорима, и в известной мере подготовляла ее. Так же как Гоголь, Одоевский использует фантастическую форму для сатирического изображения вполне реальных людей и поступков. Предваряя в «Пестрых сказках» появление «Петербургских повестей», писатель именно в них становится на путь разоблачения фальши и лицемерия современного общества.

Гоголь, находившийся под непосредственным влиянием личности и творчества Одоевского, высоко расценивал литературные произведения писателя. Свое отношение к творчеству Одоевского Гоголь выразил в письме от 30 ноября 1832 года к И. И. Дмитриеву: «Князь Одоевский скоро порадует нас собранием своих повестей, вроде «Квартета Бетховена», помещенного в «Северных цветах» на 1831 год. Их будет около десятка, и те, которые им написаны теперь, еще лучше прежних. Воображения и ума — куча! Это ряд психологических явлений, непостижимых в человеке!» [2]

---

[1] «Пестрые сказки» с красным словцом, собранные Иринеем Модестовичем Гомозейкою, магистром философии и членом разных ученых обществ, изданные В. Безгласным, СПб. 1833, стр. X—XI.

[2] Н. В. Гоголь, Полн. собр. соч., т. X, 1940, стр. 247—248.

Рассматривая творчество Одоевского, все время нужно помнить, что и мировоззрение и художественные его произведения были противоречивы. В нем уживалось наряду с идеалистическими представлениями трезвое критическое отношение к действительности, и он в своем творчестве оправдывал нередко встречающуюся истину, что сила художественной правды преодолевает сознание самого художника.

* * *

Один из создателей жанра русской романтической повести, занимающей в прозе 20—30-х годов все большее и большее место, Одоевский стремился в произведениях этого цикла к раскрытию внутреннего мира необыкновенной человеческой личности. Это и определило яркость и оригинальность его романтических повестей, посвященных гениальным художникам.

Тема «высоких безумцев», музыкантов, поэтов, художников, была распространенным явлением в романтической литературе этого времени. Таков романтический образ поэта у Пушкина, у Веневитинова, художника Пискарева в «Портрете» Гоголя, таковы замечательные образы музыкантов Бетховена и Баха у Одоевского.

Эти повести Одоевского — результат его многолетней углубленной работы в области музыки. Он — крупнейший знаток ее и один из первых музыкальных теоретиков в России. Музыка всегда была в центре творческих интересов писателя. Она для него — «величайшее из искусств». Недаром образам гениальных композиторов он посвятил свои лучшие произведения. Остро ненавидя музыку, мелкую по мыслям, легкую по манере выражения, он считал, что музыка должна «потрясать душу и возвышать ее». Романтические повести писателя — «Opere del Cavaliere Giambatista Piranesi». «Последний квартет Бетховена» и «Себастиан Бах» — были посвящены крупным личностям, новаторам своего искусства, людям, смело выступающим против современной им действительности. Патетическая приподнятость этих повестей, их призыв «ввысь» вносил свою долю протеста против убогой и страшной николаевской действительности. Жгучая и горькая скорбь о раздавленном, отдаленном пропастью от своей мечты человеке в рассказе «Opere...» придавала жизненность образу архитектора Пиранези. В неясную форму романтического порыва вмещалась страстная уверенность в высоком и прекрасном предназначении человеческой жизни. Ведь безумный Пиранези одержим благородной мечтой — создать для людей чудесный мир, подобный произведению подлинного искусства.

Все три повести носят на себе печать романтической фантазии. Факты, в них описываемые, не всегда точны. Недаром Одоевский писал в «Себастиане Бахе»: «Я здесь рассказываю вам не мертвый вымысел, а живую действительность, которая выше вымысла».

Повесть «Последний квартет Бетховена» прежде всего доказательство глубокого преклонения Одоевского перед героическими и свободолюбивыми образами бетховенского творчества. Бетховен был знаменем борьбы человечества за счастье и свободу. Именно таким воспринимали гениального композитора передовые люди России, начиная с декабристов. Повесть русского писателя Одоевского — первая в мировой «бетховениане» зарисовка творческой личности великого музыканта, и уже в этом одном ее непреходящее значение. Позднее в музыкальных статьях Одоевский еще более отчетливо развивает свой взгляд на новаторское значение бетховенского творчества. Параллель: Бетховен — Чацкий, которую Одоевский проводит в одной музыкальной статье о «9-й симфонии», отчетливо показывает его понимание революционного, бунтарского направления музыки Бетховена. Недаром Одоевский во многих своих статьях обличает «Фамусовых музыкального мира», которые почли Бетховена за сумасшедшего.

Трагическая фигура композитора, пораженного тяжким недугом — глухотой, его духовное одиночество, порывы его необузданной фантазии выписаны с таким мастерством, что создают незабываемую картину «страстной деятельности души» творца «Эгмонта». Белинский, говоря о повестях Одоевского, посвященных созданию образов гениальных новаторов, писал: «Художник — эта дивная загадка — сделался предметом его наблюдений и изучений, плоды которых он представлял не в теоретических рассуждениях, но в живых созданиях фантазии, ибо художник для него был столько же загадкою чувства, сколько и ума. Высшие мгновения жизни художника, разительнейшие проявления его существования, дивная и горестная судьба были им схвачены с удивительною верностию и выражены в глубоких поэтических символах» [1]. Лаконичная концовка повести — бал у одного из министров меттерниховской Вены, на котором весть о кончине умершего в нужде гениального композитора «потерялась в толпе» равнодушного праздного общества, — написана правдивым свидетелем своего времени, человеком страстно ненавидевшим «великосветскую чернь» гостиных.

Повесть была горячо встречена его современниками. В письме от 21 февраля 1831 года к Одоевскому А. И. Кошелев передает

---

[1] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., М. 1953, т. I, стр. 275.

восторженную оценку этой повести Пушкиным: «Пушкин весьма доволен твоим «Квартетом Бетховена». Он говорит, что это не только лучшая из твоих печатных пьес (что бы немного значило), но что едва когда-либо читали на русском языке статью столь замечательную и по мыслям и по слогу... Он находил, что ты в этой пьесе доказал истину весьма для России радостную: а именно, что возникают у нас писатели, которые обещают стать наряду с прочими европейцами, выражающими мысли нашего века»[1].

Еще со времени университетского пансиона выносит Одоевский глубочайшую любовь к музыке Иоганна Себастиана Баха, почти неизвестного в те времена в России. Глубокий знаток и истолкователь баховской музыки, он все свое восторженное отношение к крупнейшему немецкому композитору воплотил в образе Баха. Обширные музыкальные интересы Одоевского, его связь с народными истоками русской музыки, его дружба с Глинкой и роль, которую он один из немногих сыграл в истолковании первой оперы гениального русского композитора[2], определили и значение повести «Себастиан Бах». В этом произведении, как в фокусе, отразились основные мысли писателя о музыке. Глубокий художник, Одоевский свою ненависть к дешевой, легкой «италомании» воплотил в образе «обольстительного венецианца» Франческо. Его самонадеянность, пошлость, дешевые приемы обольщения — в каком контрасте стоят они со спокойно-величавым Бахом!

С большой поэтической силой, в манере более простой и реалистической, чем в предыдущих повестях, воссоздает Одоевский образ великого труженика, жизнь посвятившего искусству. «Вдохновение, возведенное в степень терпения», было, по мнению писателя, отличительной стороной таланта Баха. Подлинная народность его творчества, глубина и сила его произведений были выражением музыкальных взглядов самого Одоевского. В созданиях баховского творчества он видит могучее дыхание жизни, силу и благородство больших человеческих чувств, ибо «материалы для жизни художника одни: его произведения», писал Одоевский.

Выразителен также образ Магдалины, этой «итальянской темы, обработанной в немецком вкусе». Далекий от подлинных фактов

---

[1] Из переписки кн. В. Ф. Одоевского. «Русская старина», 1904, т. IV, стр. 206.

[2] См. «Письмо к любителю музыки об опере г. Глинки «Иван Сусанин». «Северная пчела», 1836, № 280; «Второе письмо к любителю музыки об опере Глинки», там же, № 287, 288 за подписью: «К. В. О»; «Новая русская опера: «Иван Сусанин». «Литературные прибавления к «Русскому инвалиду», 1837, № 5, за подписью «В. Невский».

биографии Баха, этот женский образ, сильно отличающийся от надуманных, мертвенных героинь философских рассказов Одоевского, выписан легко и убедительно.

Запоминается в повести и образ люнебургского органного мастера Иоганна Альбрехта. Новатор в своем ремесле, смелый экспериментатор, фантазер и энтузиаст, спокойно противостоящий насмешкам обывателей, он более других персонажей Одоевского выявляет черты «истинного» русского романтизма.

Именно в повести «Себастиан Бах» мы можем говорить о созревании реалистических элементов в романтической прозе Одоевского.

* * *

Своеобразным итогом романтического периода творчества Одоевского стали его «Русские ночи», составленные из повестей, написанных в 30-е годы и обрамленные философскими и критическими диалогами.

Поднимая широкий круг проблем, «Русские ночи» являлись сложным и интересным памятником своей эпохи. Но именно в этом произведении со всей силой обнажились противоречия мировоззрения писателя, с особенной отчетливостью выступили его колебания между идеализмом и «философией здравого смысла», запечатлелись идейные искания самого Одоевского, рельефно отраженные в образе Фауста. Точную характеристику «Русских ночей» дал Белинский в 1844 году. «Умы вроде Фауста — истинные мученики науки: чем больше они знают, тем меньше они владеют знанием. Знание делает их маятниками, и они лучше весь век будут качаться, нежели на чем-нибудь остановятся, боясь остановиться на неистине. Это люди, жаждущие истины, с благородною ревностью стремящиеся к ней, и в то же время скептики поневоле» [1]. Особый интерес представляют «Русские ночи» еще и потому, что в них Одоевский выдвинул тему, смыкавшую его с лучшими представителями литературы первой половины XIX века. Тема эта — критика капитализма. В «Русских ночах» писатель с просветительских, гуманистических позиций развертывает беспощадную критику буржуазной действительности и отрицательных сторон ее культуры. Осуждение власти денег, соединенной с жестоким эгоизмом общественных отношений, не раз звучит на страницах его диалогов. Зло высмеивая учение буржуазного идеолога Бентама с его проповедью личного обогащения и принципа «пользы», с негодованием отвергая жестокую мальтузианскую теорию обязательного вы-

---

[1] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. VIII, стр. 318.

рождения и вымирания, Одоевский пристально вглядывается в развитие капитализма на Западе и в Соединенных Штатах Америки. Свои раздумья о результатах буржуазной цивилизации писатель отразил в рассказе «Город без имени», включенном в цикл «Русских ночей». Рисуя символическую картину буржуазного развития, которая приводит к войнам, гибели и отчаянию, рассказ этот, написанный в форме утопии, изображает жизнь в колонии «утилитариев» — бентамистов, где *польза* была первым и единственным законом, «науки и искусство замолкли совершенно»; поэзией был «баланс приходо-расходной книги», музыкой — «однообразная стукотня машин», живописью—«черчение моделей», и бесплодной мечтой было признано все, что не приносило процентов. Читатель узнавал в Бентамии не только характерные черты капитализма, а и вполне реальную страну — Соединенные Штаты Америки. В отношении к американской буржуазии Одоевский вполне разделял взгляды Пушкина [1], который разоблачал «отвратительный цинизм», «жестокие предрассудки» и «нестерпимое тиранство» американской демократии. Однако, сделав правильные наблюдения над капиталистическим миром, писатель не понял и не мог понять, с позиций патриархального утопизма, подлинного исторического пути развития человечества. Боязнь наступления капитализма толкала писателя к бегству от действительности, непонимание истинных причин социальных противоречий приводило к тенденциозному искажению роли рабочих и земледельцев, разрушающих города и возвращающихся к первобытному варварству.

«Русские ночи» произвели огромное впечатление на современников. Повести, включенные в этот цикл, читались людьми его времени с глубоким интересом. Они были предметом острой полемики и горячих философских споров. Декабристская критика в лице Кюхельбекера, прилежно следившего из ссылки за литературными успехами своего «любезного сотрудника», признала «Русские ночи» «одною из умнейших наших книг». «Сколько поднимает он вопросов! — писал Кюхельбекер в своем дневнике. — Ни один почти не разрешен, но спасибо и за то, что они подняты — и в русской книге» [2]. А в письме к Одоевскому из далекого Кургана Кюхельбекер отмечал, что в «Русских ночах» «мыслей множество, много глубины, много отрадного и великого, много совершенно истинного и нового, и притом резко и красноречиво высказанного, что в глазах моих не безделица (ты помнишь, я всегда дорожил и формою). Словом, ты тут написал книгу, которую мы смело можем противупоставить самым

---

[1] См. А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., т. VII, статьи «Джон Теннер» и др.

[2] Дневник В. К. Кюхельбекера, Л. 1929, изд-во «Прибой», стр. 297 (запись от 9 апреля 1845 г.).

дельным европейским... Но главное то, что ты везде желаешь добра, что ты всегда человек мыслящий и благородный, и притом *русский*» [1].

Утопия Одоевского «4338-й год» по теме примыкала к «Русским ночам», но в цикл включена не была и опубликована полностью только в 1926 году советским исследователем Орестом Цехновицером [2].

Прогрессивные настроения Одоевского сказались в изображении национального подъема России, в описании ее самобытной культуры, независимой от иностранных влияний и возросших требований прав личности. Однако наряду с этим его Россия «4338-го года» недалеко ушла от России XIX столетия: мир по-прежнему делится на «высшее общество» и людей «низших степеней». Социальная иерархия проявляется во всей общественной жизни, в труде и в быту. «Чиновники, министры, среди которых первым является «министр примирений» и «мирные судьи, избираемые из почтеннейших и богатейших людей», «главный поэт», стоящий во главе государства, — таковы намеченные Одоевским очертания будущего строя России. Своеобразной романтической чертой социальных представлений Одоевского является мечта об утопическом владычестве «аристократов духа» — философов, художников и ученых в стране будущего. Для него, писателя-просветителя, огромное значение имеет развитие науки и техники. Он видит в будущем и объединение всех наук, и воздействие на погоду и снаряды для межпланетных сообщений и даже исчезновение лошадей на улицах будущих городов.

Чрезвычайно интересно, что в своей утопии Одоевский представляет себе в 44-м столетии Россию и Китай как центры мировой культуры. Прогнозы о взаимоотношениях России и Китая вообще занимают значительное место в утопии. Весь роман построен на переписке между двумя студентами: Ипполитом Цунгуевым—студентом главной пекинской школы и Лингиным — студентом той же школы. Интерес Одоевского к Китаю неоднократно засвидетельствован в его архиве, о том же говорит знакомство и частые встречи его с известным синологом Иокинфом Бичуриным.

Белинский, рецензируя альманах «Утренняя заря», в котором печатались фрагменты из утопии Одоевского, писал: «Главная мысль романа, основанная на таком твердом веровании в совершенствование человечества и в грядущую мирообъемлющую судьбу России, мысль истинная и высокая, вполне достойная таланта истинного» [1].

---

[1] Отчет императорской публичной библиотеки за 1893 год. Приложение, стр. 69—71.

[2] См. В. Ф. Одоевский, 4338-й год. Фантастический роман, изд. «Огонек», М. 1926.

* * *

30-е годы, период романтических повестей, нужно признать расцветом в литературном творчестве Одоевского. Его произведения появляются в лучших журналах и альманахах того времени: в «Северных цветах», в «Современнике» Пушкина, в «Московском наблюдателе» и многих других. Он занимает видное место в среде литераторов пушкинского окружения. К этим годам относится и его литературный салон, упоминание о котором можно встретить во многих мемуарах того времени. Шевырев ядовито замечает, что «вся литература на диване у Одоевского...» В. А. Соллогуб вспоминал, что здесь «...Пушкин слушал благоговейно Жуковского, графиня Растопчина читала Лермонтову свое последнее стихотворение, Гоголь подслушивал светские речи; Глинка расспрашивал графа Вильегорского про разрешение контрапунктных задач; Даргомыжский замышлял новую оперу и мечтал о либретисте. Тут перебывали все начинающие и подвизающиеся в области науки и искусства — и посреди их хозяин дома то прислушивался к разговору, то поощрял дебютанта, то тихим своим добросердечным голосом делал свои замечания, всегда исполненные знания и незлобия...» [2]

Значительность роли, которую играл Одоевский в русской литературе того времени, была признана крупнейшими его современниками. Когда Пушкин в 1836 году начал издавать «Современник», то в ближайшие сотрудники он пригласил В. Ф. Одоевского. С издания «Современника» и начинаются их близкие, дружеские отношения. «У меня в 1 № не будет ни одной строки вашего пера. Грустно мне»,— пишет Пушкин Одоевскому. Уже во второй книге журнала в 1836 году печатается статья Одоевского «О вражде к просвещению, замечаемой в новейшей литературе» и Пушкин называет эту статью «дельной, умной и сильной» [3]. В третьей книге «Современника» Одоевский публикует статью «Как пишутся у нас романы». В одной из записок поэт торопит Одоевского с окончанием «какой-нибудь» повести, приписывая: «Без вас пропал «Современник». Сам писатель признавался, что «Пушкин весьма дорожил моими произведениями и печатал их с признательностью в «Современнике».

---

[1] «Отечественные записки, 1839, кн. 12. (См. «Литературное наследство», 1951, т. 57, стр. 542, «О некоторых рецензиях, приписанных Белинскому».)

[2] В память о князе В. Ф. Одоевском, М. 1869, стр. 90.

[3] А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., т. XVI, М. 1949, стр. 100 (письмо А. С. Пушкина к В. Ф. Одоевскому, начало апреля 1836 г., Петербург).

Всю жизнь Одоевский относился к Пушкину как «к учителю, перед которым важно и полезно лишь одно чувство: благоговение» и считал его «без сомнения народным художником». Большое значение для Одоевского имели критические замечания Пушкина о его творчестве. Пушкин, полемизируя с узким пониманием романтизма как искусства, идеализирующего действительность и питающегося только чувством и «воображением», определял истинный романтизм как обращение к живой действительности. Его воздействие на творчество Одоевского уводило писателя из мира мистики и фантастики в мир реалистический. Так, Пушкин отклонил от напечатания в «Современнике такую далекую от реализма вещь, как «Сегелиель», а «Княжну Зизи» предпочитал фантастической «Сильфиде».

Ожидая для «Современника» две повести Одоевского, Пушкин в письме в ноябре — декабре 1836 года писал: «Конечно, княжна Зизи имеет более истины и занимательности, нежели Сильфида. Но всякое даяние Ваше благо»[1]. Сам Одоевский впоследствии в письме к А. А. Краевскому признавался, что «форма изменилась у меня по упреку Пушкина»[2].

Много фактов говорит о непосредственном и близком участии Одоевского в издании «Современника» и его реальной деловой помощи в «типографических хлопотах» великого поэта. Первая книжка «Современника» была выпущена Пушкиным в свет при ближайшем участии Гоголя. При комплектовании и печатании второй книги Гоголя сменил Одоевский, участие которого в журнале было особенно деятельным во время пребывания Пушкина в Москве в первой половине мая 1836 года.

Существует, правда, частное письмо к Пушкину от начала августа того же года за подписями Одоевского и Краевского о реорганизации «Современника». Цель этого письма — снизить влияние поэта в журнале, оставив ему «выбор статей, суд над книгами по чисто литературной части»[3]. Но, по-видимому неблаговидная позиция А. А. Краевского сыграла немаловажную роль и в этом письме. Во всяком случае, текст его вступает в неразрешимое противоречие со всей публицистической деятельностью Одоевского, который еще при жизни поэта выступил со статьей в защиту Пушкина «против жужжания клеветы», пущенной «литературными барышниками». Статья «О нападении петербургских журналистов на русского поэта Пушкина» представляла собой явление чрезвычайное в тогдашней публицистике. В ней Одоевский пытался разъяснить значение Пушкина как первого поэта России,

---

[1] А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., т. 16, 1949, стр. 210.
[2] ОР ГПБ, фонд А. А. Краевского, Б. 24-а.
[3] «Литературное наследство», т. 58, стр. 289—296.

противопоставлял свой голос гонителям поэта и с величайшей страстностью доказывал, что творчество Пушкина есть творчество мирового и национального гения. «Пушкин — это радость России, наша народная слава, — писал Одоевский, — Пушкин, которого стихи знает наизусть и поет вся Россия, которого всякое произведение есть важное событие в нашей литературе, которого читает ребенок на коленях матери и ученые в кабинете» [1].

Несмотря на длительные хлопоты Одоевского, цензурные барьеры не пропустили статью, и она была напечатана только через двадцать восемь лет после написания, в 1864 году.

Авторское примечание на ее копии совершенно точно определяет позицию писателя в литературном мире на стороне Пушкина и его окружения против «продажных витязей пера» — Булгарина — Греча — Сенковского. В ярких чертах воссоздает он в этом примечании картину «свинцового десятилетия», которое наступило в общественной жизни России после разгрома декабрьского восстания. «Эта статья, — писал Одоевский, — в ту эпоху, то есть в 1836—1837 годах, нигде не могла быть напечатана; не соглашались на то ни издатели, ни цензоры; то по дружбе и расчетам, то по страху; такова была сила тогдашней «Северной пчелы» и ужас ею наведенный... «Библиотека для чтения», «Сын отечества» и «Северная пчела», братски соединенные, держали в блокаде все, что им не потворствовало, и всякое издание, осмеливавшееся не принадлежать к этой фаланге, хлестали в три... конца» [2].

После смерти поэта Одоевский в числе близких друзей Пушкина принимал участие и в разборе его рукописей и в продолжении журнала. Седьмой том «Современника» выпустил В. Ф. Одоевский.

Существует еще один документ, который более других говорит нам об отношении Одоевского к русскому гению. Розысками современных исследователей доказано, что знаменитый некролог, написанный на смерть поэта — «Солнце русской поэзии закатилось», — тоже принадлежит перу В. Ф. Одоевского [3]. Напечатанный в «Литературных прибавлениях к «Русскому инвалиду» (1837, № 5, 30 января), этот некролог был для современников выразителем народного горя и возмущения, не менее чем «На смерть поэта» М. Ю. Лермонтова.

---

[1] Из бумаг кн. В. Ф. Одоевского. «Русский архив», 1864, кн. 7—8, стр. 827.

[2] ОР ГПБ, фонд Од., оп. № 1, пер. 83, л. 1.

[3] См. Р. Б. З а б о р о в а, Неизданные статьи В. Ф. Одоевского о Пушкине. Пушкин. Исследования и материалы, т. 1, изд. Академии наук СССР. Институт русской литературы (Пушкинский дом), 1956, стр. 324—328.

«Солнце нашей поэзии закатилось! — извещал некролог. — Пушкин скончался в цвете лет, в средине своего великого поприща. Более говорить о сем не имеем силы, да и не нужно; всякое русское сердце знает свою цену этой невозвратимой потери, и всякое русское сердце будет растерзано. Пушкин! Наш поэт! Наша радость, наша народная слава! Неужли в самом деле нет уже у нас Пушкина? К этой мысли нельзя привыкнуть! 29 января. 2 ч. 45 м. пополудни». Авторство его ошибочно приписывалось А. А. Краевскому, видимо на том основании, что последний был редактором «Литературных прибавлений». Некролог этот вызвал недовольство в правительственных кругах за возведение Пушкина в сан отечественных знаменитостей. Особенно был возмущен Уваров «пышною похвалою» [1] и сделал резкий выговор с угрозой увольнения со службы А. А. Краевскому.

Любовь к Пушкину пронизывает многие публицистические высказывания Одоевского, гордившегося тем, что «русский человек все-таки первый в Европе» [2].

* * *

Основной тенденцией в развитии прозы в 30-х годах явилась борьба за реалистическое изображение современной русской жизни. Еще декабристская критика в лице Бестужева и Кюхельбекера подняла свой голос в защиту родной литературы, критикуя писателей, которые «вздыхали по-стерновски, любезничали по-французски», призывая их «сбросить поносные цепи» подражательности и «быть самобытными». Высокие примеры Пушкина, Грибоедова и Гоголя оказали решающее воздействие на многих писателей 20—30-х годов. Белинский во всех своих программных статьях призывал писателей к созданию повести, которая бы отражала реальные события русской жизни. «Повесть — наш дневной хлеб, наша настольная книга». Для передовых писателей этого времени было ясно, что только на основе воплощения в литературе особенностей русского национального характера, изучения творчества народа и его истории возможно создание самобытного русского искусства. «Нравоописательная» проза становилась заметным явлением в литературе. В творчестве Владимира Одоевского во второй половине 30-х годов наблюдается неуклонный отход от романтических позиций. Такие произведения, как «Новый год», «Черная перчатка», «Свидетель» и особенно «Княжна Мими» и «Княжна

---

[1] А. В. Никитенко, Записки и дневник, т. 1, СПб, 1893, стр. 381.

[2] Из бумаг кн. В. Ф. Одоевского. «Русский архив», 1874, № 2, кн. I, стр. 287.

Зизи» свидетельствуют о росте реалистических тенденций в его художественной прозе.

Критические указания Пушкина, влияние Белинского не прошли бесследно для его творчества. Великий критик во многих своих отзывах, посвященных произведениям Одоевского, противопоставлял «мир идеальный» в творчестве писателя — «миру реальному». В своей статье «О русской повести и повестях г. Гоголя» Белинский писал: «Одоевский — поэт мира идеального, а не действительного. Но вот что странно: есть несколько фактов, которые не позволяют так решительно ограничить поприще его художественной деятельности. Есть в нашей литературе какой-то Безгласный и какой-то дедушка Ириней, люди совсем не идеальные, люди слишком глубоко проникнувшие в жизнь действительную и верно воспроизводящие ее в своих поэтических очерках: вы, верно, не забыли курьезной истории о том, как у почтенного городничего города Ржева завелась в голове жаба и как уездный лекарь хотел ее вырезать, и не менее курьезной истории под названием «Княжна Мими» — этих двух верных картин нашего разнокалиберного общества» [1].

Небольшой рассказ «Новый год», с которого начинает Одоевский серию нравоописательных повестей, представляет значительный интерес. За легкими намеками проступает время преддекабрьского периода. Описание сборища молодежи в начале рассказа, несомненно, отражало воспоминания Одоевского о кружке Раича или «любомудров». «Наша беседа перед Новым годом была полна этой пламенной, этой живой, юношеской жизни! Сколько прекрасных надежд! Сколько планов!» — восклицает Одоевский. В рассказе автор недвусмысленно ополчается на реакционную журналистику, превратившую страницы своих журналов в «площадную битву площадных шуток», на Булгарина с его двойственным отношением к журналу «Мнемозина», и, наконец, вспоминает о существовании литературной партии, вставшей на защиту «одного добросовестного журналиста»; все это позволяет думать, что речь идет о дискуссии 1825 года вокруг грибоедовского «Горя от ума». Больше, откровеннее в условиях жесточайшего гнета цензуры 30-х годов Одоевский не мог рассказать об этом времени. Но он пошел и дальше в своем рассказе. Образ Вячеслава, несомненно, отражал для современников тип человека, увлеченного идеями декабризма, но под влиянием разгрома восстания порвавшего с прежними друзьями и идеалами. Самодержавная расправа с деятелями декабристского движения вызвала испуг у либерального, неустойчивого в своей революционности, дворянства. Уход в усадебный мирок, замыкание в «семейном кругу» Вячеслава характерен для многих уцелевших сторонников

---

[1] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. II, стр. 276.

движения, вздрагивавших и холодевших при звуке бубенчиков на дороге. Но, следя за фазами превращения своего героя, автор, от лица которого ведется рассказ, остается верен своим идеям и с грустью и горечью регистрирует потерю друга.

Отходом от иллюзорной, идеалистической фантастики знаменуется и повесть «Сильфида». Еще трагическое ощущение разлада между «мечтой» и действительностью характерно для этого произведения, еще реальной жизни писатель противопоставляет мир мечты и фантазии. Но связь своего героя с потусторонним миром уже мотивируется как явление психопатическое. И ирония над «мистическим бредом» героя помимо воли автора, но уже достаточно отчетливо звучит в «Сильфиде». Безусловно, рассказ этот можно считать переломным в творчестве писателя. Недаром Пушкин, критически относившийся к идеалистическим увлечениям Одоевского, все же напечатал «Сильфиду» в своем «Современнике».

Прогрессивные передовые тенденции литературы 30-х годов, стремление к жизненной правде, критика существующих общественных отношений, борьба за приближение прозы к острым вопросам современности определяли нарастание в творчестве Одоевского реалистических элементов. Повести М. Погодина и М. Погорельского, изображавшие русский быт и нравы «среднего сословия», яркая социальная тема, звучавшая в рассказах Н. Павлова, произведения Н. Полевого и особенно проза Пушкина и Гоголя, несомненно влияли на Одоевского, и предопределили создание таких повестей, как «Живописец», «Катя, или История воспитанницы», «Княжна Мими» и «Княжна Зизи».

Расширение круга тем, более полный охват жизни, появление нового героя, правдивое изображение персонажей из крепостной интеллигенции характерны для дальнейшего развития творчества писателя. В повести «Катя, или История воспитанницы» с большой теплотой и лиричностью обрисован образ Кати — воспитанницы-приживалки, «домашней мученицы». Это произведение, резко осуждающее безобразные проявления крепостной действительности, отражало отношение писателя к крепостному праву. «С ранних лет, — писал Одоевский много позже, — я выражал... всеми доступными для меня способами: пером — насколько то позволялось тогда в печати... изустною речью — не только в частных беседах... необходимость уничтожения крепостничества и указывал на гибельное влияние *олигархии* в России; более тридцати лет моей публичной жизни доставили мне лишь новые аргументы в подкрепление моих убеждений» [1].

---

[1] Русский биографический словарь, СПб, 1905, т. 12, стр. 144.

Владимир из той же повести «Катя», Шумский из рассказа «Живописец» поднимали тему бесправного положения талантливых людей из народа. Эта тема неоднократно ставилась в русской литературе, начиная с Радищева и Нарежного, о том же говорили напечатанные почти одновременно с «Катей» повести Н. Павлова, «Аббаддонна» Н. Полевого (1834), «Художник» А. Тимофеева (1839).

Среди реалистических бытовых произведений Одоевского особое место занимает повесть «Княжна Мими», заслужившая неоднократные хвалебные отзывы Белинского. «Превосходный рассказ, простота и естественность завязки и развязки, выдержанность характеров, знание света, — писал критик, — делают «Княжну Мими» одною из лучших русских повестей» [1].

В «Княжне Мими», написанной под влиянием грибоедовского «Горя то ума», Одоевский поднялся до острого критического обобщения, изобличающего мир пустых и эгоистических представителей современного ему аристократического общества. Писатель своею повестью обвиняет всю систему воспитания, которая единственной целью ставила для женщин замужество, осуждает среду, которая порочит девушку за то, что та «имела слишком много благородства. чтобы не продать себя в замужество по расчетам». Именно это общество, его моральная атмосфера порождает, по мнению автора, власть княжны Мими, сделав ее самое жертвой «развращенных нравов».

В образе княжны Мими, в которой как бы слились все пороки светского общества: лицемерие, злоба, клевета, ненависть ко всему чистому и прекрасному, — Одоевский видит воплощение «насквозь прогнившего мира салонов», которое ничего не боится — «ни законов, ни правды, ни совести».

Это страстное разоблачение «блестящей черни гостиных» — одна из излюбленных тем Одоевского — и позволило Белинскому увидеть в нем одного из пионеров бытовой нравоописательной повести, правдиво изображавшего «жалкое, гадкое и глупое общество». «Во всех его созданиях, — писал Белинский еще в «Литературных мечтаниях», — виден талант могущественный и энергический, чувство глубокое и страдательное, оригинальность совершенная, знание человеческого сердца, знание общества, высокое образование и наблюдательный ум. Я сказал: знание *общества*, прибавлю еще, в особенности *высшего*, и, сдается мне, в этом случае он предатель... О, это страшный и мстительный художник! Как глубоко и верно измерил он неизмеримую пустоту и ничтожество того класса людей, который преследует с таким ожесточением и таким неослабным

---

[1] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. VIII, стр. 313.

постоянством! Он ругается их ничтожеством, он клеймит их печатию позора; он бичует их, как Немезида, он казнит их за то, что они потеряли образ и подобие божие, за то, что променяли святые сокровища души своей на позлащенную грязь, за то, что отреклись от бога живого и поклонились идолу сует, за то, что ум, чувства, совесть, честь заменили условными приличиями» [1].

Соглашаясь с страстным отзывом великого критика, мы все же не можем не отметить, что критицизм Одоевского был только негативным и острота возмущения «великосветской чернью» не поднималась до показа положительного идеала.

И все же именно в «Княжне Мими» Одоевский становится на путь решительного перехода к реализму и под знаком стремления к наиболее правдивому и реальному показу действительности, сближается с передовыми литературными течениями своего времени.

В другой повести, в «Княжне Зизи», не только психологически точнее выявлен характер героини, но и глубже поставлена проблема общественного положения женщины. Цельный и обаятельный образ княжны отмечен благородством и самоотверженностью. Поле ее деятельности, правда, ограничено домашним кругом, и Одоевский эпиграфом своим подтверждает это: «Иногда в домашнем кругу нужно больше героизма, нежели на самом блистательном поприще жизни». Но уже самая постановка вопроса о положении женщины была прогрессивна и актуальна в условиях тогдашнего общества.

Примечателен и образ Городкова — типичного представителя ненавистного Одоевскому буржуазного мира, холодного лицемера, человека без принципов, жадного стяжателя, обирающего доверившуюся ему женщину. Интересно, что Городков во многих своих чертах предваряет одного из героев Достоевского — Петра Александровича из «Неточки Незвановой».

Такое раскрытие характеров было новым в творчестве Одоевского и свидетельствовало о росте его как художника-реалиста, одного из создателей русской повести. В том сложном процессе формирования русской прозы, вершинами которого были повести Пушкина и Гоголя, творчество Одоевского внесло свое глубоко своеобразное содержание. Это подтверждал и Белинский в статье «О русской повести и повестях г. Гоголя», указывая, что «... Марлинский, Одоевский, Погодин, Полевой, Павлов, Гоголь — здесь полный круг истории русской повести... Поименованные мною авторы должны быть упомянуты в истории русской повести... и суть истинные ее представители» [2].

---

[1] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. I, стр. 97.
[2] Там же, стр. 283.

* * *

Одоевского-просветителя не могла не волновать идея большого энциклопедического журнала, так интересовавшего еще в начале 30-х годов А. С. Пушкина. В феврале 1836 года Гоголь писал М. П. Погодину: «О журнале Пушкина, без сомнения, уже знаешь. Мне известно только то, что будет много хороших статей, потому что Жуковский, князь Вяземский и Одоевский приняли живое участие» [1]. После смерти поэта Одоевский осуществил их общий замысел и возглавил новую редакцию «Отечественных записок» — журнала, явившегося высшим достижением русской передовой журналистики XIX века. Перу В. Ф. Одоевского принадлежали важнейшие редакционные статьи в «Отечественных записках», в частности статьи, направленные против Н. И. Греча. Исследование архивов Одоевского и Краевского обнаружило неприглядную роль последнего, систематически уничтожавшего в своем архиве все свидетельства большой и ведущей работы Одоевского в журнале [2]. Не лишена основания догадка, что Одоевскому принадлежит инициатива приглашения Белинского в качестве руководителя критическим отделом «Отечественных записок», благодаря которому «Отечественные записки» сыграли такую выдающуюся роль в истории передовой общественной мысли. Во всяком случае, через месяц после переезда в Петербург Белинский писал В. П. Боткину: «Князь Одоевский принял и обласкал меня как нельзя лучше. Он очень добрый и простой человек...»[3] Чрезвычайно интересно проследить взаимоотношения Одоевского и Белинского. Они, несомненно, открывают новую страницу в творчестве и общественной деятельности Одоевского. Под влиянием идей Белинского писатель постепенно совершает переход от философско-мистического идеализма с его туманным романтизмом к реализму. Белинский видел в Одоевском «не только писателя с большим талантом, но и человека с глубоким страстным стремлением к истине, с горячим и задушевным убеждением — человека, которого волнуют вопросы времени и которого вся жизнь принадлежит мысли» [4]. Подобная оценка писателя была продиктована не только отношением великого критика к его художественным произведениям, но и позицией, которую занял Одоевский в «Отечественных записках». Именно благодаря дружбе Одоевского с

---

[1] Н. В. Гоголь, Полн. собр. соч., т. XI, стр. 35.

[2] См. статью А. П. Могилянского «А. С. Пушкин и В. Ф. Одоевский, как создатели обновленных «Отечественных записок». Известия Академии наук СССР. Серия истории и философии, М. 1949, № 3, т. VI, стр. 209—226.

[3] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. XI, стр. 418.

[4] Там же, т. VIII, стр. 323.

Г. П. Волконским, председателем Петербургского цензурного комитета, Белинскому удается многое напечатать в журнале. Об этом он сам свидетельствует в своем письме к В. П. Боткину от 16 апреля 1840 года: «...если бы ты знал, чего, какой борьбы, каких усилий стоят нам эти выходки! Князь Волконский (сын министра) — помощник Дундука, приятель Одоевского, — и только благодаря этому обстоятельству цензура еще наполовину пропускает наши выходки» [1].

Факты эти не проходят не замеченными для враждебного лагеря. Уже в декабре 1843 года Булгарин указывал Волконскому на его снисходительное отношение к революционному журналу. «Я убежден, — писал он, — что «Отечественные записки» есть не что иное, как *выражение и дух партии, стремящейся медленными, но верными путями к 1789 году»* [2].

Участие Одоевского в «Отечественных записках» вызывает неудовольствие и близких ему людей. Показательно письмо П. А. Плетнева к Я. К. Гроту, где он упоминает «об интригах» Одоевского, «который исподтишка повсюду усиливает свою московскую партию. Я уже писал тебе о распространении им «Отечественных записок» — по всему здешнему округу» [3]. На сотрудничество писателя с Белинским резко отозвались и славянофилы. А. Н. Попов в письме к Е. А. Свербеевой в сентябре 1846 года писал: «Одоевский совершенно рехнулся, с ним просто говорить нельзя, готовит исповедь своих убеждений, разумеется, против нас и напечатает ее в сборнике Белинского» [4]. Недружелюбно оценивает поведение Одоевского и Погодин, называя его «отщепенцем». Хомяков же прямо сообщал А. В. Веневитинову, что... «отшатнулся злодей (Одоевский) и к разным нечестивцам пристал» [5].

Чрезвычайно показательно, что Одоевский в 1848 году порывает вслед за Белинским с «Отечественными записками». Вместе с ним переходят из «Отечественных записок» в «Современник» Н. А. Некрасов, А. И. Герцен и др., но к этому времени проза писателя уже не появляется на страницах современной журналистики.

До конца своей жизни пронес Одоевский любовь и верность к великому критику. Когда в начале 1860 года П. Я. Вяземский выступил со стихами «Смешон и жалок Белинский...», Одоев-

---

[1] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. XI, стр. 505.

[2] ОР ИРЛИ, шифр $\frac{19.696}{\text{CXXXIV}}$.

[3] Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым, т. II, СПб. 1896, стр. 234—235.

[4] «Литературное наследство», т. 58, стр. 690. «Гоголь в неизданной переписке современников».

[5] Н. Барсуков, Жизнь и труды М. П. Погодина, СПб. 1903, кн. 17, стр. 431.

ский горячо встал на его защиту. «Белинский был одною из высших философских организаций, какие я когда-либо встречал в жизни», — писал он.

50-е годы застают Одоевского уже сменившим свои философские позиции. Все дальше отходит он от идеалистической философии, все больше проникается идеями научной критической мысли. Знаменательна его запись в дневнике 60-х годов: «абсолютная истина может находиться лишь в опытном наблюдении... Как только наука начинает подчиняться какому-либо авторитету, кроме авторитета фактов, выработанных добросовестным наблюдением, так становится бесплодною» [1].

Уважение вызывает этот человек, который на протяжении огромного жизненного пути всегда остается современником и соучастником событий русской жизни от восстания декабристов до реформы 19 февраля 1861 года. Недаром в одном из своих произведений (повесть «Эльса», 1841) он, описывая своего героя, дает как бы характеристику самому себе. «В Москве, — пишет Одоевский, — жил-был у меня дядюшка, человек немолодой, но с умом, сердцем и образованностью: а в этих трех вещах, говорят, скрывается секрет никогда не стариться; дядюшка не выживал из ума, потому что не выживал из людей. Три поколения прошли мимо него, и он понимал язык каждого. Новизна его не пугала. Постоянно следя за жизнью науки, он привык видеть естественное развитие этого огромного дерева, где беспрестанно из открытия являлось открытие, из наблюдения — наблюдение, из мысли вырастала другая мысль».

Всю жизнь Одоевский с волнением следил за успехами науки на Западе и в России. Сознание, что в привлечении народных масс к науке заложено великое будущее его родины, диктует ему мысль о широком массовом просвещении. С горечью он отмечает в своем дневнике: «У народа нет книг, нет музыкальной культуры». Взгляд на науку как достояние избранных был чужд Одоевскому. Он писал об этом очень отчетливо: «Не понимаю жизни без науки, как не понимаю науки без приложения к жизни» [2].

Преклонение перед силой знания, идея того, что новая техника приведет и к социальному преобразованию, декабристские просветительские идеи заставляют Одоевского приняться за популяризацию науки для народа. В этой области он пионер в истории русской общественности первой половины XIX века. Один из образованнейших людей своего времени, Одоевский первый пошел навстречу народу со своим глубоко поучительным словом о науке. Не было, кажется, той области знания, к которой бы он остался равнодушен. Его

---

[1] «Русский архив», 1874, кн. I, стр. 327, 334.
[2] ОР ГПБ, фонд Од., оп. 1, пер. 22, л. 213.

широкий энциклопедизм позволил ему мастерски написать ряд популярных брошюр по различным вопросам. Любую отрасль науки он считает необходимым изучить в совершенстве. Еще в 1833 году в письме к М. А. Максимовичу он писал: «Может быть, вы слышали уже, что я теперь прилежно занимаюсь естественными науками и в особенности химиею, я здесь (в Петербурге) весь прошедший год брал уроки у академика Гессе (ужасного атомистика, но того-то мне и надобно было) с целию написать «Народную химию» [1]. За народной химией следуют учебники грамматики, арифметики, истории, физики и географии, написанные в увлекательной и популярной форме.

Косное петербургское общество отнеслось к почину Одоевского с насмешкой и недоверием, наградив его прозвищем «русского Фауста», «великого человека на малые дела» и т. п.

Однако Белинский живо откликнулся на первый номер первого народного журнала «Сельское чтение», который в 1843 году выпустил Одоевский со своим соиздателем А. П. Заблоцким, — публицистом, историком, экономистом. «Сельское чтение», заявил Белинский, «весом своей внутренней ценности перетянет многие пуды романов, повестей, драм... и составит собою эпоху в истории едва начинающегося у нас образования низших классов» [2].

Одоевский в этом журнале поместил огромное количество статей на самые разнообразные области знания. Вопросы гигиены и медицины («Что такое чистота и к чему она пригодна») поднимались им; статьи о «повальных болезнях», о вреде пьянства, грубого обращения, дурного воспитания, суеверий, лени; сельскохозяйственные статьи («Что крестьянин Наум твердит детям по поводу картофеля», «Что такое чертеж земли и на что это пригодно»); знакомство с барометром, газом, пароходом; множество элементарных научных сведений по физике («Что вокруг человека и что в нем самом»); астрономии, географии, музыке («Музыкальная азбука для народных школ») и литературе («Кто такой дедушка Крылов») — вот далеко не полный перечень тем, волновавших писателя. Под разными псевдонимами, от имени дяди Иринея Одоевский-просветитель говорил в этих статьях о сложнейших вопросах простым народным языком, которым восхищался Даль.

Журнал «Сельское чтение» имел необыкновенный успех. «Бородатые критики», то есть крестьянство, раскупали его нарасхват. Он переиздавался бесконечное количество раз и разошелся в десятках тысяч экземпляров, в течение двадцати лет удерживаясь на рынке и поро-

---

[1] «Киевская старина», 1883, т. V, апрель, стр. 844.

[2] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. VI, стр. 682; т. XI, стр. 301.

див, по свидетельству Белинского, «целую литературу книг для простонародия» [1].

Знаменательно, что как только первая книжка «Сельского чтения» вышла из печати, так в святейший синод поступило донесение митрополита московского Филарета, что книга, в которой образование общества излагается «без бога и без царя», не может принести «добрые плоды» [2].

Наряду с занятиями по популяризации знания для народа Одоевский заинтересовывается и общепедагогическими темами. Вопросы воспитания, которым он посвятил и художественные свои произведения, заставили его пристально присмотреться к детскому миру. «Дети показали мне всю скудость моей науки, — писал Одоевский.—Стоило поговорить с ними несколько дней сряду, вызвать их вопросы, чтобы убедиться, как часто мы вовсе не знаем того, чему, как нам кажется, мы выучились превосходно» [3].

Свое отношение к детям писатель выразил в чудесных сказках, которые он издавал под псевдонимом «дедушка Ириней». Написанные ясным, чистым языком, они чужды фальшивому приспособлению к детскому пониманию и необычайно народны по своей сущности. Недаром поколение, детство которого совпадало с 40—50 годами прошлого столетия, считало, что «Червячок» и в особенности «Городок в табакерке» составляют «одно из самых милых воспоминаний юных лет» [4]. Эти сказки «дедушки Иринея» были исключительным явлением во времена Одоевского. Белинский по их поводу писал: «...в настоящее время русские дети имеют для себя в *дедушке Иринее* такого писателя, которому позавидовали бы дети всех наций. Узнав его, с ним не расстанутся и взрослые... А какой чудесный старик! Какая юная, благодатная душа у него! Какой теплотой и жизнью веет от его рассказов и какое необыкновенное искусство у него заманить воображение, раздражить любопытство, возбудить внимание иногда самым, по-видимому, простым рассказом» [5].

Неувядаемая прелесть детских сказок Одоевского привлекает сердца и сейчас: недаром из всех его художественных произведений только на долю детских сказок выпала участь неоднократно переиздаваться в наше время.

---

[1] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. VI, стр. 682; т. XI, стр. 201.

[2] П. Столпянский, Должности и обязанности крестьян, «Вестник всемирной истории», 1901, № 3, стр. 97.

[3] В. Ф. Одоевский, Русские ночи, под ред. С. А. Цветкова, изд-во «Путь», 1913, стр. 10.

[4] А. Ф. Кони, Князь В. Ф. Одоевский, СПб, 1903. Отдельный оттиск из «Журнала для всех», стр. 90.

[5] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. IV, стр. 107.

Общественный подъем 60-х годов обострил идейные противоречия Одоевского. Реформа 19 февраля 1861 года вполне удовлетворила его и раскрыла, по его мнению, эру «благодатных преобразований» перед Россией. Идеализируя «добрые намерения» правительства, он наивно считает, что «законы святы, да исполнители—лихие супостаты...» Осуждая революционеров, он наряду с этим считает Фурье «великим преобразователем» и много и мучительно размышляет о том, как осуществить «счастье всех и каждого».

В страхе перед растущим революционным движением он клеймит «гражданское безумие нигилистов» и тут же находит для себя возможным оказывать услуги петрашевцам и сотрудничать в демократической «Искре». Эти противоречия были ясны и самому Одоевскому, когда он писал в своем дневнике: «Псевдолибералы называют меня царедворцем, монархистом и проч., а отсталые считают меня в числе красных». Известно, что у царского правительства Одоевский имел весьма сомнительную репутацию и много личных врагов. Подозрения в «неблагонадежности» писателя испытывал и сам Николай I. В дневниковой записи от 9 марта 1862 года Одоевский писал: «Я нечаянно узнал, что мне и в голову не приходило, что император Николай Павлович считал меня самым рьяным демагогом, весьма опасным и в каждой истории, например Петрашевского, полагал, что я должен быть тут замешан. Кто это мне так поусердствовал? И как меня не согнули в бараний рог?»

В эти годы старик Одоевский — сенатор, представитель чиновничьей бюрократии, человек давно утративший свою литературную известность.

Однако, завершая свой полувековой писательский труд, Одоевский незадолго до своей кончины — в 1869 году — написал блестящий по своей публицистической остроте памфлет «Перехваченные письма». В нем он снова обращается к бессмертным образам грибоедовского «Горя от ума» и в лице Фамусова, наделенного чертами крепостника, желающего увековечить свое право на роль хозяина в капиталистических условиях, дорисовывает его образ в следующем поколении.

Чувство современности не оставляет Одоевского до конца его жизни. Со своих либеральных позиций он не понимает и не принимает «Что делать?» Н. Г. Чернышевского, но один из первых приветствует деятельность молодого А. Н. Островского, положительно оценивает «Губернские очерки» великого М. Е. Салтыкова, прославляет представителей нового поколения русских композиторов: Н. А. Римского-Корсакова и П. И. Чайковского.

Интересно, что когда в 1867 году появилось в печати произведение, исполненное глубочайшего пессимизма, — «Довольно» И. С. Тургенева, — Одоевский, шестидесятилетний старик, пишет в ответ на это

произведение полный бодрости и силы очерк «Не довольно», где возражает разочарованному и уставшему писателю: «Прочь уныние! Прочь метафизические пеленки. Я не один, и не безвестен я перед моими собратиями — кто бы они ни были: друг, товарищ, любимая женщина, соплеменник, человек с другого полушария. Мысль, которую я посеял сегодня, взойдет завтра, через год, через тысячу лет: я привел в колебание одну струну, оно не исчезает, но отзовется в других струнах... Не беда, что мы стараемся... и в последние минуты мы не скажем России, как гладиаторы римскому кесарю: «умирая, мы с тобой раскланиваемся», но припомним: «...Go a head! never mind, help yourself!» — что по русски переводится: «Брось прохладушки, недоделанного дела много!»

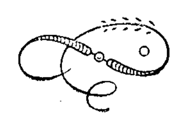
* * *

Таков образ русского писателя, музыковеда, энциклопедиста, общественного деятеля В. Ф. Одоевского, творившего в пламенной атмосфере декабризма, испытавшего на себе дружеское влияние передовых людей русской культуры: Грибоедова, Пушкина, Глинки, Белинского.

Без Одоевского история русской повести была бы неполной. Лучшие из художественных созданий писателя сохранили до наших дней свою эстетическую ценность, и с ними должны познакомиться широкие круги современных читателей.

Евгения Хин

Повести и рассказы





ПОСЛЕДНИЙ КВАРТЕТ БЕТХОВЕНА

> Я был уверен, что Креспель помешался. Профессор утверждал противное. «С некоторых людей, — сказал он, — природа или особенные обстоятельства сорвали завесу, за которою мы потихоньку занимаемся разными сумасбродствами. Они похожи на тех насекомых, с коих анатомист снимает перепонку и тем обнажает движение их мускулов». Что в нас только мысль, то в Креспеле действие.
>
> *Гофман.*

1827 года, весною, в одном из домов венского предместия, несколько любителей музыки разыгрывали новый квартет Бетховена, только что вышедший из печати. С изумлением и досадою следовали они за безобразными порывами ослабевшего гения: так изменилось перо его! Исчезла прелесть оригинальной мелодии, полной поэтических замыслов; художническая отделка превратилась в кропотливый педантизм бездарного контрапунктиста; огонь, который прежде пылал в его быстрых аллегро и, постепенно усиливаясь, кипучею лавою разливался в полных, огромных созвучиях, погас среди непонятных диссонансов; а оригинальные, шутливые темы веселых менуэтов превратились в скачки и трели, невозможные ни на каком инструменте. Везде ученическое, недостигающее стремление к эффектам, не существующим в музыке; везде какое-то темное, не понимающее себя чувство. И это был все тот же Бетховен, тот же, которого имя, вместе с именами Гайдна и Моцарта, тевтонец произносит с восторгом

и гордостию! Часто, приведенные в отчаяние бессмыслицею сочинения, музыканты бросали смычки и готовы были спросить: не насмешка ли это над творениями бессмертного? Одни приписывали упадок его глухоте, поразившей Бетховена в последние годы его жизни; другие — сумасшествию, также иногда омрачавшему его творческое дарование; у кого вырывалось суетное сожаление; а иной насмешник вспоминал, как Бетховен в концерте, где разыгрывали его последнюю симфонию, совсем не в такт размахивал руками, думая управлять оркестром и не замечая того, что позади его стоял настоящий капельмейстер; но они скоро снова принимались за смычки и, из почтения к прежней славе знаменитого симфониста, как бы против воли продолжали играть его непонятное произведение.

Вдруг дверь отворилась, и вошел человек в черном сюртуке, без галстука, с растрепанными волосами; глаза его горели, — но то был огонь не дарования; лишь нависшие, резко обрезанные оконечности лба являли необыкновенное развитие музыкального органа, которым так восхищался Галль, рассматривая голову Моцарта.

— Извините, господа, — сказал нежданный гость, — позвольте посмотреть вашу квартиру — она отдается внаймы...

Потом он заложил руки на спину и приблизился к играющим. Присутствующие с почтением уступили ему место; он наклонял голову то на ту, то на другую сторону, стараясь вслушаться в музыку, но тщетно: слезы градом покатились из глаз его. Тихо отошел он от играющих и сел в отдаленный угол комнаты, закрыв лицо свое руками; но едва смычок первого скрипача завизжал возле подставки на случайной ноте, прибавленной к *септим-аккорду* и дикое созвучие отдалось в удвоенных нотах других инструментов, как несчастный встрепенулся, закричал: «Я слышу! слышу!» — в буйной радости захлопал в ладоши и затопал ногами.

— Лудвиг! — сказала ему молодая девушка, вслед за ним вошедшая. — Лудвиг! пора домой. Мы здесь мешаем!

Он взглянул на девушку, понял ее и, не говоря ни слова, побрел за нею, как ребенок.

На конце города, в четвертом этаже старого каменного дома, есть маленькая душная комната, разделенная перегородкою. Постель с разодранным одеялом, несколько пуков нотной бумаги, остаток фортепьяно — вот все ее украшения. Это было жилище, это был мир бессмертного Бетхо-

вена. Во всю дорогу он не говорил ни слова; но когда они пришли, Лудвиг сел на кровать, взял за руку девушку и сказал ей:

— Добрая Луиза! ты одна меня понимаешь; ты одна меня не боишься; тебе одной я не мешаю... Ты думаешь, что все эти господа, которые разыгрывают мою музыку, понимают меня? — ничего не бывало! Ни один из здешних господ капельмейстеров не умеет даже управлять ею; им только бы оркестр играл в меру, а до музыки им какое дело! Они думают, что я ослабеваю; я даже заметил, что некоторые из них как будто улыбались, разыгрывая мой квартет; вот верный признак, что они меня никогда не понимали; напротив, я теперь только стал истинным, великим музыкантом. Идучи, я придумал симфонию, которая увековечит мое имя; напишу ее и сожгу все прежние. В ней я превращу все законы гармонии, найду эффекты, которых до сих пор никто еще не подозревал; я построю ее на хроматической мелодии двадцати литавр; я введу в нее аккорды сотни колоколов, настроенных по различным камертонам, ибо, — прибавил он шепотом, — я скажу тебе по секрету: когда ты меня водила на колокольню, я открыл, — чего прежде никому в голову не приходило, — я открыл, что колокола — самый гармонический инструмент, который с успехом может быть употреблен в тихом *адажио*. В финал я введу барабанный бой и ружейные выстрелы, — и я услышу эту симфонию, Луиза! — воскликнул он вне себя от восхищения, — надеюсь, что услышу, — прибавил он, улыбаясь, по некотором размышлении. — Помнишь ли ты, когда в Вене, в присутствии всех венчанных глав света, я управлял оркестром моей ватерлооской баталии? Тысячи музыкантов, покорные моему взмаху, двенадцать капельмейстеров, а кругом батальный огонь, пушечные выстрелы... О! это до сих пор лучшее мое произведение, несмотря на этого педанта Вебера [1]. Но то, что я теперь произведу, затмит и это произведение. Я не могу удержаться, чтоб не дать тебе о нем понятия.

С сими словами Бетховен подошел к фортепьяно, на котором не было ни одной целой струны, и с важным

---

[1] Готфрид Вебер — известный контрапунктист нашего времени, которого не должно смешивать с сочинителем *Фрейшица* — сильно и справедливо критиковал в своем любопытном и ученом журнале «Цецилия» — Wellingtons Sieg — слабейшее из произведений Бетховена. *(Прим. В. Ф. Одоевского.)*

видом ударил по пустым клавишам. Однообразно стучали они по сухому дереву разбитого инструмента, а между тем самые трудные фуги в пять и шесть голосов проходили чрез все таинства контрапункта, сами собою ложились под пальцы творца «Эгмонта», и он старался придать как можно более выражения своей музыке... Вдруг сильно, целою рукою покрыл он клавиши и остановился.

— Слышишь ли? — сказал он Луизе, — вот аккорд, которого до сих пор никто еще не осмеливался употребить. Так! я соединю все тоны хроматической гаммы в одно созвучие и докажу педантам, что этот аккорд правилен. Но я его не слышу, Луиза, я его не слышу! Понимаешь ли ты, что значит не слыхать своей музыки?.. Однако ж мне кажется, что когда я соберу дикие звуки в одно созвучие, — то оно как будто отдается в моем ухе. И чем мне грустнее, Луиза, тем больше нот мне хочется прибавить к *септимаккорду*, которого истинных свойств никто не понимал до меня... Но полно! может быть, я наскучил тебе, как всем теперь наскучил? Только знаешь что? за такую чудную выдумку мне можно наградить себя сегодня рюмкой вина. Как ты думаешь об этом, Луиза?

Слезы навернулись на глазах бедной девушки, которая одна из всех учениц Бетховена не оставляла его и под видом уроков содержала его трудами рук своих: она дополняла ими скудный доход, полученный Бетховеным от его сочинений и большею частию издержанный без толку на беспрестанную перемену квартир, на раздачу встречному и поперечному. Вина не было! едва оставалось несколько грошей на покупку хлеба... Но она скоро отвернулась от Лудвига, чтоб скрыть свое смущение, налила в стакан воды и поднесла его Бетховену.

— Славный рейнвейн! — говорил он, отпивая понемногу с видом знатока. — Королевский рейнвейн! он точно из погреба моего батюшки, блаженной памяти Фридерика. Я это вино очень помню! оно день ото дня становится лучше — это признак хорошего вина! — И с этими словами, охриплым, но верным голосом он запел свою музыку на известную песню Гетева Мефистофеля:

Es war einmal ein König
Der hatt einen grossen Floh [1], —

---

[1] Жил-был король когда-то,
При нем блоха жила (*нем.*).

но против воли часто сводил ее на таинственную мелодию, которою Бетховен объяснил Миньону [1].

— Слушай, Луиза, — сказал он наконец, отдавая ей стакан, — вино подкрепило меня, и я намерен тебе сообщить нечто такое, что мне уже давно хотелось и не хотелось тебе сказать. Знаешь ли, мне кажется, что я уж долго не проживу, — да и что за жизнь моя? — это цепь бесконечных терзаний. От самых юных лет я увидел бездну, разделяющую мысль от выражения. Увы, никогда я не мог выразить души своей; никогда того, что представляло мне воображение, я не мог передать бумаге; напишу ли? — играют? — не то!.. не только не то, что я чувствовал, даже не то, что я написал. Там пропала мелодия оттого, что низкий ремесленник не придумал поставить лишнего клапана; там несносный фаготист заставляет меня переделывать целую симфонию оттого, что его фагот не выделывает пары басовых нот; то скрипач убавляет необходимый звук в аккорде оттого, что ему трудно брать двойные ноты. — А голоса, а пение, а репетиции ораторий, опер?.. О! этот ад до сих пор в моем слухе! Но я тогда еще был счастлив: иногда, я замечал, на бессмысленных исполнителей находило какое-то вдохновение; я слышал в их звуках что-то похожее на темную мысль, западавшую в мое воображение: тогда я был вне себя, я исчезал в гармонии, мною созданной. Но пришло время, мало-помалу тонкое ухо мое стало грубеть: еще в нем оставалось столько чувствительности, что оно могло слышать ошибки музыкантов, но оно закрылось для красоты; мрачное облако его объяло — и я не слышу более своих произведений, — не слышу, Луиза!.. В моем воображении носятся целые ряды гармонических созвучий; оригинальные мелодии пересекают одна другую, сливаясь в таинственном единстве; хочу выразить — все исчезло: упорное вещество не выдает мне ни единого звука, — грубые чувства уничтожают всю деятельность души. О! что может быть ужаснее этого раздора души с чувствами, души с душою! Зарождать в голове своей творческое произведение и ежечасно умирать в муках рождения!.. Смерть души! — как страшна, как жива эта смерть!

---

[1] Kennst du das Land etc. — Ты знаешь край и проч. — (*нем.*). (*Прим. В. Ф. Одоевского.*)

А еще этот бессмысленный Готфрид вводит меня в пустые музыкальные тяжбы, заставляет меня объяснять, почему я в том или другом месте употребил такое и такое соединение мелодий, такое и такое сочетание инструментов, когда я самому себе этого объяснить не могу! Эти люди будто знают, что такое душа музыканта, что такое душа человека? Они думают, ее можно обкроить по выдумкам ремесленников, работающих инструменты, по правилам, которые на досуге изобретает засушенный мозг теоретика... Нет, когда на меня приходит минута восторга, тогда я уверяюсь, что такое превратное состояние искусства продлиться не может; что новыми, свежими формами заменятся обветшалые; что все нынешние инструменты будут оставлены, и место их заступят другие, которые в совершенстве будут исполнять произведения гениев; что исчезнет наконец нелепое различие между музыкою писаною и слышимою. Я говорил господам профессорам об этом; но они меня не поняли, как не поняли силы соприсутствующей художническому восторгу, как не поняли того, что тогда я предупреждаю время и действую по внутренним законам природы, еще не замеченным простолюдинами и мне самому в другую минуту непонятным... Глупцы! в их холодном восторге, они в свободное от занятий время выберут тему, обделают ее, продолжат и не преминут потом повторить ее в другом тоне; здесь по заказу прибавят духовые инструменты или странный аккорд, над которым думают, думают, и все это так благоразумно обточат, оближут; чего хотят они? я не могу так работать... Сравнивают меня с Микеланджелом — но как работал творец «Моисея»? в гневе, в ярости, он сильными ударами молота ударял по недвижному мрамору и поневоле заставлял его выдавать живую мысль, скрывавшуюся под каменною оболочкою. Так и я! Я холодного восторга не понимаю! Я понимаю тот восторг, когда целый мир для меня превращается в гармонию, всякое чувство, всякая мысль звучит во мне, все силы природы делаются моими орудиями, кровь моя кипит в жилах, дрожь проходит по телу и волосы на голове шевелятся... И все это тщетно! Да и к чему это все? Зачем? живешь, терзаешься, думаешь; написал — и конец! к бумаге приковались сладкие муки создания — не воротить их! унижены, в темницу заперты мысли гордого духа-создателя; высокое усилие творца земного, вызывающего на спор силу природы,

становится делом рук человеческих! А люди? люди! они придут, слушают, судят — как будто они судьи, как будто для них создаешь! Какое им дело, что мысль, принявшая на себя понятный им образ, есть звено в бесконечной цепи мыслей и страданий; что минута, когда художник нисходит до степени человека, есть отрывок из долгой болезненной жизни неизмеримого чувства; что каждое его выражение, каждая черта — родилась от горьких слез Серафима, заклепанного в человеческую одежду, и часто отдающего половину жизни, чтоб только минуту подышать свежим воздухом вдохновения? А между тем приходит время — вот как теперь, — чувствуешь: перегорела душа, силы слабеют, голова больна: все, что ни думаешь, все смешивается одно с другим, все покрыто какою-то завесою... Ах! я бы хотел, Луиза, передать тебе последние мысли и чувства, которые хранятся в сокровищнице души моей, чтобы они не пропали... Но что я слышу?..

С этими словами Бетховен вскочил и сильным ударом руки растворил окно, в которое из ближнего дома неслись гармонические звуки...

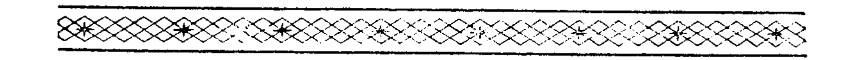
— Я слышу! — воскликнул Бетховен, бросившись на колени и с умилением протянул руки к раскрытому окну,— это симфония Эгмонта — так, я узнаю ее: вот дикие крики битвы; вот буря страстей; она разгорается, кипит; вот ее полное развитие — и все утихло, остается лишь лампада, которая гаснет — потухает, — но не навеки... Снова раздались трубные звуки: целый мир ими наполняется, и никто заглушить их не может...

На блистательном бале одного из венских министров толпы людей сходились и расходились.

— Как жаль! — сказал кто-то, — театральный капельмейстер Бетховен умер, и говорят, не на что похоронить его.

Но этот голос потерялся в толпе: все прислушивались к словам двух дипломатов, которые толковали о каком-то споре, случившемся между кем-то во дворце какого-то немецкого князя.





OPERE DEL CAVALIERE GIAMBATISTA PIRANESI[1]

Перед отъездом мы пошли проститься с одним из наших родственников, человеком пожилым, степенным, всеми уважаемым: у него во всю его жизнь была только одна страсть, про которую покойница жена рассказывала таким образом:

— Вот, примером сказать, Алексей Степаныч, уж чем не человек, и добрый муж, и добрый отец, и хозяин — все бы хорошо, если б не его несчастная слабость...

Тут тетушка остановилась. Незнакомый часто спрашивал:

— Да что, уж не запóем ли, матушка? — и готовился предложить лекарство; но выходило на деле, что эта слабость — была лишь *библиомания*. Правда, эта страсть в дяде была очень сильна; но она была, кажется, единственное окошко, чрез которое душа его заглядывала в мир поэтический; во всем прочем старик был — дядя как дядя, курил, играл в вист по целым дням и с наслаждением предавался северному равнодушию. Но лишь доходило дело до книг, старик перерождался. Узнав о цели нашего путешествия, он улыбнулся и сказал:

— Молодость! молодость! Романтизм, да и только! Что бы обернуться вокруг себя? уверяю вас, не ездя далеко, вы бы нашли довольно материалов.

— Мы не прочь от этого, — отвечал один из нас, — когда нам удастся посмотреть на других, тогда, может

[1] Произведения кавалера Джамбатиста Пиранези (*итал.*).

быть, мы доберемся и до себя; но начать с чужих, кажется, учтивее и скромнее. Сверх того, те люди, которых мы имеем в виду, принадлежат всем народам вместе, многие из наших или живы, или еще не совсем умерли: чего доброго — еще их родные обидятся... Не подражать же нам тем господам, которые заживо пекутся о прославлении себя и друзей своих, в твердой уверенности, что по их смерти никто о том не позаботится.

— Правда, правда! — отвечал старик, — уж эти родные! От них, во-первых, ничего не добьешься, а во-вторых, для них замечательный человек не иное что, как дядя, двоюродный братец и прочее тому подобное. Ступайте, молодые люди, померьте землю: это здорово для души и для тела. Я сам в молодости ездил за море отыскивать редкие книги, которые здесь можно купить вполовину дешевле. Кстати о библиографии. Не подумайте, чтоб она состояла из одних реестров книг и из переплетов; она доставляет иногда совсем неожиданные наслаждения. Хотите ль, я вам расскажу мою встречу с одним человеком в вашем роде? Посмотрите, не попадет ли он в первую главу вашего путешествия!

Мы изъявили готовность, которую рекомендуем нашим читателям, и старик продолжал:

— Вы, может быть, видали карикатуру, которой сцена в Неаполе. На открытом воздухе, под изодранным навесом, книжная лавочка; кучи старых книг, старых гравюр; наверху мадонна; вдали Везувий; перед лавочкой капуцин и молодой человек в большой соломенной шляпе, у которого маленький лазарони искусно вытягивает из кармана платок. Не знаю, как подсмотрел эту сцену проклятый живописец, но только этот молодой человек — я; я узнаю мой кафтан и мою соломенную шляпу; у меня в этот день украли платок, и даже на лице моем должно было существовать то же глупое выражение. Дело в том, что тогда денег у меня было немного, и их далеко не доставало для удовлетворения моей страсти к старым книгам. К тому же я, как все библиофилы, был скуп до чрезвычайности. Это обстоятельство заставляло меня избегать публичных аукционов, где, как в карточной игре, пылкий библиофил может в пух разориться; но зато я со всеусердием посещал маленькую лавочку, в которой издерживал немного, но которую зато имел удовольствие перерывать всю от начала до конца. Вы, может быть, не испытывали восторгов

библиомании: это одна из самых сильных страстей, когда вы дадите ей волю; и я совершенно понимаю того немецкого пастора, которого библиомания довела до смертоубийства. Я еще недавно, — хотя старость умерщвляет все страсти, даже библиоманию, — готов был убить одного моего приятеля, который прехладнокровно, как будто в библиотеке для чтения, разрезал у меня в эльзевире единственный листок, служивший доказательством, что в этом экземпляре полные поля [1], а он, вандал, еще стал удивляться моей досаде. До сих пор я не перестаю посещать менял, знаю наизусть все их поверья, предрассудки и уловки, и до сих пор эти минуты считаю если не самыми счастливыми, то по крайней мере приятнейшими в моей жизни. Вы входите: тотчас радушный хозяин снимает шляпу и со всею купеческою щедростью предлагает вам и романы Жанлис, и прошлогодние альманахи, и Скотский Лечебник. Но вам стоит только произнести одно слово, и оно тотчас укротит его докучливый энтузиазм: спросите только: «Где медицинские книги?» — и хозяин наденет шляпу, покажет вам запыленный угол, наполненный книгами в пергаментных переплетах, и спокойно усядется дочитывать академические ведомости прошедшего месяца. Здесь нужно заметить для вас, молодых людей, что еще во многих наших книжных лавочках всякая книга в пергаментном переплете и с латинским заглавием имеет право называться медицинскою; и потому можете судить сами, какое в них раздолье для библиографа между «Наукою о бабичьем деле, на пять частей разделенной и рисунками снабденной» Нестора Максимовича Амбодика, и «Bonati Thesaurus medico-practicus undique collectus» [2], вам попадется маленькая книжонка, изорванная, замаранная, запыленная; смóтрите, — это: «Advis fidel aux veritables Hollandais touchant ce qui s'est passé dans les villages de Bodegrave et Swammerdam 1673» [3], — как занимательно! Но это, никак, эльзевир! эльзевир! имя, приводящее в сладкий трепет

[1] Известно, что для библиоманов ширина полей играет важную роль. Есть даже особенный инструмент для измерения их, и несколько линий больше или меньше часто увеличивают или уменьшают цену книги на целую половину. *(Прим. В. Ф. Одоевского.)*

[2] «Боната. Сокровищница, либо Словарь отовсюду собранных медико-практических знаний» (*лат.*).

[3] «Достоверный отчет для природных голландцев о событиях, происшедших в деревнях Бодеграф и Свammердам» (*франц.*).

всю нервную систему библиофила... Вы сваливаете несколько пожелтевших «Hortus sanitatis, Jardin de dévotion les Fleurs de bien dire, recueillies aux cabinets des plus rares ésprits pour exprimer les passions amoureuses de l'un et de l'autre sexe par forme de dictionnaire»[1] — и вам попадается латинская книжка без переплета и без начала; развертываете: как будто похоже на Виргилия, — но что слово, то ошибка!.. Неужели в самом деле? не мечта ли обманывает вас? неужели это знаменитое издание 1514 года: «Virgilius ex recensione Naugerii»[2]. И вы недостойны назваться библиофилом, если у вас сердце не выпрыгнет от радости, когда, дошедши до конца, вы увидите четыре полные страницы опечаток, верный признак, что это именно то самое редкое, драгоценное издание Альдов, перло книгохранилищ, которого большую часть экземпляров истребил сам издатель, в досаде на опечатки.

В Неаполе я мало находил случаев для удовлетворения своей страсти, и потому можете себе представить, с каким изумлением, проходя по Piazza Nova, увидел груды пергаменов; эту-то минуту библиоманического оцепенения и поймал мой незваный портретист... Как бы то ни было, я со всею хитростию библиофила равнодушно приблизился к лавочке и, перебирая со скрытым нетерпением старые молитвенники, сначала не заметил, что в другом углу к большому фолианту подошла фигура в старинном французском кафтане, в напудренном парике, под которым болтался пучок, тщательно свитый. Не знаю, что заставило нас обоих обернуться — в этой фигуре я узнал чудака, который всегда в одинаковом костюме с важностию прохаживался по Неаполю и при каждой встрече, особенно с дамами, с улыбкою приподнимал свою изношенную шляпу корабликом. Давно уже видал я этого оригинала и весьма был рад случаю свести с ним знакомство. Я посмотрел на развернутую перед ним книгу: это было собрание каких-то плохо перепечатанных архитектурных гравюр. Оригинал рассматривал их с большим вниманием, мерил пальцами намалеванные колонны, приставлял ко лбу перст и погружался в глубокое размышление:

---

[1] «Сад здравия, сад благочестия, цветы красноречия, выбранные в форме словаря из библиотек лучших авторов для выражения любовных страстей лиц обоего пола» (*франц.*).

[2] «Сочинение Виргилия, изданное Науджером» (*лат.*).

«Он, видно, архитектор, — подумал я, — чтоб полюбиться ему притворюсь любителем архитектуры». При этих словах глаза мои обратились на собрание огромных фолиантов, на которых выставлено было: «Opere del Cavaliere Giambatista Piranesi». «Прекрасно!» — подумал я, взял один том, развернул его, — но бывшие в нем проекты колоссальных зданий, из которых для построения каждого надобно бы миллионы людей, миллионы червонцев и столетия, — эти иссеченные скалы, взнесенные на вершины гор, эти реки, обращенные в фонтаны, — все это так привлекло меня, что я на минуту забыл о моем чудаке. Более всего поразил меня один том, почти с начала до конца наполненный изображениями темниц разного рода; бесконечные своды, бездонные пещеры, замкѝ, цепи, поросшие травою стены и, для украшения, всевозможные казни и пытки, которые когда-либо изобретало преступное воображение человека... Холод пробежал по моим жилам, и я невольно закрыл книгу. Между тем, заметив, что оригинал нимало не удостоивает внимания зодческий энтузиазм мой, я решился обратиться к нему с вопросом:

— Вы, конечно, охотник до архитектуры? — сказал я.

— До архитектуры? — повторил он, как бы ужаснувшись. — Да, — примолвил он, взглянув с улыбкой презрения на мой изношенный кафтан, — я большой до нее охотник! — и замолчал.

«Только-то? — подумал я, — этого мало».

— В таком случае, — сказал я, снова раскрывая один из томов Пиранези, — посмотрите лучше на эти прекрасные фантазии, а не на лубочные картинки, которые лежат перед вами.

Он подошел ко мне не́хотя, с видом человека, досадующего, что ему мешают заниматься делом, но едва взглянул на раскрытую передо мною книгу, как с ужасом отскочил от меня, замахал руками и закричал:

— Бога ради, закройте, закройте эту негодную, эту ужасную книгу!

Это мне показалось довольно любопытно.

— Я не могу надивиться вашему отвращению от такого превосходного произведения; мне оно так нравится, что я сей же час куплю его. — И с сими словами я вынул кошелек с деньгами.

— Деньги! — проговорил мой чудак этим звучным шепотом, о котором мне недавно напомнил несравненный

Каратыгин в «Жизни Игрока». — У вас есть деньги! — повторил он и затрясся всем телом.

Признаюсь, это восклицание архитектора несколько расхолодило мое желание войти с ним в тесную дружбу; но любопытство превозмогло.

— Разве вы нуждаетесь в деньгах? — спросил я.

— Я? Очень нуждаюсь! — проговорил архитектор, — и очень, очень давно нуждаюсь, — прибавил он, ударяя на каждое слово.

— А много ли вам надобно? — спросил я с чувством. — Может, я и могу помочь вам.

— На первый случай мне нужно безделицу — сущую безделицу, десять миллионов червонцев.

— На что́ же так много? — спросил я с удивлением.

— Чтобы соединить сводом Этну с Везувием, для триумфальных ворот, которыми начинается парк проектированного мною замка, — отвечал он, как будто ни в чем не бывало.

Я едва мог удержаться от смеха.

— Отчего же, — возразил я, — вы, человек с такими колоссальными идеями, — вы приняли с отвращением произведения зодчего, который, по своим идеям, хоть несколько приближается к вам?

— Приближается? — воскликнул незнакомец, — приближается! Да что́ вы ко мне пристаете с этой проклятой книгой, когда я сам сочинитель ее?

— Нет, это уж слишком! — отвечал я. С этими словами взял я лежавший возле «Исторический словарь» и показал ему страницу, на которой было написано: «Жиамбатиста Пиранези, знаменитый архитектор... умер в 1778...»

— Это вздор! это ложь! — закричал мой архитектор. — Ах, я был бы счастлив, если б это была правда! Но я живу, к несчастию моему живу, — и эта проклятая книга мешает мне умереть.

Любопытство мое час от часу возрастало.

— Объясните мне эту странность, — сказал я ему, — поверьте мне свое горе: повторяю, что я, может быть, и могу помочь вам.

Лицо старика прояснилось; он взял меня за руку.

— Здесь не место говорить об этом; нас могут подслушать люди, которые в состоянии повредить мне. О! я знаю людей... Пойдемте со мною; я доро́гой расскажу вам мою страшную историю.

Мы вышли.

— Так, сударь, — продолжал старик, — вы видите во мне знаменитого и злополучного Пиранези. Я родился человеком с талантом... что я говорю? теперь запираться уже поздно, — я родился с гением необыкновенным. Страсть к зодчеству развивалась во мне с младенчества, и великий Микеланджело, поставивший Пантеон на так называемую огромную церковь Святого Петра в Риме, в старости был моим учителем. Он восхищался моими планами и проектами зданий, и когда мне исполнилось двадцать лет, великий мастер отпустил меня от себя, сказав: «Если ты останешься долее у меня, то будешь только моим подражателем; ступай, прокладывай себе новый путь, и ты увековечишь свое имя без моих стараний». Я повиновался, и с этой минуты начались мои несчастия. Деньги становились редки. Я нигде не мог найти работы; тщетно представлял я мои проекты и римскому императору, и королю французскому, и попам, и кардиналам: все меня выслушивали, все восхищались, все одобряли меня, ибо страсть к искусству, возжженная покровителем Микеланджело, еще тлелась в Европе. Меня берегли как человека, владеющего силою приковывать неславные имена к славным памятникам; но когда доходило дело до постройки, тогда начинали откладывать год за годом: «Вот поправятся финансы, вот корабли принесут заморское золото», — тщетно! Я употреблял все происки, все ласкательства, недостойные гения, — тщетно! я сам пугался, видя, до какого унижения доходила высокая душа моя, — тщетно! тщетно! Время проходило, начатые здания оканчивались, соперники мои снискивали бессмертие, а я — скитался от двора к двору, от передней к передней, с моим портфелем, который напрасно час от часу более и более наполнялся прекрасными и неисполнимыми проектами. Рассказать ли вам, что я чувствовал, входя в богатые чертоги с новою надеждою в сердце и выходя с новым отчаянием? Книга моих темниц содержит в себе изображение сотой доли того, что происходило в душе моей. В этих вертепах страдал мой гений; эти цепи глодал я, забытый неблагодарным человечеством... Адское наслаждение было мне изобретать терзания, зарождавшиеся в озлобленном сердце, обращать страдания духа в страдание тела, — но это было мое единственное наслаждение, единственный отдых.

Чувствуя приближение старости и помышляя о том, что если бы кто и захотел поручить мне какую-либо постройку, то недостало бы жизни моей на ее окончание, я решился напечатать свои проекты, на стыд моим современникам и чтобы показать потомству, какого человека они не умели ценить. С усердием принялся я за эту работу, гравировал день и ночь, и проекты мои расходились по свету, возбуждая то смех, то удивление. Но со мной сталось совсем другое. Слушайте и удивляйтесь... Я узнал теперь горьким опытом, что в каждом произведении, выходящем из головы художника, зарождается дух-мучитель; каждое здание, каждая картина, каждая черта, невзначай проведенная по холсту или бумаге, служит жилищем такому духу. Эти духи свойства злого: они любят жить, любят множиться и терзать своего творца за тесное жилище. Едва почуяли они, что жилище их должно ограничиться одними гравированными картинами, как вознегодовали на меня... Я уже был на смертной постели, как вдруг... Слыхали ль вы о человеке, которого называют *вечным жидом*? Все, что рассказывают о нем, — ложь: этот злополучный перед вами... Едва я стал смыкать глаза вечным сном, как меня окружили призраки в образе дворцов, палат, домов, замков, сводов, колонн. Все они вместе давили меня своею громадою и с ужасным хохотом просили у меня жизни. С той минуты я не знаю покоя: духи, мною порожденные, преследуют меня — там огромный свод обхватывает меня в свои объятия, здесь башни гонятся за мною, шагая верстами; здесь окно дребезжит передо мною своими огромными рамами. Иногда заключают они меня в мои собственные темницы, опускают в бездонные колодцы, куют меня в собственные мои цепи, дождят в меня холодною плесенью с полуразрушенных сводов, — заставляют меня переносить все пытки, мною изобретенные, с костра сбрасывают на дыбу, с дыбы на вертел, каждый нерв подвергают нежданному страданию, и между тем, жестокие, прядают, хохочут вокруг меня, не дают умереть мне, допытываются, зачем осудил я их на жизнь неполную и на вечное терзание, — и наконец изможденного, ослабевшего, снова выталкивают на землю. Тщетно я перехожу из страны в страну, тщетно высматриваю, не подломилось ли где великолепное здание, на смех мне построенное моими соперниками. Часто, в Риме, ночью, я приближаюсь к стенам, построенным этим сча-

стливцем Микелем, и слабою рукою ударяю в этот проклятый купол, который и не думает шевелиться, — или в Пизе вешаюсь обеими руками на эту негодную башню, которая в продолжение семи веков нагибается на землю и не хочет до нее дотянуться. Я уже пробежал всю Европу, Азию, Африку, переплыл море: везде я ищу разрушенных зданий, которые мог бы воссоздать моею творческой силой: рукоплескаю бурям, землетрясениям. Рожденный с обнаженным сердцем поэта, я перечувствовал все, чем страждут несчастные, лишенные обиталища, пораженные ужасами природы; я плачу с несчастными, но не могу не трепетать от радости при виде разрушения... И все тщетно! час создания не наступил еще для меня или уже прошел: многое разрушается вокруг меня, но многое еще живет и мешает жить моим мыслям. Знаю, до тех пор не сомкнутся мои ослабевшие вежды, пока не найдется мой спаситель и все колоссальные мои замыслы будут не на одной бумаге. Но где он? где найти его? Если и найду, то уже проекты мои устарели, многое из них опережено веком, — а нет сил обновить их! Иногда я обманываю моих мучителей, уверяя, что занимаюсь приведением в исполнение какого-либо из проектов моих; и тогда они на минуту оставляют меня в покое. В таком положении был я, когда встретился с вами; но пришло же вам в голову открыть передо мною мою проклятую книгу: вы не видали, но я... я видел ясно, как одна из пилястр храма, построенного в средине Средиземного моря, закивала на меня своей косматой головою... Теперь вы знаете мое несчастие: помогите же мне, по обещанию вашему. Только десять миллионов червонцев, умоляю вас! — И с сими словами несчастный упал предо мною на колени.

С удивлением и жалостию смотрел я на бедняка, вынул червонец и сказал:

— Вот все, что могу я дать вам теперь.

Старик уныло посмотрел на меня.

— Я это предвидел, — отвечал он, — но хорошо и это: я приложу эти деньги к той сумме, которую собираю для покупки Монблана, чтоб срыть его до основания; иначе он будет отнимать вид у моего увеселительного замка.

С сими словами старик поспешно удалился...





НОВЫЙ ГОД

(Из записок ленивца)

«Если записывать каждый день своей жизни, то чья жизнь не будет любопытна?» — сказал кто-то.

На это я мог бы очень смело отвечать: «Моя». Что может быть любопытного в жизни человека, который на сем свете ровно ничего не делал!

Я чувствовал, я страдал, я думал за других, о других и для других. Пишу свои записки, перечитываю, и не нахожу в них только одного: самого себя. Такое самоотвержение с моей стороны должно расположить читателей в мою пользу: увидим, ошибся ли я в своем расчете, вот несколько дней *не моей* жизни; если они вам не слишком наскучат, то расскажу и про другие.

ДЕЙСТВИЕ I

— Вина! вина! наливай скорее; уже без пяти минут двенадцать.

— Неправда, еще целых полчаса осталось до Нового года... — отвечал Вячеслав, показывая с гордостью на свои деревянные часы с розанами на циферблате и чугунными гирями.

— Это по твоим часам: они всегда целым часом отстают!..

— Зато они иногда двумя часами бегут вперед; оно на то же и наведет, — заметил записной насмешник.

— Неправда, они очень верны, — возразил Вячеслав с досадою, — я их каждый день поверяю по городским...

— Сколько ему гордости придают его часы! — продолжал насмешник. — Купил у носящего за целковый, повесил на стену, смотрите, точно гостиная...

— Неправда, они куплены у часовщика, и за них заплачено двадцать пять рублей...

— Объявляю вам, господа, что от этой славной покупки у нас будет двумя бутылками меньше...

Так мы кричали, шумели, спорили и болтали всякий вздор накануне Нового года в маленькой комнатке Вячеслава в третьем этаже. Нас было человек двенадцать — все мы только что вышли из университета. Вячеслав был немногим богаче всех нас, но как-то щеголеватее и к тому же большой мастер устраивать в своей комнате и хозяйничать: например, у Вячеслава сверх табака водились всегда сыр и так называемое вино из *ренскового* погреба; в комнате, вместо классической железной кровати студента с байковым одеялом, стоял диван, обтянутый полосатою холстинкою; на этом диване лежали кожаные подушки, с которых на день снимались наволочки; возле дивана был растянут сплетенный из покромок ковер, от чего диван получал вид роскошного оттомана; книги лежали не на полу, по общему обыкновению, но на доске, прибитой к стене под коленкоровой занавеской; не только был стол для письма, но и еще другой стол особенно, хотя и без ящика; над единственным окошком висел кусок полотна; даже были вольтеровские кресла; наконец, знаменитые часы гордо размахивали маятником и довершали убранство комнаты.

Такое пышное устройство возбуждало всеобщую зависть и всеобщее удивление и с тем вместе было причиною, почему квартира Вячеслава была всегда местом наших собраний. Так было и сегодня. За месяц еще Вячеслав преважно пригласил нас встретить у него Новый год, обещая даже сделать жженку. Разумеется, отказа не было. Мы знали, что он уже давно хлопочет о приготовлениях, что заказан пирог и что, сверх обыкновенного его так называемого вина, будет по крайней мере три бутылки шампанского!

После смеха и шума, к двенадцати часам все пришло в порядок.

Как мы все уселись на трех квадратных саженях, я теперь уже не понимаю, только всем было место: кому на диване, кому на окошке, кому на столе, кому на полке; на

одних вольтеровских креслах сидели, мне кажется, три человека! Вот на столе уже уставлены огромный пирог, огромный сыр, бутылки и, разумеется, череп — для того, чтоб наше пиршество больше приближалось к лукуллову. Двенадцать трубок закурились в торжественном молчании: но едва деревянные часы продребезжали полночь, мы чокнулись стаканами и прокричали «ура» Новому году. Правда, шампанское было немножко тепло, а горячий пирог был немножко холоден, но этого никто не заметил. Беседа была веселая. Мы только что вырвались из школьного заточения, мы только что вступали в свет: широкая дорога открывалась перед нами — простор молодому воображению. Сколько планов, сколько мечтаний, сколько самонадеянности и — сколько благородства! Счастливое время! Где ты?..

К тому же мы были люди важные: мы уже имели наслаждение видеть себя в печати — наслаждение, в первый раз неизъяснимое! Уже мы принадлежали к литературной партии и защищали одного добросовестного журналиста против его соперников и ужасно горячились. Правда, за то нам и доставалось. Сначала раздаватели литературной славы приняли было новых авторов с отеческим покровительством: но мы в порыве беспристрастия, в ответ на нежности, задели всех этих господ без милосердия. Такая неблагодарность с нашей стороны чрезвычайно их рассердила. В эту позорную эпоху нашей критики литературная брань выходила из границ всякой благопристойности: литература в критических статьях была делом совершенно посторонним: они были просто ругательство, площадная битва площадных шуток, двусмысленностей, самой злонамеренной клеветы и обидных применений, которые часто простирались даже до домашних обстоятельств сочинителя; разумеется, в этой бесславной битве выигрывали только те, которым нечего было терять в отношении к честному имени. Я и мои товарищи были в совершенном заблуждении: мы воображали себя на тонких философских диспутах портика или академии, или по крайней мере в гостиной; в самом же деле мы были в райке: вокруг пахнет салом и дегтем, говорят о ценах на севрюгу, бранятся, поглаживают нечистую бороду и засучивают рукава, — а мы выдумываем вежливые насмешки, остроумные намеки, диалектические тонкости, ищем в Гомере или Виргилии самую жестокую эпиграмму против врагов наших, боимся

расшевелить их деликатность... Легко было угадать следствие такого неравного боя. Никто не брал труда справляться с Гомером, чтобы постигнуть всю едкость наших эпиграмм: насмешки наших противников в тысячу раз сильнее действовали на толпу читателей и потому, что были грубее, и потому, что менее касались литературы.

К счастию, это скорбное время прошло. Если бы остаткам героев того века и хотелось возобновить эту выгодную для них битву — такое предприятие едва ли увенчается успехом; общее презрение мало-помалу налегло на достойных презрения — и им уже не приподняться! Но тогда, — тогда другое дело. Многие из нас были задеты этими господами со всею лакейскою грубостью; насмешники были против нас, и, стыдно признаться, глупые шутки наших критиков звенели у нас в ушах; мы чувствовали всю справедливость нашего дела — и тем досаднее была нам несправедливость общего голоса. В зрелых летах человек привыкает к людской несправедливости, находит ее делом обыкновенным, часто горьким, чаще смешным; но в юности, когда так хочется верить всему высокому и прекрасному, несправедливость людей поражает сильно и наводит на душу невыразимое уныние. Этому состоянию духа должно приписать тот байронизм, в котором, может быть, уже слишком упрекают молодых людей и в котором бывает часто виновата лишь доброта и возвышенность их сердца. Люди бездушные никогда и ни о чем не тоскуют.

Как бы то ни было, эти нападки бесславных врагов, их торжество в общем мнении сближали товарищей в нашем маленьком кругу; здесь мы отдыхали; каждый знал труды другого; каждый по себе ценил усилия товарища; общая несправедливость была нам даже полезна: мы с большею бодростию поощряли друг друга к новым трудам и с каждым днем становились более строги к самим себе.

Наша беседа перед Новым годом была полна этой пламенной, этой живой, юношеской жизни. Сколько прекрасных надежд! Сколько планов, перемешанных с тонкими аттическими эпиграммами против наших гонителей!.. Вячеслав был душою нашего общества: он нам преважно доказал, что Новый год непременно должно начать чем-нибудь дельным, сам в качестве поэта схватил лист

бумаги и стал импровизировать стихи, а нам предложил каждому выбрать себе какую-нибудь дельную, важную работу, которой надлежало предаться в течение года. Предложение было принято с восторгом — и в этот день мы погрозились читателям несколькими системами философии, несколькими курсами математики, несколькими романами и несколькими словарями. От близкой работы мы перешли к отдаленной: все отрасли деятельности были разобраны — кто обещался возвысить наукою воинственное имя своих предков; кто перенести в наш мир промышленности все знания Европы; кто на царской службе принести в жертву жизнь на поле брани или в тяжких трудах гражданских. Мы верили себе и другим, ибо мысли наши были чисты и сердце не знало расчетов. Между тем Вячеслав окончил свои стихи, в которых намекал о трудах, заказанных нами самим себе. Нет нужды сказывать, что мы провозгласили его истинным поэтом и убедительно ему доказывали, что его предназначение в этой жизни — *развивать идею поэзии;* долго потом, встречаясь, мы вместо обыкновенного «здравствуй» приветствовали друг друга стихами нашего поэта: они наводили светлый радужный отблеск на все наши мысли и чувства.

Мы расстались с дневным светом, обещали друг другу сбираться всем в этот день ежегодно у Вячеслава, несмотря на все препятствия, и давать друг другу отчет в исполнении своих обещаний.

Несколько лет мы были неразлучны. Многих судьба переменилась; кромчатый ковер заменился хитрыми изделиями английской промышленности; маленькая комнатка обратилась в пышные, роскошные хоромы; шампанское мерзло в серебряных вазах, наполненных химическим холодом, — но мы в честь старой студенческой жизни сходились запросто, в сюртуках, и по-прежнему делились откровенными мыслями и чувствами. Между тем некоторые из наших работ были начаты, большая часть — не окончены, остальные переменены на другие. Мало-помалу судьба разнесла нас по всем концам мира; оставшиеся сходились по-прежнему в первый день года; отсутствующие писали к нам, что они в эти дни мысленно переносились к друзьям: кто из цареградского храма св. Софии, кто с берегов Ориноко, кто от подошвы Эльборуса, кто с холмов древнего Рима.

Прошло еще несколько лет. Судьба носила меня по разным странам. Я приехал в Москву накануне Нового года; искать Вячеслава — нет его: он в подмосковной верст за десять; я в том же экипаже в подмосковную, куда приехал около полуночи. Лошади быстро пронесли меня по запушенному снегом двору; в барском доме еще мелькал огонь. Прошед несколько слабо освещенных комнат, я дошел до кабинета. Вячеслав на коленях перед колыбелью спящего младенца; ему улыбалась прекрасная, в цвете лет женщина; он узнал меня и дал знак рукою, чтоб я говорил тише:

— Он только что стал засыпать, — сказал Вячеслав шепотом; жена его повторила эти слова. Несколько минут я смотрел с умилением на эту семейную картину. Видно было по всему, что в этом доме жили, а не кочевали; все было придумано с английскою прозорливостию для жизни семейной, ежедневной: стол был покрыт книгами и бумагами, мебель спокойная, необходимая занятому человеку; везде беспорядок, составляющий середину между порядком праздного человека и небрежностью ленивца; на креслах пюпитры для чтения, фортепьяно, начатая канва, развернутые журналы и, наконец, воспоминание прежней нашей жизни — студенческие деревянные часы. Я не успел еще осмотреться, когда младенец заснул крепким сном невинности. Вячеслав приподнялся от колыбели и сжал меня в своих объятиях.

— Это мой старый товарищ, — говорил он, знакомя с своею женою, — сегодня канун Нового года, надобно встретить его по старине.

Мы уселись втроем за маленьким столиком; в 12 часов чокнулись рюмками и стали вспоминать о былом, припоминать товарищей... Многих недосчитывались: кто погиб славною смертью на поле брани, кто умер не менее славною смертью, изнуренный кабинетным трудом и ночами без сна; кого убила безнадежная страсть, кого невозвратимая потеря, кого несправедливость людская; но половины уже не существовало в сем мире!

Не было криков, не было юношеских восторгов на этом мирном пире, не было необдуманных обещаний, легкомысленных надежд; мы говорили шепотом, чтоб не раз-

будить дитя; часто мы останавливались на недоконченной фразе, чтоб взглянуть на спящего младенца; мы говорили не о будущем, но лишь о прошедшем и настоящем; наш разговор был тот тихий семейный лепет, где вас занимают не сказанные слова, но тот, кто сказал их; где мысль вполовину угадывается и где говорят, кажется, для того только, чтоб иметь предлог посмотреть друг на друга.

— Мое время прошло, — сказал наконец Вячеслав. — Стихи мои в камине; попытки не удались; юношеских сил не воротить; великим поэтом мне не бывать, а посредственным быть не хочу; но то, чего я не успел доделать в себе, то постараюсь докончить в нем, — прибавил Вячеслав, указывая на колыбель, — здесь моя настоящая деятельность, здесь мои юношеские силы, здесь надежды на будущее. Ему посвящаю жизнь мою; у него не будет другого, кроме меня, наставника; у него не будет минуты, которой бы он не разделил со мною, ибо в воспитании важна всякая минута: один миг может разрушить усилия целых годов; отец, не порадевший о своем сыне, есть в моих мыслях величайший преступник. Кто знает! природа на растениях производит слабый, будто ненужный листок, который вырастает только для того, чтоб сохранить нежный зародыш, и потом — увянуть незаметно: не случается ли того же и между людьми? Может быть, я этот слабый, грубый листок, а мой сын зародыш чего-нибудь великого; может быть, в этой колыбели лежит поэт, музыкант, живописец, которому вверило провидение всю будущность человечества. Я увяну незаметно, но все, что есть в моем сыне, выведу в мир; в этом, я верю, единое назначение моей второстепенной жизни!

Тут Вячеслав принялся мне рассказывать план, предпринятый им для воспитания сына; его библиотека была наполнена всеми возможными книгами о воспитании; он показал мне кучу огромных выписок: он учился не шутя, но по-нашему, по-старинному, как студент, готовящийся к строгому экзамену.

Я расстался с Вячеславом рано; мы не выпили и четверти бутылки: он, как человек семейный, не любил обращать ночи в день; я не хотел заставить его переменить заведенный им строгий порядок. Часы, проведенные с ним, оставили надолго в душе моей сладкое и невыразимое чувство.

Прошло еще несколько лет. Однажды, под Новый год, судьба занесла меня в П. Я знал, что Вячеслав поселился уже более двух лет в этом городе. Я бросил в трактире мой экипаж и чемоданы и по-старому, не переодеваясь, как был в дорожном платье, сел на первого попавшегося мне извозчика и поспешил скорее к прежнему товарищу. Быстрое движение блестящих карет, скакавших по улице, привело меня с непривычки в какое-то онемение; я едва мог выговорить мое имя швейцару, встретившему меня у Вячеславова крыльца. Думаю, что он принял меня за сумасшедшего, потому что несколько времени смотрел мне в глаза и не отвечал ни слова.

— Барин сейчас едет, барыня уже уехала, — наконец проговорил он.

— Какой вздор! быть не может.

— Карета уже подана, барин одевается...

— Быть не может.

— Позвольте об вас доложить...

— Я хожу без доклада.

— Однако же...

Я оттолкнул верного приставника и поспешно пробежал ряд блестящих комнат. В доме все суетилось; в крайней комнате я нашел Вячеслава во всем параде перед зеркалом; он ужасно сердился на то, что башмак отставал у него от ноги; парикмахер поправлял на голове его накладку.

Вячеслав, увидя меня, обрадовался и смешался.

— Ах, братец! — говорил он мне с досадою, обращаясь то к камердинеру, то к парикмахеру. — Затяни этот шнурок... Зачем было мне не сказать, что ты здесь?

— Я сейчас только из дорожной кареты.

— Я бы как-нибудь отделался. Ты не знаешь, что такое здешняя жизнь... прикрепи эту пуклю... ни одной минуты для себя, не успеваешь жить и не чувствуешь, как живешь...

— Ты едешь — я тебе не мешаю...

— Ах, как досадно! Как бы хотелось с тобою остаться... здесь накладка сползает... но невозможно, поверишь мне, что невозможно...

— Верю, верю; какое-нибудь важное дело...

— Какое дело! Я дал слово князю Б. на партию виста... перчатки... он человек, от которого многое зависит, — нельзя отказаться. Ах, как бы хорошо нам встретить Новый год по старине, вспомнить былое... шляпу...

— Сделай милость, без церемоний...

Тут вошел сын его с гувернером:

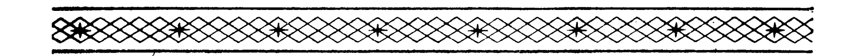
— Adieu, papa.

— А, ты уж возвратился? весел ли был ваш маскарад? Ну, прощай, ложись спать... затяни еще шнурок... Бог с тобою. Ах, боже мой, уже половина двенадцатого... прощай, моя душа! Помнишь, как мы живали! Карету, карету!..

Вячеслав побежал опрометью; я пошел за ним тихо, посмотрел на прекрасные комнаты, — они были блестящи, но холодны; в кабинете величайший порядок, все на своем месте, пакеты, чернильница; на камине часы *rococo*, на столе развернутый адрес-календарь...

Этот Новый год я встретил один, перед кувшином зельцерской воды, в гостинице для проезжающих.





БРИГАДИР

> Жил, жил, — и только что в газетах
> Осталось: «выехал в Ростов».
>
> *Дмитриев.*

Недавно случилось мне быть при смертной постели одного из тех людей, в существование которых, как кажется, не вмешивается ни одно созвездие, которые умирают, не оставив по себе ни одной мысли, ни одного чувства. Покойник всегда возбуждал мою зависть: он жил на сем свете больше полувека, и в продолжение сего времени, пока цари и царства возвышались и падали, пока открытия сменяли одно другое и превращали в развалины все то, что прежде называлось законами природы и человечества, пока мысли, порожденные трудами веков, разрастались и увлекали за собою вселенную, — мой покойник на все это не обращал никакого внимания: ел, пил, не делал ни добра, ни зла, не был никем любим и не любил никого, не был ни весел, ни печален; дошел за выслугу лет до чина статского советника и отправился на тот свет во всем параде: обритый, вымытый, в мундире.

Неприятно, тягостно это зрелище! В торжественную минуту кончины человека душа невольно ожидает сильного потрясения, а вы холодны; вы ищете слез, а на вас находит насмешливая, едва ли не презрительная улыбка!.. Такое состояние неестественно, ваше внутреннее чувство нагло обмануто, растерзано; а что всего хуже, это зрелище заставляет вас обратиться на зрелище, еще более несносное — на самого себя, возбуждает в вас докучли-

вую деятельность, разлучает вас с тем сладким равнодушием, которое в гладкую ледяную кору заключало для вас все подлунное. Прощай, свинцовая дремота! Прежде с сладострастием самоубийцы вы прислушивались к той глухой боли, которая мало-помалу точит организм ваш; а теперь вы боитесь этого верного, неизменного наслаждения; вы начинаете по-прежнему считать минуты, раскаиваться; снова решаетесь на новую борьбу с людьми и с самим собою, на старые, давно уже знакомые вам страдания...

Так было со мною. Покойника холодно отпели, холодно бросили на него горсть песку, холодно совсем закрыли землею. Нигде ни слезы, ни вздоха, ни слова. Разошлись; я вместе с другими... мне было смешно, грустно, душно; мысли и чувства теснились в душе моей, перебегали от предмета к предмету, мешали размышление с безотчетностию, веру с сомнением, метафизику с эпиграммой; долго волновались они, как волшебные пары над треножником Калиостро, и наконец мало-помалу образовали предо мною образ покойника. И он явился, — точь-в-точь как живой: указал мне на свои брюшные полости, вперил в меня глаза, ничего не выражающие. Тщетно хотел я бежать, тщетно закрывал лицо руками; мертвец всюду за мною, смеется, прядает, дразнит мое отвращение и щеголяет передо мною каким-то родственным со мною сходством...

«Ты смотрел холодно на мою кончину!» — сказал мне мертвец, и вдруг лицо его приняло совсем иное выражение: я с удивлением заметил, что во взоре его место бесчувственности заступила глубокая, неистощимая грусть; черты бессмыслия выразили лишь холодное, обжившееся отчаяние; отсутствие вдохновения превратилось в выражение беспрестанного, горького упрека...

«Ты даже с насмешкою, с презрением смотрел на мои последние страдания, — продолжал он уныло.—Напрасно! ты не понял их: обыкновенно жалеют, плачут об умершем гении, бросившем плодоносную мысль на почву человечества; о художнике, оставившем в звуках и красках все царство души своей; о законодателе, в себе одном заключившем судьбу мильонов; и о ком жалеют? о ком плачут? — о счастливцах! Над их смертною постелью витает все прекрасное, ими созданное; им разлуку с миром услаждает их право на гордость, от которого так свежо

душе человека; они в последнюю минуту, больше нежели когда-нибудь, вспоминают о делах, ими совершенных: в эту минуту и похвалы, ими слышанные и предполагаемые, и их тяжкие, таинственные страдания, даже самая неблагодарность людей — все сливается для них в громкий, благодарственный гимн, который чудною гармониею отдается в их слухе! А я и мне подобные? Мы в тысячу раз более достойны слез и сожаления! Что могло усладить мою последнюю минуту, что? разве беспамятство, то есть продолжение того же состояния, в котором я находился во всю мою жизнь? Что я оставлю по себе? *мое все со мною!* А если то, что я говорю тебе теперь, пришло мне в голову в мою последнюю минуту; если что-либо шевелилось в душе моей в продолжение моей жизни; если последнее, судорожное потрясение нервов внезапно развернуло во мне жажду любви, самосведения и деятельности, заглушенную во время жизни: буду ли я тогда достоин сожаления?»

Я содрогнулся и проговорил почти про себя: «Кто же мешал тебе?»

Мертвец не дал мне окончить, горько улыбнулся и взял меня за руку.

«Посмотри на эти китайские тени, — сказал он, — вот это я. Я в доме отца моего. Отец мой занят службою, картами и псовою охотой. Он меня кормит, поит, одевает, бранит, сечет и думает, что меня воспитывает. Матушка моя занята надзором за нравственностию целого околотка, и потому ей некогда присмотреть ни за моею, ни за своею собственною: она меня нежит, лелеет, лакомит потихоньку от отца; для приличия заставляет меня притворяться; для благопристойности говорить не то, что я думаю; быть почтительным к родне; выучивать наизусть слова, которых она не понимает, — и также думает, что она меня воспитывает. В самом же деле меня воспитывают челядинцы: они учат меня всем изобретениям невежества и разврата, и — их уроки я понимаю!..

Вот я с учителем. Он толкует мне то, чего сам не знает. Никогда не думавши о том, что есть у понятий естественный ход, он перескакивает от предмета к предмету, пропуская необходимые связи. Ничего не остается и не может остаться в голове моей. Когда я не понимаю его, — он обвиняет меня в упрямстве; когда я спрашиваю о чем, — он обвиняет меня в умничанье. Школа мне мука,

а ученье не развертывает, а только убивает мои способности.

Мне еще не исполнилось четырнадцати лет, а уж конец ученью! Как я рад! я уж затянут в сержантский мундир; днем хожу в караул и на ученье, а больше езжу по родне и начальникам; ночью завиваю пукли, пудрюсь и танцую до упада. Время бежит, и подумать — физически некогда. Батюшка учит меня ходить на поклоны и подличать; матушка показывает мне богатых невест. Когда я осмеливаюсь сделать какое-нибудь возражение, — это называют неповиновением родительской власти; когда мне случайно удается выговорить мысль, которую я не слыхал ни от батюшки, ни от матушки, — это называют вольнодумством. Меня бранят и грозят мне за все, за что бы должно хвалить, и хвалят за все, за что бы должно бранить. И естественное состояние души моей превратилось: я запуган, закружен; к тому же природа совсем некстати снабдила меня слабыми нервами, и я — *оторопел на всю жизнь:* на все мои душевные способности нашло какое-то онемение; нечему развернуть их: они еще в почке, а уж раздавлены всем, меня окружающим; нет предмета для мыслей; может быть, мог бы я думать, да не с чего начать и не умею; я также не могу вообразить, что можно о чем-нибудь думать, кроме моих ботфортов, как глухонемой не может себе вообразить, что такое звук... Между тем я пью и играю, ибо иначе меня назовут дурным товарищем, что бы мне было очень прискорбно.

Все женятся. Надобно жениться и мне. Вот я женат. Жена мне под пару. А я все тот же: в голове у меня до сих пор одни батюшкины мысли: если как-нибудь придет мне в голову мысль, непохожая на батюшкину, то я от нее отмаливаюсь, как от бесовского наваждения; боюсь быть дурным сыном, ибо хоть не понимаю, в чем состоит добродетель, но мне по инстинкту хочется быть добродетельным. Вот почему утром мы с женою сводим разные счеты, — ибо батюшка пуще совести наказал мне не растерять имение, а потом, — потом туалет, обед, карты, танцы. Мы живем очень весело; время бежит, и очень скоро. Когда мне по инстинкту захочется переменить что-нибудь в нашем образе жизни, — жена мне грозит названием дурного мужа, и я продолжаю ей покоряться, потому что мне хочется сохранить уже приобретенное мною название истинного христианина и человека с прави-

лами. Этому много помогает то, что я усердно езжу к родне и не пропускаю ни одних именин и ни одного рождения.

Вот у меня дети; я очень рад; говорят, что их надобно воспитывать, — почему не так! В чем состоит воспитание — мне некогда было подумать, и потому я счел за лучшее воспользоваться батюшкиными советами и стал детей точно так же воспитывать, как меня воспитывали, и говорить им точно те же слова, которые мне батюшка говорил. Так гораздо покойнее! Правда, многие из его слов я повторяю так, по привычке, кстати и некстати, не присоединяя к ним никакого смысла, — но что нужды! — очевидно, что отец не мог желать мне худого, и потому все-таки его слова принесут моим детям пользу, и опытность отцов не будет потеряна для детей. Иногда, от такого повторения чужих слов, у меня краска вспыхивает в лице; но чем другим, если не таким беспрестанным памятованием отцовских наставлений, можно лучше доказать сыновнее почтение и что мне, в свою очередь, может доставить больше прав на такое же почтение детей моих? — не знаю.

По инстинкту мне захотелось отдать детей в общественное заведение; но вся родня мне сказала, что в школе мои дети потеряют приобретенные ими в доме правила нравственности и сделаются вольнодумцами. Для сохранения семейного спокойствия я решился учить их дома и, не умея выбрать учителей, выбираю их и плачу дорого; вся родня моя за то мною не нахвалится и уверяет, что на детей моих сошло божие благословение, потому что они во всем на меня похожи как две капли воды. Но это не совсем правда: жена мне много мешает.

Я жены моей никогда не любил, и что такое любовь, я никогда не знал; я сначала не замечал этого; пока нам говорить было некогда и не о чем, мы как-то уживались; теперь же, как народились дети и мы стали меньше выезжать, — беда моя приходит! мы ни в чем с женою не согласны: я хочу одного, она другого; начнем ни с того ни с сего; оба говорим; друг друга не понимаем, и, — сам не знаю, — всякий спор обратится в спор о том, кто из нас умнее, а этот спор длится всегда двадцать четыре часа; и как только мы вместе, то или молчим да скучаем, или — содом содомом! она закричит, я уговаривать; она завизжит — я кричать; она в слезы, потом больна —

я ухаживать. Так проходят целые дни; время бежит, и очень скоро.

Отчего происходят наши ссоры — право, не понимаю: мы оба, кажется, смирного нрава и люди (все говорят) нравственные; я почтительный сын, она почтительная дочь; я уже сказал, что учу детей своих тому, чему меня сам отец учил, а она учит, чему ее сама мать учила, — чего бы лучше? Но, к несчастию, мой батюшка и ее матушка противоречили друг другу; оттого мы свято исполняем родительский долг, а сбиваем детей с толку: она их держит в хлопках, я вожу на мороз, — дети мрут; за что бог меня наказывает?

Мне уж приходит невтерпеж, и, хоть для спасения детей, я хотел было пустить мою жену на все четыре стороны; но как я покажусь на глаза людям, подавши такой пример безнравственности? Нечего делать! видно, век терпеть муку; утешительно, что хоть чужие люди нас за то хвалят и называют примерными супругами, потому что хотя друг друга терпеть не можем, да живем вместе по закону.

Между тем время все бежит да бежит, а с ним растут и мои чины; по чинам мне дают место; по инстинкту я догадываюсь, что не могу занимать его, — ибо от непривычки к чтению я, читая, ничего не понимаю. Но мне сказали, что я буду дурным отцом, если не воспользуюсь этим местом, чтоб пристроить детей; я не захотел быть дурным отцом и потому принял место; сначала посовестился, стал было читать, да вижу, что хуже, а потом отдал все бумаги на попечение секретаря, а сам принялся подписывать да пристраивать детей — чем и заслужил название доброго начальника и попечительного отца.

А время бежит да бежит; вот я уже переступил через четвертый десяток; период жизни, в котором умственная деятельность достигает высшей точки своего развития, уже прошел; мои брюшные полости раздвигаются все больше и больше, и я начал, как говорится, идти в тело. Когда уже прежде, до сего периода, ни одна мысль не могла протолкаться мне в голову, — чему же быть теперь? Не думать сделалось мне привычкою, второю природой. Когда от ослабления сил нельзя мне выехать, — мне скучно, очень скучно, а отчего? — сам не знаю. Примусь раскладывать гранпасьянс — скучно. Бранюсь с женою — скучно. Пересилю себя, поеду на вечер, — все скучно. Примусь за

книгу — кажется, русские слова, а словно по-татарски; придет приятель да расскажет, я как будто пойму; стану читать, — опять не понимаю. От всего этого на меня находит, что говорится, *хандра*, за что жена меня очень бранит; она спрашивает меня: разве чего мне недостает или я в чем несчастен? — я приписываю все это геморрою.

Вот я болен, в первый раз в жизни; я тяжело болен, — меня уложили в постель. Как неприятно быть больным! Нет сна, нет аппетита! как скучно! а вот и страдания! чем заглушить их? Как приедут люди поговорить, — ибо вся моя родня свято наблюдает родственные связи, — то как будто легче, а все скучно и страшно. Но что-то родные начинают чаще приезжать; они что-то шепчутся с доктором, — плохо! Ахти! говорят уж мне о причастии, о соборовании маслом. Ах! они все такие хорошие християне, — но ведь это значит, что я уже при последнем конце. Так нет уже надежды? Должно оставить жизнь, все: и обеды, и карты, и мой шитый мундир, и четверку вороных, на которых я еще не успел поездить, — ах, как тяжело! Принесите мне показать новую ливрею; позовите детей; нельзя ли еще помочь? призовите еще докторов; дайте какого хотите лекарства; отдайте половину моего имения, все мое имение: поживу, наживу — только помогите, спасите!..

Но вдруг сцена переменилась, страшная судорога потрясла мои нервы, и как завеса упала с глаз моих. Все, что тревожит душу человека, одаренного сильною деятельностию: ненасытная жажда познаний, стремление действовать, потрясать сердца силою слова, оставить по себе резкую бразду в умах человеческих, — в возвышенном чувстве, как в жарких объятиях, обхватить и природу и человека, — все это запылало в голове моей: предо мною раскрылась бездна любви и человеческого самосведения. Страдания целой жизни гения, не утолимые никаким наслаждением, врезались в мое сердце, и все это в ту минуту, когда был конец моей деятельности. Я метался, рвался, произносил отрывистые слова, которыми в один миг хотел высказать себе то, на что недостаточно человеческой жизни; родные воображали, что я в беспамятстве. О, каким языком выразить мои страдания! Я начал *думать!* Думать — страшное слово после шестидесятилетней бессмысленной жизни! Я понял *любовь!* любовь —

страшное слово после шестидесятилетней бесчувственной жизни!

И вся жизнь моя предстала мне во всей отвратительной наготе своей!

Я позабыл все обстоятельства, встретившие меня с моего рождения; все неумолимые условия общества, которые связывали меня в продолжение жизни. Я видел одно: посрамленные мною дары провидения! И все минуты моего существования, затоптанные в бессмыслии, приличиях, ничтожестве, слились в один страшный упрек и жгучим холодом обдавали мое сердце!

Тщетно искал я в своем существовании одной мысли, одного чувства, которыми бы я мог прикрыться от гнева вседержителя! Пустыня отвечала мне, и в детях моих я видел продолжение моего ничтожества: ах! если бы я мог говорить, если бы я мог вразумить меня окружающих, если б мог поделиться собою с ними, дать ощутить им то чувство, которым догорала душа моя! Тщетно я простирал мои руки к людям, — хладные, загрубелые, они хотели познать дружеское пожатие; но человечество чуждалось немеющего трупа — и я видел лишь одного себя перед собою — себя, одинокого, безобразного! Я жаждал взора, который бы отрадою сочувствия пролился в мою душу, — и встретил лишь насмешливое презрение на лице твоем! Я понял его, я разделил его! я с страшною, неотвратимою, вечною горечью оставил земную оболочку!.. Теперь, если хочешь, не сожалей обо мне, не плачь обо мне, презирай меня!»

Кровавые слезы покатились по синим щекам мертвеца, и он исчез с грустною улыбкой... Я возвратился на его могилу, преклонил колени, молился и долго плакал; не знаю, поняли ли проходящие, о чем я плакал...





БАЛ

Gaudium magnum nuntio vobis [1].

I

Победа! победа!..читали вы бюллетень? важная победа! историческая победа! особенно отличились картечь и разрывные бомбы; десять тысяч убитых; вдвое против того отнесено на перевязку; рук и ног груды; взяты пушки с бою; привезены знамена, обрызганные кровью и мозгом; на иных отпечатались кровавые руки. Как, зачем, из-за чего была свалка, знают немногие, и то про себя; но что нужды! победа! победа! во всем городе радость! сигнал подан: праздник за праздником; никто не хочет отстать от других. Тридцать тысяч вон из строя! Шутка ли! все веселится, поет и пляшет...

Бал разгорался час от часу сильнее; тонкий чад волновался над бесчисленными тускнеющими свечами; сквозь него трепетали штофные занавесы, мраморные вазы, золотые кисти, барельефы, колонны, картины; от обнаженной груди красавиц поднимался знойный воздух и часто, когда пáры, будто бы вырвавшиеся из рук чародея, в быстром кружении промелькали перед глазами, — вас, как в безводных степях Аравии, обдавал горячий, удушающий ветер; час от часу скорее развивались душистые локоны; смятая дымка небрежнее свертывалась на распаленные

---

[1] Великую радость возвещаю вам — обыкновенная формула, которою в Риме объявляется об избрании папы. *(Прим. В. Ф. Одоевского.)*

плечи; быстрее бился пульс; чаще встречались руки, близились вспыхивающие лица; томнее делались взоры, слышнее смех и шепот; старики поднимались с мест своих, расправляли бессильные члены, и в их полупотухших, остолбенелых глазах мешалась горькая зависть с горьким воспоминанием прошедшего, — и все вертелось, прыгало, бесновалось в сладострастном безумии...

На небольшом возвышении с визгом скользили смычки по натянутым струнам; трепетал могильный голос валторн, и однообразные звуки литавр отзывались насмешливым хохотом. Седой капельмейстер, с улыбкой на лице, вне себя от восторга, беспрестанно учащал размер и взором, телодвижениями возбуждал утомленных музыкантов.

— Не правда ли? — говорил он мне отрывисто, не оставляя смычка, — не правда ли? я говорил, что бал будет на славу, — и сдержал свое слово; все дело в музыке; я ее нарочно так и составил, чтобы она с места поднимала... не давала бы задуматься... так приказано... в сочинениях славных музыкантов есть странные места — я славно подобрал их — в этом все дело; вот слышите: это вопль доны Анны, когда Дон-Жуан насмехается над нею; вот стон умирающего Командора; вот минута, когда Отелло начинает верить своей ревности, — вот последняя молитва Дездемоны.

Еще долго капельмейстер исчислял мне все человеческие страдания, получившие голос в произведениях славных музыкантов; но я не слушал его более, — я заметил в музыке что-то обворожительно-ужасное: я заметил, что к каждому звуку присоединялся другой звук, более пронзительный, от которого холод пробегал по жилам и волосы дыбом становились на голове; прислушиваюсь: то как будто крик страждущего младенца, или буйный вопль юноши, или визг матери над окровавленным сыном, или трепещущее стенание старца, — и все голоса различных терзаний человеческих явились мне разложенными по степеням одной бесконечной гаммы, продолжавшейся от первого вопля новорожденного до последней мысли умирающего Байрона: каждый звук вырвался из раздраженного нерва, и каждый напев был судорожным движением.

Этот страшный оркестр темным облаком висел над танцующими, — при каждом ударе оркестра вырывались

из облака: и громкая речь негодования; и прорывающийся лепет побежденного болью; и глухой говор отчаяния; и резкая скорбь жениха, разлученного с невестою; и раскаяние измены; и крик разъяренной торжествующей черни; и насмешка неверия; и бесплодное рыдание гения; и таинственная печаль лицемера; и плач; и взрыд; и хохот... и все сливалось в неистовые созвучия, которые громко выговаривали проклятие природе и ропот на провидение; при каждом ударе оркестра выставлялись из него то посинелое лицо изнеможденного пыткою, то смеющиеся глаза сумасшедшего, то трясущиеся колена убийцы, то спекшиеся уста убитого; из темного облака капали на паркет кровавые капли и слезы, — по ним скользили атласные башмаки красавиц... и все по-прежнему вертелось, прыгало, бесновалось в сладострастно-холодном безумии...

Свечи нагорели и меркнут в удушливом паре. Если сквозь колеблющийся туман всмотреться в толпу, то иногда кажется, что пляшут не люди... в быстром движении с них слетает одежда, волосы, тело... и пляшут скелеты, постукивая друг о друга костями... а над ними под ту же музыку тянется вереница других скелетов, изломанных, обезображенных... но в зале ничего этого не замечают... все пляшет и беснуется как ни в чем не бывало.

2

Долго за рассвет длился бал; долго поднятые с постели житейскими заботами останавливались посмотреть на мелькающие тени в светлых окошках.

Закруженный, усталый, истерзанный его мучительным весельем, я выскочил на улицу из душных комнат и впивал в себя свежий воздух; утренний благовест терялся в шуме разъезжающихся экипажей; предо мною были растворенные двери храма.

Я вошел; в церкви пусто, одна свеча горела пред иконою, и тихий голос священника раздавался под сводами: он произносил заветные слова любви, веры, надежды; он возвещал таинство искупления, он говорил о том, кто соединил в себе все страдания человека; он говорил о высоком созерцании божества, о мире душевном, о милосердии к ближнему, о братском соединении человечества, о забве-

нии обид, о прощении врагам, о тщете замыслов богопротивных, о беспрерывном совершенствовании души человека, о смирении пред судьбами всевышнего, он молился об убиенных и убийцах, он молился об оглашенных, о предстоящих!

Я бросился к притвору храма, хотел удержать беснующихся страдальцев, сорвать с сладострастного ложа их помертвелое сердце, возбудить его от хладного сна огненною гармониею любви и веры, — но уже было поздно! все проехали мимо церкви, и никто не слыхал слов священника...





СКАЗКА

о том, по какому случаю коллежскому советнику Ивану Богдановичу Отношенью не удалося в светлое воскресенье поздравить своих начальников с праздником

Во светлой мрачности блистающих ночей
Явился темный свет из солнечных лучей.

Кн. Шаховской.

Коллежский советник Иван Богданович Отношенье, — в течение сорокалетнего служения своего в звании председателя какой-то временной комиссии, — провождал жизнь тихую и безмятежную. Каждое утро, за исключением праздников, он вставал в восемь часов; в девять отправлялся в комиссию, где хладнокровно, — не трогаясь ни сердцем, ни с места, не сердясь и не ломая головы понапрасну, — очищал нумера, подписывал отношения, помечал входящие. В сем занятии проходило утро. Подчиненные подражали во всем своему начальнику: спокойно, бесстрастно писали, переписывали бумаги, и составляли им реестры и алфавиты, не обращая внимания ни на дела, ни на просителей. Войдя в комиссию Ивана Богдановича, можно было подумать, что вы вошли в трапезу молчальников, — таково было ее безмолвие. Какая-то тень жизни появлялась в ней к концу года, пред составлением годовых отчетов; тогда заметно было во всех чиновниках особенного рода движение, а на лице Ивана Богдановича даже беспокойство; но когда по составлении отчета Иван Богданович подводил итог, тогда его лицо прояснялось и он, — ударив по столу рукою и сильно вздохнув, как

после тяжкой работы, — восклицал: «Ну, слава богу! в нынешнем году у нас бумаг вдвое более против прошлогоднего!» — и радость разливалась по целой комиссии, и назавтра снова с тем же спокойствием чиновники принимались за обыкновенную свою работу; подобная же аккуратность замечалась и во всех действиях Ивана Богдановича: никто ранее его не являлся поздравлять начальников с праздником, днем именин или рожденья; в Новый год ничье имя выше его не стояло на визитных реестрах; мудрено ли, что за все это он пользовался репутацией основательного, делового человека и аккуратного чиновника. Но Иван Богданович позволял себе и маленькие наслаждения: в будни едва било три часа, как Иван Богданович вскакивал с своего места, — хотя бы ему оставалось поставить одну точку к недоконченной бумаге, — брал шляпу, кланялся своим подчиненным и, проходя мимо их, говорил любимым чиновникам — двум начальникам отделений и одному столоначальнику: «Ну... сегодня... знаешь?» Любимые чиновники понимали значение этих таинственных слов и после обеда являлись в дом Ивана Богдановича на партию бостона; и аккуратным поведением начальника было произведено столь благодетельное влияние на его подчиненных, что для них поутру явиться в канцелярию, а вечером играть в бостон казалось необходимою принадлежностию службы. В праздники они не ходили в комиссию и не играли в бостон, потому что в праздничный день Иван Богданович имел обыкновение после обеда, — хорошенько расправив свой Аннинский крест, — выходить один или с дамами на Невский проспект; или заходить в кабинет восковых фигур или в зверинец, а иногда и в театр, когда давали веселую пьесу и плясали по-цыгански. В сем безмятежном счастии протекло, как сказал я, более сорока лет, и во все это время ни образ жизни, ни даже черты лица Ивана Богдановича нимало не изменились; только он стал против прежнего немного поплотнее.

Однажды случись в комиссии какое-то экстренное дело, и, вообразите себе, в самую страстную субботу; с раннего утра собрались в канцелярию все чиновники, и Иван Богданович с ними; писали, писали, трудились, трудились и только к четырем часам успели окончить экстренное дело. Устал Иван Богданович после девятичасовой работы; почти обеспамятел от радости, что сбыл ее

с рук и, проходя мимо своих любимых чиновников, не утерпел, проговорил: «Ну... сегодня... знаешь?» Чиновники нимало не удивились сему приглашению и почли его естественным следствием их утреннего занятия, так твердо был внушен им канцелярский порядок; они явились в урочное время, разложились карточные столы, поставились свечи, и комнаты огласились веселыми словами: шесть в сюрах, один на червях, мизер уверт и проч. т. п.

Но эти слова достигли до почтенной матушки Ивана Богдановича, очень набожной старушки, которая имела обыкновение по целым дням не говорить ни слова, не вставать с места и прилежно заниматься вывязыванием на длинных спицах фуфаек, колпаков и других произведений изящного искусства. На этот раз отворились запекшиеся уста ее, и она прерывающимся от непривычки голосом произнесла:

— Иван Богданович! А! Иван Богданович! что ты... это?.. ведь это... это... это... не водится... в такой день... в карты... Иван Богданович!.. а!.. Иван Богданович! что ты... что ты... в эдакой день... скоро заутреня... что ты...

Я и забыл сказать, что Иван Богданович, тихий и смиренный в продолжение целого дня, делался львом за картами; зеленый стол производил на него какое-то очарование, как Сивиллин треножник; духовное начало деятельности, разлитое природою по всем своим произведениям; потребность раздражения; то таинственное чувство, которое заставляет иных совершать преступления, других изнурять свою душу мучительною любовию, третьих прибегать к опиуму, — в организме Ивана Богдановича образовалась под видом страсти к бостону; минуты за бостоном были *сильными минутами* в жизни Ивана Богдановича; в эти минуты сосредоточивалась вся его душевная деятельность, быстрее бился пульс, кровь скорее обращалась в жилах, глаза горели, и весь он был в каком-то самозабвении.

После этого не мудрено, если Иван Богданович почти не слыхал или не хотел слушать слов старушки: к тому же в эту минуту у него на руках были десять в сюрах, — неслыханное дело в четверном бостоне!

Закрыв десятую взятку, Иван Богданович отдохнул от сильного напряжения и проговорил:

— Не беспокойтесь, матушка, еще до заутрени далеко; мы люди деловые, нам нельзя разбирать времени, нам и бог простит — мы же тотчас и кончим.

Между тем на зеленом столе ремиз цепляется за ремизом; пулька растет горою; приходят игры небывалые, такие игры, о которых долго сохраняется память в изустных преданиях бостонной летописи; игра была во всем пылу, во всей красе, во всем интересе, когда раздался первый выстрел из пушки; игроки не слыхали его; они не видали и нового появления матушки Ивана Богдановича, которая, истощив все свое красноречие, молча покачала головою и наконец ушла из дома, чтобы приискать себе в церкви место попокойнее.

Вот другой выстрел — а они все играют: ремиз цепляется за ремизом, пулька растет и приходят игры небывалые.

Вот и третий, игроки вздрогнули, хотят приподняться — но не тут-то было: они приросли к стульям; их руки сами собою берут карты, тасуют, раздают; их язык сам собою произносит заветные слова бостона; двери комнаты сами собою прихлопнулись.

Вот на улице звон колокольный, все в движении, говорят прохожие, стучат экипажи, а игроки все играют и ремиз цепляется за ремизом.

«Пора б кончить!» — хотел было сказать один из гостей, но язык его не послушался, как-то странно перевернулся и, сбитый с толку, произнес:

— Ах! что может сравниться с удовольствием играть в бостон в страстную субботу.

«Конечно! — хотел отвечать ему другой, — да что подумают о нас домашние?» — но и его язык также не послушался, а произнес:

— Пусть домашние говорят что хотят, нам здесь гораздо веселее.

С удивлением слушают они друг друга, хотят противоречить, но голова их сама нагибается в знак согласия.

Вот отошла заутреня, отошла и обедня; добрые люди, а с ними матушка Ивана Богдановича, — в веселых мечтах сладко разговеться залегли в постелю; другие примеривают мундир, справляются с адрес-календарем, выправляют визитные реестры. Вот уже рассвело, на улицах чокаются, из карет выглядывает золотое шитье, треугольные шляпы торчат на фризовых и камлотных шинелях,

курьеры навеселе шатаются от дверей к дверям, суют карточки в руки швейцаров и половину сеют на улице, мальчики играют в биток и катают яйца.

Но в комнате игроков все еще ночь; все еще горят свечи; игроков мучит и совесть, и голод, и сон, и усталость, и жажда; судорожно изгибаются они на стульях, стараясь от них оторваться, но тщетно; усталые руки тасуют карты, язык выговаривает шесть и восемь, ремиз цепляется за ремизом, пулька растет, приходят игры небывалые.

Наконец догадался один из игроков и, собрав силы, задул свечки; в одно мгновение они загорелись черным пламенем; во все стороны разлились темные лучи, и белая тень от игроков протянулась по полу; карты выскочили у них из рук: дамы столкнули игроков со стульев, сели на их место, схватили их, перетасовали, — и составилась целая масть Иванов Богдановичей, целая масть начальников отделения, целая масть столоначальников, и началась игра, игра адская, которая никогда не приходила в голову сочинителя «Открытых таинств картежной игры».

Между тем короли уселись на креслах, тузы на диванах, валеты снимали со свечей, десятки, словно толстые откупщики, гордо расхаживали по комнате, двойки и тройки почтительно прижимались к стенкам.

Не знаю, долго ли дамы хлопали об стол несчастных Иванов Богдановичей, загибали на них углы, гнули их в пароль, в досаде кусали зубами и бросали на пол...

Когда матушка Ивана Богдановича, тщетно ожидавшая его к обеду, узнала, что он никуда не выезжал, и вошла к нему в комнату, он и его товарищи, усталые, измученные, спали мертвым сном: кто на столе, кто под столом, кто на стуле...

И по канцеляриям долго дивились: отчего Ивану Богдановичу не удалось в светлое воскресенье поздравить своих начальников с праздником?





СКАЗКА

о мертвом теле, неизвестно кому принадлежащем

> Правда, волостной писарь, выходя на четвереньках из шинка, видел, что месяц ни с сего ни с того танцевал на небе, и уверял с божбою в том все село; но миряне качали головами и даже подымали его на смех.
>
> *Гоголь,* в «Вечерах на хуторе».

По торговым селам Реженского уезда было сделано от земского суда следующее объявление:

«От Реженского земского суда объявляется, что в ведомстве его, на выгонной земле деревни Морковкиной-Наташиной тож, 21-го минувшего ноября найдено неизвестно чье мертвое мужеска пола тело, одетое в серый суконный ветхий шинель; в нитяном кушаке, жилете суконном красного и отчасти зеленого цвета, в рубашке красной пестрядинной; на голове картуз из старых пестрядинных тряпиц с кожаным козырьком: от роду покойному около 43 лет, росту 2 арш. 10 вершков, волосом светло-рус, лицом бел, гладколиц, глаза серые, бороду бреет, подбородок с проседью, нос велик и несколько на сторону, телосложения слабого. По чему сим объявляется: не окажется ли оному телу бывших родственников или владельца оного тела; таковые благоволили бы уведомить от себя в село Морковкино-Наташино тож, где и следствие об оном, неизвестно кому принадлежащем,

теле производится; а если таковых не найдется, то и о том благоволили бы уведомить в оное же село Морковкино».

Три недели прошло в ожидании владельцев мертвого тела; никто не являлся, и наконец заседатель с уездным лекарем отправились к помещику села Морковкина в гости; в выморочной избе отвели квартиру приказному Севастьянычу, также прикомандированному на следствие. В той же избе, в заклети, находилось мертвое тело, которое назавтра суд собирался вскрыть и похоронить обыкновенным порядком. Ласковый помещик для утешения Севастьяныча в его уединении прислал ему с барского двора гуся с подливой да штоф домашней желудочной настойки.

Уже смерклось. Севастьяныч, как человек аккуратный, вместо того чтоб, по обыкновению своих собратий, взобраться на полати возле только что истопленной печи, — рассудил за благо заняться приготовлением бумаг к завтрашнему заседанию, по тому более уважению, что хотя от гуся осталися одни кости, но только четверть штофа была опорожнена; он предварительно поправил светильню в железном ночнике, нарочито для подобных случаев хранимом старостою села Морковкина, — и потом из кожаного мешка вытащил старую замасленную тетрадку. Севастьяныч не мог смотреть на нее без умиления: то были выписки из различных указов, касающихся до земских дел, доставшиеся ему по наследству от батюшки, блаженной памяти подьячего с приписью, в городе Реженске за ябеды, лихоимство и непристойное поведение отставленного от должности, с таковым, впрочем, пояснением, чтобы его впредь никуда не определять и просьб от него не принимать, — за что он и пользовался уважением всего уезда. Севастьяныч невольно вспоминал, что эта тетрадка была единственный кодекс, которым руководствовался Реженский земский суд в своих действиях; что один Севастьяныч мог быть истолкователем таинственных символов этой Сивиллиной книги; что посредством ее магической силы он держал в повиновении и исправника и заседателей и заставлял всех жителей околотка прибегать к себе за советами и наставлениями; почему он и берег ее как зеницу ока, никому не показывал и вынимал из-под спуда только в случае крайней надобности; с усмешкою он останавливался на тех страницах, где частию рукою его

покойного батюшки и частию его собственною были то замараны, то вновь написаны разные незначащие частицы: как-то: *не, а, и* и проч., и естественным образом Севастьянычу приходило на ум: как глупы люди и как умны он и его батюшка.

Между тем он опорожнил вторую четверть штофа и принялся за работу; но пока привычная рука его быстро выгибала крючки на бумаге, его самолюбие, возбужденное видом тетрадки, работало: он вспоминал, сколько раз он перевозил мертвые тела на границу соседнего уезда и тем избавлял своего исправника от излишних хлопот; да и вообще: составить ли определение, справки ли навести, подвести ли законы, войти ли в сношение с просителями, рапортовать ли начальству о невозможности исполнить его предписания, — везде и на все Севастьяныч; с улыбкою вспоминал он об изобретенном им средстве: всякий повальный обыск обращать в любую сторону; он вспомнил, как еще недавно таким невинным способом он спас одного своего благоприятеля, — этот благоприятель сделал какое-то дельце, за которое мог бы легко совершить некоторое не совсем приятное путешествие; учинен допрос, наряжен повальный обыск, — но при сем случае Севастьяныч надоумил спросить прежде всех одного грамотного молодца с руки его благоприятелю; по словам грамотного молодца написали бумагу, которую грамотный молодец, перекрестяся, подписал, а сам Севастьяныч приступил к одному обывателю, к другому, к третьему с вопросом: «И ты тоже, и ты тоже?» — да так скоро начал перебирать их, что, пока обыватели еще чесали за ухом и кланялись, приготовляясь к ответу, — он успел их переспросить всех до последнего, и грамотный молодец снова, за неумением грамоты своих товарищей, подписал, перекрестяся, их единогласное показание. С не меньшим удовольствием вспоминал Севастьяныч, как при случившемся значительном начете на исправника он успел вплести в это дело человек до пятнадцати, начет разложить на всю братию, а потом всех и подвести под милостивый манифест. Словом, Севастьяныч видел, что во всех знаменитых делах Реженского земского суда он был единственным виновником, единственным выдумщиком и единственным исполнителем; что без него бы погиб заседатель, погиб исправник, погиб и уездный судья, и уездный предводитель; что им одним держится древняя слава

Реженского уезда, — и невольно по душе Севастьяныча пробежало сладкое ощущение собственного достоинства. Правда, издали как будто из облаков — мелькали ему в глаза сердитые глаза губернатора, допрашивающее лицо секретаря уголовной палаты; но он посмотрел на занесенные метелью окошки; подумал о трехстах верстах, отделяющих его от сего ужасного призрака; для увеличения бодрости выпил третью четверть штофа — и мысли его сделались гораздо веселее: ему представился его веселый реженский домик, нажитый своим умком; бутыли с наливкою на окошке между двумя бальзаминными горшками; шкаф с посудою и между нею в середине на почетном месте хрустальная на фарфоровом блюдце перешница: вот идет его полная белолицая Лукерья Петровна; в руках у ней сдобный крупичатый каравай; вот телка, откормленная к святкам, смотрит на Севастьяныча; большой чайник с самоваром ему кланяется и подвигается к нему; вот теплая лежанка, а возле лежанки перина с камчатным одеялом, а под периною свернутый лоскут пестрядки, а в пестрядке белая холстинка, и в холстинке кожаный книжник, а в книжнике серенькие бумажки; тут воображение перенесло Севастьяныча в лета его юности, ему представилось его бедное житье-бытье в батюшкином доме; как часто он голодал от матушкиной скупости; как его отдали к дьячку учиться грамоте, — он от души хохотал, вспоминая, как однажды с товарищами забрался к своему учителю в сад за яблоками и напугал дьячка, который принял его за настоящего вора; как за то был высечен и в отмщение оскоромил своего учителя в самую страстную пятницу; потом представлялось ему: как наконец он обогнал всех своих сверстников и достиг до того, что читал апостол в приходской церкви, начиная самым густым басом и кончая самым тоненьким голоском, на удивление всему городу; как исправник, заметив, что в ребенке будет прок, приписал его к земскому суду; как он начал входить в ум; оженился с своею дражайшею Лукерьей Петровной; получил чин губернского регистратора, в коем и до днесь пребывает да добра наживает; сердце его растаяло от умиления, и он на радости опорожнил и последнюю четверть обворожительного напитка. Тут пришло Севастьянычу в голову, что он не только что в приказе, но хват на все руки: как заслушиваются его, когда он под вечерок в веселый час примется рассказывать о Бове Королевиче, о похождениях

Ваньки Каина, о путешествии купца Коробейникова в Иерусалим — неумолкаемые гусли, да и только! — и Севастьяныч начал мечтать: куда бы хорошо было, если бы у него была сила Бовы Королевича и он бы смог кого за руку — у того рука прочь, кого за голову — у того голова прочь; потом захотелось ему посмотреть, что за Кипрский таков остров есть, который, как описывает Коробейников, изобилен деревянным маслом и греческим мылом, где люди ездят на ослах и на верблюдах, и он стал смеяться над тамошними обывателями, которые не могут догадаться запрячь их в сани; тут начались в голове его рассуждения: он нашел, что или в книгах неправду пишут, или вообще греки должны быть народ очень глупый, потому что он сам расспрашивал у греков, приезжавших на реженскую ярмарку с мылом и пряниками и которым, кажется, должно было знать, что в их земле делается, — зачем они взяли город Трою — как именно пишет Коробейников, — а Царьград уступили туркам! и никакого толка от этого народа не мог добиться: что за Троя такая, греки не могли ему рассказать, говоря, что, вероятно, выстроили и взяли этот город в их отсутствие; пока он занимался этим важным вопросом, пред глазами его проходили: и арабские разбойники; и Гнилое море; и процессия погребения кота; и палаты царя Фараона, внутри все вызолоченные; и птица Строфокамил, вышиною с человека, с утиною головою, с камнем в копыте...

Его размышления были прерваны следующими словами, которые кто-то проговорил подле него:

— Батюшка, Иван Севастьяныч! я к вам с покорнейшею просьбою.

Эти слова напомнили Севастьянычу его ролю приказного, и он, по обыкновению, принялся писать гораздо скорее, наклонил голову как можно ниже и, не сворачивая глаз с бумаги, отвечал протяжным голосом:

— Что вам угодно?

— Вы от суда вызываете владельцев поднятого в Морковкине мертвого тела.

— Та-ак-с.

— Так изволите видеть — это тело мое.

— Та-ак-с.

— Так нельзя ли мне сделать милость, поскорее его выдать?

— Та-ак-с.

— А уж на благодарность мою надейтесь...

— Та-ак-с. Что же покойник-та, крепостной, что ли, ваш был?..

— Нет, Иван Севастьяныч, какой крепостной, это тело мое, собственное мое...

— Та-ак-с.

— Вы можете себе вообразить, каково мне без тела... сделайте одолжение, помогите поскорее.

— Все можно-с, да трудновато немного скоро-то это сделать, — ведь оно не блин, кругом пальца не обвернешь; справки надобно навести... Кабы подмазать немного...

— Да уж в этом не сомневайтесь, — выдайте лишь только мое тело, так я и пятидесяти рублей не пожалею...

При сих словах Севастьяныч поднял голову, но, не видя никого, сказал:

— Да войдите сюда, что на морозе стоять.

— Да я здесь, Иван Севастьяныч, возле вас стою.

Севастьяныч поправил лампадку, протер глаза, но, не видя ничего, пробормотал:

— Тьфу, к черту! — да что я, ослеп, что ли? я вас не вижу, сударь.

— Ничего нет мудреного!.. как же вам меня видеть? я — без тела!

— Я, право, в толк не возьму вашей речи, дайте хоть взглянуть на себя.

— Извольте, я могу вам показаться на минуту... только мне это очень трудно...

И при этих словах в темном углу стало показываться какое-то лицо без образа: то явится, то опять пропадет, словно молодой человек, в первый раз приехавший на бал, — хочется ему подойти к дамам и боится, выставит лицо из толпы и опять спрячется...

— Извините-с, — между тем говорил голос, — сделайте милость, извините, вы не можете себе вообразить, как трудно без тела показываться!.. сделайте милость, отдайте мне его поскорее, — говорят вам, что пятидесяти рублей не пожалею.

— Рад вам служить, сударь, но, право, в толк не возьму ваших речей... есть у вас просьба?..

— Помилуйте, какая просьба? как мне было без тела ее написать? уж сделайте милость, вы сами потрудитесь.

— Легко сказать, сударь, потрудиться, говорят вам, что я тут ни черта не понимаю...

— Уж пишите только, — я вам буду сказывать.

Севастьяныч вынул лист гербовой бумаги.

— Скажите, сделайте милость: есть ли у вас по крайней мере чин, имя и отчество?

— Как же?.. Меня зовут Цвеерлей-Джон-Луи.

— Чин ваш, сударь?

— Иностранец.

И Севастьяныч написал на гербовом листе крупными словами:

«В Реженский земский суд от иностранного недоросля из дворян Савелия Жалуева, объяснение».

— Что ж далее?

— Извольте только писать, я уж вам буду сказывать; пишите: имею я...

— Недвижимое имение, что ли? — спросил Севастьяныч.

— Нет-с: имею я несчастную слабость...

— К крепким напиткам, что ли? о, это весьма непохвально...

— Нет-с: имею я несчастную слабость выходить из моего тела...

— Кой черт! — вскричал Севастьяныч, кинув перо, — да вы меня морочите, сударь!

— Уверяю вас, что говорю сущую правду, пишите, только знайте: пятьдесят рублей вам за одну просьбу, да пятьдесят еще, когда выхлопочете дело...

И Севастьяныч снова принялся за пёро.

«Сего 20 октября ехал я в кибитке, по своей надобности, по реженскому тракту, на одной подводе, и как на дворе было холодно, и дороги Реженского уезда особенно дурны...»

— Нет, уж на этом извините, — возразил Севастьяныч, — этого написать никак нельзя, это личности, а личности в просьбах помещать указами запрещено...

— По мне, пожалуй; ну, так просто: на дворе было так холодно, что я боялся заморозить свою душу, да и вообще мне так захотелось скорее приехать на ночлег... что я не утерпел... и по своей обыкновенной привычке выскочил из моего тела...

— Помилуйте! — вскричал Севастьяныч.

— Ничего, ничего, продолжайте; что ж делать, если такая у меня привычка... ведь в ней ничего нет противозаконного, не правда ли?

— Та-ак-с, — отвечал Севастьяныч, — что ж далее?

— Извольте писать: выскочил из моего тела, уклал его хорошенько во внутренности кибитки... чтобы оно не выпало, связал у него руки вожжами и отправился на станцию в той надежде, что лошадь сама прибежит на знакомый двор...

— Должно признаться, — заметил Севастьяныч, — что вы в сем случае поступили очень неосмотрительно.

— Приехавши на станцию, я влез на печку отогреть душу, и когда, по расчислению моему, лошадь должна была возвратиться на постоялый двор... я вышел ее проведать, но, однако же, во всю ту ночь ни лошадь, ни тело не возвращались. На другой день утром я поспешил на то место, где оставил кибитку... но уже и там ее не было... полагаю, что бездыханное мое тело от ухабов выпало из кибитки и было поднято проезжим исправником, а лошадь уплелась за обозами... После трехнедельного тщетного искания я, уведомившись ныне о объявлении Реженского земского суда, коим вызываются владельцы найденного тела, покорнейше прошу оное мое тело мне выдать, яко законному своему владельцу... к чему присовокупляю покорнейшую просьбу, дабы благоволил вышеписанный суд сделать распоряжение оное тело мое предварительно опустить в холодную воду, чтобы оно отошло; если же от случившегося падения есть в том часто упоминаемом теле какой-либо изъян или оное от мороза где-либо попортилось, то оное чрез уездного лекаря приказать поправить на мой кошт и о всем том учинить как законы повелевают, в чем и подписуюсь.

— Ну, извольте же подписывать, — сказал Севастьяныч, окончив бумагу.

— Подписывать! легко сказать! говорят вам, что у меня теперь со мною рук нету — они остались при теле; подпишите вы за меня, что за неимением рук...

— Нет! извините, — возразил Севастьяныч, — этакой и формы нет, а просьб, писанных не по форме, указами принимать запрещено; если вам угодно: за неумением грамоты...

— Как заблагорассудите! по мне все равно.

И Севастьяныч подписал: «К сему объяснению за неумением грамоты, по собственной просьбе просителя, губернский регистратор Иван Севастьянов сын Благосердов руку приложил».

— Чувствительнейше вам обязан, почтеннейший Иван Севастьянович! Ну, теперь вы похлопочите, чтоб это дело поскорее решили; не можете себе вообразить, как неловко быть без тела!.. а я сбегаю покуда повидаться с женою, будьте уверены, что я уже вас не обижу.

— Постойте, постойте, ваше благородие! — вскричал Севастьяныч, — в просьбе противоречие. Как же вы без рук уклались или уклали в кибитке свое тело? Тьфу к черту, ничего не понимаю.

Но ответа не было. Севастьяныч прочел еще раз просьбу, начал над нею думать, думал, думал...

Когда он проснулся, ночник погас и утренний свет пробился сквозь обтянутое пузырем окошко. С досадою он взглянул на пустой штоф, пред ним стоявший; эта досада выбила у него из головы ночное происшествие, он забрал свои бумаги не посмотря и отправился на барский двор в надежде там опохмелиться.

Заседатель, выпив рюмку водки, принялся разбирать Савастьянычевы бумаги и напал на просьбу иностранного недоросля из дворян.

— Ну, брат Севастьяныч, — вскричал, прочитав ее, — ты вчера на сон грядущий порядком подтянул; экую околесину нагородил! Послушайте-ка, Андрей Игнатьевич, — прибавил он, обращаясь к уездному лекарю, — вот нам какого просителя Севастьяныч предоставил. — И он прочел уездному лекарю курьезную просьбу от слова до слова, помирая со смеху.

— Пойдемте-ка, господа, — сказал он наконец, — вскроемте это болтливое тело, да если оно не отзовется, так и похороним его подобру-поздорову, — в город пора.

Эти слова напомнили Севастьянычу ночное происшествие, и как оно ни странно ему казалось, но он вспомнил о пятидесяти рублях, обещанных ему просителем, если он выхлопочет ему тело, и серьезно стал требовать от заседателя и лекаря, чтоб тело не вскрывать, потому что этим можно его перепортить, так что оно уже никуда не будет годиться, а просьбу записать во входящий обыкновенным порядком.

Само собою разумеется, что на это требование Севастьянычу отвечали советами протрезвиться, тело вскрыли, ничего в нем не нашли и похоронили.

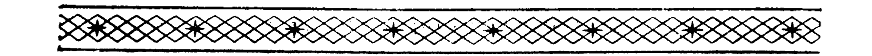
После сего происшествия мертвецова просьба стала ходить по рукам; везде ее списывали, дополняли, украшали,

читали, и долго реженские старушки крестились от ужаса, ее слушая.

Предание не сохранило окончания сего необыкновенного происшествия: в одном соседнем уезде рассказывали, что в то самое время, когда лекарь дотронулся до тела своим бистурием, владелец вскочил в тело, тело поднялось, побежало и что за ним Севастьяныч долго гнался по деревне, крича изо всех сил: «Лови, лови покойника!»

В другом же уезде утверждают, что владелец и до сих пор каждое утро и вечер приходит к Севастьянычу, говоря: «Батюшка Иван Севастьяныч, что ж мое тело? когда вы мне его выдадите?» — и что Севастьяныч, не теряя бодрости, отвечает: «А вот собираются справки». Тому прошло уже лет двадцать.





СКАЗКА
о том, как опасно девушкам ходить толпою по Невскому проспекту[1]

«Как, сударыня! вы уже хотите оставить нас? С позволения вашего попровожу вас». — «Нет, не хочу, чтоб такой учтивый господин потрудился для меня». — «Изволите шутить, сударыня».

Manuel pour la conversation par madame de Genlis. p. 375.[2]

Русское отделение.

Однажды в Петербурге было солнце; по Невскому проспекту шла целая толпа девушек; их было одиннадцать, ни больше ни меньше, и одна другой лучше; да три маменьки, про которых, к несчастию, нельзя было сказать того же. Хорошенькие головки вертелись, ножки топали о гладкий гранит, но им всем было очень скучно: они уж друг друга пересмотрели, давно друг с другом обо всем переговорили, давно друг друга пересмеяли и смертельно друг другу надоели; но все-таки держались рука за руку и, не отставая друг от дружки, шли монастырь монастырем; таков уже у нас обычай: девушка умрет со скуки, а не даст своей руки мужчине, если он не имеет счастия

---

[1] Мыслящие люди не обвинят автора в *квасном* патриотизме за эту шутку. Кто понимает цену западного просвещения, тому понятны и его злоупотребления. (*Прим. В. Ф. Одоевского.*)

[2] Руководство для разговора, составленное мадам Жанлис, стр. 375 (*франц.*).

быть ей братом, дядюшкой или еще более завидного счастия — восьмидесяти лет от рода; ибо «что скажут маменьки?» Уж эти мне маменьки! когда-нибудь доберусь я до них! я выведу на свежую воду их старинные проказы! я разберу их устав благочиния, я докажу им, что он не природой написан, не умом скреплен! Мешаются не в свое дело, а наши девушки скучают-скучают, вянут-вянут, пока не сделаются сами похожи на маменек, а маменькам-то и по сердцу! Погодите! я вас!

Как бы то ни было, а наша толпа летела по проспекту и часто набегала на прохожих, которые останавливались, чтобы посмотреть на красавиц; но подходить к ним никто не подходил — да и как подойти? Спереди маменька, сзади маменька, в середине маменька — страшно!

Вот на Невском проспекте новоприезжий искусник выставил блестящую вывеску! сквозь окошки светятся парообразные дымки, сыплются радужные цветы, золотистый атлас льется водопадом по бархату, и хорошенькие куколки, в пух разряженные, под хрустальными колпаками кивают головками. Вдруг наша первая пара остановилась, поворотилась и прыг на чугунные ступеньки; за ней другая, потом третья, и, наконец, вся лавка наполнилась красавицами. Долго они разбирали, любовались — да и было чем: хозяин такой быстрый, с синими очками, в модном фраке, с большими бакенбардами, затянут, перетянут, чуть не ломается; он и говорит и продает, хвалит и бранит, и деньги берет и отмеривает; беспрестанно он расстилает и расставляет перед моими красавицами: то газ из паутины с насыпью бабочкиных крылышек; то часы, которые укладывались на булавочной головке; то лорнет из мушиных глаз, в который в одно мгновение можно было видеть все, что кругом делается; то блонду, которая таяла от прикосновения; то башмаки, сделанные из стрекозиной лапки; то перья, сплетенные из пчелиной шерстки; то, увы! румяна, которые от духу налетали на щечку. Наши красавицы целый бы век остались в этой лавке, если бы не маменьки! Маменьки догадались, махнули чепчиками, поворотили налево кругом и, вышедши на ступеньки, благоразумно принялись считать, чтобы увериться, все ли красавицы выйдут из лавки; но, по несчастию (говорят, ворона умеет считать только до четырех), наши маменьки умели считать только до десяти: не мудрено же, что они обочлись и отправились домой

с десятью девушками, наблюдая прежний порядок и благочиние, а одиннадцатую позабыли в магазине.

Едва толпа удалилась, как заморский басурманин тотчас дверь на запор и к красавице; все с нее долой: и шляпку, и башмаки, и чулочки, оставил только, окаянный, юбку да кофточку; схватил несчастную за косу, поставил на полку и покрыл хрустальным колпаком.

Сам же за перочинный ножичек, шляпку в руки и с чрезвычайным проворством ну с нее срезывать пыль, налетевшую с мостовой; резал, резал, и у него в руках очутились две шляпки, из которых одна чуть было не взлетела на воздух, когда он надел ее на столбик; потом он так же осторожно срезал тисненые цветы на материи, из которой была сделана шляпка, и у него сделалась еще шляпка; потом еще раз — и вышла четвертая шляпка, на которой был только оттиск от цветов; потом еще — и вышла пятая шляпка простенькая; потом еще, еще — и всего набралось у него двенадцать шляпок; то же, окаянный, сделал и с платьицем, и с шалью, и с башмачками, и с чулочками, и вышло у него каждой вещи по дюжине, которые он бережно уклал в картон с иностранными клеймами... и все это, уверяю вас, он сделал в несколько минут.

— Не плачь, красавица, — приговаривал он изломанным русским языком, — не плачь! тебе же годится на приданое!

Когда он окончил свою работу, тогда прибавил:

— Теперь и твоя очередь, красавица!

С сими словами он махнул рукою, топнул; на всех часах пробило тринадцать часов, все колокольчики зазвенели, все органы заиграли, все куклы запрыгали, и из банки с пудрой выскочила безмозглая французская голова; из банки с табаком чуткий немецкий нос с ослиными ушами; а из бутылки с содовою водою туго набитый английский живот. Все эти почтенные господа уселись в кружок и выпучили глаза на волшебника.

— Горе! — вскричал чародей.

— Да, горе! — отвечала безмозглая французская голова, — пудра вышла из моды!

— Не в том дело, — проворчал английский живот, — меня, словно пустой мешок, за порог выкидывают.

— Еще хуже, — просопел немецкий нос, — на меня верхом садятся, да еще пришпоривают.

— Все не то! — возразил чародей, — все не то! еще хуже; русские девушки не хотят больше быть заморскими куклами! вот настоящее горе! продолжись оно — и русские подумают, что они в самом деле такие же люди.

— Горе! горе! — закричали в один голос все басурмане.

— Надобно для них выдумать новую шляпку, — говорила голова.

— Внушить им правила нашей нравственности, — толковал живот.

— Выдать их замуж за нашего брата, — твердил чугкий нос.

— Все это хорошо! — отвечал чародей, — да мало! Теперь уже не то, что было! На новое горе новое лекарство; надобно подняться на хитрости!

Думал, долго думал чародей, наконец махнул еще рукою, и пред собранием явился треножник, мариина баня и реторта, и злодеи принялись за работу.

В реторту втиснули они множество романов мадам Жанлис, Честерфильдовы письма, несколько заплесневелых сенсаций, канву, итальянские рулады, дюжину новых контрадансов, несколько выкладок из английской нравственной арифметики и выгнали из всего этого какую-то бесцветную и бездушную жидкость. Потом чародей отворил окошко, повел рукою по воздуху Невского проспекта и захватил полную горсть городских сплетней, слухов и рассказов; наконец из ящика вытащил огромный пук бумаг и с дикою радостию показал его своим товарищам; то были обрезки от дипломатических писем и отрывки из письмовника, в коих содержались уверения в глубочайшем почтении и истинной преданности; все это злодеи, прыгая и хохоча, ну мешать с своим бесовским составом: французская голова раздувала огонь, немецкий нос размешивал, а английский живот словно пест, утаптывал.

Когда жидкость простыла, чародей к красавице: вынул, бедную, трепещущую, из-под стеклянного колпака и принялся из нее, злодей, вырезывать сердце! О! как страдала, как билась бедная красавица! как крепко держалась она за свое невинное, свое горячее сердце! с каким славянским мужеством противилась она басурманам. Уже они были в отчаянии, готовы отказаться от своего предприятия, но на беду чародей догадался, схватил какой-то маменькин

чепчик, бросил на уголья — чепчик закурился, и от этого курева красавица одурела.

Злодеи воспользовались этим мгновением, вынули из нее сердце и опустили его в свой бесовский состав. Долго, долго они распаривали бедное сердце русской красавицы, вытягивали, выдували, и когда они вклеили его в свое место, то красавица позволила им делать с собою все, что было им угодно. Окаянный басурманин схватил ее пухленькие щечки, маленькие ножки, ручки и ну перочинным ножом соскребать с них свежий славянский румянец и тщательно собирать его в баночку с надписью roug végetal; [1] и красавица сделалась беленькая-беленькая, как кобчик; насмешливый злодей не удовольствовался этим: маленькой губкой он стер с нее белизну и выжал в стклянночку с надписью: lait de concombre [2], и красавица сделалась желтая, коричневая; потом к наливной шейке он приставил пневматическую машину, повернул — и шейка опустилась и повисла на косточках; потом маленькими щипчиками разинул ей ротик, схватил язычок и повернул его так, чтобы он не мог порядочно выговорить ни одного русского слова; наконец затянул ее в узкий корсет, накинул на нее какую-то уродливую дымку и выставил красавицу на мороз к окошку. Засим басурмане успокоились; безмозглая французская голова с хохотом прыгнула в банку с пудрою; немецкий нос зачихал от удовольствия и убрался в бочку с табаком; английский живот молчал, но только хлопал по полу от радости и также уплелся в бутылку с содовою водою; и все в магазине пришло в прежний порядок, и только стало в нем одною куклою больше!

Между тем время бежит да бежит; в лавку приходят покупщики, покупают паутинный газ и мушиные глазки, любуются на куколок. Вот один молодой человек посмотрел на нашу красавицу, задумался, и как ни смеялись над ним товарищи, купил ее и принес к себе в дом. Он был человек одинокий, нрава тихого, не любил ни шума, ни крика; он поставил куклу на видном месте, одел, обул ее, целовал ее ножки и любовался ею, как ребенок. Но кукла скоро почуяла русский дух: ей понравилось его гостеприимство и добродушие. Однажды, когда молодой человек

---

[1] растительные румяна *(франц.)*.
[2] огуречный сок *(франц.)*.

задумался, ей показалося, что он забыл о ней, она зашевелилась, залепетала; удивленный, он подошел к ней, снял хрустальный колпак, посмотрел: его красавица кукла куклою. Он приписал это действию воображения и снова задумался, замечтался; кукла рассердилась: ну опять шевелиться, прыгать, кричать, стучать об колпак, ну так и рвется из-под него.

— Неужели ты в самом деле живешь? — говорил ей молодой человек, — если ты в самом деле живая, я тебя буду любить больше души моей; ну, докажи, что ты живешь, вымолви хотя словечко!

— Пожалуй! — сказала кукла, — я живу, право живу.

— Как! ты можешь и говорить? — воскликнул молодой человек, — о, какое счастие! Не обман ли это? Дай мне еще раз увериться, говори мне о чем-нибудь!

— Да об чем мы будем говорить?

— Как о чем? на свете есть добро, есть искусство!..

— Какая мне нужда до них! — отвечала кукла, — это все очень скучно!

— Что это значит? Как скучно? Разве до тебя еще никогда не доходило, что есть на свете мысли, чувства?..

— А, чувства! чувства? знаю, — скоро проговорила кукла, — чувства почтения и преданности, с которыми честь имею быть, милостивый государь, вам покорная ко услугам...

— Ты ошибаешься, моя красавица; ты смешиваешь условные фразы, которые каждый день переменяются, с тем, что составляет вечное незыблемое украшение человека.

— Знаешь ли, что говорят? — прервала его красавица, — одна девушка вышла замуж, но за ней волочится другой. и она хочет развестися. Как это стыдно!

— Что тебе нужды до этого, моя милая? подумай лучше о том, как многого ты на свете не знаешь; ты даже не знаешь того чувства, которое должно составлять жизнь женщины; это святое чувство, которое называют любовью; которое проникает все существо человека; им живет душа его, оно порождает рай и ад на земле.

— Когда на бале много танцуют, то бывает весело, когда мало, так скучно, — отвечала кукла.

— Ах, лучше бы ты не говорила! — вскричал молодой человек, — ты не понимаешь меня, моя красавица!

И тщетно он хотел ее образумить: приносил ли он ей книги — книги оставались неразрезанными; говорил ли ей о музыке души — она отвечала ему итальянскою руладою; показывал ли картину славного мастера — красавица показывала ему канву.

И молодой человек решился каждое утро и вечер подходить к хрустальному колпаку и говорить кукле: «Есть на свете добро, есть любовь; читай, учись, мечтай, исчезай в музыке; не в светских фразах, но в душе чувства и мысли».

Кукла молчала.

Однажды кукла задумалась, и думала долго. Молодой человек был в восхищении, как вдруг она сказала ему:

— Ну, теперь знаю, знаю; есть на свете добродетель, есть искусство, есть любовь, не в светских фразах, но в душе чувства и мысли. Примите, милостивый государь, уверения в чувствах моей истинной добродетели и пламенной любви, с которыми честь имею быть...

— О! перестань, бога ради, — вскричал молодой человек, — если ты не знаешь ни добродетели, ни любви, — то по крайней мере не унижай их, соединяя с поддельными, глупыми фразами...

— Как не знаю! — вскричала с гневом кукла, — на тебя никак не угодишь, неблагодарный! Нет, — я знаю, очень знаю: *есть на свете добродетель, есть искусство, есть любовь*, как равно и почтение, с коими честь имею быть...

Молодой человек был в отчаянии. Между тем кукла была очень рада своему новому приобретению; не проходило часа, чтоб она не кричала: *есть добродетель, есть любовь, есть искусство*, — и не примешивала к своим словам уверений в глубочайшем почтении; идет ли снег — кукла твердит: *есть добродетель!* — принесут ли обедать — она кричит: *есть любовь!* — и вскоре дошло до того, что это слово опротивело молодому человеку. Что он ни делал: говорил ли с восторгом и умилением, доказывал ли хладнокровно, бесился ли, насмехался ли над красавицею — все она никак не могла постигнуть, какое различие между затверженными ею словами и обыкновенными светскими фразами; никак не могла постигнуть, что любовь и добродетель годятся на что-нибудь другое, кроме письменного окончания.

И часто восклицал молодой человек: «Ах, лучше бы ты не говорила!»

Наконец он сказал ей:

— Я вижу, что мне не вразумить тебя, что ты не можешь к заветным святым словам добра, любви и искусства присоединить другого смысла, кроме почтения и преданности... Как быть! Горько мне, но я не виню тебя в этом. Слушай же, всякий на сем свете должен что-нибудь делать; не можешь ты ни мыслить, ни чувствовать; не перелить мне своей души в тебя; так занимайся хозяйством по старинному русскому обычаю, — смотри за столом, своди счеты, будь мне во всем покорна; когда меня избавишь от механических занятий жизни, я — правда, не столько тебя буду любить, сколько любил бы тогда, когда бы души наши сливались, — но все любить тебя буду.

— Что я за ключница? — закричала кукла, рассердилась и заплакала, — разве ты затем купил меня? Купил — так лелей, одевай, утешай. Что мне за дело до твоей души и до твоего хозяйства! Видишь, я верна тебе, я не бегу от тебя, — так будь же за то благодарен, мои ручки и ножки слабы; я хочу и люблю ничего не делать, не думать, не чувствовать, не хозяйничать, — а твое дело забавлять меня.

И в самом деле, так было. Когда молодой человек занимался своею куклою, когда одевал, раздевал ее, когда целовал ее ножки — кукла была и смирна и добра, хоть и ничего не говорила; но если он забудет переменить ее шляпку, если задумается, если отведет от нее глаза, кукла так начнет стучать о свой хрустальный колпак, что хоть вон беги. Наконец не стало ему терпения: возьмет ли он книгу, сядет ли обедать, ляжет ли на диван отдохнуть, — кукла стучит и кричит, как живая, и не дает ему покоя ни днем, ни ночью; и стала его жизнь — не жизнь, но ад. Вот молодой человек рассердился; несчастный не знал страдания, которые вынесла бедная красавица; не знал, как крепко она держалась за врожденное ей природою сердце, с какою болью отдала его своим мучителям, или учителям, — и однажды спросонья он выкинул куклу за окошко; за то все проходящие его осуждали, однако же куклу никто не поднял.

А кто всему виною? сперва басурмане, которые портят наших красавиц, а потом маменьки, которые не умеют считать дальше десяти. Вот вам и нравоучение.





НАСМЕШКА МЕРТВЕЦА

Ревела осенняя буря; река рвалася из берегов; по широким улицам качалися фонари; от них тянулись и шевелились длинные тени; казалось, то подымались с земли, то опускались темные кровли, барельефы, окна. В городе еще все было в движении; прохожие толпились по тротуарам; запоздавшие красавицы, как будто от бури, то закрывали то открывали свои личики, то оборачивались, то останавливались; толпа молодежи их преследовала и, смеясь, благодарила ветер за его невежливость: степенные люди осуждали то тех, то других и продолжали путь свой, жалея, что им самим уже поздно за то же приняться; колеса то быстро, то лениво стучали о мостовую, звук уличных рылей носился по воздуху; и из всех этих разнообразных отдельных движений составлялось одно общее, которым дышало, жило это странное чудовище, складенное из груды людей и камней, которое называют многолюдным городом. Одно небо было чисто, грозно, неподвижно и тщетно ожидало взора, который бы поднялся к нему.

Вот с моста, вздутого прибывшей волною, вихрем скатилась пышная, щегольская карета, во всем похожая на другие, но в которой было нечто такое, почему прохожие останавливаются, говорят друг другу: «Это, верно, молодые!» — и с глупою радостью долго провожают карету глазами.

В карете сидела молодая женщина; блестящая перевязка струилась между ее черными локонами и перевивалась с нераспустившимися розами; голубой бархатный плащ ожимал широкую блонду, которая, вырываясь из своей темницы, волновалась над лицом красавицы, как те

воздушные занавески, которыми живописцы оттеняют портреты своих прелестниц.

Подле нее сидел человек средних лет, с одним из тех лиц, которые не поражают вас ни телесным безобразием, ни душевной красотою; которые не привлекают вас и не отталкивают. Вас бы не оскорбило встретиться с этим человеком в гостиной; но вы бы двадцать раз прошли бы мимо, не заметив его, но вы не сказали б ему ни одного сердечного слова, но при нем бы вы побоялись того чувства, которое невольно вырывается из бездны душевной и терзает вас, пока вы не дадите ему тела и образа. Словом, в минуту сильной умственной деятельности вам было бы неловко, беспокойно с этим человеком; в минуту вдохновения вы бы выкинули его за окошко.

Испуганная валами разъяренной реки, грозным завыванием ветра, красавица невольно то выглядывала в окошко, то робко прижималась к своему товарищу; товарищ утешал ее теми пошлыми словами, которые издавна изобрело холодное малодушие, которые произносятся без уверенности и принимаются без убеждения. Между тем карета быстро приближалась к ярко освещенному дому, где в окнах мелькали тени под веселый ритм бальной музыки.

Вдруг карета остановилась; раздалось протяжное пение; улица осветилась багровым пламенем; несколько человек с факелами; за ними гроб медленно двигался через улицу. Красавица выглянула; сильный порыв ветра отогнул оледенелый покров с мертвеца, и ей показалось, что мертвец приподнял посинелое лицо и посмотрел на нее с той неподвижной улыбкой, которою мертвые насмехаются над живыми. Красавица ахнула и в беспамятстве прижалась ко внутренней стенке кареты.

Красавица некогда видала этого молодого человека. Видала! она знала его, знала все изгибы души его, понимала каждое трепетание его сердца, каждое недоговоренное слово, каждую незаметную черту на лице его; она знала, понимала все это, но на ту пору одно из тех людских мнений, которое люди называют вечным, необходимым основанием семейственного счастия и которому приносят в жертву и гений, и добродетель, и сострадание, и здравый смысл — все это на несколько месяцев, — одно из таких мнений поставляло непреоборимую преграду между красавицею и молодым человеком. И красавица покорилась. Покорилась не чувству, — нет, она затопила святую

искру, которая было затеплилась в душе ее, и, падши, поклонилась тому демону, который раздает счастье и славу мира; и демон похвалил ее повиновение, дал ей «хорошую партию» и назвал ее расчетливость добродетелью, ее подобострастие — благоразумием, ее оптический обман — влечением сердца; и красавица едва не гордилась его похвалою.

Но в любви юноши соединялось все святое и прекрасное человека; ее роскошным огнем жила жизнь его, как блестящий, благоухающий алоэс под опалою солнца; юноше были родными те минуты, когда над мыслию проходит дыхание бурно; те минуты, в которые живут века; когда ангелы присутствуют таинству души человеческой и таинственные зародыши будущих поколений со страхом внимают решению судьбы своей.

Да! много будущего было в этой мысли, в этом чувстве. Но им ли оковать ленивое сердце светской красавицы, беспрерывно охлаждаемое расчетами приличий? Им ли пленить ум, беспрестанно сводимый с толку теми судьями общего мнения, которые постигли искусство судить о других по себе, о чувстве по расчету, о мысли по тому, что им случилось видеть на свете, о поэзии по чистой прибыли, о вере по политике, о будущем по прошедшему?

И все было презрено: и бескорыстная любовь юноши, и силы, которые она оживляла... Красавица назвала свою любовь порывом воображения, мучительное терзание юноши — преходящею болезнью ума, мольбу его взоров — модною, поэтическою причудою. Все было презрено, все было забыто. Красавица провела его через все мытарства оскорбленной любви, оскорбленной надежды, оскорбленного самолюбия...

Что я рассказал долгими речами, то в одно мгновение пролетело через сердце красавицы при виде мертвого; ужасною показалась ей смерть юноши, — не смерть тела, нет! черты искаженного лица рассказывали страшную повесть о другой смерти. Кто знает, что сталось с юношей, когда, сжатые холодом страдания, порвались струны на гармоническом орудии души его; когда изнемог он, замученный недоговоренною жизнию; когда истощилась душа на тщетное борение и, униженная, но не убежденная, с хохотом отвергла даже сомнение, — последнюю, святую искру души умирающей. Может быть, она вызвала из ада все изобретения разврата; может быть, постигла сладость

коварства, негу мщения, выгоды явной, бесстыдной подлости; может быть, сильный юноша, распаливши сердце свое молитвою, проклял все доброе в жизни! Может быть, вся та деятельность, которая была предназначена на святой подвиг жизни, углубилась в науку порока, исчерпала ее мудрость с той же силой, с которою она некогда исчерпала бы науку добра; может быть, та деятельность, которая должна была помирить гордость познания с смирением веры, слила горькое, удушающее раскаяние с самою минутою преступления...

Карета остановилась. Бледная, трепещущая красавица едва могли идти по мраморным ступеням, хотя насмешки мужа и возбуждали ее ослабевшие силы. Вот она вошла; она танцует; но кровь поднимается в ее голову; деревянная рука, которая увлекает ее за танцующими, напоминает ей ту пламенную руку, которая судорожно сжималась, прикасаясь до ее руки; бессмысленный грохот бальной музыки отзывается ей той мольбою, которая вырвалась из души страстного юноши.

Между толпами бродят разные лица; под веселый напев контраданса свиваются и развиваются тысячи интриг и сетей; толпы подобострастных аэролитов вертятся вокруг однодневной кометы; предатель униженно кланяется своей жертве; здесь послышалось незначащее слово, привязанное к глубокому долголетнему плану; там улыбка презрения скатилась с великолепного лица и оледенила какой-то умоляющий взор; здесь тихо ползут темные грехи и торжественная подлость гордо носит на себе печать отвержения...

Но послышался шум... вот красавица обернулась, видит — иные шепчут между собою... иные быстро побежали из комнаты и, трепещущие, возвратились... Со всех сторон раздается крик: «Вода! вода!» — все бросились к дверям; но уже поздно! Вода захлестнула весь нижний этаж. В другом конце залы еще играет музыка; там еще танцуют, там еще говорят о будущем, там еще думают о вчера сделанной подлости, о той, которую надобно сделать завтра; там еще есть люди, которые ни о чем не думают. Но вскоре всюду достигла страшная весть, музыка прервалась, все смешалось.

Отчего ж побледнели все эти лица? Отчего стиснулись зубы у этого ловкого, красноречивого ритора? Отчего так залепетал язык у этого угрюмого героя? Отчего так забегала эта важная дама, — эта блонда пополам с грязью?

О чем спрашивает этот великолепный муж, для которого и лишний взгляд казался оскорблением?.. Как, милостивые государи, так есть на свете нечто, кроме ваших ежедневных интриг, происков, расчетов? Неправда! пустое! все пройдет! опять наступит завтрашний день! опять можно будет продолжать начатое! свергнуть своего противника, обмануть своего друга, доползти до нового места! Послушайте: вот некоторые смельчаки, которые больше других не думали ни о жизни, ни о смерти, уверяют, что опасность не велика и что вода сейчас начнет убавляться: они смеются, шутят, предлагают продолжать танцы, карточную игру; они радуются случаю остаться вместе до завтрашней ночи; вы в продолжение этого времени не потерпите ни малейшего неудовольствия. Смотрите: в той комнате приготовлены столы, роскошные вина кипят в хрустальных сосудах, все произведения природы сжаты для вас на золотых блюдах; нет дела, что вокруг вас раздаются стоны погибающих; вы люди мудрые, вы приучили свое сердце не увлекаться этими слабодушными движениями. Но вы не слушаете, но вы трепещете, холодный пот обдает вас, вам страшно. И подлинно: вода все растет и растет; вы отворяете окошко, зовете о помощи: вам отвечает свист бури, и белесоватые волны как разъяренные тигры кидаются в светлые окна. Да! в самом деле ужасно. Еще минута, и измокнут эти роскошные, дымчатые одежды ваших женщин! Еще минута, и то, что так отрадно отличало вас от толпы, только прибавит к вашей тяжести и повлечет вас на холодное дно. Страшно! страшно! Где же всемощные средства науки, смеющейся над усилиями природы?.. Милостивые государи, наука замерла под вашим дыханием. Где же великодушные люди, готовые на жерву для спасения ближнего? Милостивые государи, вы втоптали их в землю, им уже не приподняться. Где же сила любви, двигающая горы? Милостивые государи, вы задушили ее в ваших объятиях. Что же остается вам?.. Смерть, смерть, смерть ужасная! медленная! Но ободритесь: что же такое смерть? Вы люди дельные, благоразумные; правда — вы презрели голубиную целость, зато постигли змеиную мудрость; неужели то, о чем посреди тонких сметливых рассуждений ваших вы никогда и не помышляли, может быть делом столь важным? Призовите на помощь свою прозорливость, испытайте над смертью ваши обыкновенные средства; испытайте, нельзя ли обмануть ее

льстивою речью? нельзя ли подкупить ее? наконец, нельзя ли оклеветать? не поймет ли она вашего многозначительного, неумолимого взгляда? Но все тщетно! Вот уже колеблются стены, рухнуло окошко, рухнуло другое, вода хлынула в них, наполнила зал; вот в проломе явилось что-то огромное, черное... Не средство ли к спасению? Нет, черный гроб внесло в зал, — мертвый пришел посетить живых и пригласить их на свое пиршество! Вот свечи затрещали и погасли, волны хлещут по паркету, все поднимают и опрокидывают; картины, зеркала, вазы с цветами — все смешалось, все трещит, все валится; иногда из-под хлеста волн вынырнет испуганное лицо, раздастся пронзительный крик, и оба исчезнут в пучине; лишь поверху носится открытый гроб, то бьется об драгоценные окраины уцелевшей статуи, то снова отпрянет на средину зала...

Тщетно красавица просит о помощи, зовет мужа — она чувствует, как облипло на ней платье, как отяжелело, как тянет ее в глубину... Вдруг с треском рухнулись стены, раздался потолок, — и гроб, и все бывшее в зале волны вынесли в необозримое море... Все замолкло; лишь ревет ветер, гонит мелкие дымчатые облака перед луною, и ее свет по временам как будто синею молниею освещает грозное небо и неумолимую пучину. Открытый гроб мчится по ней; за ним волны влекут красавицу. Они одни посреди бунтующей стихии: она и мертвец, мертвец и она; нет помощи, нет спасения! Ее члены закостенели, зубы стиснулись, истощились силы; в беспамятстве она ухватилась за окраину гроба — гроб нагибается, голова мертвеца прикасается до головы красавицы, холодные капли с лица его падают на ее лицо, в остолбенелых глазах его упрек и насмешка. Пораженная его взором, она то оставляет гроб, то снова, мучась невольною любовью к жизни, хватается за него, — и снова гроб нагибается и лицо мертвеца висит над ее лицом, и снова дождит на него холодными каплями; и, не отворяя уст, мертвец хохочет: «Здравствуй, Лиза! благоразумная Лиза!..» — и непреоборимая сила влечет на дно красавицу. Она чувствует: соленая вода омывает язык ее, с свистом наливается в уши, бухнет мозг в ее голове, слепнут глаза; а мертвец все тянется над нею и слышится хохот: «Здравствуй, Лиза! благоразумная Лиза!..»

Когда Лиза очнулась, она лежала на своей постели; солнечные лучи золотили зеленую занавеску; в длинных креслах муж, сердито зевая, разговаривал с доктором.

— Изволите видеть, — говорит доктор, — это очень ясно: всякое сильное движение души, происходящее от гнева, от болезни, от испуга, от горестного воспоминания, всякое такое движение действует непосредственно на сердце; сердце, в свою очередь, действует на мозговые нервы, которые, соединясь с наружными чувствами, нарушают их гармонию; тогда человек приходит в какое-то полусонное состояние и видит особенный мир, в котором одна половина предметов принадлежит к действительному миру, а другая половина к миру, находящемуся внутри человека...

Муж давно уже его не слушал. В то время на подъезде встретились два человека.

— Ну, что княгиня? — спросил один другого.

— Да ничего! дамские причуды! Только что испортила наш бал своим обмороком. Я уверен, что это было не что иное, как притворство... хотелось обратить внимание.

— Ах, не брани ее! — возразил первый, — бедненькая! я, чай, и без того ей досталось от мужа. Впрочем, и всякому будет досадно: он отроду не бывал еще в таком ударе; представь себе, он десять раз сряду замаскировал короля, в четверть часа выиграл пять тысяч, и если бы не...

Разговаривающие удалились.

С год спустя после этого обморока на бале у Б*** человек пожилых лет говорил одной даме:

— Ах, как я рад, что встретился с вами! у меня есть до вас просьба, княгиня. Вы будете завтра вечером дома?..

— На что вам это?

— Меня просят вам представить одного, как говорят, очень замечательного молодого человека...

— Ах, бога ради, — возразила дама с негодованием, — избавьте меня от этих замечательных молодых людей с их мечтами, чувствами, мыслями! Говоря с ними, надобно еще думать о том, что говоришь, а думать для меня и скучно и беспокойно. Я уж об этом объявила всем моим знакомым. Приводите ко мне таких, которые без претензий, которые прекрасно говорят о сплетнях, о бале, о рауте — и только; я им буду очень рада, и для них мои двери всегда отворены...

Я долгом считаю заметить, что эта дама была княгиня, а говоривший с нею мужчина — муж ее...





ИСТОРИЯ О ПЕТУХЕ, КОШКЕ И ЛЯГУШКЕ

Рассказ провинциала

(Димитрию В. Путяте)

> Критик. Какая цель вашей сказки?
> Автор *(униженно кланяясь)*. Рассказать ее вам.

В бытность свою в городе Реженске покойная моя бабушка была свидетельницею одного странного происшествия: будучи уверен, что публике необходимо знать все, что касается до меня или до моих родственников и знакомых, я расскажу это происшествие со всею подробностью, как мне его рассказывали, и, по моему обыкновению, не прибавляя от себя ни единого слова.

Много лет тому назад находился в нашем городе в звании городничего отставной прапорщик Иван Трофимович Зернушкин. Давно уже исправлял он эту должность, — да и не мудрено: все так им были довольны — никогда он ни во что не мешался; позволял всякому делать, что ему было угодно; зато не позволял никому и в свои дела вмешиваться. Некоторые затейники, побывавшие в Петербурге, часто приступали к нему с разными, небывалыми у нас и вредными нововведениями; они, например, толковали, что не худо бы осматривать, хоть изредка, лавки с съестными припасами, потому что реженские торговцы имели, не знаю отчего, привычку продавать в мясоястие баранину, а в пост рыбу, да такую, прости господи! — что хоть вон беги с рынка; иные прибавляли, что не худо бы хотя песку подсыпать по улицам и запретить выкидывать на них вся-

кой вздор из домов, ибо от того будто бы в осень никуда пройти нельзя, и будто бы от того заражается воздух; бывали даже такие, которые утверждали, что необходимо в городе завести хотя одну пожарную трубу с лестницами, баграми, топорами и другими вычурами. Иван Трофимович на все сии неразумные требования отвечал весьма рассудительно, остроумно и с твердостию. Он доказывал, что лавочники никому своего товару не навязывают и что всякой сам должен смотреть, что покупает; что одни лишь пустодомы да непорядочные люди могут требовать от городничего наблюдения за таким делом, которое должна знать последняя кухарка. Касательно мостовой он говорил, что бог дает дождь и хорошую погоду, и, видно, уж такой положен предел, чтобы осенью была по улицам грязь по колено: сверх того, добрые люди сидят дома и не шатаются по улицам, а когда русскому человеку нужда, так он везде пройдет. Если бы, прибавлял он, на улицу ничего не выкидывали, свиньям бедных людей нéчего было бы есть в осеннее и зимнее время. Что касается до воздуха, то воздух не человек и заразиться не может. Относительно пожарной трубы Иван Трофимович доказывал, что таковой и прежде в городе Реженске не имелось, а ныне, когда три части оного уже выгорели, для четвертой нечего уже затевать такие затеи; что, наконец, он, карабинерного полка отставной прапорщик, Иван Трофимович сын Зернушкин, уже не первый десяток на сем свете живет и сам знает свою должность исправлять, городом управлять и начальству отвечать. Такие благоразумные и неоднократно повторенные рассуждения скоро закрыли уста затейникам, особенно когда однажды, в сердитый час, Иван Трофимович присовокупил, что его, городничего, должность не за грязью на мостовых и не за гнилою рыбою смотреть, а за теми, которые учнут в фортеции злые толки распускать и противу службы злое умышлять.

Все в городе похвалили Ивана Трофимовича за его твердый нрав и обычай, и, благодаря бога, у нас в Реженске и до сих пор все осталось по-прежнему: на улицах грязь по колено, по рынкам пройти нельзя. Та только разница, что вместо пожарной трубы в последнее время у нас заведена прекрасная зеленая бочка с двумя также зелеными баграми, но по завещанию Ивана Трофимовича на пожар они никогда не вывозятся, ибо иначе легко могли бы испортиться, а хранятся за замком, в нарочно для того

определенном сарае. Время оправдало благоразумное распоряжение Ивана Трофимовича: скоро потом приезжавший чиновник долгом почел донести губернатору об отличном устройстве пожарных инструментов в городе Реженске.

Как бы то ни было, Иван Трофимович, избавившись от докуки реженских затейников, обратился к своим любимым занятиям, которых у него было два, а именно: чай и кошка. Да, милостивые государи! Иван Трофимович очень любил чай, и даже в нем был большой знаток.

По сей-то причине он часто хаживал по лавкам собирать у купцов чайные пробочки, чтоб не ошибиться. Таким образом, у Иван Трофимовича набиралось когда четверть, когда полфунтика. Не то чтоб он все пробочки мешал вместе: нет! Как настоящий знаток, он выпивал каждую поодиначке, и которого чай он похвалит, тот купец и несет ему гостинец. Говорят, однако же, к чести Ивана Трофимовича, — такая была у него добрая душа! — что он при этом случае руководствовался не столько качеством чая, сколько или очередью между купцами, или разными случавшимися обстоятельствами: так, например, тот, у кого что-нибудь было на душе, уже наверное знал, что Иван Трофимович придет к нему за пробочкою. Не то чтоб это можно было назвать взяткою! Нет! Наши реженские лавочники так любили Ивана Трофимовича, что носили к нему все *из чести!* Да не для чего было и взятки давать: дел таких, как нынче, не было. Разумеется, и тогда в городе было не без ссор, не без зависти, не без злости, — только тогда обычай был другой; придут, бывало, к Ивану Трофимовичу тяжущиеся: оба говорят, говорят, — кто кого перекричит; а Иван Трофимович послушает, послушает, — да одному толчок, другому другой: никого не обидит, покойник, и вот тяжущиеся потолкуют между собою, потолкуют, много что подерутся, душеньку отведут, да тут же в питейном дому и помирятся, да еще за здравие Ивана Трофимовича выпьют. Счастливое тогда времечко было!

Любил кушать чай Иван Трофимович, но не менее того любил он и кошку. Не то чтоб он кошку любил, — нет! — а любил, чтоб кошка у него вокруг шеи ходила, ластилась, терлась да на ухо ему шептала. Правду сказать, да что и за кошка! Нынче уж нет таких кошек! Большая, лоснистая, черная, а мордка, душка и лапки белые, как снег, словно в перчатках. Уж нечего и говорить: у Ивана Трофимовича мышей в заводе не бывало. Да какие у ней

были милые привычки! Говорю вам, что нынче уж нет таких кошек. Бывало, Иван Трофимович проснется, а кошка прямо к нему в постелю, то вытянется, то согнется дугою, то замурлычет, то замяучет, — а зеленые глазки у ней так и катаются, словно изумруды. Тогда Иван Трофимович вставал, разводил огонь, ставил чайник в печку, надевал фризовую шинель, брал кулечек и отправлялся на рынок, а кошка вслед за ним. Тут и собаки лают, и возы везут, и народ кричит, а ей горя мало: только что через лужицы перепрыгивает да лапки отряхает. Куда в лавку Иван Трофимович, туда и его кошка, — удивленье всему городу! — и вот ей где рыбку, где свежинки: она знай кушает да мурлычет! Возвратится Иван Трофимович, возьмет чайник, сядет к столику возле окошка, а кошка даром, что сыта: не думайте, чтоб она, как нынешние кошки, свернулась в кружок да захрапела, — нет! — она на столик проберется, между чашки и сахарницы, ничего не заденет, или сядет на окошке на солнышко или на плечо к Ивану Трофимовичу, и мурлыкать не мурлыкает, а трется, трется вокруг шеи, и шепчет-шепчет на ухо Ивану Трофимовичу; Иван же Трофимович то погладит ее, то чайку прихлебнет... Так протекали долгие дни.

Один из новейших сочинителей описал эти немые минуты семейственного счастия, когда в голове не проходит ни одной мысли, в душе рождается какое-то тихое, невыразимое чувство; но кто опишет счастие Ивана Трофимовича в этом уединении! Теплая избушка, теплый тулуп, пестрые обои, мыши кота погребают во всю стену, треугольная шляпа, шпага; солнышко светит, от чаю пар столбом, мимо окошка всякой кланяется, вокруг шеи теплая Васькина шкурка, и больше никого — ни детей, ни жены, ни кухарки, и триста верст от губернского города! И это тихое, невыразимое счастие повторяется каждый день; и не один раз в день, а два — поутру и после обеда; иногда же и в промежутках! Две были цели в жизни Ивана Трофимовича: напиться чаю и молча держать Ваську на шее. Эта мысль не оставляла его ни на минуту: он засыпал с нею, видел ее во сне и с нею просыпался; к этой мысли были привязаны все его поступки, все желания, все малейшие движения его души, — других в ней не было. Приставал ли к нему кто-нибудь с делом, случалось ли что важное в городе, он отлагал все, чтоб не пропустить положенного часа для чаю. Говорили ли о ревизоре — он боялся

его только потому, что к нему неловко будет явиться вместе с Ваською.

Но нет вечного счастия в этой жизни! У Ивана Трофимовича была однофамилица, и даже несколько сродни, из дворян, — вдова Марфа Осиповна Зернушкина. Случись у ней какое-то дело в городе Реженске: никак, кто-то у ней мельницу околдовал, ртути в плотину напустил. Марфа Осиповна была женщина бойкая, умная, скопидомка и хотя грамоте не умела, но тяжебные дела знала лучше иного приказного: потому решилась она хлопотать о делах сама, своею особою, а Иван Трофимович был ей нужен, чтоб за нее по родству руку прикладывать. Она въехала к нему прямо в дом. Соблазна тут никакого быть не могло, потому что им обоим вместе было лет сотня с лишком: добрый Иван Трофимович с радушием отвел ей у себя каморку. Вот, разумеется, при свидании родные обрадовались. Пошли толки о том о сем, о старине, о новизне, об урожае, — Васька туда же, то ластится, то трется, то замурлычет, то замяучет, то посмотрит на них прищуренными глазками...

— Э! да какая у тебя товарка! — сказала Марфа Осиповна, — давно ли, батюшка, завелся?

— Да давно уж, матушка! лет восемь; с тех пор как мы с тобою не видались...

— Да где, батюшка, и видеться! Ведь восемьдесят верст не шутка! Ты человек служебный, а мне уж не под лета. Три дня, батюшка, к тебе тащилась: ведь на своих!.. Чуть было в грязи не утонула, а еще все большой дороги держалась; ты знаешь, у нас новую дорогу сделали! Кисанька! Кисанька!.. Экая славная!.. Ну, вижу я, ты, право, домком позавелся! Уж не жениться ли хочешь? На дворе я у тебя видела матерого петуха, а здесь кота заморского: а ведь по нашему, по бабьему реченью, кот да петух, что жена, милый друг!

— Ну уж, матушка Марфа Осиповна: что до петуха касается, то его хоть бы не было. Такой крикун — провал его возьми! — глаз свести не даст. Я, пожалуй, вам его хоть даром отдам...

— Благодарствую, батюшка Иван Трофимович. Да зачем это?

— И ничего, матушка! свои люди, сочтемся. А уж Васька-то мой! То уж подлинно сказать, Марфа Осиповна, что мой Васька милее иной жены. Кабы вы знали, какой

затейник, какой забавник! Не только что на охоту ходит, да песни поет, да старую шею у меня греет, — нет, матушка: ведь от меня он крохи не получает, а сам со мною по городу бродит да с лавочников оброк берет!..

— Неужели в самом деле!

Невозможно описать всех рассказов Ивана Трофимовича и всех расспросов Марфы Осиповны, и я, подобно сочинителям чувствительных романов, когда дело доходит до страшной завязки, предоставляю читателям дополнить воображением все, что было сказано, недосказано и пересказано при этом свидании.

Прошло несколько дней. Однажды после обеда, сидя за чайным столиком, Марфа Осиповна сказала Ивану Трофимовичу:

— Смотрю я на тебя, батюшка!..

— Да! — отвечал Иван Трофимович. — Так что же?

— А то, что нехорошо!

— Что нехорошо?

— Да так! нехорошо...

— Да что оно такое нехорошо, матушка?

— А то, зачем ты позволяешь кошке себе на ухо шептать!

— На ухо шептать?

— Да, вон видишь: ты, батюшка, ее отогнал, а она тебе опять в ухо лезет.

— Признательно вам сказать, Марфа Осиповна, что же тут дурного? Оно тепло и приятно.

— Да то тут дурного, Иван Трофимович, что она тебе жабу в голове нашепчет.

— Как жабу нашепчет?

— Да так, что у тебя ни с того ни с сего жаба в голове заведется.

— Что ты, матушка, говоришь? Уж жаба в голове заведется!.. Да как она туда зайдет?

— Как хочешь, Иван Трофимович! верь или не верь: я тебе не свои слова говорю, а что от родителей слыхала. Ты помнишь батюшку-покойника: он, бывало, слова даром не проронит; а он частенько — царство ему небесное! — толковал, что если кому кошка на ухо шепчет, у того непременно в голове жаба заведется.

«Что эта баба мелет? — думал про себя Иван Трофимович, ложась в постелю и поглаживая Ваську. — Вишь, кошка жабу может нашептать! Чего эти бабы не выдумают!»

Однако ж у Ивана Трофимовича в голове и один и два. Вот кажется Ивану Трофимовичу, что его что-то в голову стукнуло, и будто голова у него заболела. И он думает: «Болит она аль нет? болит, точно болит!.. Нет, не болит, точно не болит!..»

Вставши поутру, Иван Трофимович, как человек благоразумный, рассудил, что в таких случаях лучше всего спросить человека знающего. Был у него задушевный приятель, Богдан Иванович, уездный лекарь. Давно они уже с ним не видались. «Дай-ка зайду к Богдаше, — сказал Иван Трофимович, — да спрошу: он человек искусный, и верно мне всю правду скажет». Сказано — сделано.

Не хотелось Ивану Трофимовичу признаться, что он поверил бабьим сплетням, но, как человек тонкий, завел речь стороною.

После обыкновенных приветствий Иван Трофимович сказал лекарю:

— Что это, батюшка, Богдан Иванович? У нас в городе все головой жалуются. Отчего бы это?

— Да не мудрено, Иван Трофимович! — отвечал лекарь. — Теперь пора осенняя, а в эту пору обыкновенно усиливается геморрой.

— А разве только что от геморроя и может болеть голова?

— Нет; она может болеть и от разных причин: от простуды, от угару, от несварения пищи.

— А от каких ни есть других причин может болеть голова?

— Да от каких же это?

— Ну, примером сказать, правда ли это, батюшка, что будто бы иногда у человека жаба заводится в голове?

— Мало ли чудес в теле человеческом! Бывали и такие примеры.

— Как! Бывали?

— Да, но, к счастию, очень редко.

— Какие чудеса на свете бывают! Да как же помочь в таком несчастном случае?

— Ну, тут уж надобно делать операцию!

— Операцию!

— Да! И очень трудную. Вскрывают голову.

— Вскрывают голову? Да как же это?

— Да вот, видишь: есть такой инструмент; он словно

крышка с чайника, только кругом его острые зубчики, как у пилки.

— Ну?

— Вот на голове выбреют волосы, кожицу подрежут кругом, да и приймутся вертеть этот инструмент на черепе: он и выпилит из него кружочек.

— Ну?

— Ну, кружочек снимут: если лягушка или что другое на том месте, то...

— Как, если на том месте!.. А если на другом?

— Ну, так еще вертят череп.

Ноги оледенели у Ивана Трофимовича; однако ж он собрался с силами и выговорил:

— Как же это, батюшка! этак всю голову как тыкву изрежут!.. Да что ж с человеком-то в это время бывает?

— Чему быть с человеком? Он лежит без памяти.

— И живут еще после этакого мучения?

— Признательно сказать, Иван Трофимович, так почти всегда умирают.

В раздумье пошел Иван Трофимович от лекаря. «Не соврала баба! — сказал он дорогою, — не соврала! Экая беда какая!» И, пришедши домой, он увидел, что Марфа Осиповна уже собирается в путь.

— Куда спешишь, матушка?

— Да что, Иван Трофимович, время терять! Спасибо тебе, все дела мои покончила; какие хвосты остались, ты и без меня их заправишь. Благодарим за хлеб, за соль...

— Не на чем, матушка, не на чем!

Когда Марфа Осиповна собралась совсем уже садиться в кибитку, Иван Трофимович, скрепя сердце, сказал ей:

— Послушай, матушка: подарил я тебе петуха... возьми уж... и кошку!

Марфе Осиповне того только и хотелось.

— И! зачем это! — отвечала она. — Ведь у тебя Васька единое утешение...

— Нет, матушка! Я вот, видишь, человек холостой, прибирать в доме некому, а ведь кошка блудница; прыгнет неравно куда да заденет, разобьет... У тебя же в деревне простор большой.

— И подлинно так, Иван Трофимович! Давай, давай; а я тебе за то к великому посту пришлю медку к чаю да грибков сушеных... Ведь ты, чай, постничаешь?..

Почти слезы навернулись у Ивана Трофимовича, когда пришлось расставаться с Ваською; но делать было нечего. Петуха усадили в лукошко, Ваську в мешок, Марфу Осиповну в кибитку — и все тряхнулось и покатилось.

С тех пор жизнь опостылела Ивану Трофимовичу. Все ему грустно, все холодно вокруг шеи; даже чай ему казался горьким, сколько он ни прикусывал сахару. Войдет ли в комнату, — ему чудится, что Васька мурлычет; пойдет ли по городу — все оборачиваются полюбоваться на него: то схватится за холодную шею, — и нет Васьки!..

Однажды, когда Иван Трофимович сидел за чайным столиком и перед ним стыла налитая чашка, зашел к нему приятель.

— Здравствуй, батюшка Иван Трофимович! Подобру ли, поздорову поживаешь?..

— Нет, почтеннейший!.. нездоровится! Даже чай в горлышко не идет.

— Да что ж такое с вами, Иван Трофимович?

— Да бог весть что!.. И голова побаливает, да и что-то грустно все; ни на что глядеть не хочется.

— И, батюшка, Иван Трофимович! Хотите, я вас лекарству научу?

— Удружи, почтеннейший!

— Прибавляйте кизлярской водочки к чаю, — так не то заговорите.

— Что ты, почтеннейший! Я сроду хмельного в рот не брал и вкусу в нем не знаю.

— Попробуйте. Ведь вам уж пьяницею не сделаться!.. А кизлярская водка с чаем, скажу вам, лучшее лекарство от всех болезней. Лекаря обыкновенно ее отсоветывают оттого, что это лекарство отнимает у них барыши, а его действительность я сам на себе испытал. Вот, онамнясь, у бугорья мост у меня под кибиткою провалился: кучер еще как-то удержался, а меня отбросило в промоину, — по уши в воду, батюшка! Нитки сухой не осталось! Приехал домой, — день-то был морозный, — такая меня проняла трясавица, что свету божьего невзвидел: в голову бьет, зубы стучат, руки и ноги ходенем ходят. Что ж я? Жена! давай чаю, давай водки! Да как вытянул стаканчика два, на другой день как рукою сняло. Ведь это уж видимый опыт!.. Какое бы лекарство так скоро подействовало? Послушайтесь, Иван Трофимович, попробуйте:

право, благодарить меня будете! Ведь есть у вас кизлярская?..

— Держу для приятелей.

— Ну, попробуйте! Ведь раз — ничего не стоит!

Иван Трофимович послушался, попробовал; сперва было поморщился, но потом он сказал: «Странное дело!.. Водка лучше вкус придает чаю! Посмотрим, какая-то будет польза».

После двух чашек в самом деле Ивану Трофимовичу сделалось гораздо веселее. Это наслаждение он повторил и на другой день, и на третий, и на четвертый, и так далее.

Однажды сильная головная боль разбудила Ивана Трофимовича: он вскочил с постели как угорелый. Скорей к кизлярке: выпил — помогло. Через несколько времени другой толчок, и сильнее первого: опять к кизлярке, — и опять помогло. Потом еще третий, — и кизлярка уже не помогла. Тщетно Иван Трофимович увеличивал прием своего лекарства: ему все было хуже да хуже. Иван Трофимович струсил; ему уже кажется, что у него в голове что-то шевелится и царапается: беда, и только!

И с этого времени страшные сны пошли у Ивана Трофимовича. То ему кажется, что у него череп снимают, как крышку, а в черепе-то целое гнездо лягушек и всяких гадов. То ему кажется, будто он сам обратился в огромную и толстую жабу: и горько и стыдно ему!.. Хочет надеть сюртук, чтоб прикрыться, а сюртук не застегивается! — лишь рукава по воздуху болтаются!.. То, наконец, ему кажется, что у него в голове целый город Реженск, — крик, шум, скрип от возов... а по улицам все ходят не люди, а лягушки на задних лапках и с ножки на ножку переваливаются!..

Не на шутку испугался Иван Трофимович! И стыд прочь, и бросился он к лекарю.

— Батюшка, Богдан Иванович! помогите, спасите!

— Что с вами случилось, Иван Трофимович? Дайте-ка пульс пощупать...

— И! полно, батюшка!.. какой тут пульс! Помните, мы с вами недавно разговор имели об одной странной болезни?..

— Ну, помню. Так что же?

— Ну, батюшка! Эта самая болезнь со мною, грешным, и приключилась...

— Я вас не понимаю, Иван Трофимович...

— Чего тут не понимать, батюшка! Жаба у меня в голове завелась. Да!.. жаба, понимаете? Жаба в голове...

— Бог с вами, Иван Трофимович! Да с чего вы это взяли?

— Как с чего взял? Я перед вами, батюшка, как перед отцом духовным, таиться не буду; все вам расскажу. Пристрастился я к кошке... Помните, у меня кошка была, такая славная, теплая, — провал ее возьми! — черная, лоснистая... Вот и повадилась она, окаянная, мне на ухо шептать: шептала, шептала, да жабу и нашептала...

Лекарь захохотал во все горло.

— Помилуйте, Иван Трофимович! С вашим умом, и верить такому вздору?..

— Смейся, батюшка, смейся, как хочешь! — вскричал Иван Трофимович сквозь слезы. — Ведь ты не знаешь, что у меня в голове делается, а я так знаю, я ведь чувствую, как в ней кто-то проклятой царапается, — индо голова трещит; а уж болит-то она, болит-то, — едва рассудка не теряю! Что за беда такая! Уж шестой десяток живу на свете, на службе уже сороковой год всегда верой и правдой служил, и под турку ходил и под картечью бывал, дошел до звания городничего, и никогда со мною таковой оказии не бывало, а теперь, под старость лет, бог меня посетил таким позором!.. Помоги, батюшка, помоги как хочешь, не то я сам на себя руки наложу!..

Лекарь, видя, что все его увещания будут тщетны в эту минуту, решился более не противоречить старику и сказал:

— Ну, слушайте ж, Иван Трофимович! Если подлинно в вас есть такая болезнь, то возьмите несколько терпения: я уже вам, кажется, сказывал, что я только мельком слыхал о такой странной болезни, но, признательно вам откроюсь, никогда в глаза не видывал, ни в каких книгах не читывал. Дайте мне время немножко подумать да в книжках справиться. Я сам не замедлю к вам ответ принести, а теперь вот примите этот прохладительный порошок да привяжите к голове капустных листьев, а там, даст бог, увидим, что надобно делать.

По выходе Ивана Трофимовича лекарь задумался. В нем невольно взволновалась старая студенческая кровь; он невольно вспомнил то восхищение, с каким, бывало, он и его товарищи узнавали о поступлении в клинику какого-

нибудь странного больного или странного мертвого. «Что за несчастие! — говаривали они, — зима уже давно началась, а еще так мало к нам привозят замороженных кадаверов!» — «Какое счастие! — кричали они друг другу, — целых шесть славных кадаверов привезли!» А если между кадаверами попадался какой-нибудь урод с шестью пальцами, с сердцем на правой стороне, с двойным желудком: то-то радость!.. то-то восхищение!.. Новое знание! надежда открытия! пояснение наблюдений! новые толки профессора! новые системы!

Давно уже этот род наслаждения потерялся для нашего уездного лекаря; уже пятнадцать лет, как он оставил столицу; до него не дошло почти ни одного из наблюдений, сделанных в продолжение этого времени, в продолжение пятнадцати лет, — этого медицинского века! Близ него ни академии, ни журналов, ни библиотеки, а одна почти механическая работа, одна нужда доставать себе пропитание посреди людей необразованных: не с кем поверить даже самого простого наблюдения; нет минуты, чтобы привести в порядок свои опыты! все двадцать четыре часа в сутки расходуются на разъезды, на следствия, на самые мелочные занятия жизни. С отчаянием врач посмотрел на свою скудную библиотеку; Лаврентия Гейстера «Анатомия», изданная в 1775 году; какой-то «Полный Врач», того же времени; школьная диссертация его приятеля «О нервном соке»; его собственная диссертация на степень лекаря, в свое время наделавшая много шуму: «О пристойном железы наименовании», с эпиграфом из Гейстера:

Железо, какая часть, чтоб сказал врач, трудно;
Ибо Доктора в том числе все учили скудно, —

несколько нумеров «Московских ведомостей», школьные тетрадки — вот и все!..

С чем справиться? Где найти не только средство лечения, но даже описание болезни своего пациента?..

В досаде, в уверенности ничего не найти, он берет своего руководителя Гейстера, отыскивает главу «О голове», читает: «Содержимые части» (contentae partes) суть: мозг (cerebrum)... Около мозга головного жестокая мать (dura mater), или твердая оболочка над мозгом, из волокон сухожильных состоящая...»

Он бросил от себя книгу: все это было им читано, перечитано, учено и переучено!..

Тут ему пришла на мысль еще книга, которую некогда получил он в университете в награду за прилежание, которую тщательно завертывал он в бумажку и бережно хранил особо от других книг, по причине ее дорогого переплета: то был перевод книги «О предчувствиях и видениях», только что тогда появившейся в свет.

Развернув эту книгу, он напал на то место, где описывается известный поступок знаменитого Бургава в Гарлемском сиротском доме. Одна из воспитанниц дома впала в судороги, на нее смотря, другая, третья, четвертая, и таким образом почти все до последней. Бургав, видя, что это было действие одного воображения, приказал принести в комнату жаровню с угольями и щипцы и объявил, что у первой, которая впадет в судороги, станут жечь руку раскаленными щипцами. Это лекарство так устрашило больных, что все они в одну минуту выздоровели.

Прочитав это описание, Богдан Иванович задумался. Продолжая читать, он встретил описание больного, который воображал, будто у него ноги хрустальные и которого излечила служанка, уронив ему на ноги вязанку дров. Потом нашел он еще описание больного, который воображал, будто у него на носу сидит муха, и беспрестанно махал рукою, тщетно желая согнать ее. «Остроумный врач, — сказано было в книге, — уверив больного, что он имеет средство излечить его, ударил его по носу ланцетом, и в ту же минуту показал больному приготовленную прежде для того муху».

Слова «остроумный врач, знаменитый Бургав» невольно остановили Богдана Ивановича.

«Что! — сказал он сам себе, — если бы и мне удалось произвести в действие подобное лечение! Я бы описал подробно темперамент моего пациента, его мономанические припадки, средство, мною придуманное для его излечения, полный успех мой, и слава обо мне пролилась бы во всем мире, мое описание послал бы я в Академию... даже в иностранных газетах возвестили бы миру о том, как редки и замечательны в летописях науки подобные случаи, какую трудность представлял Иван Трофимович для излечения, как «остроумный» врач искусно воспользовался состоянием нервного сока в своем пациенте, и прочая, и прочая: и, может быть, за это бы вызвали меня в Петер-

бург, приняли бы в Академию? О радость! о счастие!.. Решено!

И Богдан Иванович поспешно собрал все находившиеся у него инструменты — кривые и прямые ножницы, кривые и прямые ножички; присоединил еще к ним все, что только могло найтися в его скудном хозяйстве: вертела, пирожные загибки, обломки невинных щипцов, — все пошло впрок! Засим, в ближнем болоте он поймал огромную лягушку, согнул ей лапки, положил ее в карман камзола и с этим запасом, нахмурив брови как можно грознее, явился к Ивану Трофимовичу. Не говоря ни слова, он разложил на столе возле самого окошка, где обыкновенно сиживал Васька, все свои военные снаряды. Иван Трофимович побледнел.

— Что это? — вскричал городничий с ужасом.

— Я долго размышлял, рылся в книгах о вашей болезни, Иван Трофимович, — сказал лекарь с величайшею важностию, — и нахожу, что единственное средство для вашего спасения есть операция... правда, ужасная.

— Операция! — вскричал Иван Трофимович, — то есть провертеть мне голову!.. Нет, ни за что на свете! Уж лучше так умереть, нежели под твоими ножами...

— Но это единственное средство.

— Нет! Ни за что на свете!

— Но вы чувствуете в голове нестерпимую боль, которая будет усиливаться все больше и больше...

— Нет! Ничего не бывало!.. теперь уж все прошло...

— Но за два часа перед сим?..

— Прошло, говорят тебе! Совсем прошло!

Тщетны были все усилия лекаря: он видел, что цель его испугать больного была слишком достигнута, и рассудил, что надобно несколько отдалить ее.

— Но послушайте! — сказал он. — Ведь эта операция совсем не так опасна, как вы думаете...

— Нет, отец родной! Меня не перехитришь: я сам человек лукавый. Я помню все ужасти, которые ты мне рассказывал. Я как подумаю о том, то едва голова с плеч не валится.

— Но уверяю вас, что я сделаю так искусно, так осторожно, что вы и не почувствуете...

— Какое тут искусство поможет, как начнешь мне череп сверлить!.. Дурак, что ли, я тебе дался?

Лекарь был в отчаянии. Он к Ивану Трофимовичу и с вертелом, и с ланцетом, и с щипцами: Иван Трофимович не дается. Наконец городничий рассердился, лекарь также; минута была решительная: от нее зависели и будущая слава Богдана Ивановича, и богатство, и Академия, и статьи в газетах, и завидная участь его ученого поприща. Вооруженный ланцетом, он в отчаянии бросается на своего пациента, стараясь хотя дотронуться до его головы и показать ему успех операции; но Иван Трофимович вдруг вспомнил прежнюю молодецкую силу... они борются: стол вверх ногами; чашки, чайник, все вдребезги: для обоих дело о жизни и смерти!.. И в самую эту минуту... холодная свидетельница и невинная участница происшествия, пользуясь одним из движений лекаря, изо всех сил шлепнулась на пол.

— Это что? — вскричал удивленный Иван Трофимович. — Злодей! окаянный! Ты не только хотел умертвить меня, но и посадить в голову какую-то гадину!.. Вон отсюда, окаянный!.. вон, говорю тебе!..

И с сими словами Иван Трофимович, понатужившись, выкинул Богдана Ивановича из окошка...

Доныне в архиве Реженского земского суда хранится «жалоба отставного прапорщика пехотного карабинерного полка, реженского городничего, Ивана Трофимова сына Зернушкина, на такового же уезда лекаря Богдана Иванова сына Горемыкина о разбитии фаянсовых чашек и чайника, о явном умысле предать его, Зернушкина, умертвению и посадить ему в голову некую гадину».

Старики говорят, однако же, что с того времени Иван Трофимович освободился навсегда от своего припадка.





КАТЯ, ИЛИ ИСТОРИЯ ВОСПИТАННИЦЫ

(Отрывок из романа)

В один прекрасный майский вечер,—извините, в июньский, — когда наши набеленные и нарумяненные острова уведомляют петербургских жителей, что настало лето; когда петербургские жители, поверив укатанным дорожкам и напудренной зелени, запасаются палатками, серыми шляпами и разными другими снадобьями против зноя, переезжают в карточные домики, называемые дачами, затворяют в них двери, окна и в продолжение нескольких месяцев усердно занимаются химическим разложением дерева на его составные части; когда между тем дождь хлещет в окошки, пробивает кровли, ветер ломает едва насаженные деревья, а гордая Нева, пользуясь белесоватым светом ночи, грозно выглядывает из-за парапета, докладывает гостиным, что сверх ежедневных интриг, сплетней и происков существует на сем свете нечто другое, — в один из таких прекрасных вечеров, говорю, на берегу Черной речки, в загородном доме, построенном на итальянский манер, столь приличный нашему климату, несколько дам и мужчин толпились в гостиной после раута; получено было известие, что река высока, что вздулись мосты и что собираются развести их; усталая хозяйка, проклиная запоздалых гостей, радушно предложила им переждать непогоду, уверяя честию, что она в восхищении от этого случая. Гости благодарили хозяйку за ее благосклонность и, в свою очередь, проклинали ее и ее раут, который поставил их

в такое неприятное положение. Когда таким образом истощился запас обыкновенных учтивостей и внутренней досады, всякий принялся за свое дело. Благоразумнейшие начали новую партию виста, менее благоразумные присели смотреть на игру, остальные атаковали камин. К этому кружку присоединился и я.

В подобных обстоятельствах над кружком людей, соединившихся в гостиной силою симпатии, обыкновенно несколько времени еще носится удушливый воздух раута; но он мало-помалу редеет, язык делается развязнее, мысли крупнее. Зашла, не знаю как, речь о предчувствиях, о таинственных отвращениях и пристрастиях; пересказаны были все известные анекдоты о слепой ненависти к бабочкам, к собакам, к воде и прочему тому подобному; и естественным образом разговор обратился к впечатлениям, оставляемым в нас происшествиями нашего детства. Тогда я заметил на лице одного молодого человека, до тех пор не принимавшего участия в разговоре, легкое судорожное движение, которое было смесью досады на самого себя и какого-то раскаяния.

— Этот разговор, — сказал он, — напоминает мне одно очень простое происшествие моего детства, но которое оставило во мне не только сильное воспоминание, но провело неизгладимую черту в моем характере.

Его просили рассказать это происшествие; молодой человек облокотился на камин, и вот что я мог упомнить из слов его.

Нужным считаю прибавить для читателей следующее физиономическое наблюдение, сделанное мною над рассказчиком.

Это было одно из тех странных лиц, которые иногда встречаются в свете между людьми нового поколения; ничто не выражается в этом лице, но оно вас останавливает; видите самодовольную улыбку, а в вас рождается невольное сострадание; в этой физиономии выговаривается что-то прекрасное, неоконченное, смешное, страдающее — какой-то роман без развязки; она напоминает вам и пиитические мгновения Дон-Кихота, и растение, заморенное химиком в искусственной атмосфере, Гетевы слова о Гамлете и те странные существа, которых насмешливая природа производит на свет, как будто лишая способности к жизни. Новая наука оправдала провидение: природа не производит уродов, она производит су-

щества, одаренные всеми органами жизни, но часто один орган развивается, а все другие остаются в затверденин; так бывает и в нравственном мире; родятся люди с сильными мыслями, с сильными чувствами — но одно какое-нибудь чувство разовьется, поглотит жизнь всех других, осиротелое само завянет, и душа сделается похожею на немую карту: видны очерки мест, но нет им названия — все безмолвно!

Разговор таких людей имеет какую-то особенность, которая не встречается у людей, привыкших ежедневно издерживать свою душу; такие люди радуются редкой минуте сильного движения; стараются вместить в нее все, что когда-то загоралось в их сердце, все, что пережило в нем потихоньку от людей. Такие люди любят останавливаться на предметах, по-видимому весьма обыкновенных, любят возгласы и отступления, — и это очень естественно; чувства и мысли, сжатые в них в продолжение времени, в минуту своего освобождения вырываются толпою, и каждая с настойчивым эгоизмом требует себе тела и образа. Эта оригинальность много теряется на бумаге.

— Я должен начать несколько издалека,— сказал молодой человек, — иначе моя история будет непонятна. Не знаю, найдется ли теперь и в Москве дом, подобный дому графини Б.; в Петербурге же наверное не сыщете. Представьте себе хоромы и жизнь старинного богатого русского боярина: дорогие штофные обои, длинные составные зеркала в позолоченных рамах; везде часы с курантами, японские вазы, китайские куклы, столы с выклеенными на них из дерева картинками; толпа слуг в ливреях, вышитых басоном с гербами; шуты, шутихи, карлы, воспитанницы, попугаи, приближенные; несколько десятков человек за обедом и ужином; во время стола музыка, вечером танцы, и все это каждый день — запросто; а в праздники, на святках, на масленице — блестящие балы, маскарады, французские спектакли; словом, все возможные выдумки рассеянности. Наши деды, как вы знаете, любили веселиться и роскошничать; они веселились больше, нежели мы, и роскошничали со страстию, с бешенством; в этом поставляли они просвещение и гордились им не меньше нашего; со всеми изобретениями ума и вкуса они поступали как дикий, который за бутылку поддельного шампанского отдает последний топор

свой, выпивает разом драгоценный напиток и не думает спрашивать, откуда добывается это вино, как его делают, отчего кипит оно, отчего оно разливает по его телу это странное и веселое ощущение.

Графиня была нам родственница и очень любила меня, по крайней мере мне так казалось, потому что в светлое воскресенье она обыкновенно присылала мне целую корзину яиц хрустальных, фарфоровых, шитых золотом; потому, что подарила мне китайца, который бегал по комнате и махал руками и которого я изломал, чтобы узнать, отчего он бегает, потому, что она нарочно для меня велела приучить моську ходить в дрожках и возить меня по саду; а пуще всего потому, что, когда я бывал у моей Коко, — так называл я графиню, — то мне позволяли лакомиться сколько душе угодно. Все дело было в том, что я был, чему вы теперь не поверите, краснощекий, пухленький мальчик с русыми кудрями и что моя Коко любила всех детей без исключения.

Это пристрастие к детям умножало в доме графини число воспитанниц, которые и без того, по заведенному исстари порядку, должны были находиться в каждом московском порядочном доме; но любимая ее воспитанница называлась Катею. Знаете ли вы, что такое воспитанницы у московских барынь? Самые несчастные существа в мире. Вот это как делалось и, думаю, до сих пор делается: берут дворяночку или свою крепостную, одевают ее, воспитывают вместе с своими детьми, ласкают ее до тех пор, пока она не подрастет, — словом, поступают точь-в-точь как природа, которая своего избранного дарит сильным воображением, раздражительною чувствительностию, для того чтобы он впоследствии живее чувствовал все терзания жизни. С возрастом начинаются страдания бедной воспитанницы: она должна угождать всему дому, не иметь ни желаний, ни воли, ни своих мыслей; одевать барышень, работать для них и за них; носить собачку; со смирением вытерпливать дурное расположение духа своей так называемой благодетельницы; смеяться, когда хочется плакать, и плакать, когда хочется смеяться, и при малейшей оплошности слушать нестерпимые для юного, свежего сердца упреки в нерадении, лености, неблагодарности! А сколько маленьких страданий, которые, может быть, нам и непонятны, но очень чувствительны для бедной воспитанницы в ее маленьком круге: слуги завидуют ей и

вымещают на ней злость свою на господ, не встают перед нею, отвечают ей с грубостью, обносят за столом; мужчины не стыдятся говорить при ней о вещах, о которых не говорят при девушках; ее возят в театр, когда в ложе просторно, возят на гулянье, когда в карете есть лишнее место; если же, к несчастью, она хороша собою, то ее обвиняют в неудаче барышень, гонят на мезонин, когда в гостиной есть женихи на примете; и она осуждена или свой век провести в вечном девстве, или выйти замуж за какого-нибудь чиновника четырнадцатого класса, грубого, необразованного, и после довольства и прихотей роскошной жизни приняться за самые низкие домашние занятия. Вы не знаете, что такое жизнь нашего среднего класса, — она очень любопытна; жаль, что еще никто из авторов не обращал на нее внимания; но я не стану говорить о ней, это бы завлекло меня в другую материю; вообразите себе только все тщеславные потребности богатого человека, соедините их со всеми недостатками нищеты; вообразите себе только, что в доме какого-нибудь канцеляриста, получающего в год не более тысячи рублей, наблюдается большая часть того, что и в богатом доме; и все, что здесь делается с помощью больших расходов и многочисленной прислуги, — у него исполняется одною матерью семейства! Но я заговорился и до сих пор еще не рассказал моего происшествия. Итак, прибавлю только, что Катя была дочь одного из графининых официантов; ее миловидное личико понравилось графине, и она взяла ее воспитывать вместе с двумя своими дочерьми, учила ее вместе с ними, одевала ее в одинаковые с ними платья; когда было нечетное число, Катя садилась за стол; когда недоставало пары, Катя танцевала. В то время, о котором я говорю, ей было лет десять, а мне шесть. Я очень полюбил Катю; графиня заметила это и потому всегда заставляла Катю забавлять меня; и бывало, что я приеду, милая Катя ко мне навстречу, бегает со мной по саду, показывает картинки, рассказывает сказочки, заставляет китайских куколок качаться и выставлять языки. Вот однажды у графини детский маскарад; я, разумеется, приглашен; в первый еще раз в жизни меня повезли на бал, и я был вне себя от радости; но не знаю, как-то я запоздал, кажется оттого, что на мне долго поправляли гусарский шитый мундир; помню только, что этот мундир придал мне большую

гордость, особливо когда, вошедши на бал, я увидел, что всех лучше одет и что все глаза обратились на меня, что все, как водится, окружили меня, удивлялись, целовали. Другие дети уже танцевали, и мне не осталось ни одной маленькой дамы, кроме Кати; мне подвели ее; но я, я не знаю, что сделалось со мною, — я гордо закинул золотые кисти моего кивера, которые больше всего наряда мне нравились, тряхнул саблею и сказал, что не хочу танцевать с холопкою. И что же? вместо того чтобы выдрать мне уши, заставить у Кати просить прощения, заставить танцевать с нею, — все, напротив, стали смеяться и хвалить меня: «Вот молодец! славно! славно! Как можно князю, да еще гусару, танцевать с холопкою?». Так понимают у нас воспитание! Но Катя заплакала, увидев ее слезы, заплакал и я — я вспомнил, как она еще вчера потихоньку от моей гувернантки вывела у меня из платья воск, которым я залил себя, махая свечою, чтобы показать ей, как в балете плясали фурии, — ибо мне строго запрещено было дотрагиваться до свечей... простите мне, что я упоминаю обо всех этих мелочах; они все так живы в моей памяти, что когда я заговорю об одном происшествии, то одно тянет другое.

Когда бедная Катя заплакала, мне жалко ее стало; но, судя по словам *больших*, я подумал, что сделал очень хорошо, и как мне ни грустно было, как тайный невнятный голос ни упрекал меня, но я, для поддержания своего характера, отворотился от Кати и гордо взял за руку графиню, которая, чтобы утешить меня, сама пошла танцевать со мною, повторяя со смехом слова мои. Я погрустил недолго, все окружающее рассеяло меня, и я пропрыгал целый вечер до упаду, а Катя целый вечер проплакала; ибо после того, что я сказал, никто уже не хотел танцевать с нею. Тогда мой детский ум приписывал слезы Кати только тому, что она не танцевала, и я легко утешал себя, повторяя слова, заслужившие всеобщее одобрение: она холопка! Уже впоследствии, входя в лета, узнав больше Катю и размышляя о том, как рано развернулся в ней ум и как рано она начала понимать свое положение, я постигнул, как я жестоко оскорбил ее; несчастные происшествия, которые сопровождали Катю в ее жизни, заставили меня рассчитать, что я первый познакомил ее с тем унижением, которое ожидало ее в жизни, и эта мысль обратилась мне в жесточайший

упрек, и в упрек столь сильный, что его впечатление до сих пор во мне осталось, и часто, когда мне грустно или я пересчитываю все дурное, сделанное мною в жизни, я невольно вспоминаю о моем поступке с Катею и не могу себя разуверить, чтобы когда-нибудь провидение не наказало меня за это в сей или будущей жизни. Этого мало: несколько часов нечувствительности, с которою я смотрел на слезы Кати, так подействовали на меня, что я до сих пор пугаюсь впечатления, ими во мне оставленного, и не могу выбить себе из головы, чтобы в характере моем не было какого-то врожденного жестокосердия, которое рано или поздно может развернуться, — и смейтесь надо мною как хотите, — я часто бываю уверен, что потерю самого милого человека перенесу хладнокровно; что даже мне недостает только случая, чтобы совершить хладнокровно величайшее преступление. Можете себе представить, какое влияние эта мысль, ни на минуту меня не оставляющая, производит на меня в разных случаях, встречающихся в жизни; сколько раз, боясь употребить некоторую твердость, я оставался в дураках, потому что она мне казалась пробуждением моего внутреннего порока; сколько раз я позволял людям с маленькою душою одерживать надо мною маленькие победы, единственно потому, что боялся употребить гнев, насмешку, эти нравственные орудия, которыми природа снабдила нас для нашего защищения и которые так часто бывают необходимы в жизни! Я без шуток пугаюсь моей страсти к анатомии; поверите ли, что я не хотел читать жизни Брянвилье — так пустое происшествие детства провело неизгладимую черту в моем характере.

Молодой человек остановился.

— Где теперь ваша Катя, и что с нею сделалось? — спросила одна дама.

— Я вам почти рассказал ее историю, говоря об участи воспитанниц; особенные происшествия ее жизни требуют долгого рассказа, и в них столько романического, что вам покажется, будто я выдумываю.

Разговор кончился, но любопытство мое было возбуждено, и я не оставил в покое молодого человека, пока он не рассказал мне следующего происшествия.

— Повторяю вам, — сказал он, — что я рассказываю не роман; и потому не ищите в моем рассказе ни класси-

ческой интриги, ни романтических нечаянностей, к которым приучили нас остроумные сочинители Барнава и Саламандры, ни рачительного описания кафтанов, которыми щеголяют подражатели Вальтера Скотта. Моя история — природа во всей наготе или во всем своем неприличии — как хотите.

Чтоб не утомлять вашего внимания, я начну с того, что прочту вам афишку остальных действующих лиц в моей истории; их немного: старый граф, муж графини, которого звали Жано; сын его с левой стороны, Владимир, которого звали Вово; и еще одно лицо, по имени Борис, которого звали Бобо. Старого графа я почти не знал; он беспрестанно был в разъездах: на короткое время приезжал в Москву, давал большой обед и снова уезжал в Петербург или в чужие края. Старый граф, как мне после рассказывали, был — что тогда называлось — *философ*, то есть был страшный волокита, писал французские стихи, не ходил к обедне, не верил ни во что, подавал большую милостыню встречному и поперечному; в его голове странным образом уживалась высочайшая филантропия с совершенным нерадением о своих детях и самая глупая барская спесь с самым решительным якобинизмом. Редкие образчики нравов того времени еще до сих пор остались в нашем обществе, но, благодаря бога, с каждым днем исчезают, — и это одно может служить против обвинителей нынешнего века важным доказательством, что мы лучше наших дедов. Частию по правилам, частию по привычке, старый граф не посовестился прижить с одной из своих крепостных Владимира, сказать о том жене, как о деле самом обыкновенном, и сделать из него *воспитанника*. Моя добрая Коко все простила мужу; теперь этому не поверят, но в то время в нашем обществе такие примеры были не редки, и минутная склонность, *нечего делать*, тогда позволяли себе то, чего теперь не позволят самой истинной, самой горячей любви, основанной на взаимном согласии характеров, занятий, образа мыслей. Истинно мы лучше, хотя и несчастливее наших дедов. Коко моя, по пристрастию к детям, очень полюбила Владимира и холила и нежила его, как родного сына.

Бобо был существо особенного рода. Еще до своей женитьбы граф Жано вывез из Италии для замыслов каких-то непонятных некоего юношу, которого звали Пау-

лино и который был у графа нечто среднее между секретарем и камердинером. Хитрый итальянец умел вкрасться в доверенность графа и завладеть всеми его делами; Паулино, по тогдашнему обычаю, поспешили записать в какую-то экспедицию, и через несколько времени итальянец Паулино обратился в русского коллежского асессора Осипа Ивановича Павлинова. Коллежский асессор Павлинов не замедлил жениться на немке, графининой кастелянше, и от сего пошел род коллежских асессоров Павлиновых, которых ревностная служба переходила от звания камердинера до столового дворецкого и наконец до управителя. Отец Бобо попал в сию последнюю должность, но сынку своему готовил уже другую участь. Между тем Бобо, по заведенному порядку, попал в любимцы и воспитанники графини.

Когда я узнал этого Бобо, ему было уже лет двенадцать. Я никогда не любил его; избалованный до крайности своей матерью, он был груб и нагл, ходил всегда насупив брови, говорил отрывисто, дерзко и смеялся только тогда, когда мог потихоньку от графини раздразнить меня или Катю. Он сдувал карточные домики, которые мы с нею строили, заливал чернилами мои любимые картины и мою милую Катю называл не иначе, как Катькой, а после моего несчастного происшествия в маскараде прибавил к этому имени название холопки и, зная, что одним этим словом мог привести меня в слезы, старался повторять его как можно чаще; почему знать, может я моею бессмысленною фразою посеял в тяжелом мозгу его такие мысли, которые без того не пришли бы ему в голову. Некоторые из слуг с лакейскою дипломатическою проницательностью разочли, что со временем их судьба будет зависеть от Бобо и что его естественным соперником может быть один Владимир; они, подделавшись к порочным наклонностям Бориса, растолковали ему, что после смерти отца он будет головою в доме графини, рассказали ему, кто таков Владимир, и поселили к нему такую ненависть, что Борис не мог пройти мимо Владимира, не давши ему толчка, не ущипнув его или не сделавши с ним какого-нибудь другого дурачества. Владимир был моложе его тремя годами, но не уступал и платил ему тем же; оттого дня у них не проходило без ссоры; графиня разбирала их, мирила, наказывала то того, то другого, попеременно заставляла просить друг

у друга прощенья, — и тем только увеличивала их взаимное отвращение. С летами Борис стал хитрее и осторожнее; при графине он скрывал свою ненависть к Владимиру и называл его Володею или Вово, — но за глазами матери отворачивался от него и, говоря про Владимира, называл его не иначе, как *барином*, имя, которое в насмешку дали ему слуги.

Между тем я возрастал, и с тем вместе страсть моей Коко ко мне холодела; я все еще называл ее этим именем, но, занятый ученьем, я уже гораздо реже стал к ней ездить; скоро другой пухленький мальчик занял мое место; меня же отвезли в пансион в Петербург, и я потерял из вида мою Коко и Катю.

Между тем Владимир и Катя, живя вместе, учась у одних учителей, рано гонимые завистью воспитанниц и воспитанников графини, ее слуг и служанок, — рано стали искать утешения друг в друге; сначала они взаимно стали поверять свои маленькие страдания; но эти страдания с каждым днем росли более и более, с тем вместе увеличивалась их привязанность, и они все живее и живее чувствовали необходимость друг в друге.

Владимир был настоящий, как говорят, герой романа, невысокого роста, сухощавый; глаза черные навыкате; несколько смуглое лицо придавало ему вид, похожий на итальянца, — в самом деле, в душе его живые полуденные страсти были прокалены холодною славянскою кровью. Рано он понял, что в жизни предстоит ему беспрестанное борение и что ему должно было полагаться на одного себя: он с пламенным рвением принялся за ученье. Катя разделяла его труды; они с жаром прочитывали все, что им ни попадалось, далеко оставив за собою молодых графинь и Бобо, которые учились только из приличия.

Вышед из пансиона, я поехал на время в деревню; мимоездом мне надобно было быть в Москве, и я остановился нарочно на несколько часов только для того, чтобы посетить мою Коко. Какую перемену нашел я в ее доме! ее нерасчетливая расточительность, жизнь графа в чужих краях, где он был в связи с какою-то актрисою, — совершенно расстроили имение графини; большая часть его была продана на удовлетворение кредиторов, и графиня увидела себя принужденною значительно уменьшить свои издержки. Я пробежал несколько комнат, которые были свидетелями веселых игр моего детства; в них лишь одна

многочисленная толпа слуг и китайские болванчики напоминали о прежнем великолепии; обои полиняли и истрескались; мебель была изорвана и изломана; позолота на зеркалах потускла; в огромных комнатах горело по одной свечке, а иные совсем не были освещены. Я вошел в гостиную: за круглым столом, за одною лампою, сидели графиня в больших креслах, ее две дочери и Катя, — все они ничего не делали, и глубокое молчание царствовало между ними. Катя поразила меня; ребяческая красота ее исчезла, она сделалась не красавицею, но получила лицо чрезвычайно выразительное, этот размышляющий взор на ее прекрасном личике, эти свежие, полные жизни прелести стана — и... эта прекрасная ножка, на которую я не мог смотреть равнодушно... Я не узнал Катю, смешался, — графиня мне очень обрадовалась и после обыкновенных расспросов и приветствий сказала мне: «Да, мой милый, ты молодеешь, а я старею, дряхлею и скучаю; спасибо тебе, что ты не забыл обо мне; добрый ты человек, теперь уж все меня забывают; в нынешнем свете не помнят стариков, и, правду сказать, там и ничего не помнят». Все слова ее отзывались горечью оскорбленного тщеславия и мелкой, но горячей завистью ко всем возможным успехам; я не могу постигнуть, откуда это последнее чувство закралось в доброе сердце моей Коко. Но это было так! Коко сделалась завистлива, и очень завистлива. Зная, что ничем столько нельзя сделать удовольствия московским дамам, как рассказывая петербургские новости, я не щадил языка, но еще иногда спрашивают, правда ли, будто бы необразованные люди злее образованных; да этого не может быть иначе! Человек образованный, чувствуя в себе потребность выкинуть свою желчь, старается дать ей опрятный вид благовоспитанной эпиграммы, потом любуется ею, разносит ее, а это требует времени, развлекает, и нечувствительно в так называемом злом человеке остается столь же мало злости, как в сатирическом поэте; простолюдину не нужны эти усилия, он злится просто, без обиняков, — что он ни скажет, что ни сделает, все хорошо, лишь бы только в том было злое намерение; и оттого ему наслаждение злиться гораздо преступнее, нежели для нас. Так было и с моею Коко: при всяком моем рассказе, где только дело коснется до какого-нибудь собственного имени, моя Коко вспыхнет, усмехнется, скажет одно слово — только одно слово, но в этом слове целый

мир злости, досады, презрительного удивления! Какая-нибудь лента, звезда, наследство были для нее личным оскорблением, и скоро она не шутя начала на меня сердиться за мои рассказы. Я обратился к молодым графиням, — графини были глупы и пусты до чрезвычайности, дурного тона, мешали русский язык с французским; их интересовали одни свадьбы, женихи и невесты, а свадьбы, женихи и невесты бесили мою Коко. Я к Кате, — Катя испугалась, смешалась, едва отвечала мне и наконец, выбравши свободную минуту, с ужасом сказала мне: «Бога ради! говорите с графинями!» В этих словах мне изобразилась вся горесть ее положения, но я еще не вполне понимал его; уже гораздо после оно совершенно мне объяснилось; вот что узнал я впоследствии.

Графиня, несмотря на развращение нравов своего времени, была строгою блюстительницею нравственности: может быть, то самое, чего она была свидетельницею, произвело эту полицейскую черту в ее характера, и она, судя о настоящем по прошедшему, никак не могла вообразить себе женщину вместе с мужчиною, и особенно в дружбе, и чтобы из этого не вышло чего-нибудь дурного. В свете она уже давно спрашивала, о чем молодые люди находят говорить между собою, когда в ее время они только танцевали или амурились; еще более пугало ее то, что оба пола нового поколения, уверенные в своей невинности, говорят о всех возможных предметах без всякого смущения: это ей казалось последнею степенью разврата, то есть тою степенью, где уже разврат кидает свою личину; всего этого она как-то не понимала, — словом, мне очень трудно объяснить вам систему графини, и она сама не взялась бы за это: это был нескладный сброд нескладных слов, которые она почитала мыслями; несколько старых анекдотов, которые она называла плодами опытности, и две или три причуды, которые она называла правилами нравственности, — отыщите тут какой-нибудь толк! Но, несмотря на то, она своей системе верила больше, нежели иезуит католицизму. Впрочем, образчики моей графини можете еще найти между некоторыми почтенными дамами, которыми унизаны диваны гостиных, и которые уверены, что все люди на свете живут и движутся для того только, чтобы им было о чем поговорить, и которые, привыкши в свое время видеть величайшую безнравственность под самыми щекотливыми формами и некогда сами принимавшие уча-

стие в этом маскараде, не могут себе вообразить, чтобы под ничего не пугающеюся откровенностию могли скрываться самые невинные и, увы! может быть, самые холодные нравы.

Как бы то ни было, графиня, как скоро ее молодые люди стали подрастать, благоразумно отделила мужской пол от женского; разные часы ученья, разные комнаты, собираться только за обедом и ужином под надзором гувернеров и гувернанток, которым прочтена проповедь о благочинии, не говорить, не подходить, — словом, все разочтено, предусмотрено. Графиня была очень довольна собою, — одного только не заметила ее прозорливая опытность, одного! — что новое поколение родилось после старого и что оно в общем счете жизни человечества старее старого, и потому раньше старого стало жить и чувствовать. Еще графиня думала о своих новых планах неукоризненной нравственности, а уж Владимир и Катя были по уши влюблены друг в друга, у них завелись все маленькие споры и ссоры любви, упреки в холодности, ревность, особенно со стороны Владимира, который ревновал Катю ко всем, начиная от Бобо до старой графини. Однажды — тогда только начался век унылых элегий — Владимир в минуту какого-то отчаяния не мог утерпеть, чтобы не положить в ридикюль Кати каких-то романтических стихов. По несчастию, эти стихи как-то попались графине; долго она читала их и никак не могла решить, любовные ли они, или нет; как бы то ни было, она строго запретила Владимиру предаваться поэтическим мечтаниям, а Кате получать их, и надзор за ними был удвоен. Пока у графини были вечера и балы, этот надзор не мог быть доведен до последней степени совершенства; но когда балы прекратились, знакомые начали мало-помалу оставлять графиню, а наконец и совсем оставили, попечение о благочинии в доме сделалось единственным, главным занятием графини. Как объяснить вам мучительное действие этого надзора на моих молодых любовников, — право, не знаю. Наши молодые люди XIX века рассудительны, их патетические минуты всегда пополам с балом, с партией виста, и любовь у нас разменялась на мелкую монету, по той же причине, по которой в гостиных музыка обратилась в холодную нежность итальянской кавалетты, а живопись в закопченную бумажку; промышленность XIX века умела приспособить святое мучительное чувство любви к нашей

лени, к удобствам жизни: она сделала его чем-то карманным, как записную книжку, как перчатку; можете его надеть, скинуть, выворотить, и оно все останется тем же. Даже что значит любопытная бдительность наших полицейских чепчиков? (Nos bonnets de police?) — они рассеяны и вистом, и придворными новостями, тузами и валетами всякого рода, — много, много, что им достанется наслаждение расстроить две, три свадьбы, нарушить спокойствие двух, трех семейств, и то с грехом пополам; молодое поколение прижало их к стенкам диванов, откуда они не смеют пошевельнуться, чтоб не потерять места. Аббат Леменне написал «Опыт о равнодушии в делах веры», бедный аббат! ты не знал общества! Я хочу помочь твоей близорукости и написать для гостиного употребления целую коллекцию таких опытов, как-то: опыт о равнодушии в деле искусства, опыт о равнодушии в деле наук. Опыт о равнодушии в деле правды, в деле ума, в деле несчастия, в деле чести, в деле подлости, в деле лести, коварства, грабежа и проч. Теперь вообразите себе все противоположное тому и перенеситесь в маленький круг моей Кати.

Едва начиналось утро, Катя обязана была являться к своей благодетельнице, делать чай, сводить счеты, толковать об уборах для молодых графинь, — в этом занятии проходило полдня; ибо графиня, держась старинных правил, находила неприличным и вовсе ненужным позволять девушкам прогуливаться пешком; огромная четвероместная карета с четверкою поседевших от старости лошадей хранилась только для торжественных выездов семейства, ко всенощной, в дальний монастырь или на обеденный стол к архиерею; после обеда молодые графини садились к окошку, и разговор еще несколько поддерживался: пешеходец, изредка проходивший мимо дома с совершенно невинным намерением, простучавшие дрожки, а за недостатком того и другого, пробежавшая собака, крик разносчика, — обо всем было переговорено, перетолковано, выведены все возможные заключения; все окошки в домах пересмотрены, изучены, все трубы пересчитаны и к сумеркам или в длинные зимние вечера нашим милым графиням, естественным образом, не оставалось никакого другого занятия, кроме Кати. Обыкновенно графини начинали понемножку ее мучить, сперва начинали смеяться над ее молчанием, ее туалетом, потом каждое ее слово служило

поводом к комментариям; если она осмеливалась взять книгу, то говорили ей, что она капризничает; если она принималась за рукоделье, то хулили ее работу; если она молчала, у нее спрашивали, не ссохлись ли ее губы; если она начинала говорить, то называли ее болтуньею. Но главным предметом нападений был Владимир; по приказанию старого графа Владимир ходил учиться в университет и только за обедом являлся в семейство графини. Как у всякого молодого человека, начинающего понимать свои познания, сколько свежих чувств, сколько девственных мыслей, не зараженных сомнениями, зарождались в душе его; как хотелось ему передать себя Кате, удивить каким-нибудь новым чудом природы, только что им узнанным, перенести ее в свой мир мечтаний, пересказать все изменения, которые беспрестанно творились в его уме и сердце!

Кто не испытал этого чудного чувства прозелитизма, которое тревожит юную душу, полную жизни и деятельности? всем бы поделился, все бы передал, что есть на уме и на сердце; простолюдин дарит своей любезной свою последнюю драгоценность; художник отдает ей познание, которое поразило его вчера, чувство, которое вчера его встревожило — все то, что вчера загорелось в нем и что потому ему кажется целию человеческой жизни. Холодные или устарелые люди смеются над этим прозелитизмом, не замечая того, что и в них он существовал и претворился в охоту рассказывать новости, давать советы встречному и поперечному, — что в них выпарилось все прекрасное и святое этого побуждения, а остался один его холодный себялюбивый осадок.

Владимиру страшно было подумать, что он с каждою минутой идет вперед, что с каждым шагом его ум светлеет, чувство разгорается, мысли ото дня более и более смыкаются в тесные пределы выражений, как целые алгебраические выкладки в одну условную букву, а его Катя не знает об этом, его новые выражения для новых мыслей ей неизвестны, она, может быть, разучится понимать его иероглифы!

Графиня не входила в эти отвлеченности; она судила попросту, по-старинному: она бы не прочь и женить Владимира на Кате, но до уреченного часа она находила, что непристойно, не следует, да и не о чем молодой девушке говорить с молодым мальчиком — и уста нашего пламенного юноши сомкнулись бдительностью графини: едва

осмелится он подойти к Кате, едва долго сжатые мысли и чувства вырвутся из души его, как взгляд графини прерывал его ораторский восторг, и снова стеснятся в душе недоговоренные слова и душа умирает в муках рождения. Между тем минута пройдет, мысль, которая должна была развиться в это мгновение, уступит место другой, эта третьей — и каждое превращение, сомкнутое в душе юноши, терзает его нестерпимыми муками. Наконец осталось одно бедному Владимиру — взоры: ими хотел он передать Кате тот мир мыслей и чувств, который ежеминутно рождался и исчезал в его сердце... но тут являлись молодые графини; этим просто завидно было действие, производимое Катею на молодого человека: они бы оскорбились, если б кто вздумал им предложить жениха вроде Владимира; но иметь беспрестанно пред глазами влюбленного молодого человека, и влюбленного ни в одну из них, — это было им верх мучения. Откуда бралась у них тонкость в этих случаях? откуда остроумие? откуда изобретательность? и насмешки, и брань, и угрозы, и злословие — все было употреблено ими, чтобы расхолодить наших любовников, и все было тщетно... любовь изобретательнее ненависти.

В Владимире развернулась страсть к живописи; долго скрывал он свою работу и вдруг явился к графине с копией Карло-Долчевой Цецилии; он рисовал эту картину с жаром; он думал в ней видеть сходство с Катею; небесный взор Цецилии, святое выражение ее лица, орган, который, казалось, звучал под ее пальцами, все это изображало ему тихую гармонию души его любезной, это спокойствие христианского смирения, это уверенное в себе самоотвержение, эту грусть умного человека, это понявшее себя уныние. Он хотел, чтобы Цецилия была идеалом для его Кати, чтобы она высказывала ей то, чего не могли выразить слова его, и Катя поняла его. Графиня видела в этой картине очень полезное занятие для молодого человека и поспешила ее отправить к своему мужу, находящемуся тогда в Италии.

Эта посылка имела важное влияние на судьбу нашего юноши. Старый граф, почитавший себя за знатока живописи, был прельщен произведением своего воспитанника, вообразил, что он родился живописцем, и прислал приказание Владимиру отправиться в Италию...





КНЯЖНА МИМИ

«Извините,—сказал живописец,—если мои краски бледны: в нашем городе нельзя достать лучших».

Биография одного живописца.

I

БАЛ

La femme de César ne doit pas être soupçonnée [1].

— Скажите, с кем вы теперь танцевали? — сказала княжна Мими, остановив за руку одну даму, которая, окончив мазурку, проходила мимо княжны.

— Он когда-то служил с моим братом! Я забыла его фамилию, — отвечала баронесса Дауерталь мимоходом и, усталая, бросилась на свое место.

Этот короткий разговор незаметно для окружающих мелькнул посреди общего движения, которое обыкновенно бывает после окончания танца.

Но баронессу этот разговор заставил задуматься, — и недаром. Баронесса, хотя уже и в другой раз замужем, все еще была молода и прекрасна; ее любезность, ее роскошный стан, ее каштановые шелковистые локоны привлекали к ней толпу молодых людей. Каждый из них невольно сравнивал Элизу с ее мужем, осиплым старым

[1] Жены Цезаря не должно коснуться подозрение (*франц.*).

бароном, и каждому из них, казалось, ее томные, облитые влагою глаза говорили о надежде: лишь один опытный наблюдатель находил в этих темных голубых глазах не пламень неги, а просто ту южную лень, которая, по его мнению, так странно соединяется в наших дамах с северным флегматизмом и составляет их отличительный характер.

Баронесса знала все свои преимущества; знала, что для всякого она вместе с бароном была чем-то невозможным, противным приличию, какою-то нелепостию; знала и то, как во время ее свадьбы толковали в городе, что она вышла за барона по расчету; ей нравилось не сходить с доски на балах, никогда не иметь времени задуматься на раутах, всегда иметь несколько готовых товарищей для кавалькады; но никогда она не позволяла себе ни взора, в котором можно бы было заметить предпочтение одному пред другим, ни сильного восхищения, ни сильной радости, ни сильного огорчения — словом, ничего такого, чем бы душа могла быть приведена в движение: притом, по чувству ли долга, или по какой-то противоестественной любви к своему мужу, — хотелось ли ей доказать, что она вышла за него не по расчету, — или просто потому, что вышеозначенное замечание наблюдателя было справедливо, — или, наконец, от соединения всех этих причин, — только баронесса так же была верна барону, как ее Бьюти была верна баронессе: она никуда не выезжала без мужа, даже спрашивала у него советов о своем туалете; барон, с своей стороны, не сомневался в привязанности Элизы, позволял ей делать что угодно и спокойно предавался своим любимым занятиям: поутру нюхал табак, ввечеру играл в вист, а в промежутках выхлопатывал себе награждения. В городе издавна уже добродетельные дамы отыскивали предмет баронессиной нежности; но, когда они для решения вопроса собирались на общее совещание, одна называла одного, другая другого, третья третьего, и дело расходилось за спором. Тщетно перебирали они всех молодых людей общества: только что согласятся про одного, как он или женится, или станет волочиться за другою, — отчаяние, да и только! Наконец такие беспрестанные неудачи наскучили блюстительницам нравственности: они нашли, что баронесса лишь отнимает у них время для наблюдения за другими дамами; единогласно решили, что ее искусство сохранять наружную пристойность стоит луч-

шей нравственности, что ее должно ставить в пример другим женщинам, и отложили баронессино дело впредь до могущих представиться обстоятельств.

Баронесса знала, что княжна Мими принадлежала к сему нравственному сословию, знала также, что это сословие, в свою очередь, принадлежит к тому страшному обществу, которое бросило свои отпрыски во все классы. Открываю великую тайну; слушайте: все, что ни делается в свете, делается для некоторого безыменного общества! Оно — партер; другие люди — сцена. Оно держит в руках и авторов, и музыкантов, и красавиц, и гениев, и героев. Оно ничего не боится — ни законов, ни правды, ни совести. Оно судит на жизнь и смерть и никогда не переменяет своих приговоров, если бы они и были противны рассудку. Членов сего общества вы легко можете узнать по следующим приметам: другие играют в карты, а они смотрят на игру; другие женятся, а они приезжают на свадьбу; другие пишут книги, а они критикуют; другие дают обед, а они судят о поваре; другие дерутся, а они читают реляции; другие танцуют, а они становятся возле танцовщиков. Члены сего общества везде тотчас узнают друг друга не по особенным знакам, но по какому-то инстинкту; и каждый, прежде нежели вслушается в чем дело, уже поддерживает своего товарища; тот же из членов, кто выдумает *что-нибудь* делать на сем свете, в ту же минуту лишается всех преимуществ, сопряженных с его званием, входит в общее число подсудимых, и ничем уже не может возвратить прав своих. Известно также, что самую важную роль в этом судилище играют те, про которых решительно нельзя отыскать, зачем они существуют на сем свете.

Княжна Мими была душою этого общества, и вот как это случилось. Надобно вам сказать, что она никогда не была красавицею, но в юности была недурна собою. В это время она не имела никакого определенного характера. Вы знаете, какое чувство, какая мысль может развернуться тем воспитанием, которое получают женщины: канва, танцевальный учитель, немножко лукавства, tenez vous droite [1] да два, три анекдота, рассказанные бабушкою как надежное руководство в сей и будущей жизни, — вот и все

[1] держитесь прямо *(франц.)*.

воспитание. Все зависело от обстоятельств, которые должны были встретить Мими при ее вступлении в свет: она могла сделаться и доброю женою, и доброю матерью семейства, и тем, чем теперь она сделалась. В это время у ней бывали и женихи; но никак дело не могло сладиться: первый ей самой не понравился, — другой был не в чинах и не понравился матери, третий было очень понравился и той и другой, уже сделано было и обручение, и день свадьбы был назначен, но накануне, к удивлению узнали, что он им в близкой родне, все расстроилось, Мими занемогла с печали, чуть было не умерла, однако же оправилась. Затем, женихи долго не являлись; прошло десять лет, потом и другие десять, Мими подурнела, постарела, но отказаться от мысли выйти замуж было ей ужасно. Как! отказаться от мысли, о которой твердила ей матушка в семейных совещаниях; о которой ей говорила бабушка на смертной постели? от мысли, которая была любимым предметом разговоров с подругами, с которою она просыпалась и засыпала? Это было ужасно! И княжна Мими продолжала выезжать в свет с беспрестанно новыми планами в голове и с отчаянием в сердце. Ее положение сделалось нестерпимо: все вокруг нее вышло или выходило замуж; маленькая вертушка, которая вчера искала ее покровительства, нынче уже сама говорила ей тоном покровительства, — и не мудрено: она была замужем! у этой был муж в звездах и лентах! у другой муж играл в большую партию виста! Уважение от мужей переходило к женам; жены по мужьям имели голос и силу; лишь княжна Мими оставалась одна, без голоса, без подпоры. Часто на бале она не знала, куда пристать — к девушкам или к замужним, — не мудрено: Мими была незамужем! Хозяйка встречала ее с холодною учтивостию, смотрела на нее как на лишнюю мебель, и не знала, что сказать ей, потому что Мими не выходила замуж. И там и здесь поздравляли, но не ее, но все ту, которая выходила замуж! А тихий шепот, а неприметные улыбки, а явные или воображаемые насмешки, падающие на бедную девушку, которая не имела довольно искусства, или имела слишком много благородства, чтобы не продать себя в замужество по расчетам! Бедная девушка! Каждый день ее самолюбие было оскорблено; с каждым днем рождалось новое уничижение; и, — бедная девушка! — каждый день досада, злоба, зависть, мстительность мало-

помалу портили ее сердце. Наконец мера переполнилась: Мими увидела, что если не замужеством, то другими средствами надобно поддержать себя в свете, дать себе какое-нибудь значение, занять какое-нибудь место; и коварство — то темное, робкое, медленное коварство, которое делает общество ненавистным и мало-помалу разрушает его основания, — это общественное коварство развилось в княжне Мими до полного совершенства. В ней явилась особого рода деятельность: все малые ее способности получили особое направление; даже невыгодное ее положение обратилось в ее пользу. Что делать! Надобно было поддержать себя! И вот княжна Мими, как девушка, стала втираться в общество девиц и молодых женщин; как зрелая девушка, сделалась любезным товарищем в глубоких рассуждениях старых почтенных дам. И ей было время! Проведши двадцать лет в тщетном ожидании жениха, она не думала о домашних заботах; занятая единственною мыслию, она усилила в себе врожденное отвращение к печатным литерам, к искусству, ко всему, что называется чувством в сей жизни, и вся обратилась в злобное, завистливое наблюдение за другими. Она стала знать и понимать все, что делается перед нею и за нею; сделалась верховным судией женихов и невест; приучилась обсуждать каждое повышение местом или чином; завела своих покровителей и своих питомцев (protégés); начала оставаться там, где видела, что она мешает; начала прислушиваться, где говорили шепотом; наконец — начала говорить о всеобщем развращении нравов. Что делать! Надобно было поддержать себя в свете.

И она достигла своей цели: ее маленькое, но постоянное муравьиное прилежание к своему делу или, лучше сказать, к делам других, придало ей действительную власть в гостиных; многие боялись ее, и старались не ссориться с нею; одни неопытные девушки и юноши осмеливались смеяться над ее поблекшей красотою, над ее нахмуренными бровями, над ее горячими проповедями против нынешнего века и над неприятностью, обратившеюся ей в привычку, приезжать на бал и уезжать домой, не сделавши даже вальсового круга.

Баронесса знала все могущество княжны Мими и страшного ее судилища; хотя чистая, невинная, холодная, уверенная в самой себе, она и не боялась его преследований: до сих пор избегать их помогали ей самые обстоя-

тельства жизни; но теперь баронесса находилась в весьма затруднительном положении. Границкий, с которым она только что танцевала, был прекрасный, статный молодой человек, с густыми черными бакенбардами; он почти всю свою жизнь провел в чужих краях, где подружился с братом баронессы; брат баронессы жил теперь в ее доме, а Границкий у ее брата, он почти ни с кем не был знаком в городе; каждый день обедал и выезжал с ними вместе: словом, все сближало его с баронессою, и она понимала, какой прекрасный роман добродетельная душа может построить на таком выгодном основании. Эта мысль занимала ее в то время, когда она танцевала с молодым человеком, и она невольно задумывалась, приискивая в голосе средства, как бы ей защититься от злословия добродетельных дам. Баронесса с досадою вспомнила, что внезапный, так близко подходивший к предмету ее размышлений, вопрос княжны Мими привел ее в смущение, которое, верно, не укрылось от проницательных взоров лазутчицы; ей уже казалось, что при сем вопросе в голосе княжны было что-то особенное; к тому же она заметила, что княжна вслед за тем стала с жаром говорить с сидевшей возле нее старою дамою и что они обе как бы нехотя то улыбались, то пожимали плечами. Все это в одно мгновение пробежало в голове баронессы и в то же мгновение родило в ней мысль — одним разом сделать два дела, — и отвратить от себя подозрение, и снискать благоволение княжны. Баронесса стала искать глазами Границкого, но не находила его. Тому была причина, и очень важная.

На другом конце дома находилась заветная комната, неприступная для мужчин. Там огромное зеркало, ярко освещенное, отражало голубые шелковые занавески: оно было окружено всеми прихотями причудливой моды; цветы, ленты, перья, локоны, перчатки, румяны — все было разбросано по столам, как Рафаэлевы арабески; на низком диване лежали рядами бело-синеватые парижские башмаки — это воспоминание о хорошеньких ножках, — и, казалось, скучали своим одиночеством; несколько в отдалении, под легким покрывалом, перегибались через спинку кресел те таинственные выдумки образованности, которых благоразумная женщина не открывает и тому, кто имеет право на ее полную откровенность: эти эластические корсеты, эти шнурки, эти подвязки, эти непонятные накрах-

маленные платки, вздернутые на снурок, или перевязанные посередине, и проч., и проч. Один мосье Рави с великолепным, будто из фарфора вылитым хохлом на голове, в белом фартуке, с щипцами в руках, имел право находиться в этом гинекее во время бала; на мосье Рави не действовал магнетический воздух женской уборной, от которого у другого дрожь пробегает по телу; он не обращал внимания на эти роскошные оттиски, остающиеся в женской одежде, которую так хорошо понимали древние ваятели, взмачивая покрывало на Афродите; как начальник султанского гарема, он хладнокровно дремал посреди всего его окружающего, не думая ни о значении своего имени, ни о том, что внушила подобная комната его пламенному единоземцу.

Перед концом мазурки одна молодая дама, сказав два слова своему кавалеру, незаметно от других порхнула в эту комнату, показала господину Рави свой развившийся локон, г. Рави вышел за другими щипцами, в одно мгновение молодая дама оторвала от булавок лоскут бумажки, быстро выдернула тонкий карандаш из сувенира, оперлась на диван своею маленькою ножкою, написала несколько слов на колене, сжала записку в неприметный комок, и, когда г. Рави возвратился, жаловалась на его медленность.

После окончания танца, когда в воздухе носится несколько недоговоренных слов, танцовщики в хлопотах бегают из угла в угол за дамами, дамы лениво просматривают нумера своих контрадансов, и даже неподвижные фигуры, окружающие танцующих, переменяют место, чтобы подать какой-нибудь признак жизни, — в эту минуту беспорядка та же дама проходила мимо Границкого: дымчатый шарф слетел с распаленных плеч ее, Границкий поднял его, дама наклонилась, их руки встретились, и свернутая бумажка осталась в руке молодого человека. Границкий не изменился в лице, остался несколько времени на том же месте, тщательно поправил на руке перчатку и потом, жалуясь на духоту и усталость, пошел тихими шагами в отдаленную комнату, где несколько игроков в сладком уединении сидели за карточным столом. К счастью, один из них объявил Границкому, что его пари проиграно. Границкий отошел в сторону, вынул портфель и, как бы отыскивая в нем деньги, прочитал следующие слова, наскоро написанные знакомою рукою:

«Я не успела вас предуведомить. Не танцуйте со мною более одного раза. Мне кажется, что муж мой начинает замечать...»

Остального нельзя было разобрать.

По праву нескромности, присвоенной рассказчикам, мы объявим, кем была написана эта записка. Границкий знал ее сочинительницу еще девушкой; она была первою его страстью; тогда еще они поклялись друг другу в вечной любви, хотя разные семейственные расчеты противились их соединению, — это было во Флоренции. Вскоре они расстались; Границкий отправился в Рим; его Лидию мать увезла в Петербург и, волею или неволею, выдала замуж за графа Рифейского. Как бы то ни было, встретившись снова, старые любовники вспомнили прежнюю свою клятву: вспыхнул огонь из-под пепла; они решались возвратить потерянное время и, в отмщение свету за его своеволие, торжественно его обманывать.

Границкий привез к графу целый короб рекомендательных писем, подарков, посылок, и проч.; успел в самом Петербурге оказать ему какую-то услугу и наконец сделался в его доме почти домашним человеком.

Покорный своей владычице, он, возвратясь в залу, стал осматривать, не попадутся ли ему знакомые дамы, которые помогли бы ему добить сегодняшний вечер. В эту минуту баронесса подошла к нему и спросила, не хочет ли он познакомиться с танцовщицею. Границкий принял ее предложение с величайшею радостью; она подвела его к княжне Мими.

Но баронесса ошиблась в своем расчете: княжна вспыхнула, отозвалась нездоровою, объявила, что она не намерена танцевать, и когда смущенная баронесса удалилась, сказала сидевшей возле нее старой даме:

— С чего она взяла навязывать мне своих друзей? Ей хочется мною прикрыть свои хитрости. Она думала, что трудно догадаться...

Целый мир злости был в этих немногих словах. Как хотелось княжне, чтобы кто-нибудь подошел пригласить ее на танцы! С какою бы радостью она показала баронессе, что не хочет танцевать только с ее Границким! Но княжне, к несчастью, не удалось это: и целый бал она, по обыкновению, не сошла с своего стула и возвратилась домой с планами жесточайшего мщения.

Не подумайте, однако ж, любезные читатели и читательницы, чтобы злоба княжны на баронессу была произведена лишь минутною досадою. Нет! Княжна Мими была девушка очень благоразумная и издавна приучила себя без причины не увлекаться сердечным движением. Нет! давно, давно уже Элиза нанесла тяжкую обиду княжне Мими: в последнем периоде ее странствования по балам первый муж Элизы казался будто полуженихом княжны, то есть не имел к ней такого отвращения, как другие мужчины; княжна была уверена, что если б не Элиза, то она бы теперь имела наслаждение быть замужем, или по крайней мере вдовою, — что не менее производит удовольствия. И все понапрасну! Явилась баронесса, отбила обожателя, вышла за него замуж, уморила его, вышла за другого, — и все еще всем нравится, заставляет в себя влюбляться, умеет не сходить с доски, а княжна Мими все в девках да в девках, — а время все бежит да бежит! Часто за туалетом княжна с тайным отчаянием смотрела на свои перезревшие прелести: она сравнивала свой высокий стан, свои широкие плечи, свой мужественный вид с маленьким измятым личиком баронессы. О, если б кто мог подсмотреть, что тогда делалось в сердце княжны! что мерещилось ее воображению! как было оно изобретательно в ту минуту! какою бы прекрасною моделью она могла служить живописцу, который бы хотел изобразить дикую островитянку, терзающую попавшегося на ее долю пленника! И все это надобно было сжимать под узким корсетом, под условными фразами, под вежливою наружностию!.. Пламень целого ада выпускать тоненькою неприметною ниточкой!.. О, это ужасно, ужасно!

В эти минуты грусти, скорби, зависти, досады к княжне являлась утешительница.

То была горничная княжны. Сестра этой горничной нанималась у баронессы. Часто сестрицы сходились вместе и, побранив порядком своих барынь, каждая свою, — принимались рассказывать друг другу домашние происшествия; потом, возвратившись домой, передавали своим госпожам все собранные ими известия. Баронесса помирала со смеху, слушая подробности туалета Мими: как страдала она, затягивая свою широкую талию, как белила посиневшие от натуги свои шершавые руки, как дополняла разными способами несколько скосившийся правый бок свой, как на ночь привязывала к багровым щекам своим —

ужас! — сырые котлеты! как выдергивала из бровей лишние волосы, подкрашивала седые, и проч.

Известия, получаемые княжною, были гораздо важнее; в этом была виновата сама баронесса: об ней почти нечего было рассказывать, и Маша — так называлась служанка княжны — невольно должна была прибегать к изобретениям. Справедливо старинное, опытом доказанное сказание, что человек всегда сам подает повод к своим несчастиям!

Когда княжна возвратилась с бала, — хотя в это время она и всегда бывала не в духе, но сегодня Маша заметила, что с ее госпожою произошло что-то особенное: ей показалось, будто уже шевелятся башмаки, банки с помадою, стклянки и прочие вещи, которые в таких обстоятельствах княжна имела обыкновение отправлять — отправлять — как бы сказать это повежливее? — отправлять параллельно полу и перпендикулярно к той линии, которая оканчивалась лицом горничной. Кажется, довольно не ясно?.. Бедная девушка, чтоб отвратить грозную тучу, не преминула прибегнуть к единственной своей защите.

— А я-с сегодня была у сестрицы! — сказала она. — Уж что там делается, ваше сиятельство!

Маша не обманулась. В одно мгновение лицо княжны прояснилось; она вся обратилась во внимание, и уже давно начался городской шум, а Маша еще толковала с княжною о том, как барон часто выезжает со двора, как в это время *новоприезжий* сидит с баронессою, как они уговариваются ехать вместе в театр, быть вместе на бале, и проч., и проч.

Долго не могла заснуть княжна и, заснувши, беспрестанно просыпалась от различных сновидений: то ей кажется, что она выходит замуж, стоит уже перед налоем, все ее поздравляют, — вдруг явится баронесса и утащит жениха ее; то княжна рассматривает свое венчальное платье, примеривает его, любуется, — явится баронесса и раздерет платье на мелкие части; то княжна ложится в постелю, хочет обнять своего мужа, — а в постели баронесса лежит и хохочет; то княжна танцует на бале, все восхищаются ее красотою, говорят, что она танцует с женихом своим, — а баронесса подставит ногу, и княжна падает на пол. Но были и сны утешительные: то баронесса представляется ей в виде горничной, — княжна бранит ее,

бьет ее башмаками и обрезывает ей кругом волосы; то в виде большого черного пуделя, — княжна приказывает его выгнать и с удовольствием смотрит в окошко, как лакеи каменьями бросают в ее неприятельницу, то в виде канвы, — княжна колет ее большою острою иголкой и прошивает красными нитками.

И не вините ее в том, но вините, плачьте, проклинайте развращенные нравы нашего общества. Что же делать, если для девушки в обществе единственная цель в жизни — выйти замуж! если ей с колыбели слышатся эти слова — «когда ты будешь замужем!» Ее учат танцевать, рисовать, музыке для того, чтоб она могла выйти замуж; ее одевают вывозят в свет, ее заставляют молиться господу богу, чтоб только скорее выйти замуж. Это предел и начало ее жизни. Это самая жизнь ее. Что же мудреного, если для нее всякая женщина делается личным врагом, а первым качеством в мужчине — *удобоженимость*. Плачьте и проклинайте, — но не бедную девушку.

II

КРУГЛЫЙ СТОЛ

On cause, on rit, on est heureux.
Romans français [1].

Под покровом тишины и спокойствия, в кругу своего семейства...
Русские романы.

На другой день, после обеда, княжна Мими, младшая сестра ее Мария, молодая вдова, старая княгиня — мать обеих, да еще человека два домашних сидели, по обыкновению, за круглым столом в гостиной и, в ожидании партнеров для виста, прилежно занимались канвою.

Княгиня была очень старая и почтенная женщина; во всей ее долгой, долгой жизни нельзя было найти ни одного поступка, ни одного слова, ни одного чувства, которое бы не было строго сообразовано с принятыми приличиями; она говорила по-французски очень чисто и без ошибок;

[1] Беседуют, смеются, счастливые. *Французские романы (франц.).*

сохраняла в полной мере суровость и неприступность, приличную женщине хорошего тона; не любила отвлеченных рассуждений, но целые сутки могла поддерживать разговор о том о сем; никогда не брала на себя неприятной обязанности вступаться за человека не в ладу с общим мнением; вы могли быть уверены, что в ее доме не встретитесь с человеком, на которого дурно смотрят или которого вы не встречали в обществе. Сверх того, княгиня была женщина ума необыкновенного: она была очень небогата и не могла давать ни обедов, ни балов; но, несмотря на то, умела так искусно нырять между интригами, так искусно оцеплять людей посредством своих племянников, племянниц, внуков и внучек, так искусно попросить об одном, побранить другого, что приобрела всеобщее уважение и, как говорится, поставила себя на хорошую ногу.

Сверх того, она была женщина очень благотворительная: несмотря на недостаточное состояние, ее гостиная была всякий день освещена, и чиновники иностранных посольств могли быть уверены, что всегда найдут у ней камин или карточный стол, за которым можно провести время между обедом и балом; в ее доме часто разыгрывались лотереи для бедных; она всегда была завалена концертными билетами дочерних учителей; она покровительствовала кому бы то ни было, когда кто ей был рекомендован порядочным человеком. Словом, княгиня была добрая, благоразумная и благотворительная дама во всех отношениях.

Все это, как мы сказали, давало ей право на всеобщее уважение: княгиня знала себе цену и любила пользоваться своим правом. Но только с некоторого времени княгине все стало как-то скучно и досадно; вист и люди, люди и вист еще как-то оживляли ее, но до начала партии она не могла (разумеется, в семейном кругу) скрывать своей невольной тоски, и внезапно наружу являлись какая-то жесткость сердца, какая-то маленькая ненависть ко всему окружающему, какое-то отсутствие всякого радушия, какое-то отвращение ко всякой услуге, даже какое-то отвращение к жизни. Как не пожаловаться на судьбу? За что такая несправедливость? Зачем так худо награждена была эта почтенная дама? Ибо, уверяю вас, этот маленький байронизм княгини происходил не от воспоминания о каких-нибудь прежних тайных прегрешениях, не от раскаяния, —

о нет, не от раскаяния! Я уже сказал вам, что в продолжение всей своей жизни княгиня не позволяла себе никогда делать что-нибудь такое, чего бы не делали другие: она была невинна, как голубица; она смело могла смотреть на происшествия своей прежней жизни — чистые как стекло, ни единого пятнышка. Словом, я никак не могу вам объяснить, отчего происходила тоска княгини. Пусть эту загадку решат те почтенные дамы, которые будут или не будут читать меня, и пусть растолкуют ее своим внучкам, надежде нового поколения.

Итак, княгиня, среди своего семейства, сидела за круглым столом. О круглый семейный стол! свидетель домашних тайн! чего тебе не вверяли? чего ты не знаешь? Если б к твоим четырем ногам прибавить голову, ты бы сравнялся даже с нашими глубокомысленными описателями нравов, которые столь верно и резко нападают на недоступное им общество и которым я столь тщетно подражать стараюсь. За круглым столом обыкновенно начинается маленькая откровенность; чувство досады, сжатое в другое время, начинает мало-помалу развертываться; из-под канвы выскакивает эгоизм в полном, роскошном цвете; тут приходят на мысль счеты управителя и расстройство имения; тут откровенно обнаруживается непреодолимое желание выйти или выдать замуж; тут вспоминаются какая-нибудь неудача, какая-нибудь минута уничижения; тут жалуются и на самых близких приятелей и на людей, которым, кажется, вы преданы всею душою; тут дочери ропщут, мать сердится, сестры упрекают друг друга; словом, тут делаются явными все те маленькие тайны, которые тщательно скрываются от взоров света. Послышится звонок, и все исчезло! Эгоизм спрячется за дымчатое каньзу, на лице явится улыбка, и входящий в комнату холостяк с умилением смотрит на дружеский кружок милого семейства.

— Я не знаю, — говорила старая княгиня княжне Мими, — зачем вы ездите на балы, когда всякой раз жалуетесь, что вам было скучно... что вы не танцуете... Выезды стоят денег, и все понапрасну! Только что я остаюсь одна дома, даже без партии... Вот как вчера! Право, пора этому всему кончиться: ведь тебе уже гораздо за тридцать, Мими, — выходи, бога ради, замуж поскорее; по крайней мере я тогда буду спокойнее. Я, право, не в состоянии одевать тебя...

— Я думаю, — сказала молодая вдова, — что ты, Мими, сама виновата во многом. Зачем эта беспрестанная презрительная мина на лице твоем? Когда к тебе подойдет кто-нибудь, то по лицу твоему можно подумать, что тебя лично обидели. Ты, право, страшна на бале... ты отталкиваешь всякого от себя.

Княжна Мими. Неужели ж мне вешаться на шею всякому встречному, как твоя баронесса? Жеманиться, показывать всякому мальчику мою благодарность за то, что он мне сделает честь провести меня в контрадансе?

Мария. Не говори мне о баронессе! Твой вчерашний с ней поступок на бале таков, что я не знаю, как назвать его. Это была беспримерная неучтивость. Баронесса хотела тебе сделать удовольствие, подвела к тебе кавалера...

Мими. Подвела ко мне для того, чтобы мною прикрыть свои любовные хитрости. Вот прекрасное одолжение!

Мария. Ты любишь все толковать в дурную сторону. Где ты заметила эти любовные хитрости?

Мими. Одна ты ничего не видишь и не слышишь! Ты, разумеется, как женщина замужняя, можешь презирать светское мнение, — но я... я слишком дорожу собою. Я не хочу, чтоб обо мне стали то же говорить, что о твоей баронессе.

Мария. Не знаю! Но что до сих пор ни говорили о баронессе, все вышло неправда...

Мими. Конечно, все ошибаются! одна ты права!.. Я не могу надивиться, как ты можешь за нее вступаться. Ее репутация сделана.

Мария. О, я знаю! Баронесса имеет много врагов, — и на это есть причины: она прекрасна собою; муж ее урод; ее любезность привлекает к ней толпу мужчин.

Мими вспыхнула, а старая княгиня прервала Марию:

— Уж правду сказать, я совсем не рада вашему знакомству с баронессою; она совсем не умеет вести себя. Что это за беспрестанные кавалькады, пикники? Нет бала, на котором бы она не вертелась; нет мужчины, с которым бы она не была как с братом. Я не знаю, как все это называется у вас, в нынешнем веке, но в наше время такое поведение называлось неблагопристойным.

— Да дело идет не о баронессе! — возразила Мария, хотевшая отклонить разговор о своей приятельнице. —

Я говорю о тебе, Мими: ты меня истинно приводишь в отчаяние. Ты говоришь об общем мнении! Не думаешь ли ты, что оно в твою пользу? О, ты весьма ошибаешься! Ты думаешь, приятно мне видеть, что твоего языка боятся как огня, перестают говорить, когда ты подойдешь к какому-нибудь кружку? Мне, мне, сестре твоей, говорят в глаза о твоих сплетнях, о твоей злости; ты мужу намекаешь о тайнах его жены; жене рассказываешь о муже; молодые люди просто ненавидят тебя. Нет их шалости, которой бы ты не знала, о которой бы ты не судила и не рядила. Уверяю тебя, что с твоим характером ты ввек не выйдешь замуж.

— О, я об этом очень мало забочусь! — отвечала Мими. — Лучше целый век оставаться в девках, чем выйти замуж за какого-нибудь больного калеку и до смерти затаскать его на балах.

Мария вспыхнула в свою очередь и готовилась отвечать, но ударил звонок, дверь отворилась, и вошел граф Сквирский, старинный приятель, или, что все равно, старинный партенер княгини. То был один из тех счастливцев, которым нельзя не завидовать. Целый век и целый день он был занят: поутру надобно поздравить того-то с именинами, купить узор для княжны Зизи, сыскать собаку для княжны Биби, завернуть в министерство за новостями, поспеть на крестины или на похороны, потом на обед и проч., и проч. В продолжение пятидесяти лет граф Сквирский все собирался сделать что-нибудь дельное, но отлагал день за днем и, за ежедневными хлопотами, не успел даже жениться. Ему вчера и тридцать лет назад было одно и то же: переменялись моды и мебели, но гостиные и карты все были те же — сегодня как вчера, завтра как сегодня, — он уже третьему поколению показывал свою неизменную спокойную улыбку.

— Сердце радуется, — говорил Сквирский княгине, — когда войдешь к вам в комнату и посмотришь на ваш милый семейный кружок. Нынче уже мало таких согласных семейств! Все вы вместе, всегда так веселы, так довольны, — и вздохнешь невольно, как вспомнишь о своем холостом угле. Честью могу вас уверить, — пусть другие говорят что хотят, — но что до меня касается, я так думаю, холостая жизнь...

Философические рассуждения Сквирского были прерваны поданною ему карточкою.

Между тем скоро гостиная княгини наполнилась: тут были и супруги, для которых собственный дом есть род калмыцкой кибитки, годной лишь для ночлега; и те любезные молодые люди, которые приезжают к вам в дом затем, чтоб было что сказать в другом; и те, которых судьба, наперекор природе, втянула в маховое колесо гостиных; и те, для которых самый простой визит есть следствие глубоких расчетов и пособие для годовой интриги. Тут были и те лица, которым сам Грибоедов не мог приискать другого характеристического имени, как г-н N и г-н D.

— Вы долго вчера оставались на бале? — спросила княжна Мими у одного молодого человека.

— Мы еще танцевали после ужина.

— Скажите ж, чем кончилась комедия?

— Княжне Биби наконец удалось прикрепить свою гребенку...

— Ох! не то...

— А, понимаю!.. Длинная фигура в черном фраке наконец решилась разговориться: он задел шляпою графиню Рифейскую и сказал: «Извините!»

— О! все не то... Вы, стало быть, ничего не заметили?

— А, вы говорите про баронессу?..

— О нет! Я и не думала об ней... Да почему вы об ней заговорили? Разве о чем-нибудь говорят?

— Нет! Я ничего не слыхал. Мне хотелось только отгадать, что вы хотели сказать своим вопросом.

— Я ничего не хотела сказать.

— Но о какой же комедии?

— Я так говорила вообще о вчерашнем бале.

— Нет, воля ваша, тут что-нибудь да есть! Вы сказали таким тоном...

— Вот свет! Вы уж выводите заключения! Я вас уверяю, что ни о ком особенно не думала. Кстати о баронессе: она еще много после меня танцевала?

— Не сходила с доски.

— Она совсем не бережет себя. С ее здоровьем...

— О! княжна, вы совсем не об ее здоровье говорите. Теперь все понимаю. Этот гвардейский полковник?.. Не так ли?

— Нет! Я его не заметила.

— Так позвольте ж? Надобно вспомнить всех, с кем она танцевала...

— Ах, бога ради, перестаньте! Я вам говорю, что я об ней и не думала. Я так боюсь всех этих пересудов, сплетней... В свете люди так злы...

— Позвольте, позвольте! Князь Петр... Бобо... Лейденминц, Границкий?..

— Кто это? Это новое лицо, высокий с черными бакенбардами?..

— Так точно.

— Он, кажется, приятель баронессина деверя?

— Так точно.

— Так его зовут Границким?

— Скажите, пожалуйста, — сказала одна сидевшая за картами дама, вслушиваясь в слова Мими, — что такое этот Границкий?

— Его баронесса всюду развозит, — отвечала соседка княжны на бале.

— И сегодня, — заметила третья дама, — она показывала его в своей ложе.

— Это только баронессе может прийти в голову, — сказала соседка княжны. — Бог знает что он такое! Какой-то выходец с того света...

— То уж правда, что он бог знает что такое! Он какой-то этакой якобинец не якобинец, un frondeur[1], не умеет жить. И какие глупости он говорит! Намедни я стала уговаривать графа Бориса взять билет к нашему Целини, а этот — как его, Границкий, что ли, — принялся возле меня рассказывать о какой-то Страховой конторе, которую здесь заводят против концертных билетов...

— Он не хороший человек, — заметили многие.

— Не слышит этого баронесса! — сказала Мими.

— Ну, теперь понимаю! — прервал ее молодой человек.

— О нет! Ей-богу, я только хотела сказать, как бы ей этот разговор был неприятен; он друг их дома... И для всякого...

— Позвольте мне еще раз перервать ваши слова, потому что я расскажу именно то, что вам хотелось знать. Баронесса после ужина не переставала танцевать с Границким. О, теперь я все понимаю! Он не отходил от нее: то она на стуле оставит шарф, он принесет его; то ей жарко, он носится с стаканом...

---

[1] недовольный *(франц.)*.

— Как вы злы! Я ни об чем об этом вас не спрашивала. Что тут мудреного, что он за ней ухаживает! Он ей почти родной, живет у них в доме...

— А! живет у них в доме! Какая самоуверенность в этом бароне!.. Не правда ли?

— О, бога ради, перестаньте! Вы заставляете меня говорить то, чего у меня в голове нет: с вами тотчас попадешь в кумушки, — а я, я так всего этого боюсь!... избавь меня бог за кем-нибудь замечать!.. А особливо баронесса, которую я так люблю...

— Да! Она достойна любви и... сожаления.

— Сожаления?

— Без сомнения! Согласитесь, что барон и баронесса *вместе* составляют что-то странное.

— Да! это правда!.. Муж баронессы совсем не занимается ею: она, бедная, дома, всегда одна...

— Не одна! — возразил молодой человек, улыбаясь своему остроумию.

— О, вы все толкуете по-своему! Баронесса очень нравственная женщина...

— О, будемте справедливы! — заметила соседка княжны. — Не надобно никого осуждать; но я не знаю, какие правила у баронессы. Не знаю, как-то зашла речь об «Антони», об этой ужасной, безнравственной пьесе; я не могла досидеть до конца, а она вздумала вступаться за эту пьесу и уверять, что только такая пьеса может остановить женщину на краю гибели...

— О! признаюсь вам, — заметила княгиня, — все, что говорится, делается и пишется в нынешнем веке... Я ровно ничего не понимаю!

— Да! — отвечал Сквирский. — Я скажу, что до меня касается, я так думаю, нравственность необходима; но и просвещение также...

— Ну уж и вы, граф, туда же! — возразила княгиня. — Нынче все твердят — просвещение, просвещение! — куда ни оглянись, всюду просвещение, — и купцов просвещают, и крестьян просвещают, — в старину не было этого, а все шло лучше нынешнего. Я сужу по-старинному: говорят — просвещение, а поглядишь — развращение!

— Нет, позвольте, княгиня! — отвечал Сквирский. — Я с вами не согласен. Просвещение необходимо, и это я докажу вам как дважды два — четыре. Ведь что такое просвещение? Вот, например, мой племянник: он вышел из

университета, знает все науки: и математику, и по-латыни — имеет аттестат, и вот ему всюду открыта дорога, — и в коллежские асессоры, и в действительные. Ведь, позвольте сказать: просвещение просвещению рознь. Вот, например, свеча: она светит, нам бы нельзя было без нее в вист играть; но я взял свечу и поднес к занавеске, — занавеска загорится...

— Позвольте записать! — сказал один из играющих.

— То, что я говорю? — спросил Сквирский, улыбаясь.

— Нет, роберт!

— Вы сделали ренонс, граф! Как это можно? — сказал с досадою партнер Сквирского.

— Как?.. я?.. ренонс? Ах боже мой!.. В самом деле? Вот вам и просвещение!.. Ренонс! Ах, боже мой, ренонс! Да, точно ренонс!

Тут уж ничего нельзя было расслушать: все заговорили о несчастии Сквирского, и все рассуждения, все интересы, все чувства сосредоточились в этом предмете. Пользуясь общим движением, двое гостей неприметно вышли из комнаты: один из них, казалось, только что приехал определиться, другой возил его знакомить по гостиным. На лице одного видны были досада и насмешка; другой спокойно и внимательно всматривался в ступеньки лестницы, по которой они сходили.

— Мне на роду написано встречаться с этим бездельником! — сказал первый. — Этот Сквирский, старый знакомец, — я его знал в Казани, — чего он там не чудесил! А здесь еще он ораторствует! И о чем же? О нравственности. И что всего замечательнее, он убежден в том, что говорит: напомни ему, что он вконец разорил своих племянников, бывших у него под опекою, он будет в состоянии спросить: какое это имеет отношение к нравственности? Скажи, пожалуй, как вам возможно такого безнравственного человека принимать в общество?

Товарищ пожал плечами.

— Что ж мне делать с тобою, мой любезный! — отвечал он, садясь в карету, — если ты не знаешь нашего языка; учись, учись, мой милый: это необходимо, — мы здесь перемешали значение всех слов, и до такой степени, что если ты назовешь безнравственным человека, который обыгрывает в карты, клевещет на ближнего, владеет чужим имением, тебя не поймут, и твое прилагательное покажется странным; но если ты дашь волю уму и сердцу,

протянешь руку к какой-нибудь жертве светских предрассудков или попробуешь только запереть твою дверь от встречного и поперечного, тебя тотчас назовут безнравственным человеком, и это слово будет для всех понятно.

После некоторого молчания первый продолжал:

— Знаете ли, что мне гораздо сноснее ваши блестящие, большие рауты! Тут по крайней мере говорят мало, у всех чинный вид, — точно люди: но избави бог от их семейных кружков! Минуты их домашней откровенности ужасны, отвратительны, — отвратительны даже до любопытства. Княгиня — судья литературы! Граф Сквирский — защитник просвещения! Право, после этого захочется быть невеждою.

— Однако ж в словах княгини было нечто справедливое! Согласись сам, — что такое в нынешней литературе? Беспрестанные описания пыток, злодеяний, разврата; беспрестанные преступления и преступления...

— Извини! — отвечал его товарищ, — но так говорят те, которые ничего не читали, кроме произведений нынешней литературы. Ты, конечно, уверен, что она портит общественную нравственность, не правда ли? Было бы что портить, мой любезный! С середины XVIII века все так исправно испортилось, что уже нашему веку ничего портить не осталось. И одну ли нынешнюю литературу можно попрекнуть этим грехом? На одно действительно безнравственное нынешнее произведение я тебе укажу десять XVIII, XVII и даже XVI века. Теперь нагота больше в словах, тогда она была в самом деле, в самом вымысле. Прочти хоть Брантома, прочти даже «Поездку на остров любви», Тредьяковского: я не знаю на русском языке безнравственнее этой книги; это ручная книга для самой бесстыдной кокетки. Нынче не напишут такой книги в пользу чувственных наслаждений; нынче автор, вопреки древнему правилу — «si vis me pleurer...» [1] — кощунствует, смеется для того, чтоб заставить плакать читателя. Вся нынешняя литературная нагота есть последний отблеск прошедшей действительной жизни, невольная исповедь в старых прегрешениях человечества, хвост старинной беззаконной кометы, по которому, — знаешь ли что? — по которому можно судить, что сама комета удаляется с горизонта, ибо кто

---

[1] если хочешь меня заставить плакать... *(франц.)*

пишет, тот уже не чувствует. Наконец, нынешняя литература, по моему мнению, есть казнь, ниспосланная на ледяное общество нашего века: нет ему, лицемеру, и тихих наслаждений поэзии! оно недостойно их!.. И может быть, это казнь благотворная: неисповедимы определения ума человеческого! Может быть, нужно нашему веку это сильное средство; может быть, оно, беспрерывно потрясая его нервы, пробудит его заснувшую совесть, как телесное страдание пробуждает утопленника. С тех пор как я в вашем свете, я понимаю нынешнюю литературу. Скажи мне, чем другим, какою поэзиею она заинтересует такое существо, какова княжна Мими? какою искусною катастрофою ты тронешь ее сердце? какое чувство может быть понятно ей, кроме отвращения, — да, отвращения! Это, может быть, единственный путь к ее сердцу. О, эта женщина навела на меня ужас! Смотря на нее, я рядил ее в разные платья, то есть логически развивал ее мысли и чувства, представлял себе, чем бы могла быть такая душа в разных обстоятельствах жизни, и прямехонько дошел... до костров инквизиции! Не смейся надо мною: Лафатер говаривал — дайте мне одну линию на лице, и я вам расскажу всего человека. Найди мне только степень, до которой человек любит сплетни, любит выведывать и рассказывать домашние тайны, и все под личиною добродетели, — и я тебе с математическою точностию определю, до какой степени простирается в нем безнравственность, пустота души, отсутствие всякой мысли, всякого религиозного, всякого благородного чувства. В моих словах нет преувеличения: я сошлюсь хотя на отцов церкви. Они глубоко знали сердце человеческое. Послушай, с каким горьким сожалением они вспоминают о таких людях: «Горе будет им в день судный, — говорят они, — лучше бы им не знать святыни, нежели посреди ее поставить престол диаволу».

— Помилуй, братец! Да что с тобою? Это уж, кажется, проповедь.

— Ах, извини! Все, что я видел и слышал, так гадко, что надобно же мне было отвести душу. Впрочем, скажи, — разве ты не слыхал разговора княжны Мими с этим прокатным танцовщиком?

— Нет. Я не обратил внимания.

— Ты? литератор?.. Да в этом милом светском разговоре зародыш тысячи преступлений, тысячи бедствий!

— Э, братец! Мне в это время рассказывали историю поинтереснее, — как сделал карьеру один из моих сослуживцев...

Карета остановилась.

III

СЛЕДСТВИЯ ДОМАШНИХ РАЗГОВОРОВ

> Я говорю, ты говоришь, он говорит, мы говорим, вы говорите, они или оне говорят.
>
> *Труды...?!*

К счастью, немногие разделяли грозное мнение незнакомого оратора о нынешнем обществе, и потому все его маленькие дела шли своим чередом без всякого помешательства. А между тем, незаметно ни для кого, двигался этот род предрассудка, который называют временем.

Графиня Рифейская, издавна дружная с баронессою, старалась еще больше с нею сблизиться с тех пор, как приехал Границкий: их видали вместе и на прогулке и в театре; баронесса не знала ничего о старинном знакомстве Границкого с графинею; правда, она замечала, что они были неравнодушны друг к другу, но почитала это обыкновенным, минутным волокитством, которое иногда предпринимают люди от нечего делать, в свободное от других занятий время. Сказать ли? Баронесса незаметно для нее самой даже радовалась своему открытию: оно ей показалось верною защитою против нападения своей неприятельницы.

Но Границкий и графиня вели свои дела с особенным искусством, приобретаемым долгою опытностию: в обществе они умели быть совершенно равнодушными; говоря с другими о предметах совершенно посторонних, они умели или назначить друг другу место свидания или передать какие-либо меры предосторожности; они даже умели кстати смеяться друг над другом. Пламенные их взоры встречались лишь в зеркале; но ни одна минута не была ими потеряна: они ловили тот миг, когда глаза других были отвлечены каким-нибудь предметом. При мгновенном выходе из комнаты, из театра — словом, при каком бы то ни было удобном случае их руки сливались вместе, и часто

за долгое принуждение их награждал поцелуй любви, распаленный насмешкою над общим мнением.

Между тем семена, брошенные искусною рукою княжны Мими, росли и множились, как те чудные деревья девственного бразильского леса, которые раскинут свои ветви, и каждая ветвь опустится к земле, и станет новым деревом, и снова вопьется в землю ветвями, и еще, еще... И горе неосторожному путнику, попавшемуся в эти бесчисленные сплетения! Молодой болтун рассказал разговор с княжною Мими другому; этот своей маменьке; маменька своей приятельнице, и так далее. Такую же галерею устроила вокруг себя и Мими; такую же и княгиня; такую же и старая соседка княжны на бале. Все эти галереи росли, росли; наконец встретились, переплелись, укрепили друг друга, и частая сеть охватила баронессу с Границким, как Марса с Венерою. По этому случаю все языки, которые только могли шевелиться в городе, зашевелились, — одни по желанию убедить слушателей, что они непричастны подобным грехам, — другие по ненависти к баронессе, третьи, чтоб посмеяться над ее мужем, иные просто по желанию показать, что им также известны гостиные тайны.

Границкий, занятый своими стратегическими движениями с графинею, баронесса, успокоенная своим открытием, не знали бури, которая была готова над ними разразиться: они не знали, что каждое их слово, каждое их движение были замечены, обсуждены, растолкованы; они не знали, что беспрестанно находились перед глазами судилища, составленного из чепчиков всех возможных фасонов. Когда баронесса запросто, дружески обращалась с Границким, тогда судилище решало, что она играет роль невинности. Когда она, по какому-нибудь стечению обстоятельств, в продолжение целого вечера ни слова не говорила с Границким, тогда судилище находило, что это сделано для того, чтоб отвлечь общее внимание. Когда Границкий говорил с бароном, это значило, что он желает усыпить подозрение бедного мужа. Когда молчал, это значило, что любовник не в силах преодолеть своей ревности. Словом, что бы ни делали баронесса и Границкий: садился он или не садился подле нее за столом, танцевал или не танцевал с нею, — встречался или не встречался на прогулке, была ли баронесса при людях любезна или нелюбезна с своим мужем, выезжала с ним или не

выезжала, — все для досужего судилища служило подтверждением его заключений.

А бедный барон! Если бы он знал, какое нежное участие принимали в нем дамы, если бы он знал все добродетели, открытые ими в его особе! Его всегдашняя сонливость была названа внутренним страданием страстного мужа; его глупая улыбка знаком непритворного добродушия; в его заспанных глазах они нашли глубокомыслие; в его страсти к висту — желание не видеть жениной неверности или сохранить наружное приличие.

Однажды в доме общей знакомой баронесса Дауерталь встретилась с княжной Мими. Они, разумеется, очень обрадовались, дружески пожали друг другу руки, сделали друг другу бесчисленное множество вопросов и с обеих сторон оставили их почти без ответа; словом, ни тени вражды, ни тени воспоминания о приключении на бале, — как будто бы целый век они не переставали быть истинными приятельницами. В гостиной, кроме их, было мало гостей, — только старая княжна, молодая вдова — сестра Мими, старая и всегдашняя ее соседка на балах, Границкий и еще человека два, три.

Границкий целый день протаскался по разным гостиным, чтоб увидеться с своею графинею, и, нигде не нашедши ее, был скучен и рассеян. Баронессе было очень неприятно встретиться с княжною Мими, а старой княгине с баронессою. Одна Мими была очень рада удобному случаю делать наблюдения над баронессою и Границким в маленьком обществе. От всего этого произошла в гостиной несносная принужденность: разговор беспрестанно переходил от предмета к предмету и беспрестанно прерывался. Хозяйка поднимала из-под спуда старые новости, потому что о новых все возможное было сказано, и все смотрели на нее видимо не слушая. Мими торжествовала: говоря с другими, она не пропускала ни одного слова ни баронессы, ни Границкого и в каждом слове находила ключи для гиероглифического языка, обыкновенно употребляемого в таких случаях. Приметную рассеянность Границкого она переводила то маленькою ссорою между любовниками, то возбужденным подозрением мужа. А баронесса! Ни одно ее движение не ускользало от внимательного наблюдения Мими и каждое ей рассказывало целую историю со всеми подробностями. Между тем бедная баронесса, как будто виноватая, отворачивалась от

Границкого: то почти не отвечала на его слова, то вдруг обращалась к нему с вопросами; не могла удерживаться, чтоб иногда не взглядывать на княжну Мими, и часто, когда их глаза искоса встречались, баронесса приходила в невольное смущение, которое еще более увеличивалось тем, что она сердилась на себя за свое смущение.

Спустя несколько времени Границкий посмотрел на часы, сказал, что он едет в оперу, и исчез.

— Ведь мы расстроили это свидание, — тихо сказала Мими своей неразлучной соседке. — Впрочем, они наведут!

Едва вышел Границкий, как слуга доложил баронессе, что приехала ее карета, которой она давно уже дожидалась.

В ту минуту какая-то неясная мысль пробежала в голове княжны Мими: она сама не могла дать себе отчета, — это было темное, беспредметное вдохновение злости, — это было чувство человека, который ставит сто против одного, в верной надежде не выиграть.

— У меня ужасный мигрень! — сказала она. — Позвольте, баронесса, вашей карете перевезти меня домой через улицу: мы свою отпустили.

Они взглянули и поняли друг друга. Баронесса по инстинкту догадалась, что происходило в душе княжны Мими. Она также не составляла себе никакого определенного понятия о намерении последней; но сама не зная чего-то испугалась; она, разумеется, без труда согласилась на предложение Мими, но вспыхнула, и так вспыхнула, что все это заметили. Все это произошло во сто раз быстрее, нежели во сколько мы могли рассказать сцену.

На дворе была сильная метель; ветер задувал фонари, и в двух шагах нельзя было различить человека. Закутанная с ног до головы в салоп, Мими, с трепетом в сердце, всходила, поддерживаемая двумя лакеями, по ступенькам кареты. Она едва сделала два шага, как вдруг в карете большая мужская рука схватила ее руку, помогая ей войти. Мими бросилась назад, вскрикнула, — и едва ли это был не крик радости! Опрометью побежала она назад по лестнице, и вне себя, задыхаясь от различных чувств, загоревшихся в душе, бросилась к сестре Марии, которую крик ее, раздавшийся по всему дому, заставил выбежать из гостиной вместе с другими дамами.

— Ну, говорите еще! — шептала она сестре своей, но так, чтоб все могли слышать, — защищайте вашу

баронессу! У ней... в карете... ее Границкий. Посоветуйте ей по крайней мере осторожнее устраивать свои свидания и не подвергать меня такому стыду...

На шум пришла баронесса. Мими замолчала и, как бы без чувств, бросилась в кресла. Пока баронесса тщетно спрашивала у княжны, что с нею случилось, —

дверь отворилась и —

но позвольте, милостивые государи! Я думаю, что теперь самая приличная минута заставить вас прочесть —

ПРЕДИСЛОВИЕ

C'est avoir l'esprit de son âge![1]

С некоторого времени вошел в употребление и успел уже обветшать обычай писать предисловие посредине книги. Я нахожу его прекрасным, то есть очень выгодным для автора. Бывало, сочинитель становился на колени, просил, умолял читателя обратить на него внимание; а читатель гордо перевертывал несколько страниц и хладнокровно оставлял сочинителя в его унизительном положении. В нашу эпоху справедливости и расчета сочинитель в предисловии становит читателя на колени или выбирает ту минуту, когда сам читатель становится на колени и вымаливает развязки; тогда сочинитель важно надевает докторский колпак и доказывает читателю, почему он должен стоять на коленях, — все это с невинным намерением заставить читателя прочесть предисловие. Воля ваша, а это прекрасное средство, ибо кто не читал предисловия, тот знает только половину книги. Итак, милостивые государи, становитесь на колени, читайте, и читайте с глубочайшим вниманием и с глубочайшим уважением, потому что я буду говорить вам то, что уже давно вам всем известно.

Знаете ли вы, милостивые государи читатели, что писать книги дело очень трудное?

Что из книг труднейшие для сочинителя это романы и повести.

Что из романов труднейшие те, которые должно писать на русском языке.

Что из романов на русском языке труднейшие те, в которых описываются нравы нынешнего общества.

---

[1] Быть верным своему веку! *(франц.)*

Пропуская тысячи причин этих затруднений, я упомяну о тысяче первой.

Эта причина, — извините! — pardon! — verzeihen sie! scusate! — forgive me! [1] — эта причина: наши дамы не говорят по-русски!!

Послушайте, милостивые государыни: я не студент, не школьник, не издатель, ни А, ни Б; я не принадлежу ни к какой литературной школе и даже не верю в существование русской словесности; я сам говорю по-русски редко; по-французски изъясняюсь почти без ошибок; картавлю самым чистым парижским наречием: словом, я человек порядочный, — я уверяю вас, что стыдно, совестно и бессовестно не говорить по-русски! Знаю я, что французский язык уже начинает выходить из употребления, но какой нечистый дух шепнул вам заменить его не русским, а проклятым английским, для которого надобно ломать язык, стискивать зубы и выставлять нижнюю челюсть вперед? А с этою необходимостию прощай, хорошенький ротик с розовыми, свежими славянскими губками! Лучше бы его не было.

Вы знаете не хуже моего, что в обществе действуют сильные страсти — страсти, от которых люди бледнеют, краснеют, желтеют, занемогают и даже умирают; но в высших слоях общественной атмосферы эти страсти выражаются одною фразою, одним словом, словом условным, которого, как азбуку, нельзя ни перевесть, ни выдумать. Романист, в котором столько совести, что он не может решиться выдавать алеутский разговор за язык общества, должен знать в совершенстве эту светскую азбуку, должен ловить эти условные слова, потому что, повторяю, их выдумать невозможно: они рождаются в пылу светского разговора, и приданный им в ту минуту смысл остается при них навсегда. Но где поймаешь такое слово в русской гостиной? Здесь все русские страсти, мысли, насмешка, досада, малейшее движение души выражаются готовыми словами, взятыми из богатого французского запаса, которыми так искусно пользуются французские романисты и которым они (талант в сторону) обязаны большею частию своих успехов. Как часто им бывают ненужны эти длинные описания, объяснения, приготовления, которые мука и сочинителю и читателю и которые они

---

[1] извините! *(франц., нем., итал., англ.)*.

легко заменяют несколькими светскими для всех понятными фразами! Те, которые знают несколько механизм расположения романа, те поймут все выгоды, приносимые этим обстоятельством. Спросите нашего поэта [1], одного из немногих русских писателей, в самом деле знающих русский язык, почему он, в стихах своих, употребил целиком слово vulgar, vulgaire? [2] Это слово рисует половину характера человека, половину его участи; но, чтобы выразить его по-русски, надобно написать страницы две объяснений, — а куда как это ловко для сочинителя и как весело для читателя! Вот вам один пример, а таких можно найти тысячу. И потому я прошу моих читателей принять в уважение все эти обстоятельства и пенять не на меня, если для одних разговор моих героев покажется слишком книжным, а для других не довольно грамматическим. В последнем случае я сошлюсь на Грибоедова, едва ли не единственного, по моему мнению, писателя, который постиг тайну перевести на бумагу наш разговорный язык.

Засим я прошу извинения у моих читателей, если наскучил им, поверяя их доброму расположению эти маленькие, в полном смысле слова домашние затруднения и показывая подставки, на которых движутся романические кулисы. Я поступаю в этом случае как директор одного бедного провинциального театра. Приведенный в отчаяние нетерпением зрителей, скучавших долгим антрактом, он решился поднять занавес и показать им на деле, как трудно превращать облака в море, одеяло в царский намет, ключницу в принцессу, и арапа в premier ingénu [3]. Благосклонные зрители нашли этот спектакль любопытнее самой пьесы. Я думаю то же.

Конечно, родятся люди с необыкновенными дарованиями, для которых все готово — и нравы, и ход романа, и язык, и характеры: надобно ли им изобразить человека высшего общества или, как они говорят, модного тона, — ничего не может быть легче! Они непременно пошлют его в чужие края; для большей верности в костюме заставят его не служить, спать до двух часов пополудни, ходить по кондитерским и пить до обеда, разумеется, шампанское.

---

[1] Напоминать ли, что здесь идет речь об Онегине Пушкина. *(Прим. В. Ф. Одоевского.)*

[2] вульгарно *(англ.)*.

[3] первого любовника *(франц.)*.

Нужно им написать разговор в порядочном обществе, — и того легче! Развернуть первый переводной роман г-жи Жанлис, прибавить в необходимых местах слова mon cher, — ma chére, — bon jour — comment vous portez-vous [1], — и разговор готов! Но такую точность описания, такой верный, проницательный взгляд природа дает немногим гениям. Я был обижен ею в этом отношении и потому просто прошу читателя сердиться не на меня, если я в некоторых из моих домашних разговоров не умел вполне сохранить светского колорита; а дамам, повторяю мою убедительную просьбу, говорить по-русски.

Не говоря по-русски, они лишаются множества выгод:

I. Они не могут так хорошо понимать наших сочинений; но как с этим по большей части их можно поздравить, то мы пропустим это обстоятельство.

II. Если они, несмотря на мои увещания, все-таки не будут говорить по-русски, то я — я — вперед не напишу для них ни одной повести, пусть же читают они гг. А, Б, В и проч.

Уверенный, что эта угроза сильнее всех доказательств подействует на моих читательниц, я спокойно обращаюсь к моему рассказу.

Итак — дверь отворилась, и... ввалился старый барон, ничего не понимавший в этом приключении. Он приезжал за женою, и как он намеревался сейчас же куда-то ехать с нею по какому-то непредвиденному обстоятельству, то рассудил остаться в карете и не говорить о себе хозяйке дома. Крик княжны Мими, которую он сначала принял было за жену, заставил его выйти.

Но таково было магнетическое действие, приготовленное и городскими слухами и всем предшедшим, что все смотрели на него и не верили глазам своим: уже спустя несколько времени, после стакана воды, после одеколоня, гофманских капель и прочего тому подобного, догадались, что в таких случаях надобно смеяться. Я уверен, что многие из моих читателей замечали в разных случаях жизни действие этого магнетизма, производящего в толпе сильное убеждение почти без всякой видимой причины:

---

[1] мой дорогой, — моя дорогая, — здравствуйте, — как вы себя чувствуете (*франц.*).

подвергшись сему действию, мы потом уже тщетно хотим уничтожить его рассудком; слепое убеждение так овладевает нашею волею, что в нас самих рассудок невольно начинает отыскивать обстоятельства, которые бы могли подтвердить это убеждение. В те минуты сказанное самое нелепое слово производит сильное влияние; иногда самое это слово забывается, но произведенное им впечатление остается в душе и, незаметно для человека, порождает в нем ряд таких мыслей, которые бы не пришли в голову без этого слова и которые к нему имеют иногда самое отдаленное отношение. Этот магнетизм играет весьма важную роль как в важных, так и в самых мелочных происшествиях, и, может быть, для многих должен служить единственным объяснением. Так случилось и теперь: происшествие с княжною было очень просто и понятно, но предрасположение всех присутствующих к другого рода развязке было так сильно, что у многих в одно и то же мгновение родилась неясная мысль, как будто бы барон тут явился вроде *кума*. Каким образом могло это случиться, в ту минуту никто не был в состоянии объяснить себе; но впоследствии эта мысль развилась, укрепилась, и рассудок вместе с памятью отыскали в прошедшем множество подтверждений для того, что действительно было только одно слепое убеждение.

Если бы вы знали, какой шум поднялся в городе после этого происшествия! Во всех углах шепотом, вслух, за канвою, за книгою, в театре, перед алтарем божиим собеседники и собеседницы говорили, толковали, объясняли, спорили, выходили из себя. Огнь небесный не произвел бы в них сильнейшего впечатления! И все оттого, что мужу вздумалось приехать за женою. Наблюдая подобные прискорбные явления, истинно приходишь в изумление. Что привлекает этих людей к делам, которые до них не касаются? Каким образом эти люди, эти люди, бездушные, ледяные, при виде самого благородного и самого подлого поступка, при виде самой высокой и самой пошлой мысли, при виде самого изящного произведения и при нарушении всех законов природы и человечества, — каким образом эти люди делаются пламенными, глубокомысленными, проницательными, красноречивыми, когда дело дойдет до креста, до чина, до свадьбы, до какой-нибудь домашней тайны или до того, что они выжали из своего сухого мозга под именем приличия?

IV

СПАСИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ

> Барин. Дурак! Тебе надобно было это сделать стороною.
>
> Слуга. Я и так, сударь, подошел к нему со стороны.

У старого барона был меньшой брат, гораздо моложе его годами; офицер, вообще очень милый малой.

Описать его характер довольно трудно: надобно начать издалека.

Видите ли! отцов наших добрые люди научили, что надобно во всем сомневаться, рассчитывать свой каждый поступок, избегать всяких систем, всего бесполезного, а везде искать существенной пользы или, как тогда говаривали, обирать вокруг себя и вдаль не пускаться. Отцы наши послушались, оставили в сторону все бесполезные вещи, которых я не назову, чтобы не прослыть педантом, и очень были рады, что вся мудрость человеческая ограничилась обедом, ужином и прочими тому подобными полезными предметами. Между тем у отцов наших завелись дети; дошло дело до воспитания, они благоразумно продолжали во всем сомневаться, смеяться над системами и заниматься одними полезными предметами. Между тем их дети росли, росли и наперекор добрым людям сами составили себе систему жизни, — однако систему не мечтательную, а в которой поместились эпиграмма Вольтера, анекдот, рассказанный бабушкою, стих из Парни, нравственно-арифметическая фраза Бентама, насмешливое воспоминание о примере для прописи, газетная статья, кровавое слово Наполеона, закон с карточной чести и прочее тому подобное, чем до сих пор пробавляются старые и молодые воспитанники XVIII столетия.

Молодой барон обладал этою системою в совершенстве: влюбиться он не мог — в этом чувстве для него было что-то смешное; он просто любил женщин, — всех, с малыми исключениями, — свою легавую собаку, Лепажевы ружья и своих товарищей, когда они ему не надоедали; он верил в то что дважды два — четыре, в то, что ему скоро откроется вакансия в капитаны, в то, что завтра он должен танцевать 2, 5 и 6 нумера контраданса...

Впрочем, будем справедливы: молодой человек имел

благородную, пылкую и добрую душу: но чего не задавило преступное воспитание гнилого и раздушенного века! Радуйтесь, люди расчета, сомнения и существенной пользы! радуйтесь, защитники насмешливого неверия во все святое! расплылись ваши мысли, все затопили, и просвещение и невежество. Где встанет солнце, которое должно высушить это болото и обратить его в плодоносную почву?

В комнате, обвешанной парижскими литографиями и азиатскими кинжалами, на вогнутых креслах, затянутый в узком архалухе, лежал молодой барон, то посматривая на часы, то перевертывая листки французского водевиля.

Человек подал записку.

— От кого?

— От маркизы де Креки.

— От тетушки!

Записка была следующего содержания:

«Заезжай ко мне сегодня после обеда, мой милый. Да не забудь, по обыкновению; у меня до тебя есть дело, и очень важное».

— Ну, уж верно, — проворчал про себя молодой человек, — тетушка изобрела еще какую-нибудь кузину, которую надобно выводить на паркет! Уж эти мне кузины! И откуда они берутся? Скажи тетушке, — сказал он громко, — что очень хорошо, — буду. Одеваться.

Когда молодой барон Дауерталь явился к маркизе, она оставила свои большие вязальные спицы, взяла его за руку и с таинственным видом через ряд комнат, отличавшихся характеристическим безвкусием, повела к себе в кабинет и посадила на маленький диван, окруженный горшками с геранием, бальзамином, мятою и фамильными портретами. Воздух был напитан одеколоном и спермацетом.

— Скажите, тетушка, — спросил ее молодой человек, — что все это значит? Уж не женить ли вы меня хотите?

— Пока еще нет, моя душа! Но шутки в сторону: я должна с тобою говорить очень и очень серьезно. Скажи мне, сделай милость, что у тебя за друг такой — Границкий, что ли, он? как его?..

— Да, Границкий! Прекрасный молодой человек, хорошей фамилии...

— Я никогда об ней не слыхала. Скажи мне, отчего такая связь между вами?

— В одном местечке, в Италии, измученный, голодный, полубольной, я не нашел комнаты в трактире: он поделился со мною своею; я занемог: он ухаживал за мною целую неделю, ссудил меня деньгами, я взял с него слово, приезжая в Петербург, останавливаться у меня: вот начало нашего знакомства... Но что значат все ваши вопросы, тетушка?

— Послушай, мой милый! Все это очень хорошо; я очень понимаю, что какой-нибудь Границкий был рад оказать услугу барону Дауерталю.

— Тетушка, вы говорите о моем истинном приятеле! — прервал ее молодой человек с неудовольствием.

— Все это очень хорошо, мой милый! Я не осуждаю твоего истинного приятеля, — его поступок с тобою делает ему много чести. Но позволь мне тебе сказать откровенно: ты молодой человек, едва вступаешь в свет; тебе надобно быть осторожным в выборе знакомства. Нынче молодые люди так развращены...

— Я думаю, тетушка, ни больше ни меньше, как всегда...

— Ничего не бывало! Тогда по крайней мере было больше почтения к родственникам; родственные связи, не как теперь, — они были теснее...

— И даже иногда слишком тесны, любезная тетушка, не правда ли?

— Не правда! Да дело не о том. Позволь мне тебе заметить, что ты в этом случае, о котором мы говорим, поступил очень ветрено: встретился и связался с человеком, которого никто не знает. Служит ли он по крайней мере где-нибудь?

— Нет.

— Ну, скажи же сам после этого, что он за человек! Даже не служит! Уж верно потому, что его не принимают в службу.

— Вы ошибаетесь, тетушка. Он не служит, потому что у него мать италиянка, и все его имение в Италии: он не может ее оставить, именно по причине родственных связей...

— Зачем же он здесь?

— По делам своего отца. Но скажите, бога ради, к чему ведут все эти вопросы?

— Одним словом, мой милый, мне очень неприятна твоя дружба с этим человеком, и ты мне сделаешь большое одолжение, если... если выживешь его из дома.

— Помилуйте, тетушка! Вы знаете, что я во всем вам беспрекословно повинуюсь; но войдите в мое положение: с какой стати я вдруг переменюсь к человеку, которому столько обязан, и ни с того ни с сего выгоню его из дому? Воля ваша, я не могу решиться на такую неблагодарность.

— Все это вздор, мой милый! романические идеи, больше ничего! Есть манера, и очень вежливая, показать ему, что он тебе в тягость.

— Разумеется, тетушка, что это очень легко сделать; но я повторяю вам, что я не могу взять на мою совесть такую гнусную неблагодарность. Воля ваша, не могу, никак не могу...

— Послушай же! — отвечала маркиза после некоторого молчания, — ты знаешь все, чем ты обязан твоему брату...

— Тетушка!

— Не перерывай меня. Ты знаешь, что по смерти твоего отца он мог воспользоваться всем твоим имением; он не сделал этого, он взял тебя по третьему году на свои руки, воспитал тебя, привел все запущенные дела в порядок; когда ты взрос, записал тебя в службу, честно поделился с тобою имением; словом, ты ему обязан всем, чем ты дышишь...

— Тетушка, что вы хотите сказать?

— Слушай. Ты уже не ребенок и малый не глупый, но вынуждаешь меня сказать тебе то, чего бы я не хотела.

— Что такое, тетушка?

— Послушай! Дай мне прежде слово не делать никаких глупостей, а поступить, как следует благоразумному человеку.

— Бога ради, договорите, тетушка!

— Я в тебе уверена и потому спрашиваю тебя, не заметил ли ты чего-нибудь между баронессою и твоим Границким?

— Баронессою! Что это значит?..

— Твой Границкий с ней в интриге...

— Границкий?.. Быть не может!

— Я тебя не стану обманывать. Это верно: твой брат обесчещен, его седые волосы поруганы.

— Но надобны доказательства...

— Какие тебе доказательства? Ко мне уж об этом пишут из Лифляндии. Все жалеют о твоем брате и удивляются, как ты можешь помогать его обманывать.

— Я? его обманывать? Это клевета, тетушка, сущая клевета. Кто осмелился к вам написать это?

— Этого я тебе не скажу; но оставлю тебе только рассудить, можно ли Границкому оставаться у тебя в доме. Твой долг тебя обязывает, пока эта связь не сделалась еще слишком гласною, стараться учтивым образом заставить его выехать из твоего дома, а если можно, и из России. Ты понимаешь, что это должно сделать без шума; найти какой-нибудь предлог...

— Будьте уверены, что все будет исполнено, тетушка. Благодарю вас за известие. Мой брат стар, слаб; это мое дело, мой долг... Прощайте...

— Постой, постой! не горячись! Тут не надобно никакой горячности, а хладнокровие: ты мне обещаешь, что ты не сделаешь никакой глупости, а поступишь, как следует благоразумному человеку, не мальчику?

— О, будьте спокойны, тетушка! Я все улажу как нельзя лучше. Прощайте.

— Не забудь, что тебе надобно поступить в этом случае очень осторожно! — кричала ему вслед маркиза. — Говори с Границким тихо, не горячись. Заведи речь стороною, обиняками... Понимаешь?

— Будьте спокойны, будьте спокойны, тетушка! — отвечал барон, убегая.

Кровь била ключом в голове молодого человека.

V

БУДУЩЕЕ

> ...l'avenir n'est à personne Sire, l'avenir est à Dieu.
>
> *Victor Hugo*[1].

Во время этой сцены происходила другая.

Во внутренности огромного дома, позади блестящего магазина, находилась небольшая комната с одним окошком на двор, завешенным сторою. По виду комнаты трудно было отгадать, кому она принадлежала: простые штукатурные стены, низкий потолок, несколько старых стульев и огромное зеркало, в алькове богатый диван со всеми

---

[1] ...будущее никому не принадлежит. Ваше величество, будущее в руках божьих. *Виктор Гюго (франц.).*

затеями роскоши, низкие кресла с выгнутою спинкою, — все это как-то спорило между собою. Одна дверь комнаты, через глухой коридор, соединяла ее с магазином; другая выходила на противоположную улицу.

По комнате ходил скорыми шагами молодой человек и часто останавливался, то посередине, то у дверей, и тщательно прислушивался. То был Границкий.

Вдруг послышался шорох, дверь отворилась, и прекрасная женщина, прекрасно одетая, бросилась в его объятия. То была графиня Лидия Рифейская.

— Знаешь ли, Габриель,—сказала она ему поспешно,— что здесь мы с тобою видимся в последний раз?

— В последний раз? — вскричал молодой человек, — но постой! что с тобою? ты так бледна?

— Ничего! Я немножко озябла. Спеша к тебе, я забыла надеть ботинки. Коридор такой холодный... Это ничего!

— Как ты неосторожна! Здоровьем пренебрегать не надо...

Молодой человек подвинул кресла к камину, посадил на них прекрасную женщину, разул ее и старался согреть прелестные ножки своим дыханием.

— О, перестань, Габриель! Минуты дороги; я насилу могла вырваться из дома; я пришла к тебе с важною новостью. У моего мужа второй удар и, — страшно выговорить, — доктора мне сказали, что мужу не пережить его: у него отнялся язык, лицо перекосилось, он страшен! бедный, не может выговорить ни слова!.. Едва поднимает руку! Ты не можешь поверить, как он мне жалок.

И графиня закрыла лицо свое рукою. Между тем Габриель целовал ее холодные, как будто из белого мрамора выточенные ножки и прижимал их к горячим щекам своим.

— Лидия, — говорил он, — Лидия! ты будешь свободна...

— Ах, говори мне это чаще, Габриель! Это одна мысль, которая на минуту заставляет меня забывать мое положение; но в этой мысли есть что-то страшное. Чтобы быть счастливою в твоих объятиях, мне надобно перешагнуть через гроб!.. Для моего счастия нужна смерть человека!.. Я должна желать этой смерти!.. Это ужасно, ужасно! Это переворачивает сердце, это противно природе.

— Но, Лидия, если кто-нибудь виноват в этом, то, верно, не ты. Ты невинна, как ангел. Ты жертва приличий; тебя выдали замуж поневоле. Вспомни, сколько ты сопротивлялась воле своих родителей, вспомни все твои страдания, все наши страдания...

— Ах, Габриель, я все это знаю: и когда я подумаю о прошедшем, тогда совесть моя покойна. Бог видел, чего я ни перенесла в моей жизни! Но когда я взгляну на моего мужа, на его скосившееся лицо, на его дрожащую руку; когда он манит меня к себе, меня, в которой он в продолжение шести лет производил одно чувство — отвращение; когда я вспомню, что его всегда обманывала, что его теперь обманываю, тогда забываю, какая цепь страданий, нравственных и физических, довела меня до этого обмана. Я изнываю между этими двумя мыслями, — и одна не уничтожает другой!

Границкий молчал: тщетно бы стал он утешать Лидию в эту минуту.

— Не сердись на меня, Габриель! — сказала она наконец, обнимая его голову. — Ты понимаешь меня; ты с детства привык понимать меня. Я одному тебе могу поверять мои страдания...

И она пламенно прижала его к груди своей.

— Но полно! Время бежит; я не могу здесь более оставаться... Вот тебе мой последний поцелуй! Теперь слушай: я верю, мы будем счастливы; я верю, то, что у нас отняло самовластие общества, возвратит нам провидение; но до того дня я вся принадлежу моему мужу. С сей поры я ежеминутною заботою, долгими ночами без сна у его постели, страданием не видать тебя, должна выкупить нашу любовь и вымолить у бога наше счастие. Не старайся меня видеть, не пиши ко мне; позволь мне забыть тебя. Я тогда стану спокойнее, и совесть меньше меня будет мучить. Мне легче будет вообразить себя совершенно чистою, невинною... Прощай!.. Еще два слова: не переменяй ничего в твоем образе жизни, продолжай выезжать, танцевать, волочиться, как будто для тебя не приготовляется никакой перемены... Заезжай сегодня же наведаться о моем муже, но я тебя не приму: ты не родня. И сегодня же поезжай и везде равнодушно рассказывай об его болезни. Прощай!

— Постой! Лидия! Еще один поцелуй!.. Сколько долгих дней пройдет...

— О, не напоминай мне больше об этом!.. Прощай. Будь терпеливее меня. Помни: будет время, и я не буду говорить тебе: «идут — отойди, Габриель!...» О, ужасно! ужасно!

Они расстались.

VI

ЭТО МОЖНО БЫЛО ПРЕДВИДЕТЬ

> — Vous allez me rabacher je ne sais quels lieux communs de morale, que tous ont dans la bouche, qu'on fait sonner bien haut, pourvu que personne ne soit obligé de les pratiquer.
>
> — Mais s'ils se jettent dans le crime?
>
> — C'est de leur condition.
>
> *Le neveu de Rameau*[1].

В сильном волнении молодой барон Дауерталь возвратился домой.

— Дома ли Границкий? — спросил он.

— Никак нет.

— Сказать мне, как скоро он приедет.

Тут он вспомнил, что Границкий должен был вечером ехать к Б***.

Минуты этого ожидания были ужасны для молодого человека: он чувствовал, что в первый раз в жизни он призван на важное дело; что тут нельзя было отвертеться ни эпиграммою, ни равнодушием, ни улыбкою; что здесь надобно было сильно чувствовать, сильно думать, сосредоточить все силы души; что, одним словом, надобно было действовать, и действовать самому, не требуя советов, не ожидая подпоры. Но такое напряжение было ему незнакомо; он не мог себе отдать отчета в своих мыслях. Лишь кровь его разгоралась, лишь сердце в нем билось чаще. Ему представлялись как будто во сне городские толки; его брат в сединах, оскорбленный и слабый; желание показать

---

[1] — Вы станете мне твердить бог знает какие общие морали, которые у всех на устах и провозглашаются всеми очень громко, только бы никто не обязан был бы их исполнять.

— Но если они дойдут до преступления?

— Это их дело.

Племянник Рамо (франц.).

свою любовь и благодарность к старику; товарищи, эполеты, сабли, ребяческая досада; охота показать, что он уже не ребенок; мысль, что смертоубийством заглаживается всякое преступление. Все эти грезы сменялись одна другою, но все было темно, неопределенно; он не умел спросить у того судилища, которое не зависит от временных предрассудков и мнений, произносит всегда точно и верно: воспитание забыло ему сказать об этом судилище, а жизнь не научила спрашивать. Язык судилища был неизвестен барону.

Наконец пробил час. Молодой человек бросился в карету, поскакал, нашел Границкого, взял его за руку, вывел из толпы в отдаленную комнату, и... не знал, что сказать ему; наконец вспомнил слова тетушки и, стараясь принять вид хладнокровный, проговорил:

— Ты едешь в Италию!

— Нет еще, — отвечал Границкий, приняв эти слова за вопрос и смотря на него с удивлением.

— Ты должен ехать в Италию! Ты меня понимаешь?

— Нисколько!

— Я хочу, чтоб ты ехал в Италию! — сказал барон, возвысив голос. — Теперь понимаешь?

— Скажи мне, сделай милость: что, ты с ума сошел, что ли?

— Есть люди, которых я не назову, для которых всякое благородство — сумасшествие...

— Барон, ты не знаешь, что говоришь! Твои слова пахнут порохом.

— Я привык к этому запаху.

— На маневрах?

— Это мы увидим.

Глаза барона заблистали: дело шло уже о личной обиде.

Они взяли слово с людей, вошедших в комнату к концу разговора, сохранить его в тайне, воротились снова в залу, сделали несколько вальсовых кругов и исчезли.

Чрез несколько часов уже секунданты отмеривали шаги и заряжали пистолеты.

Границкий подошел к барону.

— Прежде нежели мы отправим друг друга на тот свет, мне очень любопытно узнать, за что мы стреляемся.

Барон отвел своего соперника в сторону от секундантов.

— Вам это должно быть понятнее меня... — сказал он.

— Нисколько.

— Если я вам назову одну женщину...

— Женщину!.. Но какую?

— Это уж слишком! Жена моего брата, моего старого, больного брата, моего благодетеля... Понимаете?

— Теперь уж совершенно ничего не понимаю!

— Это странно! Весь город говорит, что вы обесчестили моего брата; все смеются над ним...

— Барон! вас бессовестно обманули. Прошу вас назвать мне обманщика.

— Это мне сказала женщина.

— Барон! вы поступили очень опрометчиво. Если б вы прежде спросили меня, я бы вам рассказал мое положение; но теперь поздно, мы должны драться. Но я не хочу умереть, оставив вас в обмане: вот вам моя рука, что я не думал о баронессе.

Молодой барон был в сильном смущении в продолжение разговора: он любил Границкого, знал его благородство, верил, что он его не обманывает, и проклинал самого себя, тетушку, целый свет.

Один из секундантов, старинный дуэлист и очень строгий в делах этого рода, сказал:

— И, и, господа! У вас, кажется, дело на лад идет? Тем лучше: миритесь, миритесь; право, лучше...

Эти слова были сказаны очень просто, но барону они показались насмешкою, — или в самом деле в тоне голоса секунданта было что-то насмешливое. Кровь вспыхнула в молодом человеке.

— О нет! — вскричал он, почти сам не зная, что говорит. — Нет, мы и не думаем мириться. У нас есть важное объяснение...

Последнее слово снова напомнило молодому человеку его преступную неосторожность: вне себя, волнуемый необъяснимыми чувствами, он вторично отвел своего соперника в сторону.

— Границкий! — сказал он ему, — я поступил как ребенок. Что нам делать?

— Не знаю, — отвечал Границкий.

— Рассказать секундантам нашу странную ошибку?..

— Это будет значить распространить слухи о жене твоего брата.

— Ты смеялся над моею храбростию; секунданты знают это.

— Ты мне говорил таким тоном...

— Это не может так остаться!

— Это не может так остаться!

— Скажут, что на нашем дуэле пролилась не кровь, а шампанское...

— Постараемся оцарапать друг друга.

Они стали к барьеру. Раз, два, три! — пуля Границкого оцарапала руку барона; Границкий упал мертвый.

VII

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

> Существуют охотники защищать всех и всё: они ни в чем не хотят видеть дурного. Эти люди очень вредны...
>
> *Светское суждение.*

Всякий читатель, вероятно, уже догадывается, что вышло из всей этой истории.

Пока о дуэли знали одни мужчины, то приписывали его просто насмешке Границкого над храбростью молодого барона; толки были различны. Но когда узнали об этом происшествии нравственные дамы, описанные нами выше, тогда прекратились все недоразумения: истинная причина была тотчас отыскана, исследована, обработана, дополнена примечаниями и распространена всеми возможными способами.

Бедная баронесса не устояла против этого жестокого преследования: ее честь, единственное чувство, которое было в ней живо и свято, ее честь, которой она приносила в жертву все мысли ума, все движения юного сердца, ее честь была поругана без вины и без возврата. Баронесса слегла в постель.

Молодой барон и двое секундантов были сосланы, — далеко от всех наслаждений светской жизни, которая одна могла быть для них счастием.

Графиня Рифейская осталась вдовою.

Есть поступки, которые преследуются обществом: погибают виновные, погибают невинные. Есть люди, которые полными руками сеют бедствие, в душах высоких и нежных возбуждают отвращение к человечеству, словом, торжественно подпиливают основания общества, и общество согревает их в груди своей, как бессмысленное солнце, которое равнодушно всходит и над криками битвы, и над молитвою мудрого.

Для княжны Мими была составлена партия, — она уже отказалась от танцев. Молодой человек подошел к зеленому столу.

— Сегодня поутру наконец кончились страдания баронессы Дауерталь! — сказал он, — здешние дамы могут похвалиться, что они очень искусно ее убили до смерти.

— Какая дерзость! — шепнул кто-то другому.

— Ничего не бывало! — возразила княжна Мими, закрывая взятку, — убивают не люди, а беззаконные страсти.

— О, без сомнения! — заметили многие.





IMBROGLIO[1]

(Из записок путешественника)

(Один из моих приятелей сообщил мне описание странного приключения, случившегося с ним во время его путешествия по Италии. Мой приятель не автор и не умеет рассказывать красно и витиевато; желаю, чтоб интерес самого происшествия заменил для моих читателей красоту рассказа. Повторяю, мой приятель не автор, но простой путешественник, турист, для очистки совести принявшийся за перо.)

Солнце уже заходило. Пароход наш летел стрелою. Неаполитанский залив открывался во всем своем величии. Пассажиры бросились на палубу. Хотя мы уже седьмой день все больше и больше подвигались под итальянское небо, но при виде берега оно показалось нам еще прекраснее. Я не буду описывать наших восклицаний, наших восхищений, нашей радости: надобно испытать ее.

Дым из парового котла, как будто сердясь на долгое заключение, с шипением и брызгами выскочил из трубы; колеса замерли; нас окружили тысячи лодок. Путешествуя без слуги, я взвалил на плечи свой маленький чемоданчик и бросился в одну из них.

— Alle crocelle a Santa Lucia[2], — сказал я гребцу, справившись со своим Guide de voyageur[3], какой трактир всех дешевле.

---

[1] Путаница *(итал.)*.
[2] Причальте к Санта Лучиа *(итал.)*.
[3] Путеводителем для путешественников *(франц.)*.

— Si, signore [1], — отвечал лодочник и сильно взмахнул веслами.

Добравшись до трактира, я занял первую мне попавшуюся комнату, сбросил скорее с плеч котомку, отдал мои бумаги трактирщику и со всем нетерпением северного жителя выбежал на улицу, чтоб насладиться роскошною итальянскою ночью и величественной картиной, бывшею у меня перед глазами. Долго бродил я по улицам и нечувствительно дошел до Villa-reale, на берег моря. Все поражало меня, все приковывало мое внимание, — и архитектура зданий, и новая для меня одежда, и черты лиц, опаленных солнцем. Я прислушивался к пению рыбаков, к повестям их рассказчиков, заходил в церкви, заглядывал в окошки домов — словом, наслаждался вполне, как только может наслаждаться человек, внезапно через море перенесенный из далекого севера в поэтическое отечество Тасса. В этом наслаждении я не замечал времени, как вдруг небо потемнело; тут я вспомнил, что в южных странах не бывает сумерек и что мне, иностранцу, легко можно заблудиться; впрочем, других опасностей я не предвидывал. Время романических приключений прошло и для Италии; грозных, поэтических разбойников уняла полиция; к тому же мой небогатый наряд и еще менее богатый кошелек не могли обратить на себя корыстолюбивого внимания. Я подумал и решился поверить мой орган местной памяти — добраться до ночлега, никого не спрашивая. Признаюсь, мне почти хотелось не найти моего трактира, чтоб иметь случай провести ночь под открытом небом. Но не успел я пройти несколько шагов, как почувствовал, как две сильные руки схватили меня сзади; в ту же минуту другие две руки накинули мне платок на лицо и затянули так крепко, что я не мог даже закричать, не только видеть, кому вздумалось так забавляться надо мною.

Было не до шуток, когда я почувствовал, что мне связали руки и ноги и потащили бог знает куда с большой быстротою. Всякое сопротивление было тщетно; я позволил делать с собою все, что было угодно моим носильщикам, и с нетерпением ожидал развязки этого странного приключения. Наконец мы остановились. Послышался шум весел, и я скоро почувствовал, что нахожусь в лодке. Это меня несколько успокоило. «Если бы я был взят разбой-

---

[1] Слушаю, господин (*итал.*).

никами, — подумал я, — то они не стали бы столько со мною церемониться». Но тут мне пришли в голову рассказы о людях, которые были задержаны шайкою воров и могли освободиться только посредством большого выкупа, в ожидании которого ibravi[1] занимаются обрезыванием носов и ушей у жертв своих. От этой мысли дрожь у меня пробежала по членам: понятие о богатстве русских, которое имеют в Италии; мое слишком недостаточное состояние; уверенность, что я не легко могу освободиться от бездельников и что, может быть, очень горькая участь меня ожидает, — все это стеснилось в голове моей и рисовало картину ужасную. Но тут я вспомнил, что никогда не слыхано о подобных приключениях в Неаполе, и снова начал теряться в догадках. Тщетно хотел я прислушаться к разговору моих товарищей: они хранили глубокое молчание. Наконец лодка причалила к берегу, снова мои проводники подняли меня на руки, пронесли несколько шагов, — я услышал скрип дверей и почувствовал, что меня тащат по лестнице. Послышались звуки нескольких голосов; ближе, ближе; наконец сильная рука схватила меня за грудь и грубый, задыхающийся от гнева голос проговорил:

— Scelerato! [2]

Между тем развязали мне ноги, протащили еще несколько шагов, и раздался крик женщины. В эту минуту повязка, закрывающая мое лицо, была сорвана, и я увидел себя в комнате, обитой черным сукном, — перед собой молодую прекрасную женщину в черном платье, которая бросилась в мои объятия и вдруг отступила, встала на колени и с радостным криком начала благодарить бога. Возле меня стоял человек пожилых лет, с обнаженным кинжалом в руке, и еще другой, уже поседевший.

— Тщетно ты хочешь обмануть нас, — сказал первый по-итальянски, обращаясь к молодой женщине, — вместо этих сцен лучше спеши проститься с ним; его последняя минута наступила.

Молодая женщина ничего не отвечала: она смотрела на меня и, казалось, была в нерешимости. Наконец она как бы превозмогла себя и вскричала:

— Судьба обманула вас; это не он.

---

[1] разбойники *(итал.)*.

[2] Негодяй! *(итал.)*

Тут я постарался вспомнить те слова, которые слыхал в итальянских операх, и, запинаясь каждую минуту, сказал почти следующее:

— Я вижу, милостивые государи, что я здесь жертва какого-то недоразумения и что вы меня принимаете за другого. Я не буду говорить вам, как противно чести нападать на безоружного человека...

— Тут не о чести дело, — вскричал старик с гневом.

Однако ж мой иностранный выговор, казалось, поразил их: я видел на их лице недоумение.

— Я иностранец, милостивые государи,— продолжал я.

— Неправда! — вскричали оба.

— Я сейчас только с парохода.

— Это мы знаем.

— Я офицер русской службы.

— И это мы знаем; мы знаем все твои обстоятельства.

— Если так, милостивые государи, то я уже решительно не понимаю, зачем я здесь. Я никогда не бывал в Италии, даже не имею здесь ни одного знакомого. Я русский, милостивые государи, повторяю вам и прибавлю, что мое правительство не потерпит, чтоб мне была нанесена какая-нибудь обида...

Мои странные фразы, мой иностранный выговор, видимо, поражал их; они смотрели в нерешимости то друг на друга, то на молодую женщину, которая, сидя в креслах, спокойно ожидала окончания нашего разговора.

— Покажите ваши бумаги? — сказал мне один из незнакомцев.

Тут я вспомнил, как неосторожно поступил я, оставив свои бумаги у трактирщика и не побывавши прежде у нашего посланника. Как бы упавший с неба посреди людей, мне совершенно незнакомых, в стране иноземной, не знаемой никем из моих соотечественников, я был в полной власти моих гонителей.

— Мои бумаги остались в трактире, — отвечал я. — Вы можете об них справиться.

— Прекрасная выдумка! Вы знаете, что мы не можем об них справляться.

С этими словами незнакомец расстегнул мой фрак, без церемонии опустил руку в карман и вынул из него случайно оставшуюся в нем записку одного из моих приятелей, писанную по-русски.

— Язык, на котором писана эта записка, — сказал я,— может вам доказать, что я не тот, за кого вы меня принимаете.

— Эта записка ничего не доказывает; мы повторяем: нам известно, что вы приехали из России. Скажите, если вы в самом деле иностранец, что заставило вас остановиться не в таком трактире, где обыкновенно останавливаются иностранцы? что вас заставило так поспешно выскочить из парохода? зачем вы бегали по улицам? чего вы смотрели в окошках?

Кровь моя взволновалась, но я постарался скрыть свою досаду.

— На эти вопросы, — сказал я, — может, должно было бы мне отвечать вам также вопросом: какое вы имеете право требовать от меня отчета? Но в положении, в котором нахожусь, я скажу вам, что все эти, по-видимому, странные обстоятельства легко объясняются нетерпением путешественника, из дальной страны в первый раз попавшему в Неаполь, где, признаюсь, он не ожидал себе такого приема.

— Это все выдумки, — вскричали незнакомцы. — Мы не ребята; нас обмануть трудно, и это вы сейчас увидите.

С этими словами старик вышел из комнаты. Прошло несколько минут в совершенном молчании; мои руки все еще были связаны, и младший из незнакомцев все стоял подле меня с обнаженным кинжалом. Он наблюдал каждое мое движение. Тяжка была для меня эта минута; я задыхался от различных чувствований, волновавшихся в моем сердце. Если б это состояние еще несколько продолжилось, я бы не вытерпел и, несмотря на неровность сил, постарался бы, хоть с потерею жизни, выйти из моего странного положения; но дверь отворилась, и лицо, как мне казалось, старой женщины, закрывавшейся платком, выставилось из-за двери.

— Это не он! — сказала она, взглянув на меня, и скрылась.

Крик досады вырвался из груди двух мужчин; они отошли в сторону и начали тихо разговаривать между собою. Мало-помалу голос их возвышался, и из слов, отражавшихся от сводов залы, мог я заключить, что я слишком много знал для их безопасности. Бездельники спорили, что будет лучше — оставить ли меня в живых, или бросить в море.

Минута была решительная, и я сказал им:

— Вы, кажется, уверились теперь, господа, что я не тот, кого вам надобно. Как ни обидно мне то положение, в которое вы меня поставили, и как бы ни хотел я потребовать у вас отчета в ваших со мною поступках, но я вхожу и в ваше положение: я могу вам дать слово, что если вы отпустите меня, то я сохраню все происшедшее в ненарушимой тайне: она умрет вместе со мною.

Они посмотрели на меня, снова отошли в сторону и снова заспорили.

— Я должен вам напомнить, — продолжал я, — что для вашей же собственной пользы вам гораздо безопаснее положиться на честное слово благородного человека, нежели скрыть это преступление новым преступлением. Я не имею никакого интереса узнавать вашей тайны, и через несколько дней оставлю Неаполь, разумеется, навсегда. Смерть же моя рано или поздно может довести то открытия тайны; мои бумаги, вероятно, уже известны полиции; мои соотечественники, приехавшие со мною на пароходе, русское посольство употребят, уверяю вас, все возможные средства для открытия истины. Я оставляю вам на суд, что для вас выгоднее.

Эти слова, кажется, произвели над ними некоторое действие; они снова отошли в сторону, но разговор их сделался гораздо спокойнее. Наконец молодой человек подошел ко мне.

— Действительно, милостивый государь, — сказал он мне, — мы ошиблись. Странный случай открыл вам до некоторой степени тайну нашего семейства. Собственная наша безопасность заставляла бы нас прибегнуть к *самому верному* средству для сохранения этой тайны; но мы хотим лучше верить вашему честному слову. Мы решились отпустить вас, милостивый государь; но знайте, что с этим происшествием связана участь знатнейших фамилий Италии; что малейшая ваша нескромность будет в ту же минуту наказана смертию. Случившееся с вами сегодня может показать вам, что мы имеем все нужные для того способы. Вы должны нам поклясться всем, что для вас есть святого в жизни: вашей родиной, вашими родными, вашей честью, что вы нигде, никогда, ни в каком случае, ни на исповеди, ни в терзаниях пытки, ни словом, ни движением не только не откроете всего с вами происшедшего,

но даже не будете стараться объяснить его себе или даже встретиться с кем-либо из нас.

Делать было нечего — я поклялся.

— Теперь вы свободны, — сказал молодой человек, — вас сию минуту отвезут на вашу квартиру; но вы извините нас, если мы принуждены будем принять прежнюю предосторожность и завязать вам глаза. Руки ваши останутся свободны; мы полагаемся на ваше благородство и верим, что вы не сделаете ни малейшего усилия поднять повязку.

Я позволил делать все, что им было угодно.

— С этой минуты, — продолжал молодой человек, — мы как будто бы никогда не существовали друг для друга. Старайтесь, советую вам для вашей пользы, истребить из памяти даже черты лиц наших. С нашей стороны для вас великая жертва; умейте ценить ее.

Две сильные руки снова взяли меня под мышки, снова мы сошли несколько ступеней лестницы; снова заскрипели двери, снова я услышал шум весел и почувствовал качание лодки. Мои проводники по-прежнему погрузились в глубокое безмолвие.

Уже довольно долго продолжалось наше плавание; я уже думал, что приближается минута моего освобождения, как вдруг между моими проводниками я заметил некоторое движение.

— Здесь кто-то есть, — сказал шепотом один голос.

— Это свернутый парус, — отвечал другой.

— Нет, здесь что-то живое, — возразил первый.

После минуты безмолвия я услышал крик, шелест скользнувшего кинжала, слабый стон умирающего.

— Стой! стой! — закричали вокруг нас несколько голосов.

Это было уже слишком: я не вытерпел, сорвал с себя повязку. Луна светила, — у ног моих лежал окровавленный труп! Я еще не мог прийти в себя при виде ужасного зрелища, как лодка, на которой я находился, была притянута крючьями к другой, из которой в то же мгновение выскочили незнакомые мне люди, по мундирам которых я догадался, что то должны быть полицейские служители. Проводников моих уже в лодке не было; несколько выстрелов, сделанных солдатами, заставили меня заключить, что мои прежние знакомые бросились в море.

Новые мои знакомые не оставили мне ни минуты на размышление, не дали мне выговорить ни слова, а без

церемоний связали мне руки и положили в полицейскую барку. На вопрос мой, куда они везут меня! — Туда, — отвечал мне один из сбиров, — куда обыкновенно возят таких храбрых молодцов, как ты.

В этом ответе не было для меня ничего утешительного. На все мои слова, на все доказательства, что я ничего не понимаю в этом происшествии, мне отвечали, что это не их дело и что завтра разберут все по порядку.

Лодка причалила к берегу; мы вышли и, прошед недалеко по каким-то переулкам, остановились перед большим зданием, возле которого стояли часовые. Огромные железные двери поворотились на своих вереях передо мною, но едва подвели меня к ним, как не знаю кто-то сунул мне в руку небольшую бумажку: я машинально сжал ее в руке и продолжал следовать за провожатыми, думая, что наконец встречу кого-нибудь, с кем можно будет объясниться; но мое ожидание было тщетно. Провожатые поворотили в маленький коридор, отворили небольшую низенькую дверь, втолкнули меня в нее, дверь захлопнулась, — за мной заперли несколько дверей. Тщетны были бы все мои крики; я решился терпеливо ожидать конца моей участи. Я посмотрел вокруг себя: то была маленькая четвероугольная комната, без постели, без стула, даже без окон; небольшое отверстие, сажени две от полу, с железною решеткою, пропускало в комнату свет от фонаря, находившегося снаружи. Когда вокруг меня воцарилось совершенное безмолвие, прерываемое иногда шагами часового, а иногда стонами, как бы выходившими из соседственных комнат, я решился подойти к светлому кругу, производимому отражением тусклого фонаря, развернул записку и с трудом разобрал в ней следующие слова: «Не забывайте данного вами обещания и будьте спокойны».

Признаюсь, эта записка мало меня порадовала. Я видел в ней только странную цепь, которая привязывала меня к кровавой тайне; второй половине записки я доверял мало.

И грустно мне было, и досадно, и холодно; я не мог даже ходить по моей итальянской квартире: пол был вымощен плитою; я беспрестанно посклизался от находившейся на нем сырости. Удушливый воздух захватывал дыхание, сырость проникала члены, и холодный пот лился с меня градом.

Вся твердость меня оставила: в отчаянии я прислонился к стене, покрытой плесенью, и горькие размышления взволновали во мне душу.

«Вот судьба человеческая! — думал я. — Каких препятствий не должен был я преодолеть для этого путешествия? В продолжение нескольких лет я трудился, откладывал деньги, отказывал себе во всем, чтоб сохранить небольшую сумму — все для того, чтоб видеть Италию; с тою мыслию засыпал и просыпался; наконец достиг желаемой цели, оставил отечество, родных, друзей, все милое моему сердцу... Для чего? Чтоб едва не лишиться жизни, испытать все возможное уничижение от каких-то бездельников; чтоб мне, отворачивавшемуся от порезанного пальца, видеть у ног своих человека, плавающего в крови, и в заключение попасть в тюрьму, быть почти обвиненному в уголовном преступлении и провести первую ночь в Италии на голом полу, под заплесневелым сводом... И кто знает, что еще ждет меня?» Мысли мои делались час от часу мрачнее; я понял защитников исправительной системы, которые советуют запирать преступника в темную комнату и удалять его от всякого сообщения с людьми: ничто так не погружает человека в самого себя, ничто так не переносит в мир отвлеченных понятий, как одиночество, темнота, безмолвие. Я, веселый, беззаботный житель столицы, для которого наем квартиры был самою отвлеченною в жизни идеей, — я вдруг обратился в философа, и неожиданно дошел до самых важных вопросов человеческой жизни, которыми заниматься мне до сих пор казалось пустым педантизмом или мечтами, ни к чему не ведущими.

Скоро усталость, однообразные шаги часового погрузили меня в род дремоты. Мысли мои час от часу мешались более, соединяясь с полугрезами: то холодные руки хватали меня за плечи, то ледяная гора скользила по моим щекам, то являлись безжизненные, свинцовые лица, — и из глаз их по синим бороздам катились кровавые слезы, растягивались и паутиною обвивались вокруг меня; то мне казалось, что я был прикреплен к маятнику огромных часов и при каждом взмахе тщетно старался прицепиться за скользящую стену: я просыпался и засыпал беспрестанно. Не знаю, как долго находился я в этом состоянии; когда я пришел в себя, то очень удивился, что шаги часового, единственный признак жизни в этом ужасном безмолвии, прекратились. Вероятно, это самое обстоятельство

заставило меня и проснуться. Но мое удивление еще увеличилось, когда я почувствовал, что стена за мною движется. Сначала я подумал, что это мечта расстроенного воображения; но, привстав, явственно увидел, что кирпичи в стене точно шевелятся. Невольное чувство заставило меня к ним прикоснуться. Я очень легко вынул один из них; и едва я его вынул, как в отверстии показался железный лом. Незнакомый голос шепотом говорил мне по-итальянски: «Русский, русский». Впросонках, не будучи в состоянии отдать себе отчета в своих мыслях, я, по невольному движению и по естественному, сильному желанию выйти из темницы, схватился за лом и начал обрушивать остальные кирпичи; но в самую эту минуту двери моей темницы с шумом отворились, из отверстия раздался крик, послышались выстрелы, тревога. Я увидел себя окруженным тюремщиками. Тут уже мне говорить было нечего: лом был в моих руках!.. Желание бежать — явно!.. И я, в совершенном ослаблении сил, позволил себя связать, не говоря ни слова. Из этой комнаты меня перевели в другую, еще ужаснейшую первой: в ней была едва сажень в длину и ширину. Меня бросили на пук гнилой соломы и приковали к ввернутой в стену цепи. Эта комната не имела никакого отверстия, кроме небольшой скважины в двери, в которую беспрестанно выставлялось лицо часового. Несколько часов провел я в этом ужасном состоянии; мысль, что я своим побегом дал себе вид преступника, беспокойное положение, в котором я находился, не позволяли мне свести глаз ни на одну минуту. Наконец я заметил какой-то белесоватый свет в отверстии двери, по которому догадался, что наступило утро.

Этот свет был большим для меня услаждением. «Чем бы это ни кончилось, — думал я, — по крайней мере я выйду из мучительного положения!» Действительно, через несколько времени послышался шум, дверь отворилась, вошедшие сбиры отперли пояс, приковывавший меня к стене, и, окружив меня, с обнаженными саблями, вывели из тесного ночлега; мы прошли несколько коридоров и очутились во внутреннем дворе тюремного замка. Солнце всходило, легкий ветерок обвевал меня теплым воздухом, и я понял то чувство, которое ощущают люди, выходящие из долгого заключения на светлое небо.

Скоро мои провожатые ввели меня в комнату, где за столами сидели писцы. Мы прошли мимо их; они едва

подняли головы — вероятно, им были в привычку такие явления. Наконец прозожатые ввели меня в комнату, где за большим столом сидел человек в черном фраке, довольно тучный, который, прищуривая свои маленькие глазки, спросил мое имя. Я сказал ему имя и прибавил, что нахожусь в таком странном положении, которое могу объяснить только русскому посланнику. В ту же минуту мой новый знакомец отправил чиновника за моими бумагами и потом, обратясь ко мне, сказал:

— Желанье ваше видеть русского посланника будет исполнено, если, разумеется, он согласится на вашу просьбу. Но я должен вас предуведомить, что если вы и в самом деле тот, за кого вы себя выдаете, то ваш посланник не будет иметь права и даже не захочет вмешиваться в дело смертоубийства. Во всяком случае, вы будете судимы по законам той земли, в которой вы находитесь, и никто на свете не будет в состоянии спасти вас от участи, ожидающей смертоубийцу. Одно добровольное ваше признание, и если вы назовете ваших соумышленников, возможно несколько смягчить строгость законов.

— Смертоубийцу? — вскричал я, — соумышленников? Но, именем бога, кого же умертвил я?

— Вы знаете, что вас застали над трупом полицейского чиновника, который был отправлен для наблюдения за приготовившимся злодеянием.

— Милостивый государь! — отвечал я, — я не мог убить никого, потому что сам находился пленником на той же лодке, на которой меня застала полиция.

— Пленником? Но чем вы это докажете?

— Тем, милостивый государь, что я сидел в лодке с завязанными глазами.

Судья взял лежавший на столе кусок полотна, в котором я узнал бывшую на мне повязку; приложил ее к моему лицу, стараясь сохранить оттиски, на ней оставшиеся, и действительно увидел, что они приходились мне по мерке.

— Это доказательство, правда, несколько служит подтверждением ваших слов; но зачем и каким образом вы попались на эту лодку?

— Этого я не могу сказать вам. Я дал страшную клятву честного человека никому не открывать этой тайны.

— Вы можете сами рассудить, — сказал мне судья, — что это обстоятельство увеличивает подозрение правосудия, тем более что в нынешнюю ночь было сделано покушение освободить вас. Это не могло быть сделано без вашего согласия — что, впрочем, доказывается и тем положением, в котором вас застали.

Я старался объяснить сколько мог, что я не имел понятия о людях, желавших освободить меня; старался объяснить то невольное чувство, которое, в минуту пробуждения от сна, заставило меня против собственной моей воли способствовать неизвестным моим освободителям, — но я сам чувствовал, что все слова мои были темны. Между тем принесены были мои бумаги; посмотрев их, судья сказал мне:

— Действительно, по вашим бумагам я вижу, что вы иностранец, вчера только вечером приехавший в Неаполь, и что невероятно предполагать в вас убийцу неизвестного полицейского чиновника; но вы согласитесь сами, что обстоятельства дела вашего так странны: правительство не будет в состоянии оправдать вас, если вы не дадите нужных объяснений. Напишите письмо к вашему посланнику: может быть, он убедит вас быть откровеннее.

Я благодарил судью за его участие ко мне и поспешил написать письмо. Когда я его окончил, судья сказал мне:

— Ваше письмо будет сию минуту отправлено; в ожидании ответа вы извините нас, если мы должны соблюсти меры предосторожности, которые обыкновенно принимаются в этих случаях.

Меня отвели в прежнюю мою комнату, но цепей уже более не надевали.

Через несколько минут я получил позволение явиться к посланнику, однако ж в сопровождении жандарма. Посланник принял меня как нельзя лучше и, имея уже обо мне сведения как по письмам, так и по словам моих товарищей на пароходе, вошел совершенно в мое положение; понял то чувство чести, которое воспрещало мне открыть всю тайну, однако ж сказал мне, что все, что он может сделать в мою пользу, — это засвидетельствовать перед неаполитанским правительством о моем звании и о моем поведении. Он присовокупил, что все прочее он должен будет предоставить на произвол туземных судилищ.

Все это, признаюсь, мало меня утешало, особливо когда, при выходе от посланника, я был приглашен жан-

дармским офицером в прежнюю карету. «Черт возьми! — думал я, — за делом я приехал в Неаполь. Прекрасное лечение — ходить для здоровья под обнаженными шпагами и дышать заплесневелым воздухом тюремных замков!» По возвращении в мою печальную квартиру мне отвели комнату несколько получше прежней. На этот раз все предосторожности ограничились лишь моим честным словом, что я не предприму ничего предосудительного до решения моей участи. В таком положении я провел день до вечера, и одно захождение солнца напомнило мне, что уже более суток у меня ничего не было в желудке: так сильное движение чувств может победить в человеке физические потребности! Но едва я вспомнил об этом, как в ту же минуту почувствовал жесточайший голод, и принесенные запачканным сбиром несколько волокон макаронов показались мне самым вкусным блюдом, которое когда-либо мне попадалось в продолжение жизни. Таков был мой первый обед в Неаполе. Я не успел еще окончить скудного пиршества, когда снова вошел ко мне полицейский офицер.

— Ваш посланник, — сказал он, — принял вас на свое поручительство; с сей минуты вы свободны, но потрудитесь прежде подтвердить подписью ваши словесные показания пред судьею нынешним утром, равно и подписать обещание по первому позыву являться в суд.

Я подписал все, чего хотели, и вне себя от радости выскочил из места своего заключения. Я не хотел более оставаться в том трактире, который был виною моего несчастного приключения и в тот же день переехал, или лучше сказать, перенес мою котомку в другой, alla Vittoria, у самых ворот прелестной Villa-reale. Не успел я отдохнуть, как вошедший трактирщик подал мне небольшой сверток.

— От кого? — спросил я.

— Не знаю, — отвечал он мне.

Признаюсь, с большим неудовольствием развернул я этот сверток, — так я был напуган всякою таинственностью.

В свертке находился перстень старинной работы, на котором изображены были какие-то, как мне казалось, египетские фигуры — змея с львиной головою, какой-то сосуд, непонятные знаки и буквы. При перстне находилась записка:

«Вы сами, не зная того, спасли жизнь одной особы. Люди, которые одолжены вами, боялись оскорбить вас денежною платою; но они надеются, что вы не откажетесь принять, в знак памяти, прилагаемый при сем перстень. Он когда-нибудь может вам пригодиться; сверх того, как вы сами можете заметить, этот перстень принадлежит к числу таких редкостей, которыми дорожат ваши соотечественники и которые не приобретаются деньгами. Однако ж до некоторого времени вы хорошо сделаете, если никому не будете его показывать. Мы боимся снова нарушить ваше спокойствие».

Малознакомый с древностями, я едва обратил внимание на чудесный перстень и чуть не выбросил его из окошка, — так одна мысль обо всем, относившемся к моему приключению, обдавала меня холодом; однако по некотором размышлении я положил перстень в свой бритвенный ящичек.

Я провел несколько дней в совершенном уединении, ожидая нового посещения полицейского чиновника, но он не являлся: не знаю, ходатайство ли посланника, интриги ли моих незнакомых друзей-врагов были причиною тому, что меня оставляли в покое? Наконец я ободрился. Журналы, которые приносил мне трактирщик, толковали о новой певице, приводившей в восхищение весь Неаполь. Я решился отправиться в Сан-Карло. Сходя с лестницы трактира, я заметил сошедшего с верхнего этажа низенького старика, в черном фраке, напудренного; во всей его особе было какое-то странное беспокойство; переступая ступени, он весь шевелился; его руки, ноги, нос, глаза, все было в каком-то движении. Смотря на него, можно было подумать, что он чему-то раз в жизни удивился и навек застыл в этом положении. Все эти наблюдения я уже сделал впоследствии, а в ту минуту взглянул на него с тем равнодушным любопытством, с каким смотришь на соседа, ибо по разговору его со встретившимся трактирщиком я догадался, что мой старик живет со мной в одном доме. Не желая заводить новое знакомство, я пошел своей дорогой. Прошед несколько улиц, я оборотился и, к чрезвычайному моему удивлению, увидел, что мой старик следует за мною. Напуганный всем со мною случившимся, я очень был недоволен этим сообществом. Желая избавиться от моего провожатого, я подошел к первому встретившемуся человеку и просил его указать

мне ближайшую дорогу в Сан-Карло. В эту минуту старичок догнал меня и, услышав мой вопрос, сказал с чрезвычайною быстротою: «Вы идете в Сан-Карло? Вы, верно, иностранец? Вы не знаете дороги? Я иду туда же... угодно вам идти вместе со мною?»

Отказаться было невозможно. В продолжение дороги мой старик говорил беспрестанно; закидал меня вопросами, не дожидаясь ответов; успел мне рассказать, что он большой любитель древностей, имеет большое собрание монет, живет со мной в одном доме; что сегодня на театре будет играть певица, которая давно уже не являлась на сцене; что в России должно быть очень холодно; что в нашем трактире стол не всегда хорош; что у синьоры Грандини в голосе две или три ноты фальшивых; что он сам умеет делать прекрасные макароны...

Все это чудным образом мешалось в разговоре г. Амброзия Беневоло — так назывался мой новый знакомец.

Мы вошли в театр и заняли рядом два порожние места. Давали «Анну Болену» Донизетти. Пораженный великолепием спектакля, я не сводил глаз с него. Но вообразите мое удивление, когда в примадонне я узнал ту женщину, которую видел в первую ночь моего приезда в Неаполь. Я не знал, что мне делать: во всяком случае, выйти вон было бы смешно, и могло только возбудить подозрение моих гонителей. Между тем мой товарищ выходил из себя от восхищения; все рулады певицы он повторял всем своим телом, а перед каденцею мало-помалу спускал с себя башмаки, складывал руки, удерживал дыхание, дрожал как в лихорадке и в конце трели в полном беспамятстве вскакивал с места без башмаков, выкрикивал несколько междометий и бил в ладоши изо всей силы. Во время речитатива он успокоивался и снова очень хладнокровно обращался ко мне с вопросами: много ли шуб носят в России? есть ли у меня собрание медалей, как мне нравится frutti di mare? [1] Но едва начиналась новая ария примадонны, снова Беневоло выходил из себя, спускал башмаки и бил в ладоши. Во всякое другое время меня, холодного северного жителя, очень бы забавляло это превращение, тем более что подобные судорожные движения я замечал во многих других местах залы. Но те-

---

[1] устрицы (*итал.*).

перь много развлекало меня мое странное свидание с примадонною; во мне боролись желание спросить об ней что-нибудь у нового знакомого и страх, не будет ли это нарушением моей клятвы; мне показалось даже, что примадонна узнала меня и что часто ее глаза невольно поворачивались в мою сторону. Я почти не смел смотреть на нее: сцена суда с ее гробовою музыкой так живо напомнила мне мои приключения, что я почти задыхался.

Беневоло посматривал на меня исподлобья, однако ж не сказал ни слова. Я не мог наверное узнать, заметил ли он мое смущение, или нет. Несмотря на то, невольное чувство привлекало меня к синьоре Грандини; она была прекрасна на сцене; несколько резкие черты лица ее смягчались отдалением; в голосе было что-то проницательное, что-то трогательное — он не был совершенно чист и ясен, но звучен и мягок, как будто подернут бархатом. Однако ж, признаюсь, я очень был рад, когда занавес опустился.

На другой день, проснувшись, я увидел на своем столе записку, но написанную новою для меня рукою:

«Люди, желающие вам добра, не советуют вам ходить в театр Сан-Карло».

Признаюсь, это меня взорвало: я видел себя привязанным к интриге, которая накладывала цепь на все мои поступки и от которой я никак не мог освободиться. В тот же день я решился оставить Неаполь. Я еще был в размышлении о своих планах, когда у дверей моих услышал, что кто-то трепещущим голосом напевает Cerca un libo, dove sicuro... Дверь отворилась: то был Беневоло. Он тотчас подскочил ко мне с расспросами, — как провел я ночь? как мне понравился театр Сан-Карло? пил ли я шоколад? что я думаю о Донизетти, о Беллини? — и перемешивал свои вопросы восклицаниями stupendo, stupenda!..[1] нельзя было догадаться, к чему они относились, к музыке, к Донизетти, к Беллини или к шоколаду.

Я не успевал отвечать на его вопросы; да Амброзио и не дожидался ответа; он принес мне целую кучу монет, медалей, показывал мне каждую поодиночке, восхищаясь над каждою, и предлагал мне менять их на русские деньги,

[1] изумительно, великолепно (*итал.*).

какие у меня случились. Это было искусное приглашение купить у него некоторые из его редкостей. Чтоб отвязаться от докучливого старика, я променял несколько десятков русских рублевиков, бывших со мною, на его редкости и поспешил отправиться к посланнику за паспортом и моими другими бумагами. В посольстве мне сказали, что прежде нежели мне выдадут паспорт, посольству необходимо будет снестись с неаполитанским правительством: это должно было замедлить мой отъезд на несколько дней.

С тех пор я не выходил более никуда. Беневоло не забывал посещать меня; каждый день приносил он мне попрежнему медали, камеи и забавлял меня, снимая с них слепки с величайшим проворством. Однажды он мне принес позеленевший и почти стертый от времени русский рубль и много и долго говорил мне об его древности, о своих догадках, каким образом за триста лет перед этим мог он быть занесен в Италию. Я прекратил его диссертацию замечанием, что за триста лет не существовало в России круглой монеты. Это замечание его несколько смутило. В другой раз принес он мне несколько мешков разных медалей и просил меня на несколько времени оставить их у меня в комнате, говоря, что он имеет подозрение на некоторых любителей древности, которые хотят украсть у него его сокровища и которые, верно, не пойдут искать их в моей комнате, тем больше что я никуда не выхожу от себя. Я позволил делать что было ему угодно, чтоб только от него отвязаться.

Наконец, к величайшей радости, я получил известие от одного из моих приятелей, служащих при посольстве, что я завтра могу получить мой паспорт. Я не хотел медлить ни минуты, нанял веттурина и принялся собирать мой небольшой гардероб: в этом занятии застал меня Беневоло: «Вы уже собираетесь! Куда вы едете? верно, в Рим? Не забудьте остановиться в Милане в Амвросиевской библиотеке... Там много редкостей... на театре новая певица... в трактире Albergo reale прекрасный стол», — и проч., и проч. Я продолжал мои занятия, отвечая старику одними междометиями. Не знаю как, перебирая бритвенный ящик, я выронил мой таинственный перстень; он покатился по полу; я нагнулся и столкнулся с Беневоло; он было также протянул руку за перстнем, и когда я, не показывая моей редкости, сжал ее между пальцами,

Беневоло побледнел. В жизнь мою не забуду его фигуру в эту минуту; он весь пошел ходенем, локти его приросли к бокам, и между тем он махал обеими руками, подымал то одну ногу, то другую, раскрывал рот, мигал глазами и вытягивал шею.

— Продайте мне этот перстень, — говорил он мне, задыхаясь.

— Нет, не продам, — отвечал я.

— Позвольте мне по крайней мере снять с него слепок.

— И этого не могу.

— Покажите мне по крайней мере его.

— И этого не могу. Приезжайте за ним в Россию, тогда, пожалуй, я вам даже подарю его.

— В Россию, в Россию! — сказал Беневоло, — это невозможно. Да почему вы здесь не можете мне его показать? Разве к вашему перстню привязана какая-нибудь тайна?

— Да! тайна, — отвечал я.

— Хороша тайна! — вскричал Беневоло. — Хотите ли, я расскажу вам, что изображено на вашем перстне: на нем сосуд, змея с львиною головою, мумия с птичьим носом, кругом слова, Уао, не так ли?

— Может быть; но все-таки я вам не могу показать перстня.

— Это странно! — говорил Беневоло, прыгая по комнате, — очень странно! чрезвычайно как странно!.. Так вы не хотите дать мне перстня? — сказал он после некоторого молчания.

— Не могу, — отвечал я с некоторою досадою.

— Решительно не хотите?

— Решительно.

— Нет, скажите правду! Вы в самом деле никак не можете показать мне перстня?

Я отворотился от него молча.

Неотвязчивый старик почел это знаком нерешимости: он забежал ко мне с другой стороны, упер локти в бока и проговорил мне с видом превеличайшего подобострастия:

— Вам, кажется, можно показать мне перстень.

— Вы выводите меня из терпения, — сказал я ему наконец грозным голосом и притопнув ногой.

Беневоло сделал несколько прыжков по комнате, вышел и уже более ко мне не являлся.

Ввечеру, когда я ложился спать, в сладкой надежде выехать наконец из этого несчастного для меня города, трактирщик снова явился ко мне с запискою.

— Что еще? — спросил я с гневом, — кто тебе отдал эту записку?

— Незнакомый мне человек, — отвечал он.

Содержание записки имело все право рассердить меня, в ней были только следующие слова:

«Друзья ваши советуют вам, если вы дорожите своею жизнию, не выезжайте из Неаполя в продолжение некоторого времени».

Я проклял моих друзей от чистого сердца. Сперва я подумал, что это была шутка Беневоло; но почерк руки был одинаковый с тою запискою, которую я получил еще до знакомства с ним; однако ж, несмотря ни на что, я решился во что бы то ни стало выехать из Неаполя и даже из Италии, которая уже мне опротивела.

На другой день я поспешил за моим паспортом, но едва вошел в канцелярию посланника, меня тотчас позвали к нему в кабинет. Посланник принял меня с таким видом, который не на шутку испугал меня.

— К величайшему моему сожалению, — сказал он, — я не могу вам выдать вашего паспорта. Напротив, я должен пригласить вас явиться в здешний суд. Ваше дело запуталось новыми обстоятельствами; оно так странно, что я не могу верить вашему в нем участию, и вместе так важно, что не могу отказать здешнему правительству. Вам, может быть, уже известно, что одна из певиц здешнего театра, Евлалия Грандини пропала без вести. Она была очень любима здешнею публикою, и общее беспокойство об ее участи заставляет полицию принимать строжайшие меры.

— Я так мало выходил из дому, что даже в первый раз слышу об этом.

— Однако ж у вас видели кольцо или перстень, принадлежавший этой актрисе, — сказал мне посланник, устремив на меня проницательный взор.

Я невольно смутился, однако ж, собрав все свои силы, решился открыть посланнику ту часть тайны, в сохранении которой я не был обязан честным словом.

— Действительно, — сказал я, — я получил какой-то перстень, но не знаю от кого.

— С какими-то мистическими знаками и с надписью Уао? — сказал посланник.

— Точно так, — отвечал я.

— Это очень странно; по бумагам я вижу, что этот перстень принадлежал какому-то тайному обществу, которое очень дорожило им и которого члены подвергаются теперь преследованиям правительства.

Я объяснил посланнику, каким образом достался мне этот перстень.

— Действительно, — сказал он мне, — здешнее правительство предполагает какую-то связь между этим обстоятельством и похищением Грандини, как равно и с умерщвлением полицейского офицера. Этого мало, — продолжал посланник — вас обвиняют в связи с каким-то Амброзио Беневоло, подозреваемым в делании фальшивой монеты.

Руки у меня опустились.

— Я уверен, — продолжал посланник, — что вы оправдаетесь от взводимых на вас обвинений, но долг мой заставляет меня выдать вас неаполитанскому правительству. Не пеняйте на меня за это; поставьте самого себя на мое место, — вы бы поступили так же. Я имею все нравственное убеждение в вашей невинности, но юридического, благодаря вашей скромности, никакого.

Я благодарил посланника за его истинно отеческое во мне участие, но с твердостью повторил, что я лучше подвергнусь всем возможным неприятностям, нежели изменю торжественно данному мной честному слову.

Посланник, как я уже сказал, был человек благородный; он совершенно понял меня, обещал употребить все с своей стороны, чтобы вывести меня из моего неприятного положения, и засим... предложил мне снова сообщество жандармского офицера.

Я не буду более вам скучать рассказом о моих переговорах с допрашивавшими меня судьями: это было бы повторение почти тех же обстоятельств, которые вы уже знаете; прибавлю только, что все расспросы нимало не объяснили мне самому моей тайны.

Ясно было одно, что дело хотели кончить ничем: все предложенные мне вопросы были как будто лишь приготовительные, неопределенные, поверхностные, иногда странные до невероятности; меня расспрашивали о всех мелочах моей частной жизни, в котором часу я встаю, что я делаю поутру, что вечером, знаю ли я древние языки;

умею ли рисовать... Из всего этого я, однако же, понял, что Беневоло был на меня доносчиком: но каким образом он сам попал в обвиненные? Между тем прошло более трех недель; каждый день я приготовлялся к чему-нибудь решительному, и наконец, к несказанному моему удовольствию и удивлению, объявили мне, что я свободен. Мне возвратили мои вещи, которые были у меня забраны в продолжение процесса, за исключением перстня; об нем я мало сожалел, и, что всего для меня было усладительней, я получил наконец позволение выехать из Неаполя.

С тех пор я почти год проездил по Италии совершенно спокойно, и наконец, посреди рассеянной жизни путешественника, почти забыл о моем неаполитанском приключении.

Однажды в Венеции, на бале у графини Грациани, я увидел женщину в голубом платье, которая промелькнула мимо меня в другом контрадансе. Лицо ее мне показалось знакомым: я спросил об ее имени у танцевавшей со мной дамы. Эти предосторожности необходимы для путешественника: так много встречаешь лиц, так быстро являются и исчезают они перед глазами, что всегда рискуешь заговорить с незнакомою дамой и пройти мимо той, у которой бывал в доме.

— О, это знаменитая графиня Лукенсини!

— Знаменитая! Почему? — спросил я.

— Это женщина большого характера, — отвечала она. — Берегитесь попасть в ее сети. Она пятнадцати лет умела выйти замуж за своего учителя; между тем обещать свою руку другому молодому человеку; в продолжение шести лет скрывать свой брак; обмануть опекуна; наконец развестись с мужем и выйти за другого и все носить имя своего мужа.

— Но как же? — сказал я моей даме, — разве ее учителем был граф Лукенсини?

— Так точно, — отвечала мне дама. — Граф Лукенсини был сын того Лукенсини, который, как, может быть, вы слышали, погиб на эшафоте; имение его было конфисковано, и сын принужден был давать уроки.

— Нельзя, однако ж, обвинять бедную графиню, — сказала другая дама, вслушавшись в наш разговор, — мать ее была женщина странного нрава, который сделался несноснее от ее беспрестанной болезни; бедная графиня

до самой ее смерти принуждена была жить совершенною затворницею; единственные люди, которых она видела, были ее учители: мудрено ли, что она влюбилась в того из них, который был молод, прекрасен и в тесные сношения учителя с ученицею умел внести все очарования светского человека? Он влюбился в нее, она в него. Но как мать никогда бы не согласилась на брак ее с таким человеком, то что удивительного, что она решилась обвенчаться с ним тайно?

Контраданс кончился; я раскланялся с моей дамой и невольно обратил глаза на графиню, чтоб вспомнить, кого она мне напоминала. Сверх того, взор мужчины всегда невольно останавливается на женщине, имевшей довольно твердости духа, чтоб презреть мнение общества: она возбуждает любопытство, смешанное с каким-то невольным уважением. Ум невольно вспоминает о борьбе, которую должна была претерпеть эта женщина с самой собою и со всем ее окружающим, а сердце воображает те страдания, которые пришлось ей перенести, чтоб избавиться от других, еще жесточайших страданий.

Все эти мысли толпились в голове моей, когда я смотрел на графиню, и мне показалось, что я обратил на себя ее внимание. Действительно, она также стала всматриваться в меня, и когда я проходил мимо ее, она мне сказала: «Signore!..» [1]

Я остановился: голос ее поразил меня.

— Вы, кажется, не узнаете меня? — продолжала она.

Я отступил шаг назад, ибо мне показалось, что передо мною стояла синьора Грандини. Минуты волнения, в которые я ее видел, вместе с прической, — тогда только дамы начали поднимать волосы вверх, — помешала мне узнать ее в первое мгновение.

— Я не знаю, — сказал я, — должен ли я узнавать вас.

— О, будьте спокойны! — отвечала мне графиня с улыбкою. — Те, которые наложили на вас страшную клятву, почти не существуют. Я имею полное право разрешить вас от всех ваших клятв. Если хотите узнать больше, то приезжайте ко мне завтра вечером. Надобно, чтоб вы были награждены за то унизительное положение, в котором вы находились по моей милости. Кстати, —

---

[1] Господин! *(итал.)*

продолжала она, — скажите, пригодился ли вам мой перстень?

— Ваш перстень? с мистическими знаками? Он остался в руках неаполитанского правительства.

— Верно, этот бездельник Беневоло им воспользовался.

— Так вы знали Беневоло?

— Беневоло? — повторила она с улыбкой. — Завтра вам все объяснится.

На другой день, в назначенный час, я поспешил к графине Лукенсини и сначала был очень удивлен, когда швейцар сказал мне, что графиня не принимает; но когда я назвал себя, швейцар немедленно позвонил в колокольчик, и двери отворились предо мной. Я прошел ряд великолепных комнат, роскошно и со вкусом убранных. Графиня ожидала меня в павильоне, находившемся в конце дома, и которого балкон выходил с одной стороны на Canal-grande, а с другой на пустую площадку. Она сидела в легком кисейном платье на диване, окруженном цветущими померанцами, и показала мне место подле себя.

— Вы должны знать, что вы мой избавитель, — сказала она.

— Ваш избавитель? — повторил я.

— Да; без вас я бы, может быть, должна была распрощаться с жизнию. Вы, сами того не зная, развязали узел в моем существовании. Я думаю, уже вам рассказали мою историю прежде. Ее все рассказывают с разными нелепыми прибавлениями. Я не буду оправдывать себя перед вами. Скажу вам только одно: мне нельзя было не выйти замуж за Лукенсини, потому что меня преследовал тот самый Беневоло, которого вы знаете. Пользуясь болезнью моей матери, живя в нашем доме, где он занимал должность сначала учителя, потом майордома, Амброзио не давал мне минуты покоя. Лукенсини был молод и прекрасен. Беневоло был почти всегда таким, как вы его видели. Я предпочла первого. Долго мне рассказывать вам мою историю; на моего тайного мужа пало подозрение, которому причиною были связи его отца. Желая открыть себе какую-нибудь дорогу, он после женитьбы отправился искать счастья в России. На место его явился ко мне новый обожатель: мой дальний родственник Леонардо Амати. Вам уж, верно, рассказывали, что я обещала ему выйти за него замуж. Это правда; но вот как это слу-

чилось. С помощью хитрого своего отца и матушкина духовника он успел до того довести мою матушку физически и нравственно расстроенную, что она при последнем издыхании потребовала от меня, чтоб я вышла за Леонардо. В минуту горести я ей все обещала; матушка скончалась, и в оставленном ею завещании она назначила Венченцо Амати, отца Леонардова, опекуном надо мною и над всем моим огромным имением. После первой горести, произведенной во мне кончиной матушки, Леонардо стал мне напоминать о моем обещании. Я решительно объявила, что уже замужем. Это открытие взбесило Леонардо и отца его, которые надеялись посредством брака навсегда завладеть моим имением; они употребили все возможные средства, чтобы заставить меня расторгнуть брак с Лукенсини. Одаренная от природы характером решительным, я убежала из Венеции, переменила имя, и синьора Грандини явилась на разных театрах Италии, — при шуме рукоплесканий и окруженная толпою обожателей. Большие деньги, которые я получала моим талантом, доставляли мне средства уничтожать все происки Амати для расторжения моего брака. Между тем мой род жизни мне так понравился, что я скоро забыла моего мужа; да и он, кажется, забыл обо мне. Мой опекун после тщетных исканий нашел меня наконец в Неаполе: я тогда еще не достигла до совершеннолетия, и опекун сохранил еще всю власть надо мною; он выхлопотал ложное свидетельство о кончине моего мужа и настоятельно требовал исполнения моего обещания. Я знала, что это неправда, потому что почти в то же время получила письмо от графа, в котором он уведомлял меня, что наконец ему удалось уверить правительство в своей невинности и что он возвращается в Италию. Я притворилась, будто верю моим гонителям, надела на себя черное платье вдовы, позволила обить мою комнату черным сукном — для того только, чтоб выиграть время, потому что уже недолго оставалось до моего совершеннолетия; но хитрый Амати угадал мое притворство и узнал в то же время, что Лукенсини находился на первом пароходе, который должен был приехать в Неаполь. Для Амати это была минута решительная; он видел, что я ускользала от него, но не хотел заставить меня торжествовать без отмщенья; может быть, он надеялся, что по смерти мужа я буду к нему благосклоннее; может быть, также, хотел он испугать нас обоих и дать нам

на выбор смерть или замужество с Леонардом. Я никогда не могла понять хорошо его намерения: может, это было просто внушение его дикого калабрского характера. Вам известно средство, которое он употребил для достижения своей цели. Отдаленный дом, в котором мы жили, подкупленные слуги — все, казалось, должно было им способствовать, но провидение употребило вас средством для уничтожения этого замысла. Когда после нашего с вами свидания он увез вас с собою, я решилась во что бы то ни стало выйти из-под власти моих мучителей. Так как мое имение было главнейшею причиною их преследования, я воспользовалась смущением старого Амати и предложила ему вроде выкупа все мое имение. Он без труда согласился. Недоставало двух дней до моего совершеннолетия, и я подписала передним числом бумагу, в которой, изъявив благодарность Амати за прекрасное управление моим имением, объявляла себя ему должною в значительной сумме денег. Между тем возвратился Леонардо в изодранном платье, весь мокрый и в величайшем волнении. Он согласился на все. Я тогда заметила в нем что-то странное, но еще не могла узнать, что с ним случилось, потому что в ту же минуту оставила их и явилась снова на сцене. Уже впоследствии, когда разнесся слух об убийстве полицейского чиновника, мне пришла в голову мысль, что в этом случае должен был участвовать Леонардо. Действительно, месяц спустя один из слуг его объявил все правительству. Леонардо погиб на эшафоте, отец его умер с отчаяния. Полицейский служитель попал в это приключение по несчастному случаю. В нашей стороне были разные воровства; заметив также в лодке Леонардо что-то подозрительное, полицейский чиновник, увлекаемый ревностью к своему ремеслу, решился скрыться под парусом, чтоб узнать что-нибудь верное. Все это я узнала впоследствии, когда до меня дошли слухи об арестовании Леонардо: не имея чем жить, я снова вступила на театр в Неаполе, под именем Грандини.

Графиня остановилась.

— Я вам рассказала, — продолжала она, — все, что было любопытного для вас в моей истории. Прибавлю вам только то, что мое имение снова возвратилось ко мне, мы свиделись с графом и оба заметили друг в друге такое равнодушие, что без труда решились расстаться.

Он хлопочет теперь в Риме об уничтожении нашего брака.

— Благодарю вас, графиня, но для меня в истории осталось еще лицо непонятное — Беневоло.

— Беневоло! —повторила с важным видом графиня,— на это ничего не могу вам сказать в сию минуту. Если вы хотите что-нибудь узнать об нем, то выйдите из моего дома, пройдите по всем комнатам, сядьте в лодку, возвратитесь сюда этим переулком и войдите ко мне через этот балкон: вам будет спущена лестница.

Я был в нерешимости; но графиня так улыбнулась, с таким видом подала мне руку, что я не мог отказать ей.

Я исполнил в точности все ее приказания; но признаюсь, сердце мое было не совсем на месте, когда я стал взбираться по веревочной лестнице, спущенной мне с балкона. Я застал графиню в том же легком платье; она встретила меня с улыбкою и показала мне дверь небольшого кабинета. Вошедши в него, я увидел все принадлежности мужского ночного туалета и не замедлил ими воспользоваться. Когда я выглянул из двери, графиня захохотала и показала мне место на диване возле себя, позвонила в колокольчик и положила на стул пару пистолетов.

— Что это значит? — спросил я у нее.

— Это необходимо, — сказала мне графиня важным тоном.

Я задумался и невольно осмотрел курки пистолетов.

Дверь отворилась, Беневоло вбежал в комнату.

— Амврозио! — сказала ему графиня, — знаешь ли ты этого молодого человека?

Беневоло затрясся всем телом.

— Ты видишь, Амврозио, я оставила одного мужа, отказалась от другого, вот у меня третий, а все не ты! Бедный Амврозио! Но теперь дело не о том: ты знаешь все, что ты сделал против этого молодого человека; он требует у меня отмщения; твоя последняя минута наступила, — признавайся. Допрашивайте его, граф, — сказала она, обратившись ко мне.

Я не мог смотреть без смеха на Беневоло, но с тем вместе он возбуждал во мне невольное сожаление.

Графиня заметила во мне это чувство и сказала:

— О, как вы добры, граф, вы еще об нем жалеете! Вы не знаете, что он за человек! Этого мало, что он осме-

лился влюбиться в меня, — нет! взбешенный неудачею, он перешел на сторону моих врагов, он помогал Амати, он был от них подослан к вам шпионом, писал к вам записки; он препятствовал мне видеться с вами, ибо Леонардо боялся, чтоб наше свидание не открыло его преступления. Этого мало: когда он узнал, что у вас находится мой перстень, которого он долгое время от меня добивался, он решился взвести на вас нелепый донос в моем похищении, чтоб между судейскими интригами воспользоваться этой редкостию... Ведь вы верно знаете, — он любитель древностей?

— Он, кажется, — заметил я, — больше любитель денег, нежели древностей: он сам был остановлен за делание фальшивой монеты.

— О нет! — сказала графиня, — на это у него и недостало бы духа. Правда, он делал фальшивую монету, только не новую, а древнюю; он занимался самым невинным ремеслом — выдумывал небывалых царей или делал подражания редким медалям и приводил в отчаяние антиквариев.

Амврозио трясся всем телом и только изредка проговаривал:

— Pregiotissima signora!.. Signor conte![1]

Наконец, когда графиня замолчала, он вскричал со слезами на глазах:

— Все это правда, совершенная правда; но вспомните, что я спас жизнь русского графа.

— Да, это правда. Помните лицо, которое выглянуло из-за двери в первое наше свидание: за это, кажется, можно простить его, граф, — как вы думаете?

Мне так был жалок бедный Амврозио, что я стал просить графиню окончить эту шутку.

— Благодари графа и ступай вон, — сказала синьора, — а завтра поутру сочини мне сонет на это приключение.

Беневоло бросился к ней в ноги и выскочил из комнаты.

— Он добрый старик, — продолжала графиня, обратясь ко мне, — то есть пока его держишь в руках. Он до сих пор влюблен в меня без памяти; я сама привыкла к нему, как к постельной собачке. Он беспрестанно ри-

---

[1] Наидостойнейшая синьора! Синьор граф! *(итал.)*

сует мои силуэты, пишет в честь мне стихи и бывает вне себя от восхищения, когда я ему позволю поцеловать мой пальчик. Я хотела, граф, доставить вам это маленькое удовольствие, ибо никогда бы не простила себе, чтоб за меня благородный человек подвергся оскорблению и остался неотмщенным. Если б Леонардо был жив, я бы непременно доставила вам с ним свидание; но это, к сожалению, невозможно. Теперь ваша роль кончилась. Прощайте!

— Как! — сказал я графине, — мне опять идти одеваться? Опять спускаться с балкона в эту темную, дождливую ночь?..





СЕБАСТИЯН БАХ

В одном обществе нам показали человека лет пятидесяти, в черном фраке, сухощавого, грустного, но с огненною, подвижною физиономиею. Он, как нам сказывали, уже лет двадцать занимается престранным делом: собирает коллекции картин, гравюр, музыкальных сочинений; для этой цели не жалеет он ни денег, ни времени; часто предпринимает дальние путешествия для того только, чтоб отыскать какую-нибудь неопределенную черту, случайно брошенную на бумагу живописцем, а не то — листок, исчерченный музыкантом; целые дни проводит он, разбирая свои сокровища то по хронологическому, то по систематическому порядку, то по авторам; но чаще всего тщательно всматривается в эти живописные черты, в эти музыкальные фразы; складывает отрывки вместе, замечает их отличительный характер, их сходство и различие. Цель всех его изысканий — доказать, что под этими чертами, под этими гаммами кроется таинственный язык, доселе почти неизвестный, но общий всем художникам — язык, без знания которого, по его мнению, нельзя понять ни поэзии вообще, ни какого-либо изящного произведения, ни характера какого-либо поэта. Наш исследователь хвалился, что ему удалось найти смысл нескольких выражений этого языка и ими объяснить жизнь многих художников; он не шутя уверял, что такое-то движение мелодии означало грусть поэта, другое — радостное для него обстоятельство жизни; такое-то созвучие говорило о восторге; такая-то кривая линия означала молитву; таким-то колоритом выражался темперамент живописца и проч. Чудак преважно

рассказывал, что он трудится над составлением словаря этих иероглифов, и уже впоследствии при этом пособии издаст исправленные и дополненные биографии разных художников; «ибо, — присовокуплял он с самым настойчивым педантизмом, — эта работа очень многосложна и затруднительна: для совершенного познания *внутреннего* языка искусств необходимо изучить все без исключения произведения художников, а отнюдь не одних знаменитых, потому что, — прибавлял он, — поэзия всех веков и всех народов есть одно и то же гармоническое произведение; всякий художник прибавляет к нему свою черту, свой звук, свое слово; часто мысль, начатая великим поэтом, договаривается самым посредственным; часто темную мысль, зародившуюся в простолюдине, гений выводит в свет немерцающий; чаще поэты, разделенные временем и пространством, отвечают друг другу как отголоски между утесами: развязка «Илиады» хранится в «Комедии» Данте; поэзия Байрона есть лучший комментарий к Шекспиру; тайну Рафаэля ищите в Альберте Дюрере; страсбургская колокольня — пристройка к египетским пирамидам; симфонии Бетховена — второе колено симфоний Моцарта... Все художники трудятся над одним делом, все говорят одним языком: оттого все невольно понимают друг друга; но простолюдин должен учиться этому языку, в поте лица отыскивать его выражения... так делаю я, так и вам советую». Впрочем, наш исследователь надеялся скоро привести свою работу к окончанию. Мы упросили его сообщить нам некоторые из его исторических розысканий, и он без труда согласился на нашу просьбу.

Рассказ его был так же странен, как его занятие; он одушевлялся одним чувством, но привычка соединять в себе разнородные ощущения, привычка перечувствовывать чувства других производила в его речи сброд познаний и мыслей, часто совершенно разнородных; он сердился на то, что ему недостает слов, дабы сделать речь свою нам понятною, и употреблял для объяснения все, что ему ни попадалось: и химию, и иероглифику, и медицину, и математику; от пророческого тона он нисходил к самой пустой полемике, от философских рассуждений к гостиным фразам; везде смесь, пестрота, странность. Но, несмотря на все его недостатки, я жалею, что бумага не может сохранить его сердечного убеждения в истине слов, им сказанных, его драматического участия в судьбе худож-

ников, его особенного искусства от простого предмета восходить постепенно до сильной мысли и до сильного чувства, его грустную насмешку над обыкновенными занятиями обыкновенных людей.

Когда мы все уселись вокруг него, он окинул все собрание насмешливым взором и начал так:

— Я уверен, милостивые государи, что многие из вас слыхали хоть имя Себастияна Баха;[1] даже, может быть, некоторым из вас приносил ваш фортепианный учитель какую-нибудь сарабанду, или жигу, или что-нибудь с таким же варварским названием, доказывал вам, что эта музыка будет очень полезна для выправления ваших пальцев, — и вы играли, играли, проклинали учителя и сочинителя и, верно, спрашивали у самих себя: что за охота была этому немецкому органисту прибирать трудности к трудностям и с насмешкой бросить их в толпу своих потомков, как лук Одиссеев? С тех пор, посреди блестящих, искрометных произведений новой школы, вы забыли и Себастияна Баха, и его однообразные, минорные напевы или одна мысль о них обдает вас холодом, как будто комментарий к поэме, предисловие к роману, вист посреди концерта, московские газеты[2] между иностранными журналами в палевой веленевой обвертке, с розовыми листочками. Между тем вы встречаете художника с пламенным сердцем, с возвышенным умом, который, в уединении кабинета, изучает творения забытого вами Баха, величает его именем вечно юного... сказать ли? — равного не находит ему в святилище звуков.

Вас удивляет это непонятное пристрастие; вы пробегаете мельком произведения бессмертного; и они вам кажутся

---

[1] В то время, когда это писалось, в Москве имя Себастияна Баха было известно лишь весьма немногим музыкантам. Для меня Бах был почти первою учебною музыкальною книгою, которой большую часть я знал наизусть. Ничто тогда так меня не сердило, как наивные отзывы любителей о том, что они и не слыхивали о Бахе. *(Прим. В. Ф. Одоевского.)*

[2] В эту эпоху московские газеты («Московские ведомости») издавались на плохой бумаге, в каком-то старомодном формате и с удивительным во всех отношениях неряшеством. Известен ли читателю характеристический анекдот в ту эпоху, когда «Московские ведомости» увеличили свой формат? Это нововведение весьма не понравилось большей части подписчиков. Один из подписчиков писал из деревни в редакцию: нельзя ли для него одного печатать экземпляры газеты в прежнем формате, обещаясь за то платить вдвое. *(Прим. В. Ф. Одоевского.)*

гробницею какого-то Псамметиха, покрытою иероглифами; между ними и вами ряды веков, разноцветные облака новых произведений: они застилают пред вами таинственный смысл этих символов. Вы спрашиваете портрет Баха, — но искусство, описанное Лафатером, искусство переряжать лица великих людей в карикатуры, впрочем сохраняя все возможное сходство, еще не исчезло между живописцами, — и вместо Баха вам показывают какого-то брюзгливого старика с насмешливою миною, с большим напудренным париком, — с величием директора департамента. Вы принимаетесь за словари, за историю музыки — о! не ищите ничего в биографиях Баха: в них поразит вас одно, что Фридрих Великий, которого поэтическая душа в музыке искала убежища от антипоэтизма своего века и своих собственных мыслей, что насмешливый венценосец преклонял колено пред гармоническим алтарем Себастияна: биографы Баха, как и других поэтов, описывают жизнь художника, как жизнь всякого другого человека; они расскажут вам, когда он родился, у кого учился, на ком женился; они готовы доказать вам, что Данте принадлежал к партии гибеллинов, был гоним гвельфами и оттого написал свою поэму, что Шекспир пристрастился к театру, держа лошадей у подъезда, что Шиллер в пламенных стихах изливал свою душу оттого, что ставил ноги в холодную воду, что Державин был министром юстиции и оттого написал «Вельможу»; для них не существует святая жизнь художника — развитие его творческой силы, эта настоящая его жизнь, которой одни обломки являются в происшествиях ежедневной жизни; а они — они описывают обломки обломков, или... как бы сказать? — какой-то ненужный отсед, оставшийся в химическом кубе, из которого выпарился могучий воздух, приводящий в движение колеса огромной машины. Изуверы! они рисуют золотые кудри поэта и не видят в нем, подобно Гердеру, священного леса друидов, за которым совершаются страшные таинства; на костылях входят они во храм искусства, как древле недужные входили в храм эскулапов, впадают в животный сон, пишут грезы на медных досках, во обман потомкам, и забывают о боге храма.

Материалы для жизни художника одни: его произведения. Будь он музыкант, стихотворец, живописец, — в них найдете его дух, его характер, его физиономию,

в них найдете даже те происшествия, которые ускользнули от метрического пера историков. Трудно выпытать творца из творения, как трудно открыть тайну всесоздателя в глыбах гнейса и кристаллах аксинита гор первородных; но одна вселенная вещает нам о всемогущем, — одни произведения говорят о художнике. Не ищите в его жизни происшествий простолюдина, — их не было; нет минут непоэтических в жизни поэта; все явления бытия освещены для него незаходимым солнцем души его, и она, как Мемнонова статуя, беспрерывно издает гармонические звуки...

Семейство Бахов сделалось известным в Германии около половины XVI столетия. Немецкие писатели, собиравшие материалы о сем семействе, начинают его историю с того времени, когда глава его, Фейт Бах, гонимый за веру, переселился из Пресбурга в Тюрингию. Наши господа историки занимаются очень важными делами, — ну что бы им значило доказать, что Фейт Бах принадлежал к славянскому поколению, подобно Гайдну и Плейелю (в чем почти нет никакого сомнения), и превратить мое нравственное убеждение в историческое? [1] Ведь им бы стоило только написать статью, потом другую, да хорошенько испестрить ссылками, а потом сослаться на эту статью, как на дело решенное: ведь они основывают же первые века русской истории на сборнике монаха, для препровождения времени списывавшего гофмановские повести византийских летописцев! И кто до Нибура сомневался в существовании Ромула и Нумы-Помпилия? давно ли троянская война выпущена из введений к историям всех народов?

А это, право, стоит работы. Здесь идет дело не о спорах удельных князьков за дюжину деревянных избушек, не о куньих мордках, но о многочисленном семействе, в продолжение нескольких поколений сохранившем поэтическое чувство — явление беспримерное в летописях изящных искусств и физиологии. Долго ли нам, вместе с компанией промышленников, поселившихся в Северной

---

[1] Довольно любопытно, что эта мысль, наведенная просто характером некоторых мелодий Баха, впоследствии нашла себе действительно некоторое историческое подтверждение. Бах есть не имя, а — прозвище. *(Прим. В. Ф. Одоевского.)*

Америке, и с европейскими китайцами, которых обыкновенно называют англичанами, почитать поэзию за излишнюю стихию в политическом обществе и внутреннюю сущность жизни взвешивать на деньги, доказывать, что она ничего не весит, и потом простосердечно удивляться бедствиям общества и бедствиям человека?

В самом деле, чувство религиозное и любовь к гармонии свыше осенили семью Бахов. В безмятежной пристани Фейт посвящал простосердечные дни своим детям и музыке; в течение времени дети его разошлись по разным краям Германии; каждый из них завел свое семейство, каждый вел жизнь тихую и простую, подобно отцу своему, и каждый в храме господнем возвышал души христиан духовною музыкою; но в назначенный день в году они все соединялись, как разрозненные звуки одного и того же созвучия, посвящали целый день музыке и снова расходились к своим прежним занятиям.

В одном из этих семейств родился Себастиян; вскоре потом умерли отец и мать его: природа сотворила их, чтоб произвести великого мужа, и потом уничтожила, как предметы, более ненужные. Себастиян остался на руках Иоганна Христофора, своего старшего брата.

Иоганн Христофор Бах был человек важный в своем околотке. Он никогда не забывал, что отец его, Амвросий Бах, был гофундратсмузикус в Эйзенахе, а дядя его, также Иоганн Христофор Бах — гофундштатсмузикус в Арнштадте и что он сам имеет честь быть органистом ордруфской соборной церкви [1]. Он уважал свое искусство, как почтенную, старую женщину, и был с ним вежлив, осторожен и почтителен до чрезвычайности. Бюффон перенял у Христофора Баха привычку приниматься за работу не иначе, как во всем параде. Действительно, Христофор садился за клавихорд или за органы не иначе, как в чулках и башмаках, и в пуклях с кошельком, величественно возлегавшим по плисовому оранжевому кафтану, между двумя стразовыми блестящими пуговицами; никогда ни *септима*, ни *нона*, без приготовления, не вырывались из-под его пальцев; не только в церкви, но даже

---

[1] Себ[астиян] Бах род[ился] в Эйзенахе 1685 марта 21, ум[ер] 1750 июля 30 (по Real — Enziclopädie — июля 28). Христофор Бах был его Zwillingsbruder. Старший брат Баха назывался Johann Cristoph и был органистом в Ордруфе. Reissman — Von Bach zu Wagner — 1861. Berlin, p. 4. *(Прим. В. Ф. Одоевского.)*

дома, даже из любопытства Христофор не позволял себе этого в его молодости бывшего нововведения, которое он называл неуважением к искусству. Из музыкальных теоретиков он знал лишь Гаффория «Opus Musicae Disciplinae»[1] и держался этой дисциплины, как воинской; сорок лет он прожил органистом одной и той же церкви; сорок лет каждое воскресенье играл почти один и тот же хораль, сорок лет одну и ту же к нему прелюдию, и только по большим праздникам присоединял к ней в некоторых местах один форшлаг и два триллера, и тогда слушатели говорили между собою: «О! сегодня наш Бах разгорячился!» Но зато он был известен за чрезвычайного искусника составлять те музыкальные загадки, которые, по тогдашнему обычаю, задавали музыканты друг другу: никто труднее Христофора не выдумывал хода канону;[2] никто не приискивал ему замысловатее эпиграфа. Неподвижный даже в выборе разговора, он в веселый час обыкновенно говорил только о двух предметах: первое, о заданном им каноне с эпиграфом: sit trium series una[3] в котором голоса должны были идти *блошиным* шагом и которого не могли разрешить все эйзенахские контрапунктисты, и второе, о черной обедне (messa nigra), сочинении его современника Керля, так названной потому, что в ней были употреблены не одни белые ноты, но и чет-

---

[1] Gaforus oder gafurius, как написано в Valthern Musik — Lexicon, Leipzig — 1732, p. 270. Самый этот лексикон уже библиографическая редкость. На приложенной к лексикону гравюре изображен органист, играющий на органе, и за ним капельмейстер и оркестр; где замечательно, что смычки скрипок, или точнее — виол, не прямые, но согнутые, почти как контрабасные; еще любопытны весьма длинные трубы, ныне уже не существующие. На стене висит валторна, теорба и нечто похожее на рожки. Все музыканты, разумеется, в огромных париках, с косами, в чулках и башмаках.

Мне удалось видеть лишь два сочинения Гафурия в дивной библиотеке Сергея Александровича Соболевского, оба — суть величайшая библиографическая редкость и высшей важности для истории музыки; одно Practica musica Franchini Gafori Londensis. Milano, 1496 — in 4° и другое: Franchini Gafori... de Harmonia musicorum instrumentorum opus. Milano, 1518 in 4°. *(Прим. В. Ф. Одоевского.)*

[2] Знающие музыку догадаются, что здесь дело идет о том, что немцы называют Räthsel-Canon; для не знающих музыки тщетно хотел бы я объяснить значение этого слова. *(Прим. В. Ф. Одоевского.)*

[3] Да сольются три воедино *(лат.)*. Читателям Веберовой «Цецилии» известно, что подобный канон был задан и музыкантам XIX столетия. *(Прим. В. Ф. Одоевского.)*

верти, что тогда почиталось удивительною смелостью. Христофор Бах удивлялся ему, но называл вредным нововведением, которое некогда должно будет вконец разорить музыкальное искусство. Следуя сим-то правилам, Христофор Бах занимался музыкальным воспитанием своего меньшого брата Себастияна; он любил его как сына и потому не давал ему поблажки. Он написал на нотном листочке прелюдию и заставил Себастияна играть ее по нескольку часов в день, не показывая ему никакой другой музыки; а по истечении двух лет перевернул нотный листок вверх ногами и заставил Себастияна в этом новом виде разыгрывать ту же прелюдию, и также в продолжение двух лет; а чтоб Себастиян не вздумал портить своего вкуса какой-нибудь фантазией, он никогда не забывал запирать своего клавихорда, выходя из дома. По той же причине тщательно скрывал он от Себастияна все произведения новейших музыкантов, хотя сам уже не совсем следовал правилам Гаффория; но дабы наиболее утвердить Себастияна в началах чистой гармонии, не давал ему читать никакой другой книги; часто свои объяснения на нее перерывал сильными выходками против итальянцев; в доказательство показывал на приведенную Гафорием в пример Litaniae mortuorum discordantis [1] — музыку, всю составленную из диссонансов, и старался вселить в юную душу Себастияна ужас к такому беззаконию. Часто слыхали, как Христофор хвалился, что, следуя своей системе, он через тридцать лет сделает своего меньшого брата первым органистом в Германии.

Себастиян почитал Христофора как отца и, по древнему обычаю, беспрекословно во всем ему повиновался; ему и в мысль не приходило сомневаться в братнем благоразумии; он играл, играл, учил, учил, и прямо, и вверх ногами, четырехлетнюю прелюдию своего наставника; но наконец природа взяла свое: Себастиян заметил у Христофора книгу, в которую последний вписывал различные жиги, сарабанды, мадригалы знаменитых тогда Фроберг[ер]а, Фишера, Пахельбеля, Букстегуда; в ней также находилась и славная Керлева черная обедня, о которой Христофор не мог говорить равнодушно. Часто Себастиян заслушивался, когда брат его медленно, задумываясь на каждой ноте, принимался разыгрывать эти заветные

[1] Душераздирающие заупокойные службы (*лат.*).

произведения. Однажды он не утерпел и робко, сквозь зубы, попросил Христофора позволить ему испытать свои силы над этими иероглифами.

Христофору показалось такое требование непростительною в молодом человеке самонадеянностию; он с презрением улыбнулся, прикрикнул, притопнул и поставил книгу на прежнее место.

Себастиян был в отчаянии; и днем и ночью недоконченные фразы запрещенной музыки звенели в ушах его; их докончить, разгадать смысл их гармонических соединений сделалось в нем страстию, болезнию. Однажды ночью, мучимый бессонницею, юный Себастиян напевал потихоньку, стараясь подражать звукам глухого клавихорда, некоторые фразы заветной книги, оставшиеся у него в памяти, но многого он не понимал и многого не помнил. Наконец, выбившись из сил, Себастиян решился на дело страшное: он поднялся потихоньку с постели на цыпочки и, пользуясь светлым лунным сиянием, подошел к шкапу, засунул ручонку в его решетчатые дверцы, выдернул таинственную тетрадь, раскрыл ее... Кто опишет восторг его? мертвые ноты зазвучали пред ним; то, чего тщетно он отыскивал в неопределенных представлениях памяти,— то ясно выговаривалось ими. Целую ночь провел он в этом занятии, с жадностью перевертывая листы, напевая, ударяя пальцами по столу, как бы по клавишам, беспрестанно увлекаясь юным, пламенным порывом и беспрестанно пугаясь каждого своего несколько громкого звука, от которого мог проснуться строгий Христофор. Поутру Себастиян положил книгу на прежнее место, дав себе слово еще раз повторить свое наслаждение. Едва он мог дождаться ночи, и едва она наступила, едва Христофор выкурил и поколотил о стол свою фарфоровую трубку, как Себастиян опять за работу; луна светит, листы перевертываются, пальцы стучат по деревянной доске, трепещущий голос напевает величественные тоны, приготовленные для органа во всем его бесконечном великолепии... Вдруг у Себастияна рождается мысль сделать это наслаждение еще более сподручным: он достает листы нотной бумаги и, пользуясь слабым светом луны, принимается списывать заветную книгу; ничто его не останавливает,—не рябит в молодых глазах, сон не клонит молодой головы, лишь сердце его бьется и душа рвется за звуками... О господа, этот восторг был не тот восторг, который нахо-

дит на нас к концу обеда и проходит с пищеварением, и не тот, который называют наши поэты мимолетным: восторг Себастияна длился шесть месяцев, ибо шесть месяцев употребил он на свою работу, — и во все это время, каждую ночь, как пламенная дева, приходило к нему знакомое наслаждение: оно не вспыхивало и не гасло, оно тлело тихо, ровным, но сильным огнем, как тлеет металл, очищаясь в плавильном горниле. Вдохновение Себастияна в это время, как и во все время земного бытия его, было вдохновение, возведенное в степень терпения. Уже работа, изнурившая его силы, испортившая на всю жизнь его зрение, приходила к окончанию, как однажды, когда днем Себастиян хотел полюбоваться на свое сокровище, Христофор вошел в комнату; едва взглянул он на книгу, как угадал хитрость Себастияна, и, несмотря ни на просьбы, ни на горькие его слезы, жестокосердый с хладнокровием бросил в печь долгий и тяжкий труд бедного мальчика. Удивляйтесь, господа, после этого вашему мифологическому Бруту: я здесь рассказываю вам не мертвый вымысел, а живую действительность, которая выше вымысла. Христофор нежно любил своего брата, понимал, как тяжко огорчит он его гениальную душу, отняв у него плод долгой и тяжкой работы, видел его слезы, слышал его стоны, — и все это весело принес в жертву своей системе, своим правилам, своему образу мыслей. Не выше ли он Брута, господа? или по крайней мере не равен ли этот подвиг с знаменитейшими подвигами языческой добродетели?

Но Себастиян не имел нашего высокого понятия об общественных добродетелях, не понял всего величия Христофорова поступка: комната завертелась вокруг него, он готов был вслед за своею работою отправить и экземпляр этого проклятого Гаффория, который был всему виною, — а я должен предуведомить гг. библиоманов, что этот экземпляр, подвергавшийся столь явной опасности, был ни больше ни меньше, как напечатанный в Неаполе per Franciscum de Dino, anno Domini 1480 in 4⁰, то есть editio princeps[1] и что, может быть, это был тот самый едва ли не единственный экземпляр, который сохранился до нашего времени. Но бог библиомании, неизвестный древним, спас драгоценное издание и обратил

[1] Францеском де Дино, в лето господа 1480, в 4°, то есть первое издание (*лат.*).

Немезиду на голову Христофора, который вскоре после сего происшествия умер, как мы увидим ниже. Это также нечто вроде истории Брутов, и я уверен, что оно попадет в какую-нибудь хрестоматию в число поучительных исторических примеров.

Незадолго перед кончиною Христофора настал день, в который Себастиян должен был явиться на так называемую в лютеранской церкви конфирмацию. Христофор Бах пожелал, чтоб это важное происшествие в жизни протестанта случилось при могиле общего отца их, дабы она была, так сказать, свидетелем, что старший брат вполне исполнил родительскую обязанность. Для сего в первый раз завили букли Себастияну, напудрили его, приделали кошелек, сшили ему французский полосатый кафтан из старого бабушкина робронда и повезли в Эйзенах.

Здесь в первый раз Себастиян услышал звуки органа. Когда полное, потрясающее сердце созвучие, как дуновение бури, слетело с готических сводов, Себастиян позабыл все его окружающее; это созвучие, казалось, оглушило его душу; он не видал ничего — ни великолепного храма, ни рядом с ним стоявших юных исповедниц, почти не понимал слов пастора, отвечал, не принимая никакого участия в словах своих; все нервы его, казалось, наполнились этим воздушным звуком, тело его невольно отделялось от земли... он не мог даже молиться. Христофор сердился и не мог понять, отчего прилежный, смиренный, кроткий, даже робкий Себастиян, столь твердо выучивший катехизис в Ордруфе, хуже всех и как будто с досадою отвечал пастору в Эйзенахе, отчего Себастиян замарал свой кафтан об стену, оставил на башмаке пряжку незастегнутою, был рассеян, невежлив, толкал своих соседей, не уступал места старикам и не умел никому выговорить одну из тех длинных кудрявых фраз, которыми немцы в то время измеряли степень своего уважения. В понятиях Христофора музыка соединялась со всеми семейными и общественными обязанностями: фальшивая квинта и невежливое слово были для него совершенно одно и то же, и он был твердо уверен, что человек, не наблюдающий всеми принятых обыкновений, невежливый, неопрятно одетый, никогда не может быть хорошим музыкантом и наоборот, — и в добром Христофоре зародилось грустное сомнение: неужели он ошибся в своей системе или, лучше сказать, в своем брате, и из Себастияна не выйдет ничего путного?

Это сомнение обратилось в уверенность, когда после обедни он повел Себастияна к Банделеру, славному органному мастеру того времени и родственнику семейства Бахов. После обеда веселый Банделер, по старинному обычаю, предложил собеседникам спеть так называемый Quodlibet [1] — род музыки, бывшей тогда в большом употреблении; в ней все участвовавшие пели народные песни, все вместе, но каждый свою, и за величайшее искусство почиталось вести свой голос так, чтоб он, несмотря на разноголосицу, составлял с другими голосами чистую гармонию. Бедный Себастиян попадал беспрестанно в фальшивые квинты, и не мудрено: он засматривался, засматривался, увы! не на кроткую и прекрасную Энхен, дочь Бенделера, которой живой портрет можете видеть в Эрмитаже, в изображении молодой девушки, нарисованной Лукою Кранахом, — Себастиян засматривался на огромные деревянные и свинцовые трубы, клавиши, педали и другие принадлежности недоконченного органа, находившиеся в столовой комнате; его юный ум, пораженный видом этого хаоса, трудился над разрешением задачи: каким образом столь низкие предметы порождают величественную гармонию? Христофор был в отчаянии.

После обеда старики развеселились, разговорились. Христофор Бах уже выкурил десятую трубку, уже в десятый раз рассказывал анекдот про свой канон и про арнштадтских органистов, и уже в десятый раз все присутствующие принимались смеяться от чистого сердца, — когда заметили, что Себастиян исчез. Общее смятение. Туда, сюда — нет Себастияна; Христофор в первую минуту подумал, что Себастиян, уставший от дневных хлопот, захотел ранее лечь в постелю; но он ошибся: Себастиян не возвращался. Христофор, не нашедши его дома, рассердился, огорчился, выкурил трубку и заснул в обыкновенное время.

И не мудрено, что не отыскали Себастияна. Никому не могло прийти в голову, что он в то время по узким эйзенахским улицам пробирался к соборной церкви. Мысль — рассмотреть, откуда и как происходят те волшебные звуки, которые поразили его душу еще поутру, во время обедни, — зародилась в голове Себастияна, и он положил: во что бы то ни стало доставить себе это наслаждение.

---

[1] Всякая всячина (*лат.*).

Долго искал он входа в церковь. Главные врата были заперты; уже Себастиян готов был забраться по наружной стене в открытое в двух саженях от земли окошко, не боясь ни сломать головы, ни навлечь на себя подозрения в святотатстве, когда вдруг, к великой радости, он увидел низенькую, некрепко притворенную дверь; он толкнул — дверь отворилась; маленькая круглая лестница представилась глазам его; дрожа от страха и радости, он быстро побежал по ней, шагая через несколько ступеней, и наконец очутился в каком-то узком месте... перед ним ряды колонн, разной величины мехи, готические украшения. Луна, и теперь покровительствовавшая ему, мелькнула в разноцветные стекла полукруглых окошек, и Себастиян едва не вскрикнул от восхищения, когда увидел, что находится на том месте, где поутру видел органиста; смотрит — перед ним и клавиши, как будто манят его изведать его юные силы; он бросается, сильно ударяет по ним, ждет, как полногласный звук грянет о своды церкви, — но орган, как будто стон гневного мужа, раздался, испустил нестройное созвучие по храму и умолкнул. Тщетно Себастиян брал тот и другой аккорд, тщетно трогал то одну, то другую клавиатуру, тщетно выдвигал и вдвигал находившиеся вблизи рукоятки, — орган молчал, и только глухой костяной стук от клавишей, приводивших в движение клапаны труб, как будто насмехался над усилиями юноши. Холод пробежал по жилам Себастияна, он помыслил, что бог наказывает его за святотатство и что органу суждено навсегда молчать под его рукою; эта мысль привела его почти в беспамятство; но наконец он вспомнил виденные им мехи и с улыбкою догадался, что без их движения орган играть не может, что первый звук, им слышанный, происходил от небольшого количества воздуха, оставшегося в каком-либо воздухопроводе; он подосадовал на свое невежество и бросился к мехам; сильною рукою он приводил их в движение, и потом опрометью бегал к клавиатуре, чтобы воспользоваться тем количеством воздуха, которое не успевало вылетать из меха, пока он добегал до клавиатуры; но тщетно, — не вполне потрясенные трубы издавали лишь нестройные звуки, и Себастиян обессилел от долгого движения. Чтоб не потерять напрасно плодов своего ночного путешествия, он вознамерился по крайней мере осмотреть это чудное для него произведение искусства. По узкой лестнице, едва приставленной к верхнему этажу органа, он пробрался в его

внутренность. С изумлением смотрел он на все его окружавшее: здесь огромные четвероугольные трубы, как будто остатки от древнего греческого здания, тянулись стеною одна над другой, а вокруг их ряды готических башен возвышали свои остроконечные металлические колонны; с любопытством рассматривал он воздухопроводы, которые, как жилы огромного организма, соединяли трубы с несметными клапанами клавишей, чудно устроенную машину, не издающую никакого особенного звука, но громкое сотрясение воздуха, соединяющееся со всеми звуками, которому никакой инструмент подражать не может...

Вдруг он смотрит: четвероугольные столбы подымаются с мест своих, соединяются с готическими колоннами, становятся ряд за рядом, еще... еще — и взорам Себастияна явилось бесконечное, дивное здание, которого наяву описать не может бедный язык человеческий. Здесь таинство зодчества соединялось с таинствами гармонии; над обширным, убегающим во все стороны от взора помостом полные созвучия пересекались в образе легких сводов и опирались на бесчисленные ритмические колонны; от тысячи курильниц восходил благоухающий дым и всю внутренность храма наполнял радужным сиянием... Ангелы мелодии носились на легких облаках его и исчезали в таинственном лобзании; в стройных геометрических линиях воздымались сочетания музыкальных орудий; над святилищем восходили хоры человеческих голосов: разноцветные завесы противозвучий свивались и развивались пред ним, и хроматическая гамма игривым барельефом струилась по карнизу... Все здесь жило гармоническою жизнию, звучало каждое радужное движение, благоухал каждый звук, — и невидимый голос внятно произносил таинственные слова религии и искусства...

Долго длилось сие видение. Пораженный пламенным благоговением, Себастиян упал ниц на землю, и мгновенно звуки усилились, загремели, земля затряслась под ним, и Себастиян проснулся. Величественные звуки еще продолжались, с ними сливается говор голосов... Себастиян осматривается: дневной свет поражает глаза, — он видит себя во внутренности органа, где вчера он заснул, обессиленный своими трудами.

Себастиян никак не мог уверить своего брата, что провел ночь в церкви, играя на органе; невольное движение души, руководившее Себастияна в сем случае, было непо-

нятно Христофору. Напрасно говорил ему Себастиян о непостижимом чувстве, которое увлекло его, о своем нетерпении, о своем восторге. Христофор отвечал, что ему самому это все известно, что действительно восторг должен существовать в музыканте, как о том пишет и Гаффорий, но что для восторга должно выбирать пристойное время; он доказывал убедительными доводами и примерами, что всякий восторг, всякая страсть должна основываться на правилах благоразумия и пристойного поведения, точно так же как всякая музыкальная идея на правилах контрапункта, а не на нарушении всех правил, приличий и обычаев; что увлекаться каким бы то ни было чувством есть дело человека безнравственного и неблаговоспитанного; засим непосредственно он с новым жаром начинал упрекать Себастияна, напоминая ему, что ни отцу, ни деду его, ни прадеду никогда не случалось не ночевать дома, и в заключении приписывал все бывшее с Себастияном выдумке молодого человека, который хочет ею прикрыть какие-нибудь непозволительные шалости.

Это происшествие утвердило Христофора в мысли, что Себастиян — человек погибший, и столько огорчило его, что причинило ему болезнь, от которой он вскорости переселился в вечную жизнь. Себастиян ужаснулся, не нашедши у себя в сердце полного сожаления о потере своего воспитателя.

Себастиян не возвращался более в Ордруф, но, оставшись в Эйзенахе, посвятил жизнь свою развитию своего музыкального дара[1]. С благоговением он выслушивал уроки разных славных органистов, находившихся в этом городе, но ни один из них не удовлетворял его неумолимой любознательности. Тщетно выспрашивал он у своих учителей тайны гармонии; тщетно спрашивал их, каким образом наше ухо понимает соединения звуков? отчего чувства слуха нельзя поверить никаким другим физическим чувством? отчего такое соединение одних и тех же звуков

[1] В одну из моих заграничных поездок я нарочно остановился в Эйзенахе и, разумеется, прежде всего спросил: «Где дом Себастияна Баха?» Трактирный лакей долго не возвращался, но наконец пришел ко мне с известием, что господина Баха в Эйзенахе уже нет. «Где же он?» — спросил я. «Говорят, что г. Бах умер», — отвечал аккуратный лакей. *(Прим. В. Ф. Одоевского.)*

приводит в восторг, а другое раздирает слух? Учители отвечали ему условными искусственными правилами, но эти правила не удовлетворяли ума его; то чувство о музыке, которое осталось в его душе после таинственного его видения, было ему понятнее, но словами он сам не мог себе дать в нем отчета.

Воспоминание об этом видении не оставляло Себастияна ни на минуту; он не мог бы вполне даже рассказать его, но впечатление, произведенное этим чувством, жило и мешалось со всеми его мыслями и чувствами и накидывало на них как бы радужное покрывало. Когда он рассказывал о сем Банделеру, которого не переставал посещать после смерти Христофора, старик смеялся и советовал ему не думать о грезах, а употреблять свое время на изучение органного мастерства, уверяя, что оно может доставить ему безбедное на всю жизнь пропитание.

Себастиян в простоте сердца почти верил словам Банделера и негодовал на себя, зачем сновидение так часто и против его воли приходит к нему в голову.

В самом деле, Себастиян в скором времени переселился к Банделеру и со всем возможным рвением принялся учиться его ремеслу, а потом и помогать ему. С величайшим рачением он обтачивал клавиши, вымеривал трубы, приделывал поршни, выгибал проволоку, обклеивал клапаны; но часто работа выпадала у него из рук, и он с горестию помышлял о неизмеримом расстоянии, разделявшем чувство, возбужденное в нем таинственным его видением, от ремесла, на которое он был осужден; смех работников, их пошлые шутки, визг настраиваемых органов выводили его из задумчивости, и он, упрекая себя в своем ребяческом мечтательстве, снова принимался за работу. Банделер не замечал таких горьких минут души Себастияновой; он видел только его прилежание, и в голове старика вертелись другие мысли: он часто ласкал Себастияна при своей Энхен или ласкал свою Энхен при Себастияне; часто заводил он речь об ее искусстве вести расход и заниматься другим домашним хозяйством, потом о ее набожности, а иногда и о миловидности. Энхен краснела, умильно посматривала на Себастияна, и с некоторого времени стали замечать в доме, что она с большим рачением начала крахмалить и выглаживать свои манжеты и еще с большим прилежанием и гораздо больше времени, нежели прежде, проводить на кухне и за домашними счетами.

Однажды Банделер объявил своим домашним, что у него будет к обеду старый его товарищ, недавно приехавший в Эйзенах, люнебургский органный мастер, Иоганн Албрехт. «Я его до сих пор люблю, — говорил Банделер,— он человек добрый и тихий, истинный христианин, и мог бы даже быть славным органным мастером; но человек странный; за все хватается: мало ему органов, нет! он хочет делать и органы, и клавихорды, и скрипки, и теорбы; и над всем этим уж мудрит, мудрит — и что же из этого выходит? Слушайте, молодые люди! Закажут ему орган — он возьмет и, нечего сказать, работает рачительно — не месяц, не два, а год и больше, — да не утерпит, ввернет в него какую-нибудь новую шутку, к которой не привыкли наши органисты; орган у него и останется на руках; рад, рад, что продаст его за полцены. Скрипку ли станет делать... Вот сосед наш Клоц — он нашел секрет: возьмет скрипку старого мастера Штейнера, снимет с нее мерку, вырежет доску точь-в-точь, по ней и дужку подгонит, и подставку поставит, и колки ввернет, и выйдет у него из рук не скрипка, а чудо; оттого у него скрипки нарасхват берут не только что в нашей благословенной Германии, но и во Франции и в Италии — и вот посмотрите, наш сосед какой себе домик выстроил. Старик же Албрехт? — станет он мерку снимать... все вычисляет да вымеривает, ищет в скрипке какой-то математической пропорции: то снимет с нее четвертую струну, то опять навяжет, то выгнет деку, то выпрямит, то сделает ее вздутою, то плоскою — и уж хлопочет, хлопочет; а что выходит? Поверите ли, вот уж двадцать лет, как ему не удалось сделать ни одной порядочной скрипки. Между тем время идет, а торговля его никак не подвигается: все он как будто в первый раз заводит мастерскую... Не берите с него примера, молодые люди; худо бывает, когда у человека ум за разум зайдет. Новизна и мудрование в нашем деле, как и во всяком другом, никуда не годятся. Наши отцы, право, не глупые были люди; они все хорошее придумали, а нам уж ничего выдумывать не оставили; дай бог и до них-то добраться!»

При этих словах вошел Иоганн Албрехт [1].

---

[1] В летописях музыки известны три Иоганна Албрехта, явившиеся несколько позже; неизвестно, о котором из них говорит повествователь; впрочем, кажется, у него своя хронология. Мы предоставляем самому читателю поверить ее как следует. *(Прим. В. Ф. Одоевского.)*

— Кстати, — сказал Банделер, обнимая его, — кстати пришел, мой добрый Иоганн. Я сейчас только бранил тебя и советовал моим молодым людям не подражать тебе.

— Дурно сделал, любезный Карл! — отвечал Албрехт, — потому что мне в них будет большая нужда. Я приехал просить у тебя помощников для новой и трудной работы...

— Ну, уж, верно, еще какая-нибудь выдумка! — вскричал Банделер с хохотом.

— Да! выдумка, и которая, подивись, удалась мне...

— Как все твои скрипки...

— Нечто поважнее скрипок; дело идет о совершенно новом регистре[1] в органе.

— Так! я уже знал это. Нельзя ли сообщить? Поучимся у тебя хоть раз в жизни...

— Ты знаешь, я не люблю говорить на ветер. Вот, за обедом, на свободе, потолкуем о моем новом регистре.

— Посмотрим, посмотрим.

К обеду собралось несколько человек эйзенахских органистов и музыкантов; к ним, по древнему немецкому обычаю, присоединились все ученики Банделера, так что за столом было довольно многочисленное собрание.

Албрехту напомнили о его обещании.

— Вы знаете, мои друзья, — сказал он, — что я уже давно стараюсь проникнуть в таинства гармонии и для этого беспрестанно занимаюсь разными опытами.

— Знаем, знаем, — сказал Банделер, — к сожалению, знаем.

— Как бы то ни было, я почитаю такое занятие необходимым для нашего мастерства...

— В этом-то и беда твоя...

— Дослушай меня терпеливо!

Недавно, занимаясь Пифагоровыми опытами над монохордом, я сильно рванул толстую, длинную струну, крепко натянутую, и — вообразите себе мое удивление: я заметил, что к звуку, ею изданному, присоединялись другие тоны. Я повторил несколько раз свой опыт — и наконец явственно удостоверился, что эти тоны были: квинта и тер-

---

[1] Орган, как известно, составлен как бы из нескольких оркестров или масс различных инструментов. Деревянные трубы составляют одну массу; металлические другую; каждая из них имеет многие подразделения. Сии подразделения имеют каждое свое наименование: Vox humana, Quintadena и проч. т. п. Сии-то подразделения называются *регистрами*. (*Прим. В. Ф. Одоевского.*)

ция; это наблюдение озарило мой ум ярким светом: итак, подумал я, все в мире приводится к единству — так и должно быть! Во всяком звуке мы слышим целый аккорд. Мелодия есть ряд аккордов; каждый звук есть не иное что, как полная гармония. Я начал над этим думать; думал, думал — наконец решился сделать к органу новый регистр, в котором каждый клавиш открывает несколько трубок, настроенных в полный аккорд, — и этот регистр я назвал мистерией: [1] ибо действительно в нем скрывается важное таинство.

Все старики захохотали, а молодые на ухо стали перешептываться друг с другом. Банделер не утерпел, вскочил с места, открыл клавихорд.

— Послушайте, господа, — вскричал он, — какое изобретение нам предлагает наш добрый Албрехт, — и заиграл какую-то комическую народную песню фальшивыми квинтами. Общий смех удвоился; один Себастиян не участвовал в нем, но, вперив глаза на Албрехта, с нетерпением ожидал ответа.

— Смейтесь как хотите, господа, — но я принужден вам сказать, что мой новый регистр придал такую силу и величие органу, каких у него до сих пор не было.

— Это уж слишком! — проговорил Банделер и, подав знак другим к молчанию, во весь обед не говорил более ни слова об этом предмете.

Когда обед кончился, Банделер отвел Албрехта в сторону от молодых людей и сказал:

— Послушай, мой милый и любезный Иоганн! Не сердись на меня, старого своего сотоварища и соученика; я не хотел тебе говорить при молодых людях; но теперь, наедине, как старый твой друг, говорю тебе: войди в себя, не стыди своих седых волос — неужели ты в самом деле хочешь свой нелепый регистр приделать к органу?..

— Как приделать! — вскричал Албрехт громко, — да это уже сделано, и повторяю тебе, ни один доселе существовавший орган не может сравниться с моим...

— Послушай меня, Иоганн! Ты знаешь, я лет пятьдесят уже занимаюсь органным мастерством; лет тридцать живу мастером; вот сосед Гартманн тоже; наши отцы, деды наши делали органы, — как же ты хочешь нас уверить

---

[1] Это слово в нынешних органах превратилось в прозаическое выражение: Mixturen. *(Прим. В. Ф. Одоевского.)*

в таком деле, которое противно первым основаниям нашего мастерства?..

— И, однако же, не противно природе!

— Да помилуй; тут не только фальшивые квинты, но совершенная нескладица.

— И между тем эти фальшивые квинты в полном органе составляют величественную гармонию.

— Да фальшивые квинты...

— Неужели вы думаете, — прервал его Албрехт, — вы, господа, которые в продолжение пятидесяти лет обтачиваете трубы точно так же, как отцы и деды ваши обтачивали, — неужели вы думаете, что это занятие дало вам возможность постигнуть все таинства гармонии? Этих таинств не откроете молотком и пилою: они далеко, далеко в душе человека, как в закрытом сосуде; бог выводит их в мир, они принимают тело и образ не по воле человека, но по воле божией. Вам ли остановить ее действия, потому что вы ее не понимаете?.. Но окончим это. Повторяю, что я к вам пришел с просьбою, к тебе, Карл, и к тебе, Гартманн: я теперь завален работою, мне нужны помощники — ссудите меня несколькими учениками.

— Помилуй! — сказал Банделер, рассерженный, — да кто же из них согласится пойти к тебе в ученики после всего того, что ты здесь наговорил?

— Если б я смел... — проговорил тихо Себастиян.

— Как? ты, Себастиян? лучший, прилежнейший из моих учеников...

— Мне хотелось бы послушать новый орган господина Албрехта...

— Послушать фальшивые квинты... Неужели ты веришь, что это возможное дело?..

— Фома неверующий! — вскричал Албрехт, — да поезжай сам в Люнебург — там по крайней мере уверишься своими собственными ушами...

— Кто? я? я поеду в Люнебург? зачем? чтобы сказали, что я ничего не смыслю в своем мастерстве, что я такой же чудак, как Албрехт, что я верю его выдумкам, которым поверит разве мальчик, — чтоб все стали смеяться надо мною...

— Не беспокойся; ты будешь в такой компании, над которою не будут смеяться. Император, в проезд свой чрез Люнебург, был у меня...

— Император?

— Ты знаешь, какой он глубокий знаток музыки. Он слышал мой новый орган и заказал мне такой же для венской соборной церкви; вот условие в десять тысяч гульденов; вот другие заказы для Дрездена, для Берлина... Теперь веришь ли мне? Я до сих пор не говорил вам об этом и ожидал, что вы поверите словам вашего старого Албрехта...

Руки опустились у присутствующих. После некоторого молчания Клоц подошел к Албрехту и, низко поклонясь ему, сказал:

— Хоть я и не занимаюсь органным мастерством, но такое важное открытие заставляет и меня просить вас, господин Албрехт, позволить мне посмотреть на ваш новый регистр и поучиться.

Гартманн, не говоря ни слова, тотчас пошел домой приготовляться к отъезду. Один Банделер остался в нерешимости; он отпустил к Албрехту несколько учеников, а с ними и Себастияна, но сам в Люнебург не поехал.

Недолго работал Себастиян у Албрехта. Однажды, в праздничный день, когда юноша, сидя за клавихордом, напевал духовные песни, старик незаметно вошел в комнату и долго его слушал.

— Себастиян! — наконец сказал он, — я теперь только узнал тебя; ты не ремесленник; не твое дело обтачивать клавиши; другое, высшее предназначение тебя ожидает. Ты музыкант, Себастиян! — вскричал пламенный старец.— Ты определен на это высокое звание, которого важность немногие понимают. Тебе дало в удел провидение говорить тем языком, на котором человеку понятно божество и на котором душа человека доходит до престола всевышнего. Со временем мы больше поговорим об этом. Теперь же оставь свои ремесленные занятия; я теряю в тебе надежного помощника, но не хочу противоборствовать воле провидения: оно тебя недаром создало.

— Тебе, — продолжал Албрехт после некоторого молчания, — тебе трудно будет здесь получить место органиста; но ты имеешь хороший голос—надобно образовать его; Магдалина ходит учиться пению к здешнему пастору: ходи вместе с нею; между тем я постараюсь поместить тебя в хор Михайловской церкви — это обеспечит твое содержание; а ты пока изучай орган — это величественное подобие

божия мира: в обоих много таинств; их открыть может одно прилежное изучение.

Себастиян бросился к ногам Албрехта.

С тех пор Себастиян был как родной в доме Иоганна.

Магдалина была проста и прекрасна. Мать ее, итальянка, передала ей черные лоснистые локоны, которые кудрями вились над северными голубыми глазами; но в этом заключалось все, чем Магдалина отличалась от своих сверстниц. Лишившись матери на третьем году от рождения и воспитанная в простоте старинных немецких нравов, она не знала ничего, кроме своего маленького мира: поутру посмотреть за кухней, потом полить цветы в огороде, после обеда уголок возле окошка и пяльцы, в субботу принять белье, в воскресенье к пастору. Про нее тогдашние люнебургские музыканты говорили, что она похожа на итальянскую тему, обработанную в немецком вкусе. Себастиян ходил с нею учиться петь, как будто с товарищем. На неопытного юношу, воспламененного речами Албрехта, не действовала красота и невинность девушки; в чистой душе его не было места для земного чувства: в ней носились одни звуки, их чудные сочетания, их таинственные отношения к миру. Напротив, гордый юноша еще сердился на прелестную и выговаривал ей, когда ее несозревший голос перерывался на необходимой ноте аккорда или когда она простодушно спрашивала объяснения в музыкальных задачах, которые казались так легкими Себастияну.

Себастиян плавал в своей стихии: Албрехтово огромное хранилище книг и нот было ему открыто. Утром он изощрял свои силы на различных инструментах, особливо на клавихорде, или занимался пением; в продолжение дня он выпрашивал у знакомого органиста ключ от церковного органа и там, один, под готическими сводами, изучал таинства чудного инструмента. Лишь алтарь божий, покрытый завесою, внимал ему в величественном безмолвии. Тогда Себастиян вспоминал свое приключение в эйзенахской церкви; снова его младенческое сновидение восставало из-за мрачных углублений храма; с каждым днем оно становилось ему понятнее — и благоговейный ужас находил на душу юноши, сердце его горело, и волосы подымались на

голове. Ввечеру, возвращаясь домой, он заставал Албрехта, уставшего от дневных забот, окруженного учениками; тихо беседовал он с ними, и высокие речи, позлащенные игривым иносказанием, выливались из уст его. Не думайте, однако же, господа, что Албрехт принадлежал к числу тех красноречивых риторов, которые сперва начертят голый скелет, а потом и примутся, для удовольствия почтеннейшей публики, украшать его метафорами, аллегориями, метонимиями и другими конфектами. Язык обыкновенный был потому редок в устах Албрехта, что он не находил в нем слов для выражения своих мыслей: он был принужден искать во всей природе предметов, которые могли бы облечь его чувство, не договариваемое словом. Есть язык, которым говорит полудикий, перешедший на первую точку просвещения, когда его только что поразили новые, еще не разгаданные мысли; тем же языком говорит и вошедший в святилище тайных наук, желая дать тело предметам, для которых недостаточен язык человека; таким языком говорил и Албрехт, который, может быть, был соединением того и другого; немногие сочувствовали Албрехту и понимали его; другие старались поймать в словах его какое-либо новое руководство для своего мастерства; остальные рассеянно — из почтения — слушали его.

— Было время, — говаривал Албрехт, — от которого нам не осталось ни звука, ни слова, ни очерка: тогда *выражение* было не нужно человечеству; сладко покоилось оно в невинной, младенческой колыбели и в беспечных снах понимало и бога и природу, настоящее и будущее. Но... всколыхалась колыбель младенца; нежному, неоперенному, как мотыльку, в едва раздавшейся личинке, предстала природа грозная, вопрощающая; тщетно юный алкид хотел в свой младенческий лепет заковать ее огромные, разнообразные формы; она коснулась главою мира идей, пятою — грубого инстинкта кристаллов и вызвала человека сравниться с собою. Тогда родились два постоянные, вечные, но опасные, вероломные союзника души человека: *мысль* и *выражение*.

Никто не знает, как долго длилась эта первобытная распря: на поле битвы до сих пор остались лишь пирамиды, брошенные в песках Египта; великолепные чертоги, свидетельствующие о древней силе, занесенные илом; остались еще болезни человека, которых тяжкая цепь исчезает

во мраке древности. Побежденный, но сильный прежнею силою, человек продолжал эту битву, падал, но с каждым новым падением, как Антей, приобретал новое могущество; уже, казалось, он подчинил себе необоримую, — как вдруг пред душою человека явился новый противник, более страшный, более взыскательный, более докучливый, более недовольный — *он сам*: с появлением этого сподвижника проснулась и усмиренная на время сила природы. Грозные, неотступные враги с ожесточением устремились на человека и, как Титаны в битве с Зевесом, поражали его громадой страшных вопросов о жизни и смерти, о воле и необходимости, о движении и покое, и тщетно бы доныне философ уклонялся за щит логических заключений, тщетно математик скрывался бы в извилинах спирали и конхоиды, — человечество погибло бы, если бы небо не послало ему нового поборника: *искусство*! Эта могучая, ничем не оборимая сила, отблеск зиждителя, скоро покорила себе и природу и человека; как Эдип, она угадала все символы двуглавого сфинкса, — и это торжественное мгновение жизни человечества люди назвали Орфеем, покоряющим камни силою гармонии. С помощию этой живительной, творческой мощи человек соорудил здание иероглифов, статуй, храмов, «Илиаду» Гомера, «Божественную комедию» Данте, олимпийские гимны и псалмы христианства: он сомкнул в них таинственные силы природы и души своей; заключенные в их великолепных, но тесных темницах, они рвутся из них на свободу, и оттого, при взгляде на Цецилию Дюрера, на Венеру Медичейскую со сводов страсбургской колокольни на нас пышет тем дыханием бурным, которое хладом проходит по жилам и погружает душу в священную думу.

Но есть еще высшая степень души человека, которой он не разделяет с природою, которая ускользает из-под резца ваятеля, которую не доскажут пламенные строки стихотворца — та степень, где душа, гордая своею победой над природою, во всем блеске славы смиряется пред вышнею силою, с горьким страданием жаждет перенести себя к подножию ее престола и, как странник среди роскошных наслаждений чуждой земли, вздыхает по отчизне; чувство, возбуждающееся на этой степени, люди назвали *невыразимым*; единственный язык сего чувства — *музыка*: в этой высшей сфере человеческого искусства человек забывает о бурях земного странствования; в ней, как на высоте

Альпов, блещет безоблачное солнце гармонии; одни ее неопределенные, безграничные звуки обнимают беспредельную душу человека; лишь они могут совокупить воедино стихии грусти и радости, разрозненные падением человека, — лишь ими младенчествует сердце и переносит нас в первую невинную колыбель первого невинного человека.

Не ослабевайте же, юноши! Молитесь, сосредоточивайте все познания ума, все силы сердца на усовершенствование орудий сего дивного искусства; в их простых, грубых трубах сокрыто таинство возбуждения возвышеннейших чувств в душе человека; каждый новый шаг их к успеху приближает их к той духовной силе, которой они должны служить выражением; каждый новый шаг их есть новая победа человека над жизнию, над этим призраком, который, смеясь над усилиями ума, с каждым днем становится ужаснее и грозит в прах разрушить скудельный сосуд человека.

Так часто беседовал Албрехт; вокруг его царствовало глубокое безмолвие; лишь изредка вспыхивал уголь погасавшего очага и мгновенно освещал седую голову старца, молодые, свежие лица германских юношей, черные локоны Магдалины, блестящие развалины недоконченных инструментов... Раздавался голос ночного сторожа, старец благословлял присутствующих и оканчивал гармонический день торжественною звучною молитвою.

Слова Албрехта падали на душу Себастияна; часто он терялся в их таинственности; он не мог бы даже пересказать их, но понимал чувство, которое они выражали: этим чувством бессознательно возрастала душа его и укреплялась в пламенной внутренней деятельности...

Годы протекали; Албрехт окончил постройку своих органов, полученные деньги роздал по ученикам или употребил на новые опыты и, не помышляя об умножении своего достатка, уже снова трудился над каким-то новым усовершенствованием своего любимого инструмента; говорят, что он хотел соединить в нем представителей всех стихий мира: земли и воздуха, воды и огня. Между тем в Люнебурге только и говорили, что о молодом органисте Бахе; и голос Магдалины развивался с летами: уже она

могла разбирать партицию с первого взгляда, пела и играла Себастиянову музыку.

Однажды Албрехт сказал молодому музыканту:

— Слушай, Себастиян; тебе уже не у кого учиться в Люнебурге: ты далеко обогнал всех здешних органистов; но искусство бесконечно: тебе надобно познакомиться с теми, которых место ты некогда должен заступить в музыкальном мире. Я тебе выхлопотал место придворного скрипача в Веймаре; оно тебе доставит деньги — необходимую вещь на земле, а деньги доставят тебе возможность побывать в Любеке и Гамбурге, где ты услышишь славных друзей моих: Букстегуда и Рейнкена. Мешкать нечего в этом свете; время летит — собирайся в дорогу.

Сначала это предложение обрадовало Себастияна: услышать Букстегуда, Рейнкена, которых сочинения он знал почти наизусть, поверить себя, так ли он понимал их высокие мысли; услышать их блистательные импровизации, которых нельзя приковать к бумаге; узнать их способ соединения регистров; испытать свои силы пред этими знаменитыми судиями; распространить свою известность — все это в минуту представилось юному воображению; но оставить дом, в котором развился его младенческий талант, дом, в котором все дышало, все жило гармониею; не слыхать более Албрехта, попасть снова в среду людей холодных, не понимающих святыни искусства!.. Тут пришла ему в голову и Магдалина с ее черными локонами, с ее голубыми глазами, с ее простосердечною улыбкою. Он так привык к ее мягкому, будто бархатом подернутому голосу; к нему, казалось, приросли все любимые мелодии Себастияна; она так хорошо помогала ему разыгрывать новые партиции; она с таким участием слушала его сочинения; он так любил, чтобы она была перед ним, когда в грезах импровизации глаза его неподвижно останавливались на одном и том же месте... Еще недавно она догадалась, что Себастияновы пальцы не захватывали всех необходимых звуков в аккорде, встала, наклонилась на стул и положила свой маленький пальчик на клавиш... Себастиян задумался; чем больше он думал, тем больше видел, что Магдалина мешалась со всеми происшествиями его музыкальной жизни; он удивлялся, как до сих пор не замечал этого... посмотрел вокруг себя: вот ноты, которые она для него переписывала; вот перо, которое она для него чинила; вот струна, которую она навязала в его

отсутствие; вот листок, на котором она записала его импровизацию, без чего эта импровизация навсегда бы потерялась... Из всего этого Себастиян заключил, что Магдалина ему необходима; углубляясь больше в самого себя, он наконец нашел, что чувство, которое он ощущал к Магдалине, было то, что обыкновенно называют любовью. Это открытие его очень изумило: ежедневное обращение в одной и той же сфере мыслей и чувств; ежедневное спокойствие, столь естественное, сродное характеру Себастияна; даже однообразный порядок занятий в доме Албрехта — все это так приучило душу юноши к тихому, гармоническому бытию; Магдалина была столь стройным, необходимым звуком в этой гармонии, что самая любовь их зародилась, прошла все свои периоды почти незаметно для самих молодых людей: так полно слилась она со всеми происшествиями их целомудренной жизни. Может быть, Магдалина стала раньше понимать это чувство; но одна разлука могла объяснить его Себастияну.

— Магдалина! сестрица! — сказал ей Себастиян, запинаясь, когда она вошла в комнату, — отец твой посылает меня в Веймар... мы не будем вместе... может быть, долго не увидимся: хочешь ли быть моею женою? тогда мы всегда будем вместе.

Магдалина закраснелась, подала ему руку и сказала:

— Пойдем к батюшке.

Старик встретил их улыбаясь.

— Я уже давно предвидел это, — сказал он, — видно, божия воля, — прибавил он со вздохом, — бог да благословит вас, дети; искусство вас соединило; пусть оно будет крепкою связью для всего вашего существования. Но только, Себастиян, не слишком прилепляйся к пению; ты слишком часто поешь с Магдалиною: голос исполнен страстей человеческих; незаметно в минуту самого чистого вдохновения в голос прорываются звуки из другого, нечистого мира; на человеческом голосе лежит еще печать первого грешного вопля!.. Орган, тебе подвластный, не есть живое орудие; но зато и непричастен заблуждениям нашей воли: он вечно спокоен, бесстрастен, как бесстрастна природа; его ровные созвучия не покоряются прихотям земного наслаждения; лишь душа, погруженная в тихую, безмолвную молитву, дает душу и его деревянным трубам, и они, торжественно потрясая воздух, выводят пред нее собственное ее величие...

Я не буду вам рассказывать, милостивые государи, подробностей о свадьбе Себастияна, о его поездке в Веймар, о кончине Албрехта, вскоре за тем последовавшей, о разных должностях, которые Себастиян занимал в разных городах; о его знакомстве с разными знаменитыми людьми. Все эти подробности вы найдете в различных биографиях Баха; мне — не знаю как вам — мне любопытнее происшествия внутренней жизни Себастияна. Чтоб познакомиться с этими происшествиями, есть единственное средство: я вам советую, подобно мне, проиграть всю Бахову музыку от начала до конца. Жаль, что умер мой говорливый старик Албрехт: он по крайней мере рассказывал то, что чувствовал Себастиян; когда Себастиян слушал Албрехта, то всегда думал, что себя слушает; сам же словесным языком говорил мало, — он говорил только звуками органа. А вы не можете себе вообразить, как трудно с этого небесного, беспредельного языка переводить на наш сжатый, смешанный с прахом жизни язык. Иногда мне на четыре ноты приходится писать целый том комментарий, и все-таки эти четыре ноты яснее моего тома говорят для того, кто умеет понимать их.

Действительно, Бах знал только одно в этом мире — свое искусство; все в природе и жизни — радость, горе — было понятно ему тогда только, когда проходило сквозь музыкальные звуки; ими он мыслил, ими чувствовал, ими дышал Себастиян; все остальное было для него не нужно и мертво. Я верю тому, что Тальма в минуту сильнейшей скорби невольно подходил к зеркалу, чтоб посмотреть, какие морщины она произвела на лице его. Таков должен быть художник — таков был Бах; подписывая денежную сделку, он заметил, что буквы его имени составляют оригинальную, богатую мелодию, и написал на нее фугу;[1] услышав первый крик своего младенца, он обрадовался, но не мог не исследовать, к какого рода гамме принадлежали звуки, им слышанные; узнав о смерти своего истинного друга, он закрыл лицо рукою — и через минуту начал писать погребальный Motetto. Не обвиняйте Баха в нечувствительности: он чувствовал, может быть, глубже

[1] Известна Бахова фуга на следующий мотив:



других, но чувствовал по-своему; это были человеческие чувства, но в мире искусства. Столь же мало он ценил и собственную свою славу: в Гамбурге рассказывали, как столетний органист Рейнкен, услышав Баха, прослезился и сказал с простосердечием: «Я думал, что мое искусство умрет вместе со мною, но ты его воскрешаешь». В Дрездене толковали, как Маршанд, знаменитый органист того времени, вызванный на соперничество с Бахом, испугался и уехал из Дрездена в самый день концерта; в Берлине удивлялись, что Фридрих Великий, прочитывая перед началом своего домашнего концерта список приезжающих в Потсдам, сказал окружающим с видимым беспокойством: «Господа! старший Бах приехал», — со смирением отложил свою флейту, послал тотчас за Бахом, заставил его в дорожном платье переходить от фортепиан к фортепианам, которые стояли во всех комнатах Потсдамского дворца, дал Себастияну тему для фуги и с благоговением слушал его.

А Себастиян, возвращаясь к своей Магдалине, рассказывал ей, лишь какая счастливая мелодия ему попалась во время импровизации перед Рейнкеном, как сделан соборный орган в Дрездене и как он у короля Фридриха воспользовался расстроенною нотою фортепиана для энгармонического перехода — и только! Магдалина не спрашивала больше, а Себастиян тотчас садился за клавихорд и играл или пел с нею свои новые сочинения: это был обыкновенный способ разговора между супругами: иначе они не говорили между собою.

Таковы были и все дни его жизни. Утром он писал, потом объяснял своим сыновьям и другим ученикам таинства гармонии или исполнял в церкви должность органиста, ввечеру садился за клавихорд, пел и играл с своей Магдалиной, засыпал спокойно, и во сне ему слышались одни звуки, представлялись одни движения мелодий. В минуты рассеянности он веселил себя, разбирая новую музыку ad aperturam libri [1] или импровизируя фантазии по цифрованному басу, или, слушая трио, садился за клавихорд, прибавлял новый голос и таким образом превращал трио в настоящий квартет.

Частая игра на органе, беспрестанное размышление о сем инструменте еще более развили ровный, спокойный,

---

[1] с листа (*лат.*).

величественный характер Баха. Этот характер отражался во всей его жизни, или, лучше сказать, во всей его музыке. В ранних его сочинениях видны еще некоторые жертвы господствовавшему в его время вкусу; но впоследствии Бах отряс и этот прах, привязывавший его к ежедневной жизни, и спокойная душа его вполне напечатлелась в его величественных мелодиях, в его ровном, бесстрастном выражении. Словом, он сделался церковным органом, возведенным на степень человека.

Я уже говорил вам, что на него вдохновение не находило порывами; тихим огнем оно горело в душе его: за клавихордом дома, в хоре своих учеников, в приятельской беседе, за органом в храме — он везде был верен святыне искусства, и никогда земная мысль, земная страсть не прорывались в его звуки; оттого теперь, когда музыка перестала быть молитвою, когда она сделалась выражением мятежных страстей, забавою праздности, приманкою тщеславия — музыка Баха кажется холодною, безжизненною: мы не понимаем ее, как не понимаем бесстрастия мучеников на костре язычества; мы ищем понятного, близкого к нашей лени, к удобствам жизни; нам страшна глубина чувства, как страшна глубина мыслей; мы боимся, чтоб, погрузясь во внутренность души своей, не открыть своего безобразия; смерть оковала все движения нашего сердца — мы боимся жизни! боимся того, что не выражается словами; а что можно ими выразить?.. Не то ощущал Бах, погруженный в развитие своих музыкальных фантазий: вся душа его переселялась в пальцы; покорные его воле, они выражали его чувство в бесчисленных образах; но это чувство было едино, и простейшее его выражение заключалось в нескольких нотах: так едино чувство молитвы, хотя дары ее разнообразно являются в людях.

Не то ощущали и счастливцы, внимавшие органу, звучавшему под пальцами Баха; не рассеивалось их благоговение игривыми блестками: его сначала выражала мелодия простая, как просто первое чувство младенствующего сердца, — потом мало-помалу мелодия развивалась, мужала, порождала другую, ей созвучную, потом третью; все они то сливались между собою в братском лобзании, то рассыпались в разнообразных аккордах; но первое благоговейное чувство не терялось ни на минуту: оно лишь касалось всех движений, всех изгибов сердца, чтоб благодатною росою оживить все силы душевные; когда же были

исчерпаны все их многоразличные образы, оно снова являлось в простых, но огромных, полных созвучиях, и слушатели выходили из храма с освеженною, с воззванною к жизни и любви душою.

Биографы Баха описывают это гармоническое, ныне потерянное таинство следующим образом. «Во время богослужения, — говорят они, — Бах брал одну тему и так искусно умел ее обработывать на органе, что она ему доставала часа на два. Сначала была слышна эта тема в форшпиле или в прелюдии; потом Бах обработывал ее в виде фуги; потом, посредством различных регистров, обращал он в трио или квартет все ту же тему; засим следовал хораль, в котором опять была та же тема, расположенная на три или на четыре голоса; наконец, в заключение, следовала новая фуга, опять на ту же тему, но обработанную другим образом и к которой присоединялись две другие. Вот настоящее органное искусство».

Так эти люди переводят на свой язык религиозное вдохновение музыканта!

Однажды, во время богослужения, Бах сидел за органом, весь погруженный в благоговение, и хор присутствовавших сливался с величественными созвучиями священного инструмента. Вдруг органист невольно вздрогнул, остановился; чрез минуту он снова продолжал играть, но все заметили, что он был встревожен, что он беспрестанно оборачивался назад и с беспокойным любопытством посматривал на толпу. В средине пения Бах заметил, что к общему хору присоединился голос прекрасный, чистый, но в котором было что-то странное, что-то непохожее на обыкновенное пение: часто он то заливался, как вопль страдания, то резко раздавался, как буйный возглас веселой толпы, то вырывался как будто из мрачной пустыни души, — словом, это был голос не благоговения, не молитвы, в нем было что-то соблазнительное. Опытное ухо Баха тотчас заметило этот новый род выражения; оно было для него ярким, ослепительным цветом на полусветлой картине; оно нарушало общую гармонию; от этого выражения пламенное благоговение переставало быть целомудренным; духовная, легкокрылая молитва тяжелела; в этом выражении была какая-то горькая насмешка над общим таинственным спокойствием — она смутила Баха;

тщетно он хотел не слыхать ее, тщетно хотел истребить эти земные порывы в громогласных аккордах: страстный, болезненный голос гордо возносился над всем хором и, казалось, оскверням каждое созвучие.

Когда Бах возвратился домой, вслед за ним вошел незнакомец, говоря, что он иностранец, музыкант и пришел принести дань своего уважения знаменитому Баху. То был молодой человек, высокого роста, с черными, полуденными глазами; против германского обыкновения, он не носил пудры; его черные кудри рассыпались по плечам, обрисовали его смуглое, сухощавое лицо, на котором беспрестанно менялось выражение; но общий характер его лица была какая-то беспокойная задумчивость или рассеянность; его глаза беспрестанно перебегали от предмета к предмету и ни на одном не останавливались: казалось, он боялся чужого внимания, боялся и своих страстей, которые мрачным огнем горели в его томных, подернутых влагою взорах.

— Я родом из Венеции, по имени Франческо, — сказал молодой человек, — ученик знаменитого аббата Оливы, последователя славного Чести.

— Чести! — сказал Бах, — я знаю его музыку; слыхал и об аббате Оливе, хотя мало; очень рад познакомиться с вами.

Добродушный и простосердечный Бах, ласково принимавший всех иностранцев, обласкал и молодого человека, расспрашивал его о состоянии музыки в Италии и наконец, хотя и не любил новой итальянской музыки, но пригласил Франческо познакомить его с новыми произведениями его учителя.

Франческо отважно сел за клавихорд, запел, — и Себастиян тотчас узнал тот голос, который поразил его в церкви, однако же не показал неудовольствия и слушал венецианца со всегдашним своим спокойствием и добродушием.

Тогда только что начинался век новой итальянской музыки, которой последнее развитие мы видим в Россини и его последователях. Кариссими, Чести, Кавалли хотели сбросить несколько уже устаревшие формы своих предшественников, дать пению некоторую свободу; но последователи сих талантов пошли далее: уже пение претворялось в неистовый крик; уже в некоторых местах прибавляли украшения не для самой музыки, но чтоб дать певцу возможность блеснуть своим голосом; изобретение слабело, игривость рулад и трелей заступила место обработанных,

полных созвучий. Бах имел понятие об операх Чести и Кавалли; но новый род, в котором пел Франческо, был совершенно неизвестен арнштадтскому органисту. Представьте себе важного Баха, привыкшего к мелодическому спокойствию, привыкшего в каждой ноте видеть математическую необходимость, и слушающего набор звуков, которым итальянское выражение, незнакомое Германии, придавало совершенно особенный характер, причудливый, тревожный. Венецианец пропел несколько арий (это слово уже вводилось тогда в употребление) своего учителя, потом несколько народных канцонетт, обделанных в новом вкусе. Кроткий Бах все слушал терпеливо, только смеялся исподтишка и с притворным смирением замечал, что он не в состоянии ничего написать в таком роде.

Но что сделалось с Магдалиною? Отчего вдруг пропала краска с ее свежего лица? отчего она неподвижно устремила взоры на незнакомца? отчего трепещет она? отчего руки ее холодеют и слезы льются из глаз?

Незнакомец кончил, распрощался с Бахом, просил позволения еще раз посетить его, — а Магдалина все стоит неподвижно, опершись на полурастворенную дверь, и все еще слушает. Незнакомец, уходя, нечаянно взглянул на Магдалину, и холод пробежал по ее нервам.

Когда незнакомец совсем ушел, Бах, не заметивший ничего происшедшего, хотел с Магдалиною пошутить немного насчет своего самонадеянного нового знакомца; но вдруг он видит, что Магдалина бросается к клавихорду и старается повторить те напевы, те выражения незнакомца, которые остались у ней в памяти. Себастиян подумал сначала, что она передразнивает венецианца, и готов был расхохотаться; но он пришел вне себя от удивления, когда Магдалина, закрыв лицо руками, вскричала:

— Вот музыка, Себастиян! вот настоящая музыка! Я теперь только понимаю музыку! Часто как будто во сне я вспоминала те мелодии, которые мать моя напевала, качая меня на руках своих, — но они исчезли из моей памяти; тщетно я хотела их найти в твоей музыке, во всей той музыке, которую я слышу ежедневно, — тщетно! Я чувствовала, что ей чего-то недоставало — но не могла себе объяснить этого; это был сон, которого подробности забыты, который оставил во мне одно сладкое воспоминание. Лишь теперь я узнала, чего недостает вашей музыке: я вспомнила песни моей матери... Ах, Себастиян! —

вскричала она, с необыкновенным движением кидаясь на шею к Себастияну, — брось в огонь все твои фуги, все твои каноны; пиши, бога ради, пиши итальянские канцонетты.

Себастиян подумал, что его Магдалина помешалась; он посадил ее в кресла, не спорил и обещал все, чего она ни просила.

Незнакомец посетил еще несколько раз нашего органиста. Себастиян был в состоянии выбросить его из окошка; но, видя радость своей Магдалины при каждом его посещении, он был не в силах принять его неласково.

Однако же Себастиян с удивлением замечал, что в наряде Магдалины явилась какая-то изысканность, что она почти с глаз не спускала молодого венецианца, ловила каждый звук, вылетавший из груди его; Себастияну странным казалось, прожив двадцать лет с своею женою в полной тишине и согласии, вдруг приняться ревновать ее к человеку, которого она едва знала; но Бах был беспокоен, и слова Албрехтовы: «голос исполнен страстей человеческих» — невольно отзывались в ушах его.

К несчастию, Бах имел право ревновать в полной силе этого слова. Итальянская кровь, в продолжение сорока лет... сорока лет! обманутая воспитанием, образом жизни, привычкою — вдруг пробудилась при родных звуках; новый, неразгаданный мир открылся Магдалине; полуденные страсти, долго непонятные, долго сжатые в душе ее, развились со всею быстротою пламенной юности; их терзания увеличивались терзанием, которое только может испытать женщина, понявшая любовь уже при закате красоты своей.

Франческо тотчас заметил действие, производимое им на Магдалину. Ему смешно и забавно было влюбить в себя старую жену знаменитого органиста; лестно было его тщеславию возбуждать такое внимание женщины посреди северных варваров; сладко было его сердцу отмстить за насмешки, которыми немецкие музыканты осыпали музыку его школы, в доме их первоклассного таланта перебить дорогу у классической фуги; и когда Магдалина, вне себя, забывая своего мужа, обязанности матери семейства, опершись на клавихорд, устремляла на него пламенные взоры, — насмешливый венецианец также не жалел своих соблазнительных полуденных глаз, старался вспомнить все те напевы, все то выражение, которые приводят в восторг итальянца, — и бедная Магдалина, как дельфийская

жрица на треножнике, невольно входила в судорожное, убийственное состояние.

Наконец итальянцу наскучила эта комедия: не ему было понять душу Магдалины — он уехал.

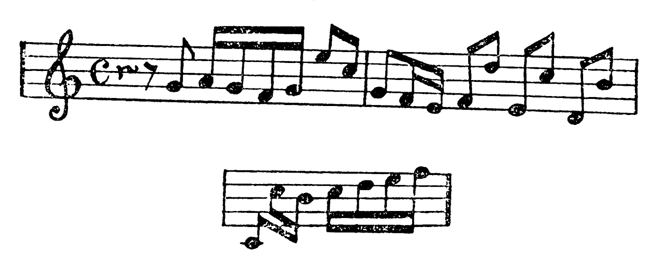
Бах был вне себя от радости. Бедный Себастиян! Правда, Франческо не увез Магдалины, но увез спокойствие из тихого жилища смиренного органиста. Бах не узнавал своей Магдалины. Прежде бодрая, деятельная, заботливая о своем хозяйстве, — теперь она сидела по целым дням, сложив руки, в глубокой задумчивости и потихоньку напевала Франческины канцонетты. Тщетно Бах писал для нее и веселые менуэты, и заунывные сарабанды, и фуги in stilo francese — Магдалина слушала их равнодушно, почти с неудовольствием, и говорила: «Прекрасно! а все не то!» Бах начинал сердиться. Немногие и тогда понимали его музыку; преданный вполне искусству, он не дорожил людским мнением, мало верил похвалам часто пристрастных любителей; не в преходящей моде, но в собственном глубоком чувстве он старался постигнуть тайны искусства; но он привык к участию Магдалины в его музыкальной жизни; ему сладко было ее одобрение: оно укрепляло его самоуверенность. Видеть ее равнодушие, видеть противоречие с целию своей жизни и видеть его в маленьком кругу своего семейства, в своей жене, в существе, которое в продолжение стольких лет одно с ним чувствовало, одно мыслило, одно пело, — это было несносно для Себастияна.

К этому присоединились и другие неприятности: Магдалина почти оставила свое хозяйство; порядок, к которому привык Бах в своем доме, нарушился; прежде он бывал так спокоен в этом отношении, так свободно предавался своему искусству, зная, что Магдалина заботится о всех его привычках, о всем вещественном жизни, — теперь Себастиян принужден был сам входить во все подробности, на пятидесятом году жизни учиться мелочам, посреди музыкального вдохновения думать о своем платье. Бах сердился.

А Магдалина! Магдалина терзалась, но другим образом. Часто, отерши глаза, вспоминала она о своих обязанностях или раскрывала Баховы партиции, — но ей являлись черные глаза Франческа, в ушах ее отдавались его страстные напевы, и Магдалина с отвращением бросала от себя бесстрастные ноты. Часто ее терзания доходили до исступления; она готова была забыть все, оставить свой

дом, бежать вслед за прелестным венецианцем, упасть к его ногам и принести ему в дар свою любовь вместе с своею жизнию; но она взглядывала в зеркало: равнодушное, оно представляло ей сорокалетние морщины, которые ясно говорили Магдалине, что пора ее миновалась,— и Магдалина с воплем и рыданием бросалась на постелю или бежала к мужу и в сильном волнении духа говорила ему: «Себастиян! напиши мне итальянскую канцонетту! неужели ты не можешь написать итальянской канцонетты?» Несчастная думала, что этим она перенесет на Себастияна преступную любовь свою к Франческо.

Бах слушал ее и не мог не смеяться; он почитал слова Магдалины прихотью женщины, а для женской ли прихоти мог Себастиян унизить искусство, низвести его на степень фиглярства? Просьбы Магдалины были ему и смешны и оскорбительны. Однажды, чтоб отвязаться от нее, он написал на листке известную тему, которою впоследствии воспользовался Гуммель:



но тотчас заметил, как удобно она может образоваться в фугу. Действительно, ему недоставало cis-дурной фуги в сочиняемом им тогда «Wohltemperiertes Clavier»; он поставил в ключе шесть диезов, — и итальянская канцонетта обратилась в фугу для учебного употребления [1].

Между тем время текло. Магдалина перестала просить у Себастияна итальянских канцонетт, снова принялась за хозяйство — и Бах успокоился: он мог по-прежнему предаться усовершенствованию своего искусства, — а это одно и надобно ему было в жизни; он полагал, что прихоть Магдалины исчезла совершенно, и хотя она редко, как бы нехотя, разбирала с ним партиции, но Бах привык даже и к ее равнодушию: он писал тогда свою знаменитую

[1] см. Clavecin bien tempéré par S. Bach. 1 partie. (*Прим. В. Ф. Одоевского.*)

Passion's Musik, был ею доволен — ему не надобно было ничего более.

В то же время новое обстоятельство стало хотя обманом способствовать его семейному спокойствию. Давно уже зрение Баха, изнуренное продолжительными трудами, начинало ослабевать; дошло наконец до того, что он не мог более работать вечером; наконец и дневной свет сделался тяжким для Себастияна; наконец и дневной свет исчез для него. Болезнь Себастияна пробудила на время Магдалину; она нежно заботилась о бедном слепце, писала музыку под его диктовку, играла ее, водила его под руку в церковь к органу, — казалось, воспоминание о Франческо совсем изгладилось из ее памяти.

Но это была неправда. Чувство, вспыхнувшее в Магдалине, только покрылось пеплом; оно не являлось наружу, но тем сильнее разрывалось в глубине души ее. Слезы Магдалины иссякли; улетело то пиитическое. видение, в котором представлялся ей обольстительный венецианец; она не позволяла себе более напевать его песен; словом, все прекрасное, услаждающее терзания любви, покинуло Магдалину; в ее сердце осталась одна горечь, одна уверенность в невозможности своего счастия, один предел страданиям— могила. И могила приближалась к ней; ее тлетворный воздух истреблял румянец и полноту Магдалины, впивался в грудь ее, застилал лицо морщинами, захватывал ее дыхание...

Бах узнал все это, когда Магдалина была уже на смертной постели.

Эта потеря поразила Себастияна больше собственного несчастия; с слезами на глазах написал он погребальную молитву и проводил тело Магдалины до кладбища.

Сыновья Себастияна Баха с честию занимали места органистов в разных городах Германии. Смерть матери соединила все семейство: все сходились к знаменитому старцу, старались утешать, развлекать его музыкой, рассказами; старец слушал все со вниманием, по привычке искал прежней жизни, прежней прелести в сих рассказах,— но почувствовал в первый раз, что ему хотелось чего-то другого: ему хотелось, чтоб кто-нибудь рассказал, как ему горько, посидел возле него без посторонних расспросов, положил бы руку на его рану... Но этих струн не было между ним и окружающими; ему рассказывали похвальные отзывы всей Европы о его музыке, его расспрашивали

о движении аккордов, ему толковали о разных выгодах и невыгодах капельмейстерской должности... Вскоре Бах сделал страшное открытие: он узнал, что в своем семействе он был лишь профессор между учениками. Он все нашел в жизни: наслаждение искусства, славу, обожателей — кроме самой жизни; он не нашел существа, которое понимало бы все его движения, предупреждало бы все его желания, — существа, с которым он мог бы говорить не о музыке. Половина души его была мертвым трупом!

Тяжко было Себастияну; но он еще не унывал: святое пламя искусства еще горело в его сердце, еще наполняло для него мир, — и Бах продолжал учить своих последователей, давать советы при постройке органов и занимать в церкви должность органиста.

Но скоро Бах заметил, что его мысли перестали ему представляться в прежней ясности, что пальцы его слабеют: что прежде казалось ему легким, то теперь было необоримою трудностью; исчезла его ровная, светлая игра; его члены искали успокоения.

Часто он заставлял себя приводить к органу; по-прежнему силою воли хотел он победить неискусство пальцев, по-прежнему хотел громогласными созвучиями пробудить свое засыпавшее вдохновение; иногда с восторгом вспоминал свое младенческое сновидение: ясно оно было ему, вполне понимал он его таинственные образы — и вдруг невольно начинал ожидать, искать голоса Магдалины, но тщетно: чрез его воображение пробегал лишь нечистый, соблазнительный напев венецианца, — голос Магдалины повторял его в углублении сводов, — и Бах в изнеможении упадал без чувств...

Скоро Бах уже не мог сойти с кресел; окруженный вечною тьмою, он сидел, сложив руки, опустив голову, — без любви, без воспоминаний... Привыкший, как к жизни, к беспрестанному вдохновению, он ждал снова его благодатной росы, — как привыкший к опиуму жаждет небесного напитка; воображение его, изнывая, искало звуков, единственного языка, на котором ему была понятна и жизнь души его и жизнь вселенной, — но тщетно: одряхлевшее, оно представляло ему лишь клавиши, трубы, клапаны органа! мертвые, безжизненные, они уж не возбуждали сочувствия: магический свет, проливавший на них радужное сияние, закатился навеки!..





ЧЕРНАЯ ПЕРЧАТКА

Посв. Юл. Мих. Дюгамель
(Козловской).

В моей молодости я был шафером на одной очень интересной свадьбе. Жених и невеста, казалось, были созданы друг для друга. Равно молоды, равно полны жизни, равно прекрасны собою, оба хорошей фамилии и, чудная вещь! оба равно богаты. Это были два создания, которых судьба, казалось, выпустила на свет для того, чтоб не всегда можно было ее назвать немилосердою. Она с колыбели осыпала юную чету всеми дарами счастия; она, казалось, даже была прихотлива в выборе этих даров и каждому из них старалась дать самую совершенную форму. Так, например, у молодой четы было много имений и ни одной тяжбы, было несколько добрых, истинных родных, и не было вереницы тех второстепенных родственников, о существовании которых порядочный человек знает только по визитным билетам или по просительным и рекомендательным письмам.

Отцы и матери наших любовников давно уже не существовали на свете. Граф Владимир рос с своею невестою в доме их общего опекуна и дяди Акинфия Васильевича Езерского, которого, я думаю, вы знавали; помните: довольно дородный, румяный мужчина, всегда в широком коричневом фраке, немножко припудрен, с таким важным и решительным лицом, еще немножко похожим на Франклина. У него-то жили мои молодые люди; почти с пелен они не расставались друг с другом и заранее, в голове опекуна, они назначались быть мужем и женою. Акинфий

Васильевич Езерский был человек во многих отношениях весьма замечательный; природа дала ему ум и доброе сердце. К сожалению, природа дает нам только глаза, но заставляет нас самих выдумывать стекла, которые видят немножко подальше природного зрения; этих стекол Акинфий Васильевич не получил в детстве; его учили по-старинному: заставляли вытверживать географические имена, исторические числа, нравственные сентенции и фортификационные размеры, но забыли научить его одному: думать о том, чему его учили. Такое ученье, как всегда бывает, отозвалось ему на всю жизнь: что видел природный ум и чувствовало сердце, того не могло доглядеть его образование; оттого он думал только половиною головы, чувствовал половиною сердца и оттого часто понимал только половину предметов. После такого странного воспитания он брошен был судьбою в Англию, где и провел несколько лет своей жизни; этот новый мир не мог не поразить его; но, как дикаря, его поразило равно и хорошее и дурное; то и другое для него смешалось; он и в том и в другом многое не досмотрел, многое пересмотрел, и то и другое перенес целиком на русскую почву. Так, например, несмотря на насмешки невежд, ни на насмешки писателей, которые не стыдились своим пером подкреплять мнение безграмотных и в своих сочинениях выставлять торжество закоренелой глупости над необходимыми улучшениями, Езерский ввел в имении своих питомцев усовершенствованное хозяйство и, назло безграмотным соседям, безграмотным повестям и комедиям, удесятерил свои доходы; но с тем вместе он перенес к себе отростки этого сухого методизма, который более или менее отзывается во всей английской жизни и убивает в ней всякую поэзию. Второпях он прочел Бентама, и мысль о *пользе* была ослепительным солнцем для Езерского; она навела темные пятна на его собственные мысли; человек показался ему машиною, которая тогда только счастлива, когда действует в урочные часы и для известной цели; поэзия ему показалась вздором, воображение — демоном, которого надобно избегать; всякий нерассчитанный порыв сердца — едва ли не прегрешением. Но, к счастию, он успел прочитать еще Томсона, и мысль о красоте природы связалась в голове его с Бентамовым индустриализмом. Таким образом, Акинфий Васильевич составил себе систему, которая была смесью Бентама, Томсона, Палея и других английских

авторов, которых он читал в своей молодости; новых он не знал и потому не любил. Байрона он ненавидел, потому что Байрон проклял Англию, которая для Акинфия Васильевича, вместе с его системою, была образцом совершенства. Дядюшка часто объяснял свою систему, но понять ее было довольно трудно. К мысли, что основанием всякого человеческого поступка должна быть польза, он присоединил невыразимую привязанность к природе и свое восхищение выражал стихами из «Четырех времен года». Все, что было в природе, ему казалось совершенством, и он часто толковал о необходимости жить, как он говорил, «сообразно природе». Вследствие этого он восхищался каждым пригорком, каждым изгорбленным деревом; но методизм не заставлял его забываться в этом восторге: он постоянно ложился спать в десять часов, вставал с восхождением солнца и читал к нему Томсоновы стихи; после стихов он пил чай, выкуривал две сигары (ни больше, ни меньше) и садился за работу, которая продолжалась до трех часов; в три часа выходил гулять и к обеду, даже когда обедал один, выходил в белом галстуке и башмаках. Во всех его действиях явственно отражалась эта, благодаря бога, непонятная русскому человеку английская односторонность, от которой зависят все достоинства и все недостатки английских произведений, от которой англичанин знает пару колес в машине, пару мыслей в жизни, и знает превосходно, но засим ни о чем в мире не имеет никакого понятия. Несмотря на эти странности, привычка к труду и порядку давала Акинфию Васильевичу важное преимущество над всеми его сверстниками. Он один успевал делать то, чего не могли сделать десять человек; от того самого дел у него было множество: он любил хлопотать, так как другие любят ничего не делать; а как охотников в последнем роде тысячи, то Езерский был всесветным опекуном, председателем всех возможных комиссий по делам своих приятелей и посредником во всех ссорах.

Разумеется, воспитание, которое он дал своим питомцам, было сообразно его системе: он приучил Марию к женским рукодельям и к женскому смирению, а графа ко всем коммерческим и гимнастическим упражнениям: оттого Мария прекрасно умела делать чай и самые тоненькие тартинки с маслом; плум-пудинг и минцпайзы ей были очень хорошо знакомы; а граф знал тригонометрию, бух-

галтерию, славно боксировал, ездил верхом и лазил по канатам; сверх того, оба знали почти наизусть несколько грамматик. Их воспитание было, как видите, самое практическое, самое близкое к делу, основанное не на идеях, а на пользе. Действительно, никакая другая книга, никакая мысль не попадала к ним ни в руки, ни в голову, и только за месяц до свадьбы Акинфий Васильевич позволил будущим супругам прочесть «Кларису Гарло» Ричардсона.

Свадьба графа Владимира и Марии не была новостью для города, но все непритворно ей радовались. В них обоих было нечто неизъяснимо невинное, неизъяснимо ребяческое: это были две детские головки, нарисованные искусным лондонским гравером, которыми невольно любуешься, забывая, что в эти прекрасные создания уже положено семя той нравственной арифметики, над которою так горько плакал Байрон. Действительно, в них был род магнетизма, который производил то, что никто не завидовал им, никто не роптал на судьбу, видя их счастие, но смотрел на него как на право собственности молодых людей. Правда, толпы молодых людей кружились вокруг прекрасной Марии, женщины невольно заглядывались на статного Владимира; но это было удивление, а не ревность, не досада; они своим детским видом умели волновать только чистую, ясную поверхность души, оставляя на дне ее черные, тяжелые капли: их свадьба казалась веселым детским праздником, которым все любуются и которому никто не завидует.

Венчание кончилось. Владимир нежно поцеловал свою Марию; в церковь и в дом набрался почти целый город; поздравляли новобрачных, но к двенадцати часам все разъехались, оставя на свободе молодых. Дядя, заступавший для них место отца, равно посаженые отцы и матери, исполнив домашние обряды, удалились. Молодые были уже в спальне и с детскою невинностью любовались убранством комнаты, которая до тех пор была для них секретом, как вдруг на белом атласном диване они увидели черную перчатку. Сначала Владимир подумал, что ее забыл кто-нибудь из гостей, но кому же могло прийти в голову приехать на свадьбу с черной перчаткой? С некоторым чувством суеверного страха он поднял ее и ощупал в ней пакет с надписью на имя их обоих. С трепетом Владимир сорвал печать и с ужасом прочел следующее:

«Почитаю нужным вас уведомить, что ваше счастие расстраивает мое счастие, что исполнение ваших желаний уничтожает все планы моей жизни. А так как простительно человеку любить себя больше других, то я положил себе твердым правилом перевернуть вашу судьбу наизнанку, ибо только вашим страданием я могу достигнуть моей цели. Если это мне не удастся, то по крайней мере я буду иметь наслаждение мстить вам, и это первое посещение есть только первая степень того зла, которое я вам приготовляю. Одна ваша разлука в ту минуту, когда вы будете читать эту записку, может спасти вас от моего мщения. Залог, мною оставленный, может показать вам, что для меня не существует ни дверей, ни затворов. Осмелься поднять его, слишком счастливая чета!

Черная Перчатка».

Владимир сначала не хотел показывать этого письма Марии, но Мария, опираясь на его плечо, успела прочесть все письмо до конца.

— Это, верно, шутка... мистификация... — сказал Владимир нетвердым голосом; но невольно рука его дрожала.

— Нет, — отвечала Мария, — это не шутка и не мистификация; кому бы так жестоко шутить с нами?

— Но кому и желать нам зла? — заметил Владимир.

— Вспомни, не оскорбил ли ты кого-нибудь? Не давал ли ты кому-нибудь обещаний?

Тут Мария значительно взглянула на Владимира, и голос ее прервался.

— И ты можешь это думать, Мария? — сказал нежно Владимир. — Уверяю тебя, это шутка, глупая шутка, которая не пройдет даром. Если это женщина, — нет нужды, если мужчина — тогда... — И глаза Владимира заблистали.

— Тогда что? — спросила Мария.

— О, ничего! — сказал Владимир, — я постараюсь отплатить тою же монетою.

— Нет, твои глаза говорят не то... Слушай, Владимир, обещай мне ничего не предпринимать, не сказавши мне.

— О, к чему эти обещания?

— Обещай мне по крайней мере ничего не предпринимать до завтра.

— О, мы, право, дети! — сказал Владимир, рассмеявшись, — глупый проказник подшутил над нами, а мы, как будто в угодность ему, провели целый час в тревоге.

— А если он здесь и подслушивает нас? — заметила Мария.

— В самом деле, это не пришло мне в голову, — сказал Владимир. С этими словами он взял свечу, обошел кругом комнаты и отворил дверь, чтобы выйти из спальни.

— Не ходи один, — сказала Мария, — надо позвонить людей.

— Ты хочешь, чтоб стали смеяться над нами?

— Так пойдем вместе.

Они вышли из спальни. Огни везде погашены; все в доме спало; на дворе слышалась лишь доска сторожа. По огромным комнатам длинная тень ложилась от свечи. Мария невольно вздрагивала, когда случайно ее собственный образ отражался в зеркалах, когда шорох шагов их повторяло эхо и мерцающий свет мгновенно производил на складках штофа причудливые очерки. Так они обошли весь дом: все было тихо, они возвратились в спальню; тогда пробило уже три часа утра, и когда Владимир отдернул занавеску, заря уже занималась.

Дневной свет имеет чудное свойство: он придает невольную бодрость и спокойствие рассудку. То, что кажется огромным и страшным во мраке ночи, рассыпается с дневным светом, как сновидение. Это чувство ощутили наши молодые люди.

— Мы, право, дети, — повторил еще раз Владимир, — кто видал, чтоб первую ночь брака провести над глупою запискою?

С этими словами он подошел к камину и едва не бросил в него перчатку, но удержался при мысли, что не худо показать ее дядюшке.

— Неужели этот вздор может поколебать наше счастие?

— Никогда! — отвечала Мария, обнимая его.

На другой день молодые не забыли показать таинственную записку дядюшке. Дядюшка посмотрел на записку с своим обыкновенным, систематическим хладнокровием и сказал:

— Это какой-то вздор, но которого, однако ж, не надобно так оставлять. Отдайте мне эту записку; вам нечего ею заниматься; это уж будет мое дело.

Мы уже сказали, что дядюшка был человек весьма замечательный в своем роде и что строгий порядок в жизни, неизменяемое хладнокровие в самых затруднительных обстоятельствах и несколько удачных финансовых оборотов приобрели ему доверенность всех его знакомых. В самом деле, когда он произносил: «Это уже мое дело»,— своим твердым, методическим голосом, с ударением на каждом слове, то ему нельзя было не поверить.

Когда все визиты новобрачными были сделаны, Акинфий Васильевич потребовал, чтоб молодые непременно отправились в деревню. Ему очень хотелось отправить их туда в первый день брака, по английскому обычаю, и в первый раз в жизни он, против воли, уступил настоятельным просьбам родственников.

— Поезжайте в деревню, — говорил Акинфий Васильевич, — первое — вы должны узнать друг друга, а второе — человек на сем свете не должен жить бесполезно. Ты, Владимир, должен заняться хозяйством; помни, что всякий владелец земли на сем свете должен постоянно увеличивать ее производительную силу и что тот, кто ежегодно не увеличивает своего дохода, теряет все то, что бы он мог приобресть. Я нарочно не еду с тобою: я хочу, чтоб ты мог привыкнуть к своим силам, не полагаясь ни на чью помощь, и чтоб, когда я умру, — ибо смерть есть необходимый и благодетельный закон природы, — ты и не заметил бы своей потери.

— Дядюшка, и вы можете говорить об этом так хладнокровно?

— Ничего, ничего, пустое. Смерть есть закон природы, а все в природе прекрасно; люди должны умирать, потому, — прибавил дядюшка с значительным видом, — что люди должны родиться; итак, — продолжал он, — ты будешь заниматься хозяйством, и ты также, Мария. В деревенском доме, в кабинете, на бюро, ты найдешь тетрадку, которую я написал для вас уже лет десять тому назад и в которой подробно описано, что должен делать муж и что должна делать жена. Исполните мои советы с точностию — и раскаиваться не будете. Сначала покажется трудно, а потом все будет легче и легче. В затруднительных случаях обращайтесь ко мне с вопросами. Более всего старайтесь умерять свои страсти, и даже совсем уничтожать их — после этого все будет легко. Я буду в симбирской деревне, ибо провести лето в городе есть преступле-

ние. Здесь не видишь природы, а что может сравниться с природою? «Ничто так не возвышает души, как восхождение солнца», — говорит Томсон. Теперь поезжайте с богом; дорожная ваша карета готова, — я сам занимался ее устройством — и лошади уже приведены.

Владимир и Мария бросились со слезами обнимать дядюшку, но он остановил их:

— Не нужно ни слез, ни прощаний; это все бесполезные ветви, которые умный садовник должен тщательно обрезывать...

Однако ж Владимир и Мария не послушались строгого совета дядюшки и наплакались досыта... Наконец они сели в карету, а дядюшка отправился к себе, потому что он еще не успел выкурить своей второй сигары.

Мы не будем следовать за нашими путешественниками по длинной дороге, по косогорам, по испорченным мостам; не будем останавливаться за порчей экипажа, за спорами с станционными смотрителями и бесконечными жеребьями извозчиков, — и предположим, что они доехали до своей деревни в то блаженное время, когда Россию пересекут во всех направлениях железные дороги, чего с нетерпением ожидал не один Акинфий Васильевич, несмотря на мудрые толкования некоторых философов, которые воображают, что с железными дорогами истребится столь смиренный и трудолюбивый класс ямщиков. В своей деревне, под благословенным небом Тамбовской губернии, по которому не в шутку, а в самом деле ходит яркое, теплое солнце, молодые нашли дом, устроенный со всеми просвещенными удобствами жизни. В кабинете, на бюро, действительно находилась положенная десять лет тому назад тетрадь, писанная рукою Акинфия Васильевича. Мы не можем себе отказать в удовольствии выписать несколько строк из этой истинно практической тетради:

«Муж и жена суть две половины одного и того же существа; но каждая из них имеет свои особенные свойства и обязанности и своим образом должна способствовать к достижению единой цели природы и общества — общей пользы:

1) Муж и жена встают в одно время. Летом тотчас идут на свежий воздух и наслаждаются природою. Ничто столько не укрепляет сил человека, нужных ему для днев-

ных трудов его, как прекрасное местоположение, освещаемое лучами восходящего солнца, когда вся природа оживает и каждый цветок поет гимн вседержителю. За этим следовало несколько стихов из Томсона, и в конце примечание: «Зимою супруги остаются в своей комнате».

2) В семь часов супруги завтракают (чай или кофе); после завтрака супруг отправляется осматривать дневные работы; к его занятиям принадлежат пашня, сад, луга, огороды, о чем подробнее описано в тетради под № 26. К хозяйству жены относится все домостройство: молочный двор, кухня, прачешная, разные домашние рукоделья, о чем подробнее описано в тетради под № 28.

3) К полдню все распоряжения должны быть кончены, и супруги собираются в столовую для второго завтрака (хлеб, масло и холодный ростбиф); а как замечено, что все животные после полудня предаются сну, из чего должно заключить, что того требует благодетельная природа, потому и супруги должны это время посвящать отдыху...»

Мы не будем более продолжать этой выписки, но можем уверить, что наши молодые прочли всю тетрадь с должным уважением и даже ни разу не улыбнулись.

Но исполнение дядюшкиных предписаний не имело такого успеха. Началось с того, что молодые в первый день с дороги проспали до полудня. От этого весь день пришел в беспорядок. Они не успели вовремя насладиться природою, пошли гулять во время общего естественного сна; завтракали в половине второго, отчего принуждены были обедать в восемь; после чего они прогуляли вплоть до полуночи и легли спать часу в третьем утра. От этого они на другой день снова проспали до полудня, и таким образом нечувствительно все дни прошли наизворот. Назначение работ приходилось в то время, когда работники отдыхали; посещение скотного двора тогда, когда все коровы были на выгоне, и так далее. Донесения приказчиков откладывались; наконец их накопилось столько, что уже прочесть их сделалось невозможным; мало-помалу английское систематическое хозяйство превратилось в обыкновенный быт русского барина, где все истребляется, поедается и выпивается, и никто ни о чем не знает и не заботится, полагаясь на православное *живет*, которое *проживает* гораздо более, нежели вся возможная роскошь.

Не мудрено, что хозяйство скоро надоело молодому графу. К тому же он и графиня невзначай заметили, что

им было скучно, что им случалось проводить целый день с глазу на глаз и промолчать; это происходило очень естественно и от очень простой причины: потому что им говорить было не о чем. Люди, у которых воображение и чувство развиты, проживут целый век и всегда найдут сказать друг другу что-нибудь новое; но нельзя же целый век говорить о лошадях или о тартинках с маслом; а оттого, что супругам не о чем было говорить, они стали друг на друга дуться; но как и дуться целый век нельзя, то они стали от скуки браниться, а наконец и это привлекательное занятие им скоро надоело. К счастию, граф нашел себе дело: в околотке было много псарных охотников; он познакомился с ними, травил лисиц и зайцев и пил за двух, по-русски и по-английски. Молодая графиня познакомилась с соседками, которые, однако ж, ужасно ей надоели и с которыми она скоро рассорилась. Графиня стала невольно вспоминать о московских гостиных, о московском театре. В этом занятии прошло лето и часть осени.

Между тем случилось небольшое происшествие, которое произвело совершенный переворот в мыслях графа. В той губернии начались выборы; несколько из поклонников графа, каких всегда много у всякого богатого человека, явились к нему с планами и рассуждениями о том, как бы для них и для их дел было приятно, а для графа почетно, если б он согласился быть предводителем их уезда. Молодому графу эта мысль очень понравилась; в ней было что-то новое, а уж ему все старое очень надоело. Он изъявил свое согласие с большим снисхождением; в голове его уже вертелись планы для преобразования всего уезда, ибо в молодом графе было нечто дядюшкино, разбавленное обыкновенною нашею беззаботностию и ленью. Скоро эта мысль овладела совершенно остатком его воображения, и звание предводителя даже грезилось ему ночью. В назначенный для выбора день граф надел мундир и явился с твердою уверенностию быть выбранным. Но каков был ему удар, когда вместо его выбрали другого! Он не мог прийти в себя от изумления.

— Что это значит? — спрашивал он то у того, то у другого, — какое преимущество имеет мой соперник? он не богаче, может быть не умнее?...

Кто отнекивался, кто отвечал обиняками, многие потихоньку смеялись над столичными жителями со всею провинциальною злостию.

— Я вам скажу, — сказал ему наконец один из соседей постарее, — виновато не дворянство, а вы. Ваш соперник человек чиновный, а вы, ваше сиятельство, извините, не имеете никакого чина.

— Никакого чина! — воскликнул граф, — никакого чина? — и поспешно уехал из собрания. Эти немногие слова открыли для него целый мир, которого существование он и не подозревал.

В самом деле, дядюшка, по своей английской системе, никак не предполагал, что его племяннику нужно будет когда-нибудь служить; он хотел образовать из него отличного агронома, то, что он называл «владельца земли», и воображал, что весьма достаточно будет графу прослужить для проформы года два и потом зажить в своем поместье наподобие английского лорда или фермера.

Нечего сказать, жизнь прекрасная, но не по нас. Владимир так привык к дядюшкину попечению обо всем, что до него ни касалось, так привык думать его мыслями, что когда дядюшка сказал ему: «невозможно служить и заниматься своими хозяйственными делами», или «владелец земли обязан посвящать всю жизнь свою улучшению своего состояния», — Владимиру не пришло в голову возражать Акинфию Васильевичу, а просто на другой же день он подал в отставку и вышел из службы в звании чиновника 14-го класса.

Происшествие на выборах сильно подействовало на молодого человека; его самолюбие, которое уже расшевелилось ожиданием предводительского места, теперь еще сильнее было взволновано; общая наша болезнь, чинолюбие, или, если угодно, честолюбие, стало мало-помалу закрадываться в его душу; уж ему казалось, что проходящие по дороге не так ему кланяются, потому что он видел, с каким почтением на выборах увивались вокруг нового предводителя, потому что он заметил, какое действие производили на окружающих кресты и звезды, не столько заметные в столицах. В эти несколько часов Владимир постарел десятью годами. «Что мне гнить в этой деревне! — говорил он сам себе, — мне надобно служить, мне надобно чинов, крестов, звезд, блеска, почестей».

Мало-помалу в уме его начались те вычисления, которые служат обыкновенным, постоянным занятием для за-

коренелых чиновников; он рассчитал, сколько лет потерял он напрасно, досадовал на дядюшку, на его английскую систему, на самого себя, на свою женитьбу, словом сказать, на все на свете.

Он возвратился домой очень не в духе. Марии также надоели соседки своими рассказами о разных провинциальных сплетнях, которые обыкновенно бывают во время выборов, — Мария также была не в духе. В этот вечер они снова побранились — за что, сами не знали, так, потому что надобно было побраниться, каждому сорвать на ком-нибудь сердце: это одна из выгод супружеского состояния.

Дело в том, что назавтра оба стали мало-помалу заговаривать о необходимости оставить деревню; но как объявить об этом желании дядюшке, который писал к ним каждую почту, напоминал им, какою полевою работою должно было заниматься в то время, толковал о важности сельского хозяйства вообще и о красоте сельской природы в особенности?..

Одно обстоятельство вывело их из затруднения: Мария сделалась беременною. Супруги не замедлили об этом уведомить дядюшку и объявить ему, что положение графини требует непременно, чтоб они переехали в Москву или Петербург.

Хотя дядюшке весьма хотелось предоставить беременность графини благотворной силе природы, но, подумав немного, он признал за лучшее согласиться на желание молодых и вместо природы вввериться хорошему акушеру; к тому же, самого его опекунские дела призывали в Петербург, — и наконец он назначил этот город местом свидания с молодыми. Молодые люди только того и ждали и решились в тот же день выехать, несмотря на распутицу. *Его* тешили мечты о чинах и крестах, ее — петербургские балы; но посреди этих веселых приготовлений они получили письмо, запечатанное черною печатью. Владимир хотел было скрыть это письмо, но Мария увидела его, и — есть ли возможность не удовлетворить любопытству женщины? В этом письме были следующие немногие слова:

«Вы теперь на верху вашего блаженства; вы скоро будете отцом и матерью; все вам удается, все исполняется по вашему желанию; но берегитесь и помните, что враг

ваш не дремлет и что всякое счастие ваше есть для него новый повод вас ненавидеть и приготовлять вам втайне всевозможное зло.

Черная Перчатка».

Это письмо поразило молодых людей; они не могли постигнуть, кто мог быть им таким закоренелым врагом. В словах «все удается» Владимир видел свою неудачу на выборах: он подозревал, не участвовала ли в этом происшествии эта досадная Перчатка; тем больше ему захотелось, что говорится, выйти в люди и своим весом задавить неотвязчивого врага. Марию мучило другое чувство: любопытство узнать, кто была эта Черная Перчатка и что могло быть причиною ее странных преследований; она надеялась в столице скорее объяснить эту загадку, нежели в своем захолустье; вы видите, что Мария сделалась также гораздо опытнее.

Как бы то ни было, все эти мысли не помешали приготовлениям их к отъезду. Они с почтением положили дядюшкину тетрадку на прежнее ее место и сели в карету, с сожалением посмотрели на окружавшую их дворню, которая плакала навзрыд, а втайне, разумеется, радовалась, что господа уезжают; некоторые из верных слуг на радости были уже вполпьяна; они плакали громче других.

После долгого странствия наши супруги въехали в Петербург, который представился им во всем своем великолепии: в дожде, слякоти, изморози — это было 1 мая.

Они нашли дядюшку уже в Петербурге. Этот человек, рожденный для беспрестанной деятельности, успел уже все им приготовить. Дом в лучшей части города, в котором даже иногда бывало солнце, мебели, всю прислугу, даже повивальную бабку и акушера — все предвидела его неутомимая заботливость. Первые дни наши молодые провели довольно скучно. Надобно было отдавать дядюшке отчет в том, чего они не делали, рассказывать о том, что их не занимало, и скрывать настоящую причину своей поездки в Петербург. От всего этого в их маленьком кругу родилась какая-то принужденность; если б они были в другом городе, дядя скоро догадался бы, что его молодые метят не в английские фермеры, а что им просто хочется, как по-русски говорится, пожить. Но петербургская жизнь, где на каждое дело дается по минуте в день, и то с изъяном, где человек походит на молотильню, которая стучит

и трещит беспрестанно, пока совсем не изломается, — в такой жизни молодым легко было избегнуть от дядюшкиной проницательности.

Скоро в этой жизни постарели наши молодые. Графиня бросилась в эту пропасть с жаждою наслаждений, шума, разнообразия, танцев, волокитства, — граф с разжженною, свежею страстью честолюбия; скоро постигнул он все тайны этого пестрого мира, скоро научился он искусству обращать на себя внимание, выжидать времени, знать, с кем познакомиться, к кому оборотиться спиной, выучился тем словам, которые бывает иногда выгодно бросить в воздух, выучился кстати купить и кстати продать, выучился немножко лгать, немножко доносить и немножко клеветать. Он не спешил, не жаловался, но, как искусный полководец, тихо проводил свои траншеи.

Роды графини прекратили на время эти занятия супругов. Дядя, до сего времени спокойный, уверенный в полном успехе своей превосходной системы, наконец начал догадываться, что от него что-то скрывают. Например, он очень удивился, когда молодой граф не умел рассказать ему баланса дебета с кредитом по тамбовской деревне, ни объяснить ему, какое действие произвел в урожаях засеянный лет десять тому назад Акинфием Васильевичем лес. Но каково было его удивление, когда однажды племянник показал ему письмо от одного значащего человека, в котором приглашали графа вступить в службу, и когда вслед за тем граф с жаром начал ему доказывать о врожденной своей склонности к дипломатической части; когда он стал по пальцам ему рассчитывать все выгоды, его ожидающие, и все это в ту самую минуту, когда Владимир готовился быть отцом, «главою домашнего государства, естественным наставником и руководителем детей своих», как говорил Акинфий Васильевич, когда акушер уже был возле комнаты графини. Акинфий Васильевич был изумлен, поражен и в первый раз в жизни потерял в голосе свою обыкновенную твердость и решительность; он даже не нашелся, что ответить молодому честолюбцу. Первый шаг был сделан.

Роды кончились благополучно, только ребенок вскоре после того умер — повивальная бабка говорила, оттого, что графиня туго шнуровалась и слишком много танцевала перед родами; но акушер говорил, что ребенок умер оттого, что не имел средств для продолжения своей жизни.

Графиня скоро оправилась. Был великий пост: балы прекратились, графиня ездила по утрам на репетиции концертов, потому что она еще не могла надевать вечернего платья. Однажды графине поутру было скучно; на дворе выл ветер, на улице такая же была метелица, как в жизни и в голове петербуржцев. Графиня никого не ожидала. Она взглянула на огромный лист афишки; какой-то удалец давал концерт, кажется, на варгане, да графине было все равно: ей хотелось только куда-нибудь выехать. Графа давно уже не было дома.

В концертной зале было мало; но графиня была одета с щегольством по привычке. Мысль, что она осиротевшая мать, что она молода, недурна собой, что она недавно освободилась от болезни, придавала графине и нравственную и физическую томность. Она кокетничала своим нездоровьем и своей горестию. Когда графиня проходила по зале, мимо нее мелькнуло лицо как будто бы ей знакомое; возле этого лица было другое, в самом деле ей знакомое. Это последнее был один из тех людей, которые, кажется, гоняются за вами повсюду, которых встречаешь везде: и на утреннем визите, и на обеде, и перед вечером, и на вечере, и даже ночью, в карете у подъезда, — люди, которые обо всем и всех спрашивают, на все и всем отвечают, которые готовы говорить даже с нашими описателями нравов, не опасаясь их глубокомысленной и тонкой наблюдательности. Этот господин, разумеется, ездил к графине. Орлиный взор его тотчас подметил знакомую даму; он не замедлил подойти к ней с обыкновенными расспросами.

— С кем вы сейчас говорили? — спросила графиня.

— Это ваш старинный знакомый, Воротынский.

— Старинный знакомый, — повторила графиня,—тому лет десять я танцевала с ним на детских балах, с тех пор я потеряла его из виду.

— Он сию минуту просил меня его вам представить... Позволите?..

— О, без сомнения.

Молодой человек подошел, старался вспомнить то, о чем давно он забыл, разные приключения детства, заметил шутя, что он и тогда уже волочился за графиней, и просил позволения продолжать. Графиня смеялась, старалась также показать, что она помнила все давно забытое, как вдруг посреди самого жаркого разговора она остановилась в невольном смущении: она заметила, что на

Воротынском были черные перчатки. Молодой человек заметил странное действие, произведенное им на Марию, и также невольно смутился; но графиня, светская женщина, тотчас опомнилась и хладнокровно спросила:

— Что значат эти черные перчатки? разве вы в трауре?

— В трауре, графиня.

— По ком?

— А на этот вопрос позвольте не отвечать: вы будете смеяться.

— Разве вы думаете, что я такого веселого нрава?

— Мне так кажется: *вы так счастливы.*

При этой фразе графиня снова было задумалась, но тотчас обратилась с новым вопросом:

— Скажите же, по ком вы в трауре?

— Если вы уже этого непременно хотите, я вам скажу, графиня, но с условием — не смеяться.

— О, полноте; я хочу непременно знать, по ком вы в трауре?

— По самом себе, — с важным видом сказал молодой человек.

Графиня захохотала.

— Разве вы умерли?

— Я вам сказал, что вы будете смеяться.

— Ваши слова или не иное что, как шутка, или они очень важны.

— И то и другое, графиня; в жизни все перемешано.

— Вы говорите о жизни, как будто вы ее знаете?

— Знаю, и очень давно.

— Вы не женаты?

— Нет.

— Так вы ничего не знаете.

Последние слова невольно сорвались с уст графини. Они оба замолчали. Не знаю, что происходило в душе молодого человека; и трудно было бы узнать: он принадлежал к числу тех людей нового поколения, которые умеют смеяться не улыбаясь и плакать без слез; которых, кажется, ничто не в состоянии ни удивить, ни тронуть — и не из притворства, а по привычке. Ни одно чувство не выходило у него наружу, ни одно движение не изменяло непонятной тайне души его. Он умел о самом горьком чувстве говорить с равнодушною улыбкою, о самом радостном с презрением, которое, казалось, заранее отвечало на все вопросы любопытных. Его обращение было, как его

одежда: просто, без всяких претензий и методически застегнуто. Он был бледен, черные кудрявые волосы оттеняли холодные, почти безжизненные черты лица его; лишь иногда какой-то минутный огонь сверкал в его глазах и потухал в ту же минуту. Горе ли было в душе его, или просто светская аристократическая привычка ничего не чувствовать, или, наконец, простая фешенебельность, — разгадать было трудно: все это так перемешано в новом поколении, которое, кажется, положило себе за правило быть загадкою для всех и, может быть, больше всего для самого себя.

На графиню он произвел удивительное впечатление. Смутно представлялось ей, что между этим новым знакомцем и Черною Перчаткою существовала какая-то связь. Ее женскому самолюбию льстила мысль, что она зародила к себе исключительную ненависть, которую тайный, едва слышный голос объяснял ей другим образом. Она страшилась и мучилась любопытством. Последнее превозмогло.

Музыка снова связала нить прервавшегося разговора. Несчастный артист, хлопотавший в оркестре, никак не ожидал, что он фальшивою нотою подаст повод к объяснению между двумя лицами, которых так долго разделяло пространство и время. Эта фальшивая нота напомнила скрипача, игравшего во время танцевальных уроков, на которых графиня и Воротынский встречались. Этот скрипач напомнил обстоятельство, о котором совсем забыла графиня, что Воротынский в своем детстве всегда носил на лице повязку. Эта повязка напомнила, что все дети чуждались бедного больного, и дала Воротынскому повод рассказать графине, как судьба его преследовала с самого детства; тут уже разговор стал цепляться за каждое слово.

Графиня до сих пор видела вокруг себя людей богатых, здоровых, краснощеких, довольных собою, для которых несчастие состояло в проигранной партии виста. Посреди этого довольства графине иногда бывало скучно, но отчего — она не понимала. Она не смела себя назвать несчастливою: выговорить это слово ей казалось странно и неприлично. Воротынский, говоря о себе, объяснил ей ее собственное чувство и смутным ощущениям ее души придал жизнь и слово. Он рассказал ей о *несчастии быть счастливым*, о несчастии быть богатым, несчастии ни в чем не нуждаться, несчастии исполнять все свои желания, несчастии прожить несколько лет в чужих краях, наконец

о тех тайных, необъяснимых несчастиях, которые тяготят душу человека с умом и чувством, как, например: несчастие слушать хорошую музыку, несчастие смотреть на хорошую картину, несчастие читать хорошие стихи, вообще несчастие жить, — словом, все эти несчастия, которые очень смешны в романах и повестях, но которые на самом деле так же существенны, которым так же невольно веришь, как и тем обстоятельствам, которые в свете исключительно пользуются названием несчастных.

Все это понимала графиня, хотя эти слова были для нее новы; она вслушивалась в них, как будущий ренегат в слова человека, обращающего его к своему расколу; часто хотела она направить разговор на предмет своего любопытства; но молодой человек умел избегать вопросов: они служили ему только ступенькой к тому, что ему хотелось высказать графине. Он искусно оставлял мысль необъясненною, слово недоговоренным — и этим средством сказал ей много такого, чего не говорил...

«Глупые читатели! — вскричал однажды аббат Гальяни, — вы читаете только то, что написано черным по белому, одне строчки; умейте читать белое по черному, умейте читать между строчками».

Воротынский обладал этим искусством в совершенстве: в пробелах между его словами были другие слова, которых он не произносил, но которые таинственный голос шептал на ухо графине.

Как бы то ни было, графиня возвратилась домой с мыслию, что она богата, молода, прекрасна, что муж ее здоровый, краснощекий мужчина, который славно ездит верхом и прекрасно боксирует, и что посему она очень, очень несчастлива. Она любила повторять себе это новое, свежее для нее слово; она старалась припоминать все происшествия своей жизни и искать их мрачную сторону; она находила, что во всех наслаждениях, которые она доселе испытывала, ей чего-то недоставало, словом, она возвратилась домой убежденною, что она очень, очень несчастлива. Графа не было дома; он прислал сказать, чтоб его не ждали к обеду. Графиня была очень рада этому; в доказательство своего несчастия она не велела себе подавать обедать, бросилась в кресла своего кабинета и принялась любоваться своим несчастием, как ребенок новою игрушкою: она брала то ту, то другую книгу — ей не читалось; роман был в ее голове — чужие ей казались сухи и холодны. В одинна-

дцать часов возвратился граф с раскрасневшимся лицом и в очень веселом расположении духа: он был на импровизированном завтраке с людьми случайными, и дела его шли очень хорошо. Граф вошел в кабинет своей жены с громким смехом и с дюжиною каламбуров, которых он набрался во время завтрака. Этот вход смутил и огорчил графиню: он нарушил ее горькое спокойствие, и когда граф бросился в постель и заснул, графиня осталась в креслах, наклонила голову на холодный мраморный столик и тихо говорила: «Как я несчастлива, как я несчастлива!»

Утренняя заря застала графиню в этом положении; тут невольно неясная мысль пробежала в ее голове; она быстро подбежала к зеркалу и с ужасом заметила, что бледность и изнеможение ее лица перешли ту ступень, на которой болезнь перестает в женщине быть интересною. Она наскоро закрутила свои длинные каштановые волосы и от страха даже почувствовала голод. Тихими шагами она прошла в столовую, потом в буфет, очень обрадовалась, когда нашла в нем забытое холодное блюдо и — увы! с большим аппетитом покушала, а потом легла в постель и започивала.

Я знаю, что некоторые из моих читателей сочтут такое поведение моей графини совершенно неприличным: героиня голодна! героиня кушает!.. Что делать! «Таков закон благодетельной природы!», как сказал бы Акинфий Васильевич. Я боюсь также, чтоб мои читатели не подумали, будто бы я смеюсь над бедной графиней, или нарочно представляю ее в смешном виде: эта мысль далека от моего воображения. Нет, я понимаю страдания графини, я верю им; эти страдания, повторяю, существенны, ибо всякое страдание может измеряться лишь организациею того существа, которого оно поражает. Нет сомнения, что насекомое, которого вся нервная система состоит из одной ниточки, мало страдает; то ли дело с человеком, которого все тело перепутано нервами? То же и в нравственном мире: у иного душа сделана из черепаховой скорлупы, колите ее сколько хотите — что ему нужды! У другого душа нежнее глазной оболочки; троньте перышком — она придет в сотрясение... Вообразите себе молодую девушку с пламенным воображением, с глубокою чувствительностию, воспитанною человеком, каков Акинфий Васильевич, для которого воспитать значило: выкормить, сделать богатым, который, как мы уже сказали, понимал все физические по-

требности жизни и ни одной сердечной, поступавший с душою словно человек, который, желая предохранить свою руку от опасности быть вывихнутою, привязал бы ее на несколько лет без движения. С графом эта операция удалась совершенно, потому что он родился безрукий; но с графиней было другое дело: долго она не участвовала почти ни в чем, что с нею ни делали; но настала минута, и то, чего недоставало в воспитании дядюшки, дополнилось само собой. Кто виноват, если это новое воспитание было навыворот обыкновенному? Первым учителем графини была скука; потом тайное чувство недовольства, темное, невыразимое; потом любопытство, возбужденное человеком в черных перчатках; потом наслаждение его слушать, или, лучше сказать, говорить его словами, словами, которых она прежде не слыхала и которые были ей сладки, как на чужбине звуки далекой родины... Не обвиняйте бедной графини, не смейтесь над нею: много было смешного в ее страдании для проходящих, но она страдала, как страдает бедное нежное животное, из южной отчизны перенесенное равнодушным ученым на холодный север, в коробке, под нумером. Насмешливая природа всякое страдание смешивает с чем-то смешным: на лице мертвого есть улыбка.

Вот два часа пополудни. По шумной улице мчатся блестящие экипажи: в великолепной гостиной солнце светит в штофные занавески; мебели расставлены в беспорядке, но с какою-то изысканностью. Зачем эта молодая женщина, одетая в богатом пеньюаре, обшитом кружевами, беспрестанно встает с своего места? отчего она то подходит к окошку, то перед зеркалом оправляет четырехугольно загнутые волосы? Она в беспокойстве, она чего-то ждет необыкновенного и потом старается себя уверить, что она покойна, что это утро похоже на вчерашнее... Но вот раздался звонок. «Воротынский», — проговорил вошедший официант. Графиня бросилась в кресла; сердце ее билось сильно, но лицо ее было спокойно и холодно. Этот визит был короток; теперь это были не люди нечаянно встретившиеся и, как члены масонской ложи, узнавшие друг друга по тайным знакам; нет, это были расчетливые торговцы, которые желают скрыть друг от друга — один тайну покупки, другой тайну продажи. Они говорили о предметах самых незанимательных; разговор прерывался

на каждой минуте, но увлекал их обоих. Через полчаса Воротынский встал; графиня сказала ему только одно слово: «au revoir j'espère» [1], — но от этих слов кровь бросилась в голову молодого человека.

У графини вечера, музыкальные утра; графиня очень любит пикники и кавалькады; во всех этих удовольствиях участвуют и молодые мужчины и молодые дамы. Граф почти всегда сопутствует жене своей, но как-то всегда остается назади возле одной молодой дамы, а графиню и Воротынского всегда уносят лошади вперед; или случается напротив: граф ускакивает вперед, а графиня остается назади; в этих случаях обыкновенно случаются маленькие несчастия; у графини разнуздывается лошадь или распускается стремя; это могло бы иметь неприятные последствия, но, к счастью, в это время бывает возле графини Воротынский, который все это приводит в порядок. Он называет себя стремянным графини — écuyer de Madame. Так называют его и другие.

Время идет, и очень весело. Прошло лето; известно, что все семена интриг сеются на петербургской почве летом, на дачах, под шум проливного дождя, цветут осенью и поспевают зимой. Искусный садовник умеет возращать это растение в одно лето; но графу, как человеку еще неопытному, надобно было больше времени. Как бы то ни было, однажды утром он приехал к своему дядюшке с объявлением о том, что он получил место в***. Дядя вздохнул и только мог промолвить:

— А имение?

— А вы, дядюшка? — отвечал молодой человек.

— Я уже стар, — отвечал дядя, — все, что я могу сделать, это постараться продать его.

— Это бы не худо, — отвечал граф, — но есть маленькое препятствие: оно заложено.

— Заложено! — воскликнул дядя, — разве ты имел в виду какую выгодную спекуляцию?..

— Да, любезный дядюшка, и которая мне совершенно удалась.

— Как я рад, любезнейший друг, — сказал дядя, — что ты обратился на путь истинный, и какой хитрец! скры-

[1] до свиданья, я надеюсь (*франц.*).

вал от меня свои расчеты. Ну, расскажи мне поскорей, в чем состоит твоя спекуляция.

— Я уж рассказал вам ее, дядюшка...

— Как, когда же? — воскликнул старик.

— А мое определение к месту?

Акинфий Васильевич повесил голову.

— Мне твоим имением заниматься нельзя, — сказал он печально, — а без хозяйского глаза все пойдет вверх дном. Впрочем, если твое имение заложено только в казну, то продать еще можно, и с выгодою.

— Да-с! — сказал граф, — но оно заложено и в казну и в частные руки.

— Дорого стоила тебе твоя спекуляция!

— Не дешево, дядюшка; хорошее даром не дается.

В другое время Акинфий Васильевич рассердился бы; но теперь он был в положении человека, нечаянно слетевшего с лестницы до последней ступени; он оторопел — все его мысли замолкли, заговорила одна природная чистота сердца, и он воскликнул:

— Быть так, без денег жить нельзя: я тебя не оставлю.

Между тем в доме графини происходила другая сцена. Графиня, в задумчивости, с слезами на глазах, сидит в креслах, а Воротынский большими шагами ходит по комнате.

— Графиня! — говорит он, — надобно на что-нибудь решиться: или вы едете с графом, и тогда мы простимся навеки, или, Мария, ты остаешься здесь!

— Остаться здесь? Но знаешь ли, Виктор, что это будет значить?

— Знаю, — отвечал он, — это будет значить, что вы разрываете все связи с своим мужем.

— И ты не боишься за меня? ты не боишься ни мнения света, ни, может быть, укоров моей совести? Ты эгоист!..

Графиня зарыдала... Но молодой человек был неумолим. На лице его, как всегда, не было видно ни улыбки, ни сожаления. Он был спокоен, как на дуэли, когда одной минутой решится участь человека.

— Мнение света! — сказал он хладнокровно, — свет не вмешивается в то, что его не оскорбляет. Он не видит того, что от него не скрывают; он любит откровенность в жизни

и любопытен только к секретам; тогда свет начинает доискиваться — и беда той женщине, про которую нечего сказать! свет сердится и наказывает невинную женщину клеветою... Надобно быть решительною в жизни, выбрать ту или другую роль: или быть жертвой сотни глупцов в золотых очках, которые будут клеветать на тебя для того только, чтоб занять свою даму во время танцев, — или сказать свету: «Я тебя презираю, не страшусь твоих толков, поступаю так, как мне велят мои чувства», — и тогда свет делается смирен, как овечка; он как будто страшится женщины, которая умеет презирать его! Выбирайте, графиня...

Графиня молчала.

— Неужели нет возможности, — сказала она наконец, — согласить эти две крайности? Я понимаю, что тебе жить в одном со мною городе невозможно; но я каждый день буду писать к тебе, ты будешь приезжать к нам...

— И ты называешь меня эгоистом, Мария? Как? мне снова ухаживать за твоим мужем, ловить на лету его глупости, давать им умный смысл и потом подносить ему в виде комплиментов? этою низкою лестью покупать счастье видеть тебя изредка, пополам со страхом? Нет, Мария, жизнь коротка; и без того она наполнена горечью; зачем натыкаться на страданья, когда одним решительным словом можно упрочить свое счастье? Ты сама не каждую ли минуту проклинаешь день своего замужества, не каждую ли минуту боишься, чтоб какая-нибудь нечаянность не прервала наших редких свиданий?..

— Все это так, — отвечала Мария, — но совесть, совесть! ты забыл о ней.

Воротынский вспыхнул, но лицо его даже не покраснело; он хладнокровно взял шляпу и с улыбкой сказал:

— Что касается до совести, то на эту задачу я советую попросить объяснения у его сиятельства, который так жестокосерд, что лишает нашу сцену одной из лучших танцовщиц.

С сими словами он хотел уйти. Графиня схватила его за руку:

— Что ты говоришь, Виктор?

— Вы знаете, — отвечал он, — что я говорю всегда правду, и всем, кроме вашего мужа, когда уверяю его, что

он очень остроумен. Госпожа*** отправляется, если не с вами, нежная чета, то по крайней мере вслед за вами.

Мария бросилась в кресла; Воротынский удалился.

Однажды Акинфий Васильевич, очень встревоженный, вошел в кабинет молодого графа, которого окружали чемоданы, ларчики и все принадлежности дороги.

— Что это значит? — сказал Акинфий Васильевич, — ты жену свою оставляешь здесь?

— Она сама этого желает, — отвечал граф с замешательством. — К тому же, любезнейший дядюшка, я вам должен признаться, что нам обоим будет полезно разлучиться, разумеется на некоторое время.

— Я тебя не понимаю...

— Видите, дядюшка, — продолжал граф, — мне совестно вам признаться, но нас обоих беспокоят эти странные письма, в которых неизвестный человек грозит нам бедствием, если мы останемся вместе: вы знаете, как опасны тайные враги...

— Кто же это? — воскликнул дядя.

— Черная Перчатка.

— Черная перчатка? Боже мой! знаешь ли ты, что эта Черная Перчатка был не кто иной, как я.

— Как? вы? — вскричал молодой человек.

— Да, мой друг; я счел нужным употребить эту маленькую хитрость. Когда вы женились, я боялся одного, что вы слишком будете счастливы; а как совершенное счастие противно природе, я боялся, что ваше счастие скоро вам наскучит. Я выискивал средства, как бы вам навлечь маленькое беспокойство, которое бы заставляло вас бояться друг за друга и теснее бы укрепило связь между вами.

Молодой граф едва мог удержаться от смеха. Акинфий Васильевич продолжал:

— В это время меня уговорили прочитать роман Вальтера Скотта, а именно «Редгонтлет»; там одна сцена, где девушка из партии якобитов бросает перчатку рыцарю английского короля, дала мне мысль бросить перчатку в вашу спальню с письмом моего изобретения. Теперь ты видишь, что нет никакой причины твоей жене оставаться здесь.

— Благодарю вас, дядюшка: вы нас избавили от большого беспокойства; но все-таки графине со мной ехать нельзя. Вы заметили, как испортилось ее здоровье?

— Нет, я этого не заметил.

— О, как же! — возразил граф, — с ней беспрестанно делается дурнота, и доктора решительно сказали, что всякое движение ей будет очень вредно.

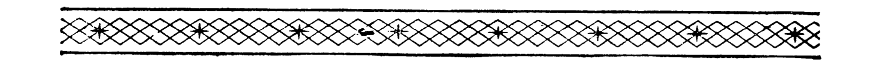
— Кроме танцев, — печально заметил дядюшка.

— Да... танцы, — сказал граф, — для развлечения; но вообразите себе длинный путь, дурные дороги; если б у нас были, как в Англии, везде шоссе, тогда другое дело... Вы понимаете?

— Понимаю, все понимаю, — отвечал печально старик. Он видел ясно, что все его планы для счастия его питомцев расстроены, но не мог себя упрекнуть ни в чем. Он устроил их имение, доставил им богатство, упрочил их телесное здоровье, тщательно хранил их от всех порывов того, что он называл воображением, от всего, что могло приводить в движение ум и чувство, и никак не мог растолковать себе, отчего не удалось ему его систематическое на *практических* правилах основанное воспитание?

Чем же все кончилось? Акинфий Васильевич поехал по деревням заниматься хозяйством и восхищаться природою. Граф поехал в*** к своему месту, и не один. Графиня осталась в Петербурге.





СИЛЬФИДА

(Из записок благоразумного человека)

Посв. Анас. Серг. П-вой

Поэта мы увенчаем цветами и выведем его вон из города.

Платон.

Три столба у царства: поэт, меч и закон.

Предания северных бардов.

Поэты будут употребляться лишь в назначенные дни для сочинения гимнов общественным постановлениям.

Одна из промышленных компаний XVIII века.

!?!?

XIX век.

ПИСЬМО I

Наконец я в деревне покойного дядюшки. Пишу к тебе, сидя в огромных дедовских креслах, у окошка; правда, перед глазами у меня вид не очень великолепный: огород, две-три яблони, четвероугольный пруд, голое поле — и только; видно, дядюшка был не большой хозяин; любопытно знать, что́ же он делал, проживая здесь в продолжение пятнадцати лет безвыездно. Неужли он, как один из моих соседей, встанет поутру рано, часов в пять, напьется чаю и сядет раскладывать гранпасьянс вплоть до обеда; отобедает, ляжет отдохнуть и опять за гранпасьянс вплоть до ночи; так проходят 365 дней. Не понимаю.

Спрашивал я у людей: чем занимался дядюшка? Они мне отвечали: «Да *так-с*». Мне этот ответ чрезвычайно нравится. Такая жизнь имеет что-то поэтическое, и я надеюсь вскоре последовать примеру дядюшки; право, умный был человек, покойник!

В самом деле, я здесь по крайней мере хладнокровнее, нежели в городе, и доктора очень умно сделали, отправив меня сюда; они, вероятно, сделали это для того, чтоб сбыть меня с рук; но, кажется, я их обману: сплин мой, подивись, почти прошел; напрасно думают, что рассеянная жизнь может лечить больных в моем роде; неправда: светская жизнь бесит, книги также бесят, а здесь, вообрази себе мое счастие, — я почти никого не вижу, и со мной нет ни одной книги! этого счастия описать нельзя — надобно испытать его. Когда книга лежит на столе, то невольно протягиваешь к ней руку, раскрываешь, читаешь; начало тебя заманивает, обещает золотые горы, — подвигаешься дальше, и видишь одни мыльные пузыри, ощущаешь то ужасное чувство, которое испытали все ученые от начала веков до нынешнего года включительно: искать и не находить! Это чувство мучило меня с тех пор, как я начал себя помнить, и я ему приписываю те минуты сплина, которые докторам угодно приписывать желчи.

Однако ж не думай, чтоб я жил совершенно отшельником: по древнему обычаю, я, как новый помещик, сделал визиты всем моим соседям, которых, к счастию, немного; говорил с ними об охоте, которой терпеть не могу, о земледелии, которого не понимаю, и об их родных, о которых сроду не слыхивал. Но все эти господа так радушны, так гостеприимны, так чистосердечны, что я их от души полюбил; ты не можешь себе представить, как меня прельщает их полное равнодушное невежество обо всем, что происходит вне их уезда; с каким наслаждением я слушаю их невероятные суждения о единственном нумере «Московских ведомостей», получаемом на целый уезд; в этом нумере, для предосторожности обвернутом в обойную бумагу, читается по очереди все, от привода лошадей в столицу до ученых известий включительно; первые, разумеется, читаются с любопытством, а последние для смеха, который я разделяю с ними от чистого сердца, хотя по другой причине; за то пользуюсь всеобщим уважением. Прежде они меня боялись и думали, что я, как приезжий из столицы, буду им

читать лекции о химии или плодопеременном хозяйстве; но когда я им высказал, что, по моему мнению, лучше ничего не знать, нежели знать столько, сколько знают наши ученые, что ничто столько не противно счастию человека, как много знать, и что невежество никогда еще не мешало пищеварению, тогда они ясно увидели, что я добрый малый и прекраснейший человек, и стали мне рассказывать свои разные шутки над теми умниками, которые назло рассудку заводят в своих деревнях картофель, молотильни, крупчатки и другие разные вычурные новости; умора, да и только! И поделом этим умникам — об чем они хлопочут? Которые побойчее, те из моих новых друзей рассуждают и о политике; всего больше их тревожит турецкий султан по старой памяти, и очень их занимает распря у Тигил-Бузи с Гафис-Бузи; также не могут они добраться, отчего Карла X начали называть Дон-Карлосом... Счастливые люди! Мы спасаемся от омерзения, которое наводит на душу политика, искусственным образом, то есть отказываемся читать газеты, а они самым естественным — то есть читают и не понимают...

Истинно, смотря на них, я более и более уверяюсь, что истинное счастие может состоять только в том, чтоб все знать или ничего не знать, и как первое до сих пор человеку невозможно, то должно избрать последнее. Я эту мысль в разных видах проповедую моим соседям: она им очень по сердцу; а меня очень забавляет то умиление, с которым они меня слушают. Одного они не понимают во мне: как я, будучи *прекраснейшим* человеком, не пью пунша и не держу у себя псовой охоты: но надеюсь, что они к этому привыкнут и мне удастся, хотя в нашем уезде, убить это негодное просвещение, которое только выводит человека из терпения и противится его внутреннему, естественному влечению: сидеть склавши руки... Но к черту философия! она умеет вмешаться в мысли самого животного человека... Кстати о животных; у иных из моих соседей есть прехорошенькие дочки, которых, однако ж, нельзя сравнить с цветами, а разве с огородной зеленью, — тучные, полные, здоровые — и слова от них не добьешься. У одного из ближайших моих соседей, очень богатого человека, есть дочь, которую, кажется, зовут Катенькой и которую можно бы почесть исключением из общего правила, если б она также не имела привычки прижимать язычок к зубам и краснеть при каждом слове,

которое ей скажешь. Я бился с нею около получаса и до сих пор не могу решить, есть ли ум под этою прекрасною оболочкою, а эта оболочка в самом деле прекрасна. В ее полузаспанных глазках, в этом носике, вздернутом кверху, есть что-то такое милое, такое ребяческое, что невольно хочется расцеловать ее. Мне очень *желательно*, как здесь говорят, заставить заговорить эту куколку, и я приготовляюсь в будущее свидание начать разговор хоть словами несравненного Ивана Федоровича Шпоньки: «*летом-с бывает очень много мух*» [1], — и посмотрю, не выйдет ли из этого разговора нечто продолжительнее беседы Ивана Федоровича с его невестою.

Прощай. Пиши ко мне чаще; но от меня ожидай писем очень редко; мне очень весело читать твои письма, но едва ли не столь же весело не отвечать на них.

ПИСЬМО II

(Два месяца спустя после первого)

Говори теперь о твердости духа человеческого! Давно ли я радовался, что со мною нет ни одной книги; но не прошел месяц, как мне взгрустнулось по книгам. Началось тем, что соседи мои надоели мне до смерти; правду ты мне писал, что я напрасно сообщаю им мои иронические замечания об ученых и что мои слова, возвышая их глупое самолюбие, еще больше сбивают их с толка. Да! я уверился, мой друг: невежество не спасенье. Я скоро здесь нашел все те же страсти, которые меня пугали между людьми так называемыми образованными, то же честолюбие, то же тщеславие, та же зависть, то же корыстолюбие, та же злоба, та же лесть, та же низость, только с тою разницею, что все эти страсти здесь сильнее, откровеннее, подлее, — а между тем предметы мельче. Скажу более: человека образованного развлекает самая его образованность, и душа его по крайней мере не каждую минуту своего существования находится в полном унижении; музыка, картина, выдумка роскоши—все это отнимает у него время на низости... Но моих друзей страшно узнать поближе: эгоизм проникает, так сказать, весь состав их; обмануть в покупке, выиграть неправое дело, взять

[1] Гоголь. (*Прим. В. Ф. Одоевского.*)

взятку — считается не втихомолку, но прямо, открыто, делом умного человека; ласкательство к человеку, из которого можно извлечь пользу, — долгом благовоспитанного человека; долголетняя злоба и мщение — естественным делом; пьянство, карточная игра, разврат, какой никогда в голову не войдет человеку образованному, — невинным, позволенным отдыхом. И между тем они несчастливы, жалуются и проклинают жизнь свою. Как и быть иначе! Вся эта безнравственность, все это полное забвение человеческого достоинства переходит от деда к отцу, от отца к сыну в виде отеческих наставлений и примера и заражает целые поколения. Я понял, наблюдая вблизи этих господ, отчего безнравственность так тесно соединена с невежеством, а невежество с несчастием: християнство недаром призывает человека к забвению здешней жизни; чем более человек обращает внимания на свои вещественные потребности, чем выше ценит все домашние дела, домашние огорчения, речи людей, их обращение в отношении к нему, мелочные наслаждения — словом, всю мелочь жизни, — тем он несчастливее; эти мелочи становятся для него целию бытия; для них он заботится, сердится, употребляет все минуты дня, жертвует всею святынею души, и так как эти мелочи бесчисленны, душа его подвергается бесчисленным раздражениям; характер портится; все высшие, отвлеченные, успокоивающие понятия забываются; терпимость, эта высшая из добродетелей, исчезает, — и человек невольно становится зол, вспыльчив, злопамятен, нетерпящ; внутренность души его становится адом. Примеры этого мы видим ежедневно: человек всегда беспокойный, не нарушили ль в отношении к нему уважения или приличий; хозяйка дома, вся погруженная в смотрение за хозяйством; ростовщик, беспрестанно занятый учетом процентов; чиновник, в канцелярском педантизме забывающий истинное назначение службы; человек в низких расчетах забывающий свое достоинство, — посмотрите на этих людей в их домашнем кругу, в сношении с подчиненными — они ужасны: жизнь их есть беспрерывная забота, никогда не достигающая своей цели, ибо они столько пекутся о средствах для жизни, что жить не успевают! Вследствие этих печальных наблюдений над моими деревенскими друзьями я заперся и не велел никого из них пускать к себе. Оставшись один, я побродил по комнате, посмотрел несколько раз на свой

четвероугольный пруд, попробовал было срисовать его; но ты знаешь, что карандаш мне никогда не давался: трудился, трудился — вышла гадость; принялся было за стихи — вышел, по обыкновению, скучный спор между мыслями, стопами и рифмами; я даже было запел, хотя никогда не мог наладить и di tanti palpiti [1] — и наконец, увы! призвал старого управителя покойного моего дядюшки и невольно спросил у него: «Да неужели у дядюшки не было никакой библиотеки?» Седой старичок низко мне поклонился и отвечал: «Нет, батюшка; такой у нас никогда не бывало». — «Да что же такое, — спросил я, — в этих запечатанных шкапах, которые я видел на мезонине?» — «Там, батюшка, лежат книги; по смерти дядюшки вашего тетушка изволила запечатать эти шкафы и отнюдь не приказывала никому трогать». — «Открой их».

Мы взошли на мезонин; управитель отдернул едва державшиеся восковые печати — шкап открыт, и что я увидел? Дядюшка, чего я до сих пор не подозревал, был большим мистиком. Шкапы были наполнены сочинениями Парацельсия, графа Габалиса, Арнольда Виллановы, Раймонда Луллия и других алхимиков и кабалистов. Я даже заметил в шкапу остатки некоторых химических снарядов. Покойный старик, верно, искал философского камня... проказник! и как он умел сохранять это в секрете!

Нечего было делать; я принялся за те книги, которые нашлись, и теперь, вообрази себе меня, человека в XIX веке, сидящего над огромными фолиантами и со всеусердием читающего рассуждение: о первой материи, о всеобщем электре, о душе солнца, о северной влажности, о звездных духах и о прочем тому подобном. Смешно, и скучно, и любопытно. За этими хлопотами я почти позабыл о моей соседке, хотя ее батюшка (один порядочный, хотя и скучный, человек из всего уезда) часто у меня бывает и очень за мною ухаживает; все, что я ни слышу об ней, все показывает, что она, как называли в старину, предостойная девица, то есть имеет большое приданое; между тем я слышал стороною, что она делает много добра, на-

---

[1] *Буквально*: с волнением, с трепетом *(итал.)*.

пример выдает замуж бедных девушек, дает им денег на свадьбу и часто усмиряет гнев своего отца, очень вспыльчивого человека; все окрестные жители называют ее ангелом — это не по-здешнему. Впрочем, эти девушки всегда имеют большую склонность выдавать замуж, если не себя, так других. Отчего бы это?..

ПИСЬМО III

(Два месяца спустя)

Ты, я чаю, думаешь, что я не только влюбился, но даже женился, — ты ошибаешься. Я занят совсем другим делом; я пью — и знаешь ли что? чего не выдумает безделье! я пью — воду... Не смейся: надобно знать, какую воду. Роясь в библиотеке моего дядюшки, я нашел рукописную книгу, в которой содержались разные рецепты для вызывания элементарных духов. Многие из них были смешны до крайности; тут требовалась печенка из белой вороны, то стеклянная соль, то алмазное дерево, и по бо́льшей части все составы были таковы, что их не отыщешь ни в одной аптеке. Между прочими рецептами я нашел следующий: «Элементарные духи, — говорит автор, — очень любят людей, и довольно со стороны человека малейшего усилия, чтоб войти в сношение с ними; так, например, для того чтоб видеть духов, носящихся в воздухе, достаточно собрать солнечные лучи в стеклянный сосуд с водою и пить ее каждый день. Этим таинственным средством дух солнца будет мало-помалу входить в человека, и глаза его откроются для нового мира. Кто же решится обручиться с ними посредством одного из благородных металлов, тот постигнет самый язык стихийных духов, их образ жизни, и его существование соединится с существованием избранного им духа, который даст ему познание о таких таинствах природы... но более мы говорить не смеем... Sapienti sat... [1] здесь и без того много, много уже сказано для просветления ума твоего, любезный читатель», — и проч. и проч. Этот способ показался мне столько простым, что я вознамерился испытать его, хоть для того, чтобы иметь право похвастаться, что я на себе испытал кабалистическое таинство. Я вспомнил было ундину, кото-

[1] Для понимающего достаточно *(лат.)*.

рая так утешала меня в ребячестве; но, не желая иметь дела с ее дядюшкою, я пожелал видеть сильфиду; с этою мыслию — чего не делает безделье? — бросил бирюзовый перстень в хрустальную вазу с водою, выставил эту воду на солнце, к вечеру, ложась спать, ее выпиваю, и до сих пор я нахожу, что по крайней мере это очень здорово; еще никакой элементарной силы я не вижу, а только сон мой сделался спокойнее.

Знаешь ли, что я не перестаю читать моих кабалистов и алхимиков, и знаешь ли, что я еще скажу тебе: эти книги для меня весьма занимательны. Как милы, как чистосердечны их сочинители: «Наше дело, — говорят они, — очень просто: женщина, не оставляя своего веретена, может совершить его, — умей только понимать нас». — «Я видел, — говорит один, — при мне это было, когда Парацельсий превратил одиннадцать фунтов свинца в золото». — «Я сам, — говорит другой, — я сам умею извлекать из природы первоначальную материю, и сам посредством ее могу легко превращать все металлы один в другой по произволению». — «Прошлого года, — говорит третий, — я сделал из глины очень хороший яхонт», — и проч. У всякого после этого откровенного признания следует краткая, но исполненная жизни молитва. Для меня необыкновенно трогательно это зрелище: человек говорит с презрением о том, что они называют ученостию профанов, то есть нас; с гордою самоуверенностию достигает или думает достигнуть до последних пределов человеческой силы — и на сей высокой точке смиряется, произнося благодарную, простосердечную молитву всевышнему. Невольно веришь знанию такого человека; один невежда может быть атеистом, как один атеист невеждою. Мы, гордые промышленники XIX века, мы напрасно пренебрегаем этими книгами и даже не хотим знать о них. Посреди разных глупостей, показывающих младенчество физики, я нашел много мыслей глубоких; многие из этих мыслей могли казаться ложными в XVIII веке, но теперь большая часть из них находит себе подтверждение в новых открытиях: с ними то же случилось, что с драконом, которого тридцать лет тому почитали существом баснословным и которого теперь отыскали налицо, между допотопными животными. Скажи, должны ли мы теперь сомневаться в возможности превращать свинец в золото с тех пор, как мы нашли способ творить воду, которую так долго почитали первоначальною стихиею?

Какой химик откажется от опыта разрушить алмаз и снова восстановить его в первобытном виде? А чем мысль делать золото смешнее мысли делать алмазы? Словом, смейся надо мною как хочешь, но я тебе повторяю, что эти позабытые люди достойны нашего внимания; если нельзя во всем им верить, то, с другой стороны, нельзя сомневаться, что их сочинения не намекают о таких знаниях, которые теперь потерялись и которые бы не худо снова найти; в этом ты уверишься, когда я тебе пришлю выписку из библиотеки моего дядюшки.

ПИСЬМО IV

В последнем моем письме я забыл тебе написать именно то, для чего я начал его. Дело в том, что я нахожусь, мой друг, в странном положении и прошу у тебя совета: я писал к тебе уже несколько раз о Катеньке, дочери моего соседа; мне наконец удалось заставить говорить ее, и я узнал, что она не только имеет природный ум и чистое сердце, но еще совсем неожиданное качество: а именно — она влюблена в меня по уши. Вчера приехал ко мне отец ее и рассказал мне то, о чем я слышал только мельком, препоручая все мои дела управителю; у нас производится тяжба об нескольких тысячах десятинах леса, которые составляют главный доход моих крестьян; эта тяжба длится уже более тридцати лет, и если она кончится не в мою пользу, то мои крестьяне будут совершенно разорены. Ты видишь, что это дело очень важное. Сосед мой рассказал мне его с величайшими подробностями и кончил предложением помириться; а чтоб мир этот был прочнее, то он дал мне очень тонко почувствовать, что ему бы очень хотелось иметь во мне зятя. Это была совершенно водевильная сцена, но она заставила меня задуматься. Что, в самом деле? молодость моя уже прошла, великим человеком мне не бывать, все мне надоело; Катя девушка премилая, послушлива, неговорливая; женившись на ней, я кончу глупую тяжбу и сделаю хоть одно доброе дело в жизни: упрочу благосостояние людей, мне подвластных; одним словом, мне очень хочется жениться на Кате, зажить степенным помещиком, поручить жене управление всеми делами, а самому по целым дням молчать и курить трубку. Ведь это рай, не правда ли?.. Все это вступление

к тому, что, как бы сказать тебе, что я уже решился жениться, но еще не говорил об этом отцу Кати, и не буду говорить, пока не дождусь от тебя ответа на следующие вопросы: как ты думаешь, гожусь ли я быть женатым человеком? спасет ли меня от сплина жена, которая, не забудь, имеет привычку по целым дням не говорить ни слова и, следственно, не имеет никакого средства надоесть мне? одним словом, должно ли еще мне подождать, пока из меня выйдет что-нибудь новое, неожиданное, оригинальное, или просто, как говорится, я уже кончил свой карьер, и мне остается заботиться только о том, чтоб из моей особы можно было сделать как можно больше спермацета? Ожидаю от тебя ответа с нетерпением.

ПИСЬМО V

Благодарю тебя, мой друг, за твою решительность, твои советы и за благословение; едва я получил твое письмо, как поскакал к отцу моей Кати и сделал формальное предложение. Ежели б ты видел, как Катя обрадовалась, покраснела; она даже мне проговорила следующую фразу, в которой вылилась вся чистая и невинная душа ее: «Я не знаю, — сказала она мне, — удастся ли мне это, но я постараюсь сделать вас столько счастливым, как я сама буду счастлива». Эти слова очень просты, но если б ты слышал, с каким выражением они были сказаны; ты знаешь, что часто в одном слове больше скрывается чувства, нежели в длинной речи; в Катиных словах я видел целый мир мыслей: они должны были ей дорого стоить, и я умел оценить всю силу, которую дала ей любовь, чтоб превозмочь девическую робость. Действия человека важны по сравнению с его силами, а я до сих пор думал, что превозмочь робость было свыше сил Кати... После этого, ты можешь себе представить, что мы обнялись, поцеловались, старик расплакался, и по окончании поста мы веселым пирком да и за свадебку. Приезжай ко мне непременно, брось все свои дела — я хочу, чтоб ты был свидетелем моего, как говорят, счастия; приезжай хоть для курьеза, посмотреть на жениха с невестою, каких ты, верно, никогда не видывал: сидят друг против друга, смотрят обоими глазами, оба молчат и оба очень довольны.

ПИСЬМО VI

(Несколько недель спустя)

Не знаю, как начать мне мое письмо; ты меня почтешь сумасшедшим; ты будешь смеяться, бранить меня... Все позволяю; позволяю даже мне не верить; но я не могу сомневаться в том, что я видел и что вижу всякий день собственными глазами. Нет! не все вздор в рецептах моего дядюшки. Действительно, это остаток от древних таинств, которые доныне существуют в природе, и мы многого еще не знаем, многое забыли и много истин почитаем за бредни. Вот что со мной случилось: читай и удивляйся! Мои разговоры с Катею, как ты легко можешь себе представить, не заставили меня забыть о моей вазе с солнечною водою; ты знаешь, любознательность, или, просто сказать, любопытство есть основная моя стихия, которая мешается во все мои дела, их перемешивает и мне жить мешает; мне от нее ввек не отделаться; все что-то манит, все что-то ждет вдали, душа рвется, страждет — и что же?.. Но обратимся к делу. Вчера вечером, подошед к вазе, я заметил в моем перстне какое-то движение. Сначала я подумал, что это был оптический обман и, чтоб удостовериться, взял вазу в руки; но едва я сделал малейшее движение, как мой перстень рассыпался на мелкие голубые и золотые искры, они потянулись по воде тонкими нитями и скоро совсем исчезли, лишь вода сделалась вся золотою с голубыми отливами. Я поставил вазу на прежнее место, и снова мой перстень слился на дне ее. Признаюсь тебе, невольная дрожь пробежала у меня по телу; я призвал человека и спросил его, не замечает ли он чего в моей вазе; он отвечал, что нет. Тогда я понял, что это странное явление было видимо только для одного меня. Чтоб не подать повода человеку смеяться надо мною, я отпустил его, заметив, что мне вода показалась нечистою. Оставшись один, я долго повторял свой опыт, размышляя над этим странным явлением. Я несколько раз переливал воду из одной вазы в другую: всякий раз то же явление повторялось с удивительною точностию — и между тем оно не изъяснимо никакими физическими законами. Неужли в самом деле это правда? Неужли мне суждено быть свидетелем этого странного таинства? Оно мне кажется столько

важно, что я намерен его исследовать до конца. Я больше прежнего принялся за мои книги, и теперь, когда самый опыт совершился пред моими глазами, все более и более мне делается понятным сношение человека с другим, недоступным миром. Что будет далее!..

ПИСЬМО VII

Нет, мой друг, ты ошибся и я также. Я предопределен быть свидетелем великого таинства природы и возвестить его людям, напомнить им о той чудесной силе, которая находится в их власти и о которой они забыли; напомнить им, что мы окружены другими мирами, до сих пор им неизвестными. И как просты все действия природы! Какие простые средства употребляет она для произведения таких дел, которые изумляют и ужасают человека! Слушай и удивляйся.

Вчера, погруженный в рассматривание моего чудесного перстня, я заметил в нем снова какое-то движение: смотрю — поверх воды струятся голубые волны, и в них отражаются радужные опаловые лучи; бирюза превратилась в опал, и от него поднималось в воду как будто солнечное сияние; вся вода была в волнении; били вверх золотые ключи и рассыпались голубыми искрами. Тут было соединение всех возможных красок, которые то сливались бесчисленными оттенками, то ярко отделялись. Наконец радужное сияние исчезло, и бледный зеленоватый цвет заступил его место; по зеленоватым волнам потянулись розовые нити, долго переплетались между собою и слились на дне сосуда в прекрасную, пышную розу — и все утихло: вода сделалась чиста, лишь лепестки роскошного цветка тихо колебались. Так уже прошло несколько дней; с тех пор каждый день рано поутру я встаю, подхожу к моей таинственной розе и ожидаю нового чуда; но тщетно — роза цветет спокойно и лишь наполняет всю мою комнату невыразимым благоуханием. Я невольно вспомнил читанное мною в одной кабалистической книге о том, что стихийные духи проходят все царства природы прежде, нежели достигнут своего настоящего образа. Чудно! чудно!

(Чрез несколько дней)

Сегодня я подошел к моей розе и в средине ее заметил что-то новое... Чтоб лучше рассмотреть ее, я поднял вазу и снова решился перелить ее в другую; но едва я привел ее в движение, как опять от розы потянулись зеленые и розовые нити и полосатою струею перелились вместе с водою, и снова на дне вазы явился мой прекрасный цветок; все успокоилось, но в средине его что-то мелькало: листы растворились мало-помалу, и — я не верил глазам моим! — между оранжевыми тычинками покоилось, — поверишь ли мне? — покоилось существо удивительное, невыразимое, неимоверное — словом, женщина, едва приметная глазу! Как описать мне тебе восторг, смешанный с ужасом, который я почувствовал в эту минуту! Эта женщина была не младенец; представь себе миньятюрный портрет прекрасной женщины в полном цвете лет, и ты получишь слабое понятие о том чуде, которое было перед моими глазами; небрежно покоилась она на своем мягком ложе, и ее русые кудри, колеблясь от трепетания воды, то раскрывали, то скрывали от глаз моих ее девственные прелести. Она, казалось, была погружена в глубокий сон, и я, жадно вперив в нее глаза, удерживал дыхание, чтоб не прервать ее сладкого спокойствия.

О, теперь я верю кабалистам; я удивляюсь даже, как прежде я смотрел на них с насмешкою недоверчивости. Нет, если существует истина на сем свете, то она существует только в их творениях! Я теперь только заметил, что они не так, как наши обыкновенные ученые: они не спорят между собою, не противоречат друг другу; все говорят про одно и то же таинство; различны лишь их выражения, но они понятны для того, кто вникнул в таинственный смысл их... Прощай. Решившись исследовать до конца все таинства природы, я прерываю сношения с людьми; другой, новый, таинственный мир для меня открывается; я лишь для потомства сохраню историю моих открытий. Так, мой друг, я предназначен к великому в этой жизни!..

ПИСЬМО ГАВРИЛА СОФРОНОВИЧА РЕЖЕНСКОГО К ИЗДАТЕЛЮ

Милостивый государь!

Извините меня, что хотя я лично не имею чести быть с вами знакомым, но, по сведению о тесной вашей дружбе с Михаилом Платоновичем, решаюсь беспокоить вас письмом моим. Вам, конечно, небезызвестно, что у меня с покойным его дядюшкою, по коем он ныне находится законным наследником, имелась тяжба о значительном количестве строевого и дровяного леса. Почувствовав склонность к старшей дочери моей Катерине Гавриловне, ваш приятель предложил мне себя в зятья, на что я, как вам известно, изъявил свое согласие; впоследствии чего, надеясь на обоюдную пользу, я остановил ход сего дела; но ныне нахожусь в крайнем недоумении. Вскоре после обручения, когда и повестки были ко всем знакомым разосланы, и приданое дочери моей окончательно приготовлено, и все бумаги нужные к сему очищены, Михаил Платонович вдруг прекратил ко мне свои посещения. Полагая сему причиною случившееся нездоровье, я посылал к нему человека, а наконец и сам, несмотря на свою дряхлость, к нему отправился. Неприлично, да и обидно мне показалось напоминать ему о том, что он забыл свою невесту; а он хоть бы извинился! только что рассказывал мне о каком-то важном деле, им предпринятом, которое ему должно кончить до свадьбы и которое в продолжение некоторого времени требует его неусыпного внимания и надзора. Я полагал, что он хочет завести поташный завод, о котором он прежде поговаривал; думал я, что он хочет удивить меня и припасти для меня свадебный подарок, показав на опыте, что он может заниматься чем-нибудь дельным, по причине того, что я его часто журил за его пустодомство; однако же я никаких приготовлений для такого завода не заметил и ныне не вижу. Я положил было посмотреть, что дальше будет, как вчера, к величайшему моему удивлению, узнал, что он заперся и никого к себе не пускает, даже кушанье ему подают в окошко. Тут мне пришла, милостивый государь, престранная мысль в голову. Покойный дядя его жил в этом же доме и слыл в нашем уезде чернокнижником; я, сударь, сам некогда учился в университете; хотя немного поотстал, но чернокнижию не верю; однако же мало ли что может

причиниться человеку, особливо такому философу, как ваш приятель! Что же наиболее уверяет меня в том, что с Михаилом Платоновичем случилось что-то недоброе, — это слух, дошедший до меня стороною, будто бы он сидит по целым дням и смотрит на графин с водою. В таковых обстоятельствах, милостивый государь, обращаюсь к вам с покорнейшею просьбою — немедленно поспешить вашим сюда приездом для вразумления Михаила Платоновича, по вашему к нему участию, дабы и я мог знать, чего мне держаться: снова ли начать тяжбу, или покончить решенное дело; ибо сам я, после нанесенной мне вашим приятелем обиды, к нему в дом не поеду, хотя Катя и с горькими слезами меня о том упрашивает.

В надежде скорого свидания с вами, честь имею быть, и проч.

РАССКАЗ

Получив это письмо, я счел долгом прежде всего обратиться к знакомому мне доктору, очень опытному и ученому человеку. Я показал ему письма моего приятеля, рассказал его положение и спросил его, понимает ли он что-нибудь во всем этом?.. «Все это очень понятно, — сказал мне доктор, — и совсем не ново для медика... Ваш приятель просто с ума сошел...» — «Но перечтите его письма, — возразил я, — есть ли в них малейший признак сумасшествия? отложите в сторону странный предмет их, и они покажутся хладнокровным описанием физического явления...»

«Все это понятно... — повторил медик. — Вы знаете, что мы различаем разные роды сумасшествий — vesanix [1]. К первому роду относятся все виды бешенства — это не касается до вашего приятеля; второй род содержит в себе: во-первых, расположение к призракам — hallucinationes; [2] во-вторых, уверенность в сообщении с духами — demonomania [3]. Очень понятно, что ваш приятель, от природы склонный к ипохондрии, в деревне, один, без всяких рассеянностей, углубился в чтение всякого вздора; это чтение подействовало на его мозговые нервы; нервы...»

---

[1] видения *(лат.)*.
[2] галлюцинации *(лат.)*.
[3] демономания *(лат.)*.

Долго еще объяснял мне доктор, каким образом человек может быть в полном разуме и между тем сумасшедшим, видеть то, чего он не видит, слышать, чего не слышит. К чрезвычайному сожалению, я не могу сообщить этих объяснений читателю, потому что я в них ничего не понял; но, убежденный доводами доктора, я решился пригласить его ехать со мною в деревню моего приятеля.

Михайло Платонович лежал в постели, худой, бледный; в продолжение нескольких дней он уже не принимал никакой пищи. Когда мы подошли, он не узнал нас, хотя глаза его были открыты; в них горел какой-то дикий огонь; на все наши слова он не отвечал нам ни слова... На столе лежали исписанные листы бумаги — я мог разобрать в них лишь некоторые строки, вот они:

ОТРЫВКИ ИЗ ЖУРНАЛА МИХАИЛА ПЛАТОНОВИЧА

— Кто ты?

— У меня нет имени — оно мне не нужно...

— Откуда ты?

— Я твоя — вот все, что я знаю; тебе я принадлежу, и никому другому... но зачем ты здесь? как здесь душно и холодно! У нас веет солнце, звучат цветы, благоухают звуки... за мной... за мной!.. как тяжела твоя одежда — сбрось, сбрось ее... а еще далеко, далеко до нашего мира... но я не оставлю тебя! Как все мертво в твоем жилище... все живое покрыто хладною оболочкой: сорви, сорви ее!

...Так здесь ваше знание?.. Здесь ваше искусство?.. вы отделяете время от времени и пространство от пространства, желание от надежды, мысль от ее исполнения, и вы не умираете от скуки? За мной, за мной! скорее, скорее...

...Ты ли это, гордый Рим, столица веков и народов? Как растянулась повилика по твоим развалинам... Но развалины шевелятся, из зеленого дерна подымаются обнаженные столпы, вытягиваются в стройный порядок, — чрез них свод отважно перегнулся, отряхая вечный прах свой, помост стелется игривым мозаиком, — на помосте толпятся живые люди, сильные звуки древнего языка сливаются с говором волн, — оратор в белой одежде

с венцом на главе поднимает руки... И все исчезло: пышные здания клонятся к земле, столпы сгибаются, своды врываются в землю — повилика снова вьется по развалинам — все умолкло, — колокол призывает к молитве, храм отворен, слышны звуки мусикийского орудия — тысячи созвучных переливов волнуются под моими пальцами, мысль стремится за мыслию, они улетают одна за другою как сновидения... если бы схватить, остановить их? И покорное орудие снова вторит, как верное эхо, все минутные, невозвратимые движения души... Храм опустел, лунный блеск ложится на бесчисленные статуи; они сходят с мест своих, проходят мимо меня, полные жизни; их речи древни и новы, важна их улыбка и значителен взор; но снова они оперлись на свои пьедесталы, и снова лунный блеск ложится на статуи... Уж поздно... нас ждет веселый, тихий приют; в окошках мелькает Тибр; за ним Капитолий вечного града... Очаровательная картина! она слилась в тесную раму нашего камелька... да! там другой Рим, другой Тибр, другой Капитолий. Как весело трещит огонек... Обними меня, прелестная дева... В жемчужном кубке кипит искрометная влага... пей... пей... Там хлопьями валится снег и заметает дорогу — здесь меня греют твои объятия...

Мчитесь, мчитесь, быстрые кони, по хрупкому снегу, взвивайте столбом ледяной прах: в каждой пылинке блистает солнце — розы вспыхнули на лице прелестной — она прильнула ко мне душистыми губками... Где ты нашла это художество поцелуя? все горит в тебе и кипячею влагою обдает каждый нерв в моем теле... Мчитесь, мчитесь, быстрые кони, по хрупкому снегу... Что? не крик ли битвы? не новая ли вражда между небом и землею?.. Нет, то брат предал брата, то невинная дева во власти преступления... и солнце светит, и воздух прохладен? Нет! потряслася земля, солнце померкло, буря опустилась с небес, спасла жертву и омыла преступного, — и снова солнце светит, и воздух тих и прохладен, лобызает брат брата, и сила преклоняется пред невинностию... За мной, за мной... Есть другой мир, новый мир... Смотри: кристалл растворился — там внутри его новое солнце... Там совершается великая тайна кристаллов; поднимем завесу... толпы жителей прозрачного мира празднуют жизнь свою радужными цветами; здесь воздух, солнце, жизнь — вечный свет: они черпают в мире растений благоуханные

смолы, обделывают их в блестящие радуги и скрепляют огненною стихией... За мной, за мной! мы еще на первой ступени... По бесчисленным сводам струятся ручьи: быстро бьют они вверх и быстро спускаются в землю; над ними живая призма преломляет лучи солнца; лучи солнца вьются по жилам, и фонтан выносит на воздух их радужные искры; они то сыплются по лепесткам цветов, то длинною лентою вьются по узорчатой сети; жизненные духи, прикованные к вечно кипящим кубам, претворяют живую влагу в душистый пар, он облаками стелется по сводам и крупным дождем падает в таинственный сосуд растительной жизни... Здесь, в самом святилище, зародыш жизни борется с зародышем смерти, каменеют живые соки, застывают в металлических жилах, и мертвые стихии преобразуются началом духа... За мной! за мной!.. На возвышенном троне восседает мысль человека, от всего мира тянутся к ней золотые цепи, — духи природы преклоняются в прах перед нею, — на востоке восходит свет жизни, — на западе, в лучах вечерней зари, толпятся сны и по произволу мысли то сливаются в одну гармоническую форму, то рассыпаются летучими облаками... У подножия престола *она* сжала меня в своих объятиях... мы миновали землю!..

Смотри — там в безбрежной пучине носится ваша пылинка: там проклятия человека, там рыдания матери, там говор житейской нужды, там насмешка злых, там страдания поэта — здесь все сливается в сладостную гармонию, здесь ваша пылинка не страждущий мир, но стройное орудие, которого гармонические звуки тихо колеблют волны эфира.

Простись с поэтическим *земным* миром! И у вас есть поэзия на земле! оборванный венец вашего блаженства! Бедные люди! странные люди! в вашей смрадной пучине вы нашли, что даже страдание есть счастие! Вы страданию даете поэтический отблеск! Вы гордитесь вашим страданием; вы хотите, чтоб жители другого мира завидовали вашей жизни! В нашем мире нет страдания: оно удел лишь несовершенного мира, — создание существа несовершенного! — Вольно́ человеку преклоняться пред ним, вольно́ ему отбросить его, как истлевшую одежду на плечах путника, завидевшего родину. . . . . . .

Неужли ты думаешь, что я не знала тебя? Я с самого младенчества соприсутствовала тебе в дыхании ветерка,

в лучах весеннего солнца, в каплях благовонной росы, в неземных мечтаниях поэта! Когда в человеке возрождается гордость его силы, когда тяжкое презрение падает с очей его на скудельные образы подлунного мира, когда душа его, отряхая прах смертных терзаний, с насмешкою попирает трепещущую пред ним природу,— тогда мы носимся над вами, тогда мы ждем минуты, чтоб вынести вас из грубых оков вещества — тогда вы достойны нашего лика!.. Смотри, есть ли страдание в моем поцелуе: в нем нет времени — он продолжится в вечность: и каждый миг для нас — новое наслаждение!.. О, не измени мне! не измени себе! берегись соблазнов твоей грубой, презренной природы!

Смотри — там, вдали, на вашей земле поэт преклоняется пред грудою камней, обросших бесчувственным организмом растительной силы. «Природа! — восклицает он в восторге, — величественная природа, что выше тебя в этом мире? что́ мысль человека пред тобою?» А слепая, безжизненная природа смеется над ним и в минуту полного ликования человеческой мысли скатывает ледяную лавину и уничтожает и человека, и мысль человека! Лишь в душе души высоки вершины! лишь в душе души бездны глубоки! В их глубину не дерзает мертвая природа; в их глубине независимый, крепкий мир человека; смотри, *здесь* жизнь поэта — святыня! *здесь* поэзия — истина! здесь договаривается все недосказанное поэтом; здесь его земные страдания превращаются в неизмеримый ряд наслаждений...

О, люби меня! Я никогда не увяну: вечно свежая, девственная грудь моя будет биться на твоей груди! Вечное наслаждение будет для тебя ново и полно — и в моих объятиях невозможное желание будет вечно возможной существенностью!

. . . .

Этот младенец — это дитя наше! он не ждет попечений отца, он не будит ложных сомнений, он заранее исполнил твои надежды; он юн и возмужал, он улыбается и не рыдает — для него нет возможных страданий, если только ты не вспомнишь о своей грубой, презренной юдоли... Нет, ты не убьешь нас одним желанием!

Но дальше, дальше — есть еще другой, высший мир, там самая мысль сливается с желанием. За мной! за мной!..

Дальше почти невозможно было ничего разобрать; то были несвязные, разнородные слова: «любовь... растение... электричество... человек... дух...» Наконец, последние строки были написаны какими-то странными неизвестными мне буквами и прерывались на каждой странице...

Запрятав подальше все эти бредни, мы приступили к делу и начали с того, что посадили нашего мечтателя в бульонную ванну: больной затрясся всем телом. «Добрый знак!» — воскликнул доктор. В глазах больного выражалось какое-то престранное чувство — как будто раскаяние, просьба, мученье разлуки; слезы его катились градом... Я обращал на это выражение лица внимание доктора... Доктор отвечал: facies hippocratica! [1]

Чрез час, еще бульонная ванна — и ложка микстуры; за нею порядочно мы побились: больной долго терзался и упорствовал, но наконец проглотил. «Победа наша!» — вскричал доктор.

Доктор уверял, что надобно всеми силами стараться вывести нашего больного из его оцепенения и раздражить его *чувственность*. Так мы и сделали: сперва ванна, потом ложка аппетитной микстуры, потом ложка бульона, и благодаря нашим благоразумным попечениям больной стал видимо оправляться; наконец показался и аппетит — он уже начал кушать без нашего пособия...

Я старался ни о чем прежнем не напоминать моему приятелю, а обращать его внимание на вещи основательные и полезные, как-то: о состоянии его имения, о выгодах завести в нем поташный завод, а крестьян с оброка перевести на барщину... Но мой приятель слушал меня как во сне, ни в чем мне не противоречил, во всем мне беспрекословно повиновался, пил, ел, когда ему подавали, хотя ни в чем не принимал никакого участия.

---

[1] предсмертная маска (*лат.*).

Чего не могли сделать все микстуры доктора, то произвели мои беседы о нашей разгульной молодости и в особенности несколько бутылок отличного лафита, который я догадался привезти с собою. Это средство, вместе с чудесным окровавленным ростбифом совершенно поставило на ноги моего приятеля, так, что я даже осмелился завести речь о его невесте. Он выслушал меня со вниманием и во всем со мною согласился: я, как человек аккуратный, не замедлил воспользоваться его хорошим расположением, поскакал к будущему тестю, все обделал, спорное дело порешил, рядную написал, одел моего чудака в его старый мундир, обвенчал — и, пожелав ему счастия, отправился обратно к себе домой, где меня ожидало дело в гражданской палате, и, признаюсь, поехал весьма довольный собою и своим успехом. В Москве все родные, разумеется, осыпали меня своими ласками и благодарностью.

Устроив мои дела, я чрез несколько месяцев рассудил, однако же, за благо навестить молодых, тем более что я от молодого не получал никакого известия.

Застал я его поутру: он сидел в халате, с трубкой в зубах; жена разливала чай; в окошко светило солнышко и выглядывала преогромная спелая груша; он мне будто обрадовался, но вообще был неговорлив...

Я выбрал минуту, когда жена вышла из комнаты, и сказал, покачав головою:

— Ну, что, несчастлив ты, брат?

Что же вы думаете? он разговорился? Да! Только что он напутал!

— Счастлив! — повторил он с усмешкою, — знаешь ли ты, что ты сказал этим словом? Ты внутренно похвалил себя и подумал: «Какой я благоразумный человек! я вылечил этого сумасшедшего, женил его, и он теперь, по моей милости, счастлив... счастлив!» Тебе пришли на мысль все похвалы моих тетушек, дядюшек, всех этих так называемых благоразумных людей — и твое самолюбие гордится и чванится... не так ли?

— Если бы и так... — сказал я.

— Так довольствуйся же этими похвалами и благодарностию, а моей не жди. Да! Катя меня любит, имение наше устроено, доходы сбираются исправно, — словом, ты дал мне счастье, но не мое: ты ошибся нумером. Вы,

господа благоразумные люди, похожи на столяра, которому велели сделать ящик на дорогие физические инструменты: он нехорошо смерил, инструменты в него не входят, как быть? а ящик готов и выполирован прекрасно. Ремесленник обточил инструменты; где выгнул, где спрямил, — они вошли в ящик и улеглись спокойно, любо посмотреть на него, да только одна беда; инструменты испорчены. Господа! не инструменты для ящика, а ящик для инструментов! Делайте ящик по инструментам, а не инструменты по ящику.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Ты очень рад, что ты, как говоришь, меня вылечил, то есть загрубил мои чувства, покрыл их какою-то непроницаемою покрышкою, сделал их неприступными для всякого другого мира, кроме твоего ящика... Прекрасно! инструмент улегся, но он испорчен; он был приготовлен для другого назначения... Теперь, когда среди ежедневной жизни я чувствую, что мои брюшные полости раздвигаются час от часу более и голова погружается в животный сон, я с отчаянием вспоминаю то время, когда, по твоему мнению, я находился в сумасшествии, когда прелестное существо слетало ко мне из невидимого мира, когда оно открывало мне таинства, которых теперь я и выразить не умею, но которые были мне понятны... где это счастие? — возврати мне его!

— Ты, братец, поэт, и больше ничего, — сказал я с досадою, — пиши стихи...

— Пиши стихи! — возразил больной, — пиши стихи! Ваши стихи тоже ящик; вы разобрали поэзию по частям: вот тебе проза, вот тебе стихи, вот тебе музыка, вот живопись — куда угодно? А может быть, я художник такого искусства, которое еще не существует, которое не есть ни поэзия, ни музыка, ни живопись, — искусство, которое я должен был открыть и которое, может быть, теперь замрет на тысячу веков: найди мне его! может быть, оно утешит меня в потере моего прежнего мира!

Он наклонил голову, глаза его приняли странное выражение, он говорил про себя: «Прошло — не возвратится — умерла — не перенесла — па́дай! па́дай!» — и прочее тому подобное.

Впрочем, это был его последний припадок. Впоследствии, как мне известно, мой приятель сделался совершенно

порядочным человеком: завел псарную охоту, поташный завод, плодопеременное хозяйство, мастерски выиграл несколько тяжеб по землям (у него чересполосица); здоровье у него прекрасное, румянец во всю щеку и препорядочное брюшко (NB. Он до сих пор употребляет бульонные ванны — они ему очень помогают). Одно только худо: говорят, что он немножко крепко пьет с своими соседями — а иногда даже и без соседей; также говорят, что от него ни одной горничной прохода нет, — но за кем нет грешков в этом свете? По крайней мере он теперь человек, как другие.

Так рассказывал один из моих знакомых, доставивший мне письма Платона Михайловича, — очень благоразумный человек. Признаюсь, я ничего не понял в этой истории: не будут ли счастливее читатели?





ПРИВИДЕНИЕ

(Ник. Вас. Путяте)

...Нас сидело в дилижансе четверо: отставной капитан, начальник отделения, Ириней Модестович и я. Два первые чинились и отпускали друг другу разные учтивости, изредка принимались спорить, но ненадолго; Ириней Модестович говорил без умолка; все — мимо проехавший экипаж, пешеход, деревушка — все подавало ему повод к разговору; на радости, что слушателям нельзя от него выскочить из дилижанса, он рассказывал сказку за сказкой, в которых, разумеется, домовые, бесы и привидения играли первую ролю. Я не мог надивиться, откуда он набрался столько чертовщины, — и преспокойно дремал под говор его тоненького голоса. Другие товарищи скуки ради слушали его не без внимания — а Иринею Модестовичу только того и надо.

— Что это за замок? — спросил отставной капитан, выглядывая из окошка, — вы, верно, знаете про него какую-нибудь курьезную историю, — прибавил он, обращаясь к Иринею Модестовичу.

— Я про него знаю, —отвечал Ириней Модестович,— точно такую же историю, какую можно рассказать про многие из нынешних домов, то есть что в нем люди жили, ели, пили и умерли. Но этот замок напоминает мне анекдот, в котором такой же замок играет важную ролю. Вообразите себе только, что все, что я вам буду рассказывать, случилось именно под этими развалившимися сводами: ведь это все равно — была бы вера в рассказчика. Все путешественники по большей части так же расска-

зывают свои истории; только у них нет моей откровенности.

В молодости моей я часто хаживал в дом к моей соседке, очень любезной женщине... Не воображайте тут ничего грешного: соседка моя была уже в тех летах, когда женщина сама признается, что пора ее миновалась. У ней не было ни дочерей, ни племянниц; дом ее был похож на все ***ские дома: три, четыре комнаты, дюжина кресел, столько же стульев, пара ламп в столовой, пара свечей в гостиной... но не знаю, было что-то в обращении этой женщины, в ее самых обыкновенных словах, я думаю, даже в ее столе красного дерева, покрытом клеенкою, или в стенах ее дома, — было нечто такое, что каждый вечер нашептывало вам в уши: пойти бы сегодня к Марье Сергеевне. Это испытывал не я один: в длинные зимние вечера к ней сходились незваные гости, как будто заранее согласившись. Наши занятия были самые обыкновенные: мы пили чай и играли в бостон; иногда перелистывали журналы; но только все это нам веселее было делать у Марьи Сергеевны, нежели в другом доме; это нам самим казалось очень странно. Все дело, как я теперь догадываюсь, состояло в том, что Марья Сергеевна не навязывалась никому ни с тяжбами, ни с домашними хлопотами, не любила злословия, не сообщала никому своих замечаний о происшествиях в околотке, ни о поведении своих слуг; не старалась вытянуть из вас того, что вы хотели скрыть; не осыпала вас нежностями в глаза и не насмехалась над вами, когда вы вышли за дверь; не сердилась, когда кто из нас в продолжение полугода не являлся в ее гостиную, и даже забывал дни ее именин или рождения; не имела ни одной из тех претензий и причуд, которые делают общество ***ских дам нестерпимым; не была ни ханжа, ни суеверна; не требовала от вас, чтобы вы то-то думали и о том-то говорили; не приходила в ужас, когда вы были противного с нею мнения; не требовала от вас никаких пожертвований; не усаживала насильно за карты или за фортепьяно, — понимала терпимость во всем ее значении; в ее гостиной всякий благородный человек мог делать, думать и говорить все, что ему было угодно; словом, в ее доме царствовал хороший тон, тогда редкий в ***ских обществах и которого сущность до сих пор немногие понимают. Я сам живо чувствовал различие в обращении и в жизни Марьи Сергеевны

с другими женщинами, но не умел этого впечатления выразить одним словом.

— Позвольте вас остановить, — сказал начальник отделения. — Как это, — будто бы уж хороший тон состоит в том, чтобы хозяйка не занималась гостями? нет, помилуйте, — мы сами бываем в наилучших компаниях... я с вами поспорю. Как это можно! как это можно!..

— Говорят, — отвечал Ириней Модестович, — что где обращение хозяйки простее, там гостям просторнее и спокойнее, и что человека, привыкшего к хорошему обществу, всегда узнают по простоте его обращения...

— И я того же мнения, — прибавил отставной капитан, — терпеть не могу всех этих вычур! Бывало, на вечерах у нашего бригадного генерала не расстегнись, не пошевельнись; тоска, да и только! То ли дело, как сойдешься с своим братом: мундир долой, бутылку рома на стол — и пошла потеха...

— Нет, воля ваша, — возразил начальник отделения,— не могу с вами согласиться! Что это такое простота? Простота! для простоты довольно своего дома; но в свете приятно показать свое обращение, свое уменье жить с людьми, уменье каждое слово весить на весах, чтоб в каждом вашем слове можно было заметить, что вы не неуч какой-нибудь, а человек благовоспитанный...

Ириней Модестович находился в совершенном недоумении между этими двумя противоположными полюсами и выдумывал средство, как бы не попасть ни в пуншевую беседу, ни в компанию благоприличного господина. Видя смущение моего приятеля, я вмешался в разговор.

— Однако ж этак, — сказал я, — мы никогда не дойдем до конца нашей истории. На чем, бишь, вы остановились, Ириней Модестович?..

Наши противники замолчали, потому что оба были довольны собою: начальник отделения был уверен, что в прах разразил все рассуждения моего приятеля; а капитан, — что Ириней Модестович одного с ним мнения.

Ириней Модестович продолжал:

— Я, кажется, сказал вам, что мы, сами не зная каким образом, почти каждый вечер сходились к Марье Сергеевне, не сговариваясь заранее. Должно, однако ж, признаться, что такие импровизации, как все импровизации в свете, не всегда нам удавались. Иногда сходились такие,

из которых двое играли только в вист, а два другие только в бостон, одни играли в большую, другие в маленькую — и партии не могли состояться.

Так случилось однажды, как теперь помню, в глубокую осень. Дождь с изморозью лился ливмя, реки катились по тротуарам, и ветер задувал фонари. В гостиной, кроме меня, сидели человека четыре в ожидании своих партнеров. Но партнеров, кажется, испугала погода, а мы между тем занялись разговором.

Разговор, как часто случается, переходя от предмета к предмету, остановился на предчувствиях и видениях.

— Так, я и ждал этого! — вскрикнул начальник отделения, — без привидений у него не обойдется...

— Нет ничего мудреного! — возразил Ириней Модестович, — эти предметы обыкновенно привлекают общее внимание; наш ум, изнуренный прозою жизни, невольно привлекается этими таинственными происшествиями, которые составляют ходячую поэзию нашего общества и служат доказательством, что от поэзии, как от первородного греха, никто не может отделаться в этой жизни.

Почтенный чиновник значительно кивнул головою, желая показать, что он совершенно вникнул в значение этих слов. Ириней Модестович продолжал:

— Уже были рассказаны по очереди все известные события в этом роде: о людях, являвшихся после смерти; о лицах, которые заглядывают к вам в окошко в третьем этаже; о танцующих стульях и о прочем тому подобном.

Один из собеседников во все продолжение этого рассказа хранил глубокое молчание, и лишь исподтишка улыбался, когда мы вскрикивали от ужаса. Этот господин, уже весьма пожилых лет, был закоснелый волтерьянец старого века; он часто в наших спорах, не шутя, заключал свои доказательства каким-нибудь стихом из «Epitre à Uranie»[1] или из «Discours en vers»[2] Вольтера и удивлялся, когда и после этого мы осмеливались с ним не соглашаться: любимая его поговорка была: «Я верю только в то, что дважды два четыре».

Когда весь арсенал наших рассказов истощился, мы обратились к этому господину с насмешливою просьбою

---

[1] «Послание к Урании» *(франц.)*.
[2] «Рассуждение в стихах» *(франц.)*.

рассказать нам что-нибудь в том же роде. Он угадал наше намерение и отвечал:

«Вы знаете, что я терпеть не могу всех этих бредней: я в этом пошел по батюшке; ему вздумало однажды явиться привидение — и привидение во всем порядке: с бледным лицом, с меланхолическим взглядом; но покойник выставил ему язык, чему привидение так удивилось, что впоследствии уже никогда не осмеливалось являться ни ему и никому из нашего семейства. Я теперь следую батюшкиной методе, когда мне попадается в журналах романтическая повесть ваших модных сочинителей. Только я заметил, что они гораздо бессовестнее привидений и не перестают мне соваться в глаза, несмотря на все гримасы, которые я им строю; но не думайте, однако ж, чтоб я не мог также рассказать страшной истории. Слушайте ж. Я вам расскажу историю истинную; но бьюсь об заклад, что у вас волосы станут дыбом.

Лет тридцать тому назад, — я тогда только что еще вступил в службу, — наш полк остановился в одном местечке; мы были в резерве; носились слухи, что кампания оканчивалась, и эти слухи подтверждались тем, что нас более месяца не трогали с места. Этого времени для военных очень довольно, чтоб подружиться с жителями. Я стоял в доме у одной зажиточной помещицы, премилой, веселой женщины и большой говоруньи. Мы жили с ней душа в душу. Почти каждый вечер у нее собирались гости, вот как сюда, и мы проводили время очень весело. В версте от этого местечка, на небольшом возвышении, находился старинный замок с полукруглыми окошками, с башенками, с вертушками — словом, со всеми этими причудами так называемой готической архитектуры, над которыми мы тогда смеялись, но которые, при нынешнем упадке вкуса, опять входят в моду. Тогда нам это и в голову не входило. Мы просто находили этот замок уродливым, каким он и был в самом деле, и сравнивали то с амбаром, то с голубятней, то с паштетом, то с сумасшедшим домом.

— Кому принадлежит этот кондитерский пирог? — спросил я однажды у моей хозяйки.

— Моей приятельнице, графине***, — отвечала она. — Она премилая женщина; вам бы надобно познакомиться с нею... Графиня Мальвина прежде была очень несчастлива, — продолжала хозяйка, — много она вытер-

пела на своем веку. В молодости она влюбилась в одного молодого человека; но он был беден, хотя и граф, и ее родители никак не соглашались выдать ее за него замуж. Но графиня была пылкого нрава; она страстно любила молодого человека, и наконец не только убежала с ним из дома, но вышла за него замуж, что, по-моему, было совсем лишнее. Вы можете себе представить, сколько шуму наделало это происшествие. Мать графини была женщина самого сурового нрава, старого века, гордая знатностью своего происхождения, надменная, окруженная толпою ласкателей, привыкшая, в продолжение всей своей жизни, к слепому повиновению всех ее окружающих. Побег Мальвины был для нее сильным ударом; с одной стороны, неповиновение родной дочери приводило ее в бешенство, с другой, она видела в этом поступке вечное пятно своей фамилии. Бедная графиня, зная нрав своей матери, долго не смела ей казаться на глаза; письма ее оставались без ответа; она была в совершенном отчаянии; ничто ее не утешало: ни любовь мужа, ни уверения друзей, что гнев матери не может более продолжаться, особливо теперь, когда дело сделано. Так протекло шесть месяцев в беспрерывных страданиях. Я часто видала ее в это время — она была на себя непохожа. Наконец она сделалась беременною. Беспокойство ее увеличилось. В это время обыкновенно нервы у женщин играют большую ролю: они чувствуют живее; всякая мысль, всякое слово тревожит их в тысячу раз более, нежели прежде. Мысль родить дитя под гневом матери сделалась для Мальвины нестерпимою; эта мысль душила ее, мешала ей спать, истощала ее силы. Наконец она не выдержала. «Что бы ни было, — сказала она, — но я брошусь к ногам матушки». Тщетно мы хотели остановить ее; тщетно мы советовали подождать родин и тогда, вместе с ребенком, предстать раздраженной графине; тщетно мы говорили ей, что вид невинного ребенка всего сильнее действует на сердца самые загрубелые, — наши слова не подействовали. Робость превозмогла, и однажды утром, когда еще все спали, бедная графиня незаметно вышла из дома и отправилась в замок, ворвалась в спальню, когда еще мать ее лежала на постели, и бросилась на колени.

Старая графиня была женщина странная; она принадлежала к числу тех существ, которых отгадать трудно. Никогда нельзя узнать, чего им хочется, а им самим, мо-

жет быть, это всего труднее. На ее расположение духа действовало все ее окружающее: незначительное слово, полученное письмо, погода. Она то радовалась, то огорчалась от одних и тех же причин, смотря по этим маловажным обстоятельствам.

Первое действие, произведенное на графиню ее дочерью, был испуг. Со сна она не могла себе представить, что это была за женщина в белом платье, которая с рыданием хватала ее за колени и стаскивала с нее одеяло. Сначала графиня приняла дочь свою за привидение, потом за сумасшедшую, а наконец ее испуг превратился в досаду. Ее не тронули слезы дочери; ее не тронуло ее положение; ее не коснулось материнское чувство, — эгоизм торжествовал. «Прочь, — вскричала она. — Я не знаю тебя: проклинаю тебя!..» Бедная Мальвина едва не лишилась памяти, но материнское чувство придало ей силы. С трудом, но с выразительностию произнесла она прерывающимся голосом: «Кляните меня... но пощадите моего ребенка». «Проклинаю тебя, — повторила раздраженная графиня, — и твоего ребенка! Пусть будет он тебе казнию!» Бедная Мальвина упала на пол замертво.

Этот обморок произвел на старую графиню больше действия, нежели все слова ее дочери. Графиня испугалась снова. Ее причудливые нервы не могли снести этого вида. Она проворно вскочила с постели, позвонила, послала за доктором, и когда несчастная дочь очнулась, она уже была в объятиях своей матери. Все было прощено, забыто...

С тех пор Мальвина с своим мужем переселилась в замок. Она вскоре родила сына. Старая графиня, пристыженная своим недостойным поступком, казалось, сделала целию жизни утешать свою дочь всем, что только возможно человеку. Несколько раз она торжественно отрекалась от своей клятвы, написала это отречение на бумаге и заставила свою дочь носить его на себе в медальоне. Молодая графиня никогда его не снимает. Ее сын вырос, вступил в службу; но доныне старая графиня почитает себя в долгу пред своею дочерью и старается тешить ее как ребенка. Ее богатство дает ей все к тому нужные способы. Кажется, сама судьба старается загладить проступок старой графини. Недавно выиграли они процесс в несколько миллионов. Это дало им средство украсить свой замок всеми причудами роскоши. Чего вы там ни найдете:

и английский сад, и чудесный стол, и погреб со столетним венгерским, и фонтаны холодной и теплой воды, и мраморные полы, и зимние сады — рай, одним словом! балы и вечеринки не прерываются. Если хотите, я вас представлю графине: вы будете приняты с восхищением...

Что могло быть приятнее этого предложения для молодых офицеров, для которых, в продолжение полугода, все наслаждения мира ограничивались братскою попойкой в курной избе?

— А не худое дело! — заметил капитан, поглаживая усы.

На другой же день мы отправились к графине, были представлены нашею хозяйкою, и имели случай увериться, что она нас не обманула. Дом был поставлен на истинно барскую ногу. Каждому из нас отвели особую комнату, в которых все было придумано для удобства жизни: прекрасная пуховая постель, которая казалась нам чудом после соломы; в каждой комнате ванна с холодными и теплыми кранами; все прихоти туалета; слуги, которые ходили на цыпочках и угадывали малейшее желание; каждый день чудесный обед с чудесными винами. Старая графиня, которая уже не вставала с кресел, была еще любезна, а так называемая молодая графиня, хотя ей было лет за сорок, была свежа, жива и вертлява, как пятнадцатилетняя девочка. Многие из наших почли за долг отпускать ей армейские нежности, а иные и по уши в нее влюбились. Ее муж смотрел на это сквозь пальцы и, казалось, еще радовался, что его жена имеет случай кокетничать и возбуждает страсть молодых офицеров. Привычка к удовольствиям, беспрестанная рассеянность были необходимостью, жизнию в этом доме. От нас требовали только одного: есть и пить целый день и танцевать до упаду целую ночь. Мы катались как сыр в масле. Чрез несколько дней радость и удовольствие в доме удвоились. Приехал из отпуска сын молодой графини — славный, веселый малый. Он, подобно нам, также долго скитался по курным избам и со всей ненасытностью молодости предался удовольствиям, которые представлял ему домашний кров и круг веселого семейства.

Назначен был день нашего выступления, и хозяева захотели угостить нас последним великолепным балом. Приглашены были соседи и соседки из всех окружных мест;

собирались иллюминировать сад и сжечь чудесный фейерверк. Накануне посреди толкований о завтрашнем дне (ибо мы почти как домашние принимали участие во всех хозяйственных хлопотах) зашла речь, как теперь, о привидениях. Молодая графиня вспомнила, что есть одна комната в замке, которая с давних времен пользуется привилегией пугать всех жителей околотка разными страшными звуками и видениями. Эту самую комнату, за недостатком места, занимал сын графини. Он, смеясь, уверял, что до сих пор домовые производят на него одно действие: заставляют его спать богатырским сном. Мы, посмеявшись с ним вместе, разошлись по своим спальням. На другой день съехались в замок множество гостей. Мы начали танцевать едва ли не с десяти часов утра, и танцевали вплоть до обеда, а после обеда вплоть до полуночи. Никто из нас не думал о том, что завтра в пять часов надобно было садиться на коня. Но, сказать правду, к концу дня мы были измучены донельзя и не без удовольствия заметили, что к первому часу гости стали уже разъезжаться. В комнатах становилось пусто; мы хотели также разойтись по спальням; но молодая графиня, для которой двадцать четыре часа танцев было то же, что выпить стакан воды, усердно упрашивала нас приглашать беспрестанно дам вальсировать, чтобы удержать разъезжающихся. Мы истощили последние силы, но наконец принуждены были просить дозволения у графини откланяться, ссылаясь на ее сына, который давно уже отправился в свою спальню.

«О, — сказала графиня, — что вам брать пример с этого лентяя! Надобно проучить его за его леность! Как можно лечь спать, когда в зале еще столько хорошеньких дам! Пойдемте за мною!»

Молодой человек спал тем беспокойным сном, какой обыкновенно бывает после дня, проведенного в беспрестанном движении. Скрип двери разбудил его. Но каково было его удивление, когда, при бледном свете ночной лампады, он увидел ряд белых привидений, которые приближались к его постели! Впросонках схватил он пистолет и вскричал: «Прочь, застрелю!» — но привидение, бывшее впереди, все приближалось к его постели и, казалось, хотело обхватить его своими распростертыми руками. В испуге ли, или еще не совсем пробужденный, молодой человек взвел курок, раздался выстрел...

«Ах, я забыла надеть матушкин медальон!» — вскончала Мальвина, падая. Мы все, одетые привидениями, бросились к ней, подняли простыню... Лицо ее было так бледно, что нельзя было узнать ее: она была смертельно ранена. В эту минуту далекий гул барабана известил нас, что полк уже выступает в поход. Мы оставили скорбный дом, в котором провели столько приятных дней. С тех пор я не знаю, чем все это кончилось; по крайней мере если я и не видал никогда привидений, то сам был привидением, а это чего-нибудь да стоит. Все рассказы о привидениях в этом роде. Я чаю, бог знает что теперь об этом выдумали; а дело было просто, как вы видите». И рассказчик засмеялся.

В это время один молодой человек, слушавший всю повесть с большим вниманием, подошел к нему. «Вы с большою точностию, — сказал он, — рассказали это происшествие; я его знаю, ибо сам принадлежу к тому семейству, в котором оно случилось. Но вам неизвестно одно: а именно, что графиня здравствует до сих пор и что вас приводила в комнату ее сына не она, но действительно какое-то привидение, которое до сих пор является в замке».

Рассказчик побледнел. Молодой человек продолжал:

«Об этом происшествии много было толков; но оно ничем не объяснилось. Замечательно только то, что все те, которые рассказывали об этом происшествии, умерли чрез две недели после своего рассказа». Сказавши эти слова, молодой человек взял шляпу и вышел из комнаты.

Рассказчик побледнел еще больше. Уверительный, холодный тон молодого человека, видимо, поразил его. Признаюсь, что все мы разделяли с ним это чувство и невольно приумолкли. Тут хотели завести другой разговор; но все не ладилось, и мы вскоре разошлись по домам. Чрез несколько дней мы узнали, что наш насмешник над привидениями занемог, и очень опасно. К его физическим страданиям присоединились грезы воображения. Беспрестанно чудилась ему бледная женщина в белом покрывале, тащила его с постели — и вообразите себе, — прибавил Ириней Модестович трагическим голосом, — ровно чрез две недели в гостиной Марьи Сергеевны сделалось одним гостем меньше!

— Странно! — заметил капитан, — очень странно!

Начальник отделения, как человек петербургский, привыкший ничему не удивляться, выслушал всю повесть с таким видом, как будто читал канцелярское отношение о доставлении срочных ведомостей.

— Тут нет ничего удивительного, — сказал он важным голосом, — многое бывает в человеке от мысленности, так, от мысленности. Вот и у меня был чиновник, кажется, такой порядочный, все просил штатного места. Чтобы отвязаться от него, я дал ему разбирать старый архив, сказавши, что дам ему тогда место, когда он приведет архив в порядок. Вот он, бедный, и закабалил себя, год прошел, другой, — день и ночь роется в архиве: сжалился я наконец над ним и хотел уже представить о нем директору, как вдруг пришли мне сказать, что с моим архивариусом случилось что-то недоброе. Я пошел в ту комнату, где он занимался, — нет его; смотрю: он забрался на самую верхнюю полку, присел там на корточки между кипами и держит в руках нумер.

«Что с вами? — закричал я ему, — сойдите сюда». Как вы думаете, что он мне отвечал? «Не могу, Иван Григорьич, никак не могу: я *решенное дело!*» И начальник отделения захохотал; у Иринея Модестовича навернулись слезы.

— Ваша история, — проговорил он, — печальнее моей.

Капитан, мало обращавший внимания на канцелярский рассказ, кажется, ломал голову над повестью о привидении, и наконец, как будто очнувшись, спросил у Иринея Модестовича:

— А что, у вашей Марьи Сергеевны пили ли пунш?

— Нет, — отвечал Ириней Модестович.

— Странно! — проговорил капитан, — очень странно!

Между тем дилижанс остановился; мы вышли.

— Неужели в самом деле рассказчик-то умер? — спросил я.

— Я никогда этого не говорил, — отвечал быстро Ириней Модестович самым тоненьким голоском, улыбаясь и припрыгивая, по своему обыкновению...





ЖИВОЙ МЕРТВЕЦ

(Посв. графине Е. П. Растопчиной)

— Скажите, сделайте милость, как перевести по-русски слово солидарность (solidaritas)?

— Очень легко — *круговая порука*,— отвечал ходячий словарь.

— Близко, а не то! Мне бы хотелось выразить буквами тот психологический закон, по которому ни одно слово, произнесенное человеком, ни один поступок не забываются, не пропадают в мире, но производят непременно какое-либо действие; так что ответственность соединена с каждым словом, с каждым, по-видимому, незначащим поступком, с каждым движением души человека.

«Об этом надобно написать целую книгу».

Из романа, утонувшего в Лете.

Что это? — никак, я умер?.. право! насилу отлегло... нечего сказать — плохая шутка... Ноги, руки холодеют, за горло хватает, душит, в голове трескотня, сердце замирает, словно душа с телом расстается... Да что же? ведь, никак, оно так и есть? Странно, очень странно — душа расстается с телом! — да где же у меня душа?.. да где же и тело? здесь! да где ж у меня руки, ноги?.. Батюшки-светы! вот оно — лежит себе как ни в чем не бывало на постели, только немножко рот покривился. Тьфу, пропасть! Да ведь это я лежу — нет! и не я! — нет! точно, я; словно

на себя в зеркало смотрю; я — совсем другое: я — вот руки, ноги, голова — все там, здесь ничего, ровно ничего, а все слышу и вижу... Вот моя спальня; солнце светит в окошко; вот мой стол; на столе часы, и вижу на них девять часов с половиною; вот племянница в обмороке, сыновья в слезах — все по порядку; да полно... что вы плачете? — что? — Не слышат! Да и я своего голоса не слышу, а, кажется, говорю очень вразумительно. Дай-ка еще погромче — ничего! только как будто легкий ветерок подувает, — чудеса! право, чудеса! Да уж не сон ли это? Помню: вчера я был очень здоров и весел и в вист играл, и очень счастливо; вот вижу, куда и деньги положил, — и поужинал с аппетитом, и поболтал с приятелями о том о сем, и почитал на сон грядущий, и заснул крепко, — как вдруг ни с того ни с сего тяжко, тяжко... хочу вскрикнуть — не могу; хочу пошевельнуться — не могу... Потом ничего не помню — да вдруг и проснулся... то есть какое проснулся? то есть очутился здесь... Где здесь?.. И слов не приберешь! Ну, право, это сон. Не верите? — Постой, сделаю опыт: ущипну себя за палец, да нет пальца, право нет... Постой, что бы выдумать? дай посмотрюсь в зеркало — уж оно никак не обманет; вот мое зеркало — тьфу, пропасть! и в нем ничего нет, а все другое в нем вижу: всю комнату, детей, постелю, на постели лежит... кто? я? — ничего не бывало! я перед зеркалом, — а нет меня в зеркале... Поди, пожалуй, какие чудеса! Вот призвал бы сюда господ философов, ученых: извольте-ка, господа, растолковать: и здесь я, и не здесь, и живу я, и не живу, и двигаюсь, и не движусь... Это что? бьют часы; раз, два, три... десять; однако ж пора в канцелярию — там есть у меня интересное дельце. Надобно насолить этому негодяю Перепалкину, который все на меня наушничает... «Эй! Филька! одеваться!..» Что я? как одеваться? Невозможно! Бывало время, что мне надеть было нечего, а теперь еще хуже — не на что... Однако ж не худо заглянуть в канцелярию... да как же туда отправиться? карету приказать — невозможно; нечего делать — пойти пешком, хоть и неприлично. Двигаться-то мне с одного места на другое очень легко... дай попробую; благо двери отворены... Вот мой кабинет, гостиная, столовая, передняя; вот я и на улице... да как легко, земли под собой не слышу, так и несусь — хочу скоро, хочу тихо... Да это, право, недурно — и шагать не надобно... А, вот и знакомые! «Здравствуйте, ваше пре-

восходительство! раненько изволите идти?..» Прошел мимо и внимания не обратил... Вот и другой: «Здравствуйте, Иван Петрович!» Тоже ни гу-гу — странно! Батюшки! коляска — во весь опор! тише, тише! наедешь дышлом! не видишь, что ли?.. Ахти! сквозь меня коляска проскакала, а я и не почуял, кажется, так надвое и раскроила, а ничего не бывало — чудеса, да и только. Однако ж, если на то пошло, ведь, право, мое состояние не плохо: легко, хорошо, никакой заботы; не нужно ни бриться, ни умываться, ни платья натягивать, гуляй куда хочешь, — вольный казак; можно без прогонов всю землю изъездить, никакая тебе опасность не грозит — уж чего тут? коляска сквозь меня проехала, и вот хоть бы что! Так вот она смерть-то; вот она что такое... А награда, наказанье? Впрочем, правду сказать, награды я не ждал, — не за что; да и наказывать меня не за что; были кое-какие грешки... ну, да у кого их нет? Я истинно скажу: ни добра, да и ни зла без нужды я никому не делал — право... вы знаете: я человек откровенный; ну, разумеется, когда ждешь беды, то иногда, так сказать, и подставишь ногу ближнему... да что ж тут делать? человек на тебя лезет с ножом, неужели же ему шею подставить? Жил я умненько, учился на железные гроши, в наследство получил медные, а детям оставил коку-с-соком, даже ни в какое заведение не отдавал их, чтоб лучше за их нравственностию наблюсти, сам воспитал их, научил важнейшему — *как жить в свете*, и если моих уроков послушают, далеко пойдут; правду скажу: душой, так сказать, почти не кривил, разумеется, иногда, смотря по обстоятельствам, понатягивал... да! как подумаешь, понатягивал — но только когда можно было натянуть... кто ж себе враг? Да как бы то ни было — от всех почтен, от всех уважен, из ничего вышел в люди, и все сам собою... дай бог всякому так сводить свои дела... А! да вот и канцелярия! Посмотрим, что-то здесь делается. Так, сторож дремлет по-всегдашнему — уж вот что с ним ни делай. «Сидоренко! Сидоренко!» — не слышит! и двери затворены... Как тут быть? хоть век оставайся в передней, — добро бы у нужного человека... А! вот кто-то идет... мой чиновник, — ну, двери настежь... «Батюшка! помилуйте, прихлопнули», — да нет, я сквозь доску прошел... А что, подумаешь, ведь это не так дурно... как я этого прежде не догадался? Так, стало, для меня нет ни дверей, ни запоров; стало быть, нет от меня и

секрета?.. ну, право же, это недурно, — весьма может пригодиться при случае... Ах, лентяи! чем бы делом заниматься, а они кто на столе, кто на окончине развалились и точат лясы. Хоть бы привстали, невежи, — хоть бы поклонились — вот приучи их к порядку... А! вот и старший; посмотрим, не пугнет ли их немного...

Старший. Господа! нельзя ли по местам? Ведь болтать можно и сидя за бумагой; не все равно? кто вам мешает? оно, разумеется — почему не так? — вот мы, бывало, в старину, в канцелярии и в картишки игрывали, да с оглядкой — и ничего, право! Столы у нас тогда были маленькие: вот мы бумаги разложим, и давай в бостончик; идет начальник — мы карты под бумаги; начальник войдет — все благоприлично; а то что вы, нынешние? развалились по столам, по окошкам; ну, войдет Василий Кузьмич — когда тут вскочить? Беготня, беспорядок — беда, да и только, особливо теперь: ждет награды, знаете какой бывает сердитый в это время...

Один из чиновников. Еще рано Василью Кузьмичу. Он вчера до трех часов в карты играл...

(Все знают, проклятые!..)

Второй. Неправда — он у Каролины Карловны...

(И это знают, злодеи!..)

Третий. Ничуть — у Натальи Казимировны...

(И это также... кто б это подумал?..)

Четвертый. Да неужли у него две интриги разом? этакой старик...

Третий. Старик? смотри, коли он нас всех не переживет! Поесть ли, попить ли — его дело, и в ус не дует! Даром что святошу корчит... всех нас за пояс заткнет...

Тьфу, негодяи какие! Не знал же я вас прежде!.. И слушать больше не хочу... Сорванцы, болтуны!.. Вот, постойте!.. Опять забылся; уж не унять мне их!.. А досадно: уж как бы раскассировал... Что тут делать? Эх, волки их ешь!.. Надобно чем-нибудь развлечься. Дай пойду послушать, что скажет князь, как услышит о моей кончине, как пожалеет... Ну, скорее. В приемной один Кирила Петрович — и в слезах, — верно, обо мне: то-то, друг один никогда не изменял! Хорошо, что не знал ты одного дельца... сказал я про тебя одно словцо, которое ввек тебя бороздить будет, — да нечего было делать: за-

чем тебя назначили именно на то место, которого мне хотелось... кто себе враг? Но, кроме этого, я тебе всегда во всем был помощник, и ты можешь обо мне поплакать. А! вот к князю и двери отворяются... Войдем...

Кирила Петрович. Я к вашему сиятельству с неожиданным, горестным известием: Василий Кузьмич приказал долго жить...

Князь. Что вы говорите? да еще вчера...

Кирила Петрович (*всхлипывая*). Сегодня ночью удар; прислали за мною в восемь часов — уж едва дышал; все медицинские пособия... в девять часов богу душу отдал... Большая потеря, ваше сиятельство.

Князь. Да, признаюсь — таких людей мало: истинно почтенный был человек.

Кирила Петрович. Деятельный чиновник...

Князь. Правдивый был человек.

Кирила Петрович. Прямая, откровенная душа! Уж, бывало, что скажет, верь как святому...

Князь. И вообразите — как будто нарочно, только сегодня сошло об нем представление...

Кирила Петрович (*плачет*). Ах, бедный! А он так ждал его...

Князь. Что делать! видно, судьба его умереть без повышения... Жаль!..

Кирила Петрович (*рыдая*). Да! уж теперь ему ничего не нужно...

Василий Кузьмич. Как не нужно?.. Помилуйте, ваше сиятельство! за что же такая обида? Да! я и забыл... уж не нужно и повышения... Ах, обидно! Ну уж, видно, я и впрямь умер... Да отчего бы так, впрочем? что нужды, что я умер! ведь я в отставку не подавал: пусть бы чины себе шли да шли... кому ж от того помеха? а и мертвому приятно... Ах, не догадался я прежде! Что бы составить об этом проектец... Досадно, больно...

Кирила Петрович. Да, теперь ему более ничего не нужно! Но у него осталось семейство... если б ваше сиятельство...

Князь. Как же! с большою охотою. Заготовьте мне записку... Но только я вам должен сказать, — ваше искреннее участие в Василье Кузьмиче делает вам много чести.

Кирила Петрович. Как же иначе, ваше сиятельство. Он был мне истинный, неизменный друг...

Князь (*улыбаясь*). Ну, не совсем...

Кирила Петрович (*отирая слезы*). Как не совсем? Что вы хотите сказать этим, ваше сиятельство?..

Князь. Да, теперь дело прошлое, а я скажу вам: если вы не получили того места — знаете?.. то не кто другой тому причиною, как Василий Кузьмич... Мне больно это вам открыть, а это так...

Василий Кузьмич. Ай! ай!

Кирила Петрович. Вы меня сразили, ваше сиятельство!.. Да что ж он мог про меня сказать?..

Князь. Да ничего в особенности, а так вообще заметил, что вы человек неблагонадежный...

Кирила Петрович. Да помилуйте, ваше сиятельство, это одно слово ничего не значит — надобны доказательства...

Князь. Я это знаю; я вступался за вас; но Василий Кузьмич только и твердил: «Поверьте мне, я его давно знаю, неблагонадежен, неблагонадежен вовсе...» Это дело, как вы знаете, от меня не зависело, Василий Кузьмич был с весом — и к нему все пристали.

Кирила Петрович. Ах, лицемер, лицемер! Уж если на то пошло, я доложу вашему сиятельству: меня он уверял, что против меня были вы, что он, как с вами ни спорил, как ни заступался за меня...

Князь. Он вам просто солгал...

Кирила Петрович. Поверите ли, ваше сиятельство, не было на свете коварнее этого человека; с виду мужиком смотрел, и то и дело на языке: «Я человек простой, я человек простой», — и прямо всякому в глаза смотрел, — а тут-то и норовит обмануть; всех проводил, ваше сиятельство, всех обманывал... Вот только была бы ему какая ни на есть пользишка... отца бы продал, сына б заложил, мать бы родную оклеветал... право!

Князь. По крайней мере нельзя отнять у него, что он был человек деятельный.

Кирила Петрович. Какой деятельный, ваше сиятельство! Лентяй сущий: только что мастер был бумаги спускать. Вникните-ка в его дела — ничем не занимался. Да и когда ему было? С утра до вечера или интригует, или в вист. Ничего у него не было святого: как дело поважнее, потруднее, так и свалит его на другого; уж на это такой был тонкий!.. Такой всегда предлог отыщет, что и в голову не прийдет... А там, смотришь, как другие дело

все сделали, он его так обернет, как будто сам его сделал... такой хитрец!..

Князь. Но все-таки он был человек не корыстолюбивый...

Кирила Петрович (*горячась*). Он? такого корыстолюбца свет не привидывал. На маленькие дела он не пускался, потому что осторожен был, как заяц; но изволите помнить его поручение в чужих краях: откуда все его богатство?..

Князь. Как? неужли? Полно, правда ли?

Кирила Петрович (*продолжая горячиться*). Да помилуйте, ведь я сам при нем был, я все знаю — всех обманул, продал... а доказательств нет — все прикрыл...

Василий Кузьмич. Ай, ай, ай!

Князь. Я вам очень благодарен, что вы мне это открыли. Мне остается пожалеть, что вам не вздумалось этого сделать немножко раньше...

Кирила Петрович. Ах, ваше сиятельство! Что было делать! Старинная связь, дружба, — человек сильный.

Князь. И которого покровительство вам было нужно, не так ли?.. Прощайте, сударь... *(Уходит.)*

Василий Кузьмич. Что, брат, взял? Вот что значит наушничать...

Кирила Петрович (*опомнясь*). Ай! оплошал, погорячился слишком... Проклятый лицемер, душегубец! И по смерти-то пакостит мне...

Василий Кузьмич. Однако ж очень недурно, что я умер; не то плохая бы мне была шутка. Ну, что его слушать! Полечу-ка к другим друзьям: может быть, кто-нибудь и добром вспомянет. А, право, весело этак из места в место летать.

(Друзья Василья Кузьмича за обедом.)

Первый друг. Так вот как, батюшка! чрез два дня мы на похоронах у Василья Кузьмича? Кто бы подумал? Еще сегодня должен был у меня обедать; я ему и страсбургский пирог приготовил: он так любил их, покойник.

Второй друг. А пирог славный — нечего сказать...

Василий Кузьмич. Да! вижу, что славный! Странное дело: голода нет, а поесть бы не отказался... Что за трюфели! как жаль, что нечем...

Третий друг. Чудный пирог! позвольте-ка еще порцию за Василья Кузьмича...

(Все смеются.)

Василий Кузьмич. Ах, злодеи!

Первый друг. Ну, уж Василий Кузьмич не такую бы порцию взял: любил поесть, покойник, не тем будь помянут...

Второй друг. Ужасный был обжора! Я думаю, оттого у него и удар случился...

Третий друг. Да, и доктора то же говорят... Он вчерась, говорят, так ел за ужином, смотреть было страшно... А что, не слышно, кто на его место?..

Первый друг. Нет еще. А жаль покойника, так, по человечеству...

Третий друг. Мастер был в вист играть...

Все. О! большой мастер!..

Первый друг. У него, знаете, этакое соображение было...

Второй друг. А что нынче в театре?..

(Толки о городских новостях, о погоде... Василий Кузьмич прислушивается: об нем ни слова; он заглядывает в каждое блюдо.)

(Обед кончился; все садятся за карты; Василий Кузьмич смотрит на игру.)

Василий Кузьмич. Что за игра валит — вот так-то — шлем! Козыряйте, козыряйте, Марка Иванович — нет! пошел в масть! Да помилуйте, как можно?.. с такой игрой — да ведь вы им офранкировали даму... Ах!.. как бы я разыграл эту игру — как жаль, что нечем! — опять не то. Марка Иваныч! да вы, сударь, карт не помните... позвольте мне сказать вам, я человек простой и откровенный, у меня что на сердце, то и на языке... да что я им толкую — не слышат!.. Ах, досадно! Вот и робер сыграли... вот и другой... Ахти! так руки и чешутся... досадно! — Вот чай подают — не хочется пить — а выпил бы чашечку — это тот самый чай, что Марку Иванычу прямо из Кяхты прислали — уж какой душистый — чудо! вот хоть бы капельку... Ох! досадно.

Вот и игра кончилась; за шляпы берутся, прощаются: «Прощайте, прощайте, Марка Иваныч?» И ухом не ведет... Ну, куда же мне теперь деваться? сна ни в одном глазе. Разве пойти по городу прогуляться; вот уж и экипажи стали редеть, — все попритихло; огни гасят в домах: всякий в постелю — все забыл, спит себе во всю ивановскую; а я-то, бедный, — мне некуда и головы приклонить. А! да что я? дай-ка проведаю Каролину Ивановну... Что, я чай, плачет обо мне, горемышная? Э-ге! да и огонь у ней не погашен, — видно, и сон на ум нейдет; тоскует по мне, бедненькая! Посмотрим. Сидит в кабинете... Ахти! да не одна! это тот смазливенький, что я встретил однажды у ней на лестнице, да приревновал, — а она еще уверяла, что знать его не знает, что, верно, он ходил к другим жильцам! Ах, злодейка! Послушаем, что она с ним толкует. Какие-то бумаги у ней в руках; а! мои заемные письма. Что она с ними хочет делать?

Каролина Ивановна. Так слушай, Ванюша: ты смотри не прозевай. Я не знаю, как это у вас делается; предъявить, что ли, надобно эти заемные письма; как, куда, когда — разузнай все это, моя душа. Мне куда потерять их не хочется; если б ты знал, чего они мне стоили! Уж такого скряги, как этот Аристидов, и свет не привидывал; ревновать — ревновал, а уж мне сделать удовольствие — того и не жди; насилу из него вымучила; да этого мало — нет-нет да и спросит: «Покажи-ка мне, Каролинушка, заемные письма, — я позабыл, от какого они числа», — чуть было из рук не вырвал однажды: а не то, придет у меня же денег взаймы просить — у меня! Так, говорит, на перехватку. Такой бесчестный! Хорошо, что протянулся; теперь мы с тобой славно заживем, душа моя Ванюша...

Василий Кузьмич. Ах, злодейка! обнимает его! цалует! — Тьфу, смотреть досадно! так сердце и разрывается — а делать нечего! Плюнуть на нее, негодную, изменщицу, — да и что она мне далась?.. А уж куда хороша, проклятая... У! у! бесстыдная... плюю на тебя. Вот уж Наталья Казимировна не тебе чета... Посмотреть, однако ж, что-то делает и эта? Уж также не нашла ли себе утешителя. Вот ее квартирка! и огня нет. Посмотрим, уж не больна ли она? — Нет! спит себе да всхрапывает как ни в чем не бывало. Уж не с горя ли? Какое с горя! у постели брошено маскарадное платье: в маскараде была!

вот ее поминки по мне... И как спокойно почивает! раскинулась так небрежно... как хороша! что за прелесть... ах! как жаль!.. Ну, да нечего жалеть! ничем не поможешь... Куда бы деваться? — разве домой... а что ж, в самом деле?.. Какая тишина на улицах — хоть бы что шелохнулось... А это что за господа присели тут за углом... что-то посматривают, как будто чего-то поджидают; уж верно — недоброе на уме... Посмотрим. Ге! ге! да это плут Филька, мой камердинер, что сбежал от меня... Ах, бездельник... что-то он поговаривает...

Товарищ Фильки. Ну, да где ж ты научился по *музыке ходить*[1], что, ты из *жульков*[2], что ли?

Филька. Нет! куда! Совсем бы мне не тем быть, чем я теперь. Отец у меня был человек строгий и честный, поблажки не давал и доброму учил; никогда бы мне *музыка* на ум не пришла... Да попался я в услужение к Василию Кузьмичу, вот для которого скоро большая *уборка*[3] будет...

Товарищ Фильки. Да что, неужли он *мазурил*?..[4]

Филька. *Клевый маз*[5] был покойник... только, знаешь, большой руки. Знаешь, к нему хаживали просители с *стуканцами*...[6]

Товарищ Фильки. Постой-ка — никак, *стрёма*[7].

Филька. Нет! — *Хер*[8] какой-то... Да куда наша *фига*[9] запропастилась?..

Товарищ Фильки. Да нельзя же вдруг...

Филька. О! проклятое дело! продрог как собака...

Товарищ Фильки. Ничего — как рассвенет, в *шатун*[10] зайдем... ну, так ходили просители...

---

[1] То есть воровать. Слово из *афеньского* языка, о котором лет пять тому были напечатаны в «Отечественных записках» любопытные исследования. Многие из поговорок этого языка вошли в обыкновенный язык, но не всем еще понятны, и потому мы считаем не излишним присоединить и перевод к афеньским словам. *(Прим. В. Ф. Одоевского.)*

[2] Маленький мошенник. *(Прим. В. Ф. Одоевского.)*

[3] Похороны. *(Прим. В. Ф. Одоевского.)*

[4] Воровал. *(Прим. В. Ф. Одоевского.)*

[5] Большой вор. *(Прим. В. Ф. Одоевского.)*

[6] С деньгами. *(Прим. В. Ф. Одоевского.)*

[7] Караульный, дворник. *(Прим. В. Ф. Одоевского.)*

[8] Пьяный. *(Прим. В. Ф. Одоевского.)*

[9] Лазутчик. *(Прим. В. Ф. Одоевского.)*

[10] В питейный дом. *(Прим. В. Ф. Одоевского.)*

Филька. Ну да! ходили... а Василий-то Кузьмич думал, что я простофиля... Вот, говорит, приятель пришел; что он тебе отдаст, то ко мне принеси, а тебе за то синенькая; вот я делом-то смекнул; вижу, что Василию-то Кузьмичу не хочется, зазора ради, из рук прямо деньги брать, а чтоб того, знаешь, какова пора ни мера, на меня все свалить. Я себе на уме — за что ж мне даром служить? вот я и с Василия Кузьмича магарычи, да и с просителя подачку...

Товарищ Фильки. Так тебе, брат, *лафа*[1] была...

Филька. Оно так! да вот что беда: как пошли у меня стуканцы через руки ходить, — так сердце и разгорелось, — больше захотелось... а между тем Василий Кузьмич меня то туда, то сюда; поди-ка, Филька, вот то проведай, а того-то проведи, — а вот этому побожись, будто меня продаешь, — и разным этаким залихватским штукам учил, — так что сначала совестно становилось, особливо, бывало, как отцовские слова вспомнишь, а потом и то приходило в ум: что же тут дурного для своей прибыли работать? Василий Кузьмич — не мне чета, уж знает, что делать, а от всех почтен, уважен... что ж тут в зубы-то смотреть? уж коли музыка — так музыка. Да этак подумавши, — я однажды и хватил за *толстую кису*[2], да так, что надобно было лыжи навострить, — а с тех пор и пошло, чем дальше, тем пуще; да теперь вместо честного житья — того и смотри, что буду на Смольное глазеть...[3]

Товарищ Фильки. Смотри, смотри, *фига* знак подает...

Филька. А! насилу-то! (*Встает.*)

Товарищ Фильки. А *фомка*[4] с тобою?

Филька. И нож также...

Василий Кузьмич. Ах ты бездельник! вишь, я его еще научал! я ведь совсем не тому... Пойдет теперь — обворует, может быть смертоубийство совершит... Как бы помешать... Помешать! — а как помешать? Кто меня услышит? Ох! жутко! — куда бы деваться — хоть бы не видать и не слыхать... скорей домой... так авось не услышу... вот я и дома. Еще мое тело не убрали — да! еще рано.

---

[1] Славное житье. (*Прим. В. Ф. Одоевского.*)
[2] Большую сумму. (*Прим. В. Ф. Одоевского.*)
[3] Уголовное наказание. (*Прим. В. Ф. Одоевского.*)
[4] Лом. (*Прим. В. Ф. Одоевского.*)

А! вот и племянница не спит, плачет, бедненькая!.. Добрая девка, нечего сказать; точно покойный ее отец! Никогда злое и на ум не взойдет; хоть десять раз его обмани, — ничего не видит! То-то добрая душа... да так он с одной доброй душой и на тот свет отправился: где-то он теперь; хоть бы встретить! потолковали бы кое о чем. Ну, не плачь, Лиза, мой друг! горем не поможешь; пройдет—утешишься. Вот смотри, выйдешь замуж, все горе забудешь... Ну, а что сыновья-то делают? Не спят также — однако ж не плачут... Разговор, кажется, живой... послушаем.

Петр. Уж ты что ни толкуй, Гриша, если мы этого дела не смастерим да случай упустим, так куда у нас доброго убудет...

Гриша. Оно так! да совестно что-то; ведь мы знаем, что она действительно дочь покойного дядюшки...

Петр. Мы знаем, да суд не знает, а судит по тому, что есть на бумаге...

Гриша. Да знаешь, что и Лизы-то жаль. Что за добрая! словно овечка... Ведь мы с ней маленькие игрывали... знаешь, брат: ведь чувство такое есть...

Петр. Ну, зафилософствовался! Мало тебя за это отец покойный бранил! уж он ли не говорил тебе, что с твоим философствованием век дрянью будешь: так и выходит...

Гриша. Я помню, что отец говорил... да, однако ж, как подумаешь, — что с Лизой-то будет? куда она голову приклонит?

Петр. Да! так что́ же?.. Слушай, брат Гриша, скажу тебе напрямки: отец-то у нас уж куда умный человек был, и доказал, что умный: от гроша до мильона дошел, а помнишь его любимую поговорку: «Свою крышу крой, сквозь чужую не замочит». Вот оно что. А ведь тут по двести тысяч на брата, Гриша; ведь на улице не поднимешь...

Гриша. Оно так... Ну, да как Василий Кузьмич какое распоряжение сделал?

Петр. Да! он таки сделал распоряжение — и я знаю какое. Ты еще был мал, не помнишь, а я помню. Как дядя умирал, так и просил: «Я, говорит, не успел — болезнь захватила, — а дело важное — у Лизы бумаги не в порядке. Сохрани бог, ты умрешь, — другие наследники привяжутся, отобьют у ней наследство. Сделай милость, выхлопочи все доказательства ее происхождения, а не то — беда. Я на всякий случай все ломбардные билеты на имя

неизвестного перевел, чтоб какова пора ни мера, все-таки Лиза не без куска хлеба будет. Пусть они теперь остаются у тебя, — а как подрастет, отдай ей, — да между тем выхлопочи ее бумаги-то... не забудь, — да и ты, Петруша — отцу припомни...» Прошел год по кончине дяди, — я еще тогда был молод, неразумен, ничего не понимал, какие вещи есть на сем свете, — вспомнил я дядин приказ и заикнулся об нем отцу. А Василий Кузьмич посмотрел на меня, поморщился, да и молвил: «Что ты, отца-то учить, что ли, хочешь?» — «Да я, батюшка, подумал, что между делами...» — «Что я забуду, что ли? — спросил отец. — Нет, Петруша, какие бы у меня дела ни были — я главного дела никогда не забываю — помни это». В те поры я не совсем эти слова понял, но потом — как начал входить в разум, смекнул в чем дело; да однажды — уж неспроста — заговорил с отцом об Лизиных бумагах. Старик посмотрел на меня еще пристальнее прежнего и, кажется, отгадал, что у меня было на уме. «Много будешь знать, скоро состареешься», — сказал он, знаешь, с своею миловидною улыбкою, да потом ударил меня по плечу и промолвил: «Слушай, Петруша, ты, я вижу, малой-то не дурак будешь... знаешь ли ты, что такое деньги? не знаешь? — я тебе скажу: деньги — то, чем мы дышим; все на свете пустяки, все вздор, все дребедень... одна вещь на свете: *деньги!* помни это, Петруша, — с этим далеко пойдешь...»

Василий Кузьмич. Когда, бишь, это я ему говорил?.. А точно! говорил... экой плут какой! — вспомнил — да к чему же он клонит...

Гриша. Ну, так что ж ты думаешь?..

Петр. Да думаю то, что дело и по сю пору на том стоит: то есть что билетов на четыреста тысяч на имя неизвестного лежит у отца в комоде, — а Лиза покамест ничего, не отца своего дочь...

Гриша. Да как же это?..

Петр. Да так же! Стоит нам помолчать, и четыреста тысяч наши...

Гриша. Ах, брат, да совестно...

Петр. Ну, занес философию! совестно что? помолчать? добро бы говорить... Ведь слышишь, четыреста тысяч, — четыреста... знаешь счет или нет?..

Гриша. Ну, а как отец-то какую записку оставил?..

Петр. А что, и в самом деле? Вот уже правду покойник говаривал: «Что бы ни сталось, головы не теряй, главного не забывай». Пойдем-ка посмотрим у него в бумагах... благо, я ключи-то захватил...

Гриша. Ах, брат, страшно. Ведь это... знаешь... подлог...

Петр. Эк книги-то тебя с толку сбили! Уж дрянью был, дрянью и будешь... Да, нечего времени терять: скоро утро; я и один пойду, если ты трусишь... а ты сиди, хоть стихи сочиняй на досуге...

Василий Кузьмич. Ну, вижу — этому малому плохо не клади, — экой разбитной какой!.. А жаль Лизы-то; впрочем, ведь не моя она дочь... Ну пришел; эк начал шарить; видно, чутье у него: так прямо на Лизины билеты и напал. Задумался... шарит в бумагах... еще задумался... Ну, что же!.. как? в карман? Э-ге! вот уж это дурно, Петруша... Что ты? что ты?.. Потащил! Ай-ай! что-то будет...

Петр (*возвращаясь в братнину комнату, встревоженный*). Записки нет никакой... я все перешарил...

Гриша. Ну, что ж! хорошо...

Петр. Да, очень хорошо! Ты здесь что делал?..

Гриша. А мне пришли в голову два славные стиха для элегии:

> О золото! Металл презренный!
> Нас до чего доводишь ты? —.

только рифм не могу отыскать...

Петр. Слушай, Гриша, я тебе принес рифму, и очень богатую... Только смотри, брат! я человек честный, как видишь, мог бы всем воспользоваться, да не хочу, ты все-таки мне брат, хоть и дрянь; вот тебе половина, припрячь-ка скорее... да смотри не проболтайся.

Гриша. Что ты? что ты, брат? Да как же это ты взял без родственников, прежде осмотра?..

Петр. Что? дожидаться осмотра?.. ах ты, философ! Сам же меня надоумил...

Гриша. Я?..

Петр. Да кто же? Ведь ты сказал, что, может быть, Василий Кузьмич распоряжение какое сделал, может, записку какую оставил; я по твоим словам и пошел, записки не нашел, а тут и подумал: а что, как где найдется? ведь на грех мастера нет! а как деньги припрятаны, так и

концы в воду; там пускай после и осматривают, и опечатывают: «Знать не знаем и ведать не ведаем; какие были билеты, те и остались!»; а остались-то билеты все на имя батюшки, то есть которые достанутся нам по наследству... Что? не дурно?..

Гриша. Так.. да все-таки.. я не знаю что-то...

Петр. Берешь деньги или нет? коли не берешь, так, пожалуй, я и все себе возьму...

Гриша. Ну уж... давай, давай...

Василий Кузьмич. Нет! грустно что-то становится, а сам не знаю отчего... как-то странно! и благоразумно, да и нехорошо, однако благоразумно... Что-то в толк не могу взять... а душно мне здесь становится, пойти на воздух, да благо уж и утро... лавки отворяют... люди выходят... им весело... а мне скучно все что-то... дай заверну в кондитерскую. А! газеты разносят... хоть их почитать от скуки... А! моя некрология! Посмотрим. *(Читает.)*

«На сих днях скончался такой-то и такой-то Василий Кузьмич Аристидов, искренно оплакиваемый родными, друзьями, сослуживцами и подчиненными, всеми, кто знал и любил его. А кто не любил сего достопочтенного мужа? Кому не известны его зоркий ум, его неутомимая деятельность, его непоколебимое прямодушие? Кто не ценил его доброго и откровенного характера? Кто не уважал его семейные добродетели, нравственную чистоту? Посвящая всю жизнь трудам неусыпным, он, не желая отдать детей в общественное заведение, успевал лично заниматься их воспитанием и умел образовать в них подобных себе достойных сограждан. Прибавим к сему, что, несмотря на важные и многотрудные свои занятия, почтеннейший Василий Кузьмич уделял время и на литературу; он знал несколько европейских языков, был одарен изящным вкусом и тонкою разборчивостию. Здесь кстати заметим нашим врагам, завистникам, порицателям, нашим строгим ценителям и судьям, что почтеннейший Василий Кузьмич всегда отдавал нам справедливость: в продолжение многих лет был постоянным подписчиком и читателем нашей газеты...»

Ну уж тут немножко примахнули; никогда не подписывался — даром присылали... так... из угождения... Ну, что еще такое?

«Он знал и верил, что мы за правду готовы жизнию пожертвовать, что наше усердие, благонамеренность... чистейшая нравственность... участие публики...»

Ну, пошла писать! Это еще что за приписка?

«Долгом считаем уведомить читателей, что нашей газеты на нынешний год остается немного экземпляров, и потому... подписка принимается у известного своею честностию и аккуратностию книгопродавца...»

Ну, уж это их домашние дела; рады были к чему-нибудь прицепиться... однако ж спасибо и негодяям за доброе слово...

Что это за шум на улице!.. Ага! возвращаются с похорон. Уж не с моих ли? Дай-ка послушать, что-то обо мне говорят.

— Делец был хоть куда, да одно плохо...
Мимо.
— Претонкая был штука!..
— Уж ты что с ним ни делай, всегда вывернется!..
— Аккуратный человек...
— Без стыда и без совести...
— Гвоздин через него в люди пошел...
— По миру пустил и меня, и детей...
— И взятку взял, да в прах разорил, — верно, там больше дали...
— Никогда не брал...
— Брал, да искусно, через камердинера...
— Что вы?
— Уж кому это лучше меня знать?
— И с живого и с мертвого...

Тьфу, пропасть! и слушать неприятно!.. вот, живи после этого! оберегайся, рассчитывай каждый шаг, обделывай дела свои умненько, умер — все открылось! Нет! нечего сказать, грустно, да и досадно — рта никому зажать нельзя!.. Куда бы деваться?.. Куда? разве побродить по городу... благо день...

Вот уж и потемнело! Не знаю отчего, как-то мне ночью страшно становится... Кажется, чего мне теперь бояться... а вот под сердцем так что-то и колет... Куда бы деваться? а! театр освещен? Давно уж я там не был — да, благо, и

за вход не надобно платить. Посмотрим-ка, что такое дают? «Волшебную Флейту» — никогда не видал. Ах, да, опера! вот музыки я никогда не любил — так, душа к ней не лежала... Ну, да нужды нет, только бы вечер убить...

Что это за аллегория такая? человек и сквозь огонь и сквозь воду проходит... то есть ему здесь разные испытания... посмотрим-ка поближе *(на сцене)*, э! вода-то картонная, да и огонь-то тоже... да еще молодец-то пересмеивается с актрисой... оно и здесь, как везде: снаружи подумаешь невесть что, а внутри пустошь, крашеная бумага да веревки, которыми все двигается. *(Обращается к зрителям.)* А! недурен вид отсюда на публику! Послушайте, господа, что вы видите здесь — совершенный вздор; вот, здесь парни в высоких шапках — маги, что ли, что они за околесную несут и про добродетель и про награды, такие и между вами есть, — все неправда. Они толкуют так потому, что за то деньги получают; да кто и выдумал-то все это, тоже из денег хлопотал; в этом вся штука! Поверьте мне: я в самом деле и сквозь воду и сквозь огонь прошел — а все вышло ничего; жил, имел деньги — было хорошо, а вот теперь что я такое? так! ничто! Слышите, что ли? Никто не слышит, все смотрят на сцену... видно, что-нибудь хорошо, отойти подальше. *(В партер.)* Так! я этого ожидал! в награду за добродетель, за подвиги — исполнение всех желаний, и свет, и покой, и любовь — да! дожидайся... Однако ж, как подумаешь, если б в самом деле добыть такое тепленькое местечко, где бы ничего не видать, не слыхать, забыть обо всем!.. Занавес опустилась — вот и все! все идут по домам, всякого ждет семья, друзья... а меня? меня никто не ждет! Эта глупая пьеса на меня тоску навела. Куда бы деваться? не оставаться же здесь в пустом, темном театре... Ах! если б уснуть? Бывало, что и неприятное случится, заляжешь в постелю, заведешь глаза, и все позабудешь, а теперь вот и сна нет! Грустно!.. *(Несется по городу.)* Ух! вот как проходишь мимо этих домов, даже жутко становится, так и слышится: вот здесь бранят, там проклинают, там насмехаются надо мною... и ушей нечем себе зажать, и глаз не можешь закрыть — все видишь, все слышишь... Куда это меня тянет?.. Никак, за город?.. а! кладбище! да! вот и моя могила... вот и мое тепленькое местечко! Здесь и он лежит! у, какой! и червяк у него ползет по лицу! А все-

таки ему веселее моего; по крайней мере он ничего не чувствует... Да и мне даже здесь лучше, нежели там; хоть и не слышишь людского говора... Ох, грустно! грустно...

Кажется, я уже начал позабывать дни... уж не знаю, сколько и времени проходит... Да и на что мне знать? Только и отрады мне, что на моей могиле... тихо! едва потянешься куда, опять и брань и проклятия!.. Однако хотелось бы посмотреть, что у меня в доме творится?.. Дай потащусь... Ну! в дорогу! что это снова меня тянет... Какая-то бедная квартирка... Э-ге! да тут Лиза, моя племянница... стало быть, дети-то выгнали ее из дома. Ох, нехорошо! Кто это у ней? А! молодой Валкирин, что приволакивался за нею... Ай! ай! чтоб не было беды... О чем это они поговаривают...

Валкирин. Скажите, Лизавета Дмитриевна, неужели у вас не осталось никаких бумаг после покойного батюшки?

Лиза. Все, какие были, переданы еще батюшкой Василью Кузьмичу... Но что с тобой сделалось, Вячеслав? Ты расстроен, бледен как смерть?..

Валкирин. Не спрашивайте меня, Лизавета Дмитриевна! Ужас... ужас!.. что у вас было четыреста тысяч, это верно, что они украдены — это еще вернее... Я двинул дело, и готовится следствие, но знаете ли, какое возражение приготовили ваши братья? они утверждают, что у Дмитрия Кузьмича никогда не было дочери!..

Лиза. Как не было, а я?

Валкирин. Это знают: вы, я, и они это знают, но в бумагах нет никаких доказательств...

Лиза. Как! я не дочь моего отца? да что же я такое?

Валкирин. Пока не найдутся доказательства, вы — ничто... вы — самозванка.

Лиза. Боже мой! какой ужас!.. Но как это можно? Пусть спросят!.. Кто не знает, что я дочь моего отца?..

Валкирин. Повторяю вам: все знают; но в бумагах этого нет, а это главное...

Лиза. Что ж делать теперь?..

Валкирин. Времени терять нельзя; я выхлопотал себе отпуск и в нынешнюю же ночь отправляюсь в бывшую деревню вашего батюшки; там, вероятно, я отыщу какие-нибудь следы...

Василий Кузьмич. Да! дожидайся! много отыщешь!..

Лиза. Я не знаю, Вячеслав, как мне благодарить тебя... все меня оставили, все гонят, — один ты...

Валкирин. Вы знаете, какой я жду награды! одного: вашей руки...

Лиза. О! она давно твоя, но не теперь, не в эту минуту... ты сам беден, я не хочу, чтоб ты женился на нищей, да и твой отец никогда на это не согласится... я не хочу быть причиной раздора в вашем семействе, особливо теперь, когда я... страшно вымолвить... даже не дочь моего отца! *(Рыдает.)*

Валкирин. Скажите только одно слово... я не посмотрю ни на что... вы завтра же будете моею женою.

Лиза. Нет, благородный человек! я не хочу воспользоваться твоим самоотвержением, а ты также не захочешь унизить меня: теперь твое предложение — почти милостыня, в которой я буду упрекать себя; будь доволен тем, что моя рука, моя любовь принадлежат тебе... Бог все устроит — и тогда ничто не помешает нашему счастию.

Василий Кузьмич. Они кидаются друг другу в объятия, оба плачут, бедненькие! Мне даже как будто жаль их; а как помочь? Ах, кабы знал да ведал, оставил бы ей что-нибудь на проживку... А то, вишь, плуты, все себе захватили... Ведь правду сказать, теперь мне на что? Не все ли равно, тем бы или другим досталось?.. Ах! жалко! душу теснит, смотреть на них больше не могу!.. Нет, жутко мне здесь оставаться... скорей вон из города, чтоб только не видать и не слыхать ничего!..

Как будто дышишь здесь привольнее; оно таки скучно одному по большим дорогам таскаться, а все лучше... Ба! кажется, знакомые места... Да! как же! вот и город, в котором я на своем веку славно попировал. Что, там помнят меня или забыли?.. Вот и дом, в котором я жил; посмотрим, что в нем творится... А! вот и мой прежний подчиненный! приятно встретить знакомое лицо! С ним какой-то приезжий, и очень встревожен; послушаем, что они толкуют.

Приезжий. Скажите, неужели действительно ничего не сохранилось из этого драгоценного собрания?

Провинциальный чиновник. Повторяю вам, что Василий Кузьмич приказал все истребить.

Приезжий. Но с какой целью?

Провинциальный чиновник. Да так, для чистоты и порядка. Как теперь помню: сидел он за вистом, призвал меня к себе и говорит: «Что это, батюшка, у вас там много старого хлама? куда его бережете? только место занимает, а мне вот некуда моих людей поместить». Я было заикнулся, что, дескать, древность большая, а он как на меня прикрикнет: «Прошу, батюшка, не умничать! прошу все это старье собрать, на пуды продать и деньги ко мне представить, а комнаты очистить, чтоб послезавтра мои люди могли туда перейти».

Приезжий. Так что же вы сделали?

Провинциальный чиновник. Я должен был исполнить приказание. Какие свитки были, продал в свечные лавки, а вещи в лом.

Приезжий. Как вещи? разве были и вещи?

Провинциальный чиновник. Да, только все старье: платье, бердыши и много-много вещей, которых и назвать не сумеешь... Например, были часы; говорят, им было лет четыреста, только старые такие, глядеть не на что, даже не благоприлично. За одиннадцать рублей с полтиною слесарю продали; все старье, говорю вам...

Приезжий. Боже мой, какая потеря!

Провинциальный чиновник. Я уж и сам жалел, да делать было нечего. Да что это вас так интересует?

Приезжий. Как мне объяснить вам это? В этих бумагах хранился единственный экземпляр одного важного документа для нашей истории; я употребил все мое небольшое имение, чтоб отыскать его; изъездил десятки городов и наконец вполне убедился, что этот документ нигде, как у вас... Теперь все десятилетние мои труды потеряны, важный пропуск останется вечным в нашей истории, и я должен возвратиться ни с чем, без надежды и... без денег... Скажите, у вас была еще старинная живопись на стенах?

Провинциальный чиновник. Живопись? Как же-с! Она стерта по приказанию Василья Кузьмича.

Приезжий. Да что у вас был за варвар Василий Кузьмич?

П р о в и н ц и а л ь н ы й ч и н о в н и к. То есть он не то чтоб варвар был; эдаких, знаете, злодейств не делал, а так, крутенек был... вот видите, я расскажу...

В а с и л и й К у з ь м и ч. Ну, пошли поминки по мне... дальше, дальше! (*Пролетает через город.*)

Что это? слышится рыдание... Опять мое имя поминают.

Г о л о с в б е д н о й л а ч у ж к е. О, чтоб этому Василью Кузьмичу не было ни дна ни покрышки! Такая ли была б я теперь... Ластился тогда, проклятый, ко мне: не беспокойтесь, говорил, матушка, уж я все улажу; поднимете дело — хуже будет; я вам за все отвечаю, все ваше сохранится, все улажу... вот и уладил, окаянный; я сдуру-то ему поверила да срок пропустила, а вот теперь и умирай с голода с пятью сиротами, а ведь, кажется, и богат был и важен! Как эдаких людей земля носит!

В а с и л и й К у з ь м и ч. Еще поминки! мимо, мимо!.. Нет покоя! хоть бы залететь в какую-нибудь трущобу!.. А, вот еще город, что это? здесь, кажется, весело, ярмарка... Ахти! опять про меня толкуют: говорят, что все разорились оттого, что складочное место построено не там, где бы должно, что и дорог к нему нет, и товары портятся... Ахти, правда! Да что ж было делать? волочился я тогда за одной вдовушкой, а ей хотелось, чтоб ярмарка против ее дома была; сколько хлопот-то было! чего мне стоило и интриговать, и обманывать, и доказывать, что здесь-то самое лучшее и самое выгодное место... а к чему все это повело?.. Мимо! Мимо!.. А как подумаешь, что это в самом деле за распоряженье такое? Уж если умер, так умер — и концы в воду. А то нет — чем ни пошалил, все так в глаза и лезет, все вопит, все корит... право, странное распоряженье...

Нет сил больше! уж где я не таскался! кругом земного шара облетел! и где только ни прикорну к земле — везде меня поминают... Странно! ведь, кажется, что я такое на свете был? ведь если судить с благоразумной точки зрения, я не был выскочкою, не умничал, не лез из кожи, и ровно *ничего* не делал, — а посмотришь, какие следы оставил по себе! и как чудно все это зацепляется одно за другое! Смотришь, в тюрьме сидит человек, и в глаза его не видал, — пойдешь добираться и доберешься, что все по

моей милости! Иного за тридевять земель занесло — и опять по моей милости. Тут и вдовы, и сироты, и должники, и кредиторы, и старый, и малый — все меня поминает, и отчего? все от безделицы, право от безделицы: уверяю вас, я человек прямой и откровенный, от почерка пера, от какого-нибудь слова, сказанного или недосказанного... Право, сил нет! индо страшно становится! а между тем так и тянет на родину, так и подмывает. Ну, вот я и здесь! опять меня остановило над Лизиной квартиркой... Что за бедность! к такой ли она жизни привыкла? Исхудала, несчастная, на себя непохожа; куда и красота девалась? — работает над бельем, и слезы так и каплют, я чаю, также меня поминает... А это кто к ней входит? барин какой-то; как разодет: видно, богатый; с чем это он к ней подъезжает? И как она обрадовалась ему, вскочила!

Лиза. Я думала, Филипп Андреевич, что вы меня совсем забыли.

Барин. Нет, сударыня, как можно! захлопотался немного, — знаете, дела по министерству... Ну, что, как поживаете?

Лиза. Ах, дурно, Филипп Андреевич, очень дурно! Мой поверенный пишет, что никакой нет надежды отыскать мои бумаги.

Барин. Ничего, ничего, сударыня, — это мы все обделаем...

Лиза. Ах, вы истинно мой благодетель! без вас я бы совсем погибла; я и до сих пор живу теми деньгами, которыми вы меня ссудили, когда я ваше серебро продала, — а заплатить до сих пор — извините, нечем.

Барин. Ничего, ничего, сударыня! после сочтемся; вы меня сами очень одолжили... вы понимаете, мне самому, в моем чине, неловко как-то продавать, — а случается нужда в деньгах... вы понимаете.

Василий Кузьмич. Чем больше всматриваюсь — знакомое лицо! да это плут Филька, мой камердинер, переодетый!.. Ну! беда!..

Лиза. Очень понимаю и готова вам служить сколько могу: я сказала, что это серебро матушкино, да кстати и вензель на серебре пришелся по моему имени.

Филька. Прекрасно... впрочем, мне нельзя долго у вас оставаться; я заехал к вам на минуту, был в ломбарде, выкупил там свои вещи, а теперь надо ехать к ми-

нистру; боюсь возить — потеряешь, позвольте мне у вас оставить вещи.

Лиза. С удовольствием. Ах, какие прекрасные брильянты, фермуары, диадемы... и как много!

Филька. Да! прекрасные, прекрасные и очень дорогие. Пожалуйста, припрячьте их подальше.

Василий Кузьмич. Лиза, Лиза! что ты делаешь! ведь это краденые вещи, ведь это вор, ведь это Филька... Ничего не слышит... отчаяние!

Филька. Ах нет! сделайте милость, не в комод: могут украсть; воры обыкновенно прежде всего хватаются за комод — я уж это знаю...

Лиза. Да куда же?

Филька. А знаете, вот за печку — оно гораздо безопаснее!

Лиза. Ах, как это смешно!

Филька. Теперь прощайте, до свидания... *(Филька выходит и в дверях встречается с полицейским, отступает на шаг и бледнеет.)*

Полицейский. А! попался, приятель! давно мы тебя поджидали! Так здесь у тебя воровской притон? Свяжите-ка ему руки, да и красавице-то его тоже, а комнату обыскать... *(Обыскивают комнату и находят за печкою брильянты.)*

Василий Кузьмич. Ах, бедная Лиза! да она не виновата! слышите, она не виновата! Нет, не слышат! Как растолковать им... Она в беспамятстве; слова не может вымолвить... Но вот кто-то еще... Ах, это Валкирин; может быть, он ее выручит... он не может прийти в себя от удивления... объясняется с полицейским; тот ему толкует о поведении Лизы, о давних ее сношениях с вором, о проданном серебре... Лиза узнает Валкирина, бросается к нему, он ее отталкивает... Нет, не могу больше смотреть! Скорее в могилу, в могилу — одно мое убежище!..

Так вот жизнь, вот и смерть! Какая страшная разница! В жизни, что бы ни сделал, все еще можно поправить; перешагнул через этот порог — и все прошедшее невозвратно! Как такая простая мысль в продолжение моей жизни не приходила мне в голову? Правда, слыхал я ее мельком, встречал ее в книгах, да проскользнула она между другими фразами. Там все так: люди говорят,

говорят и так приговорятся, что все кажется болтовнею! А какой глубокий смысл может скрываться в самых простых словах: «нет из могилы возврата»! Ах, если б я знал это прежде!.. Бедная Лиза! Как вспомню об ней, так душа замирает! А всему виною я, я один! я внушил эту несчастную мысль моим детям — и чем! неосторожным словом, обыкновенною мирскою шуткою! Но виноват ли я? я ведь думал, что успею Лизу устроить! Правда, пожил я довольно на счет ближнего, но никогда бы не привел дочери моего брата в то положение, в котором она теперь! Неужели в детях моих нет искры чувства?.. А откуда оно бы зашло к ним? не от меня — нечего сказать; едва я подозревал в них зародыш того, что называется поэтическими бреднями, как старался убивать их и насмешкою и рассуждением; я хотел детей своих сделать *благоразумными людьми;* хотел предохранить их от слабодушия, от филантропии, от всего того, что я называл пустяками! Вот и вышли люди! Мои наставления пошли впрок, мою нравственность они угадали!.. Ох! не могу и здесь дольше оставаться — и здесь уж для меня нет покоя! Других голосов не слышу, но слышу свой собственный... ох! это совесть, совесть! какое страшное слово! как оно странно звучит в слухе! оно кажется мне совсем иным, нежели каким *там* казалось; это какое-то чудовище, которое давит, душит и грызет мне сердце. Я прежде думал, что совесть есть что-то похожее на приличие, я думал, это если человек осторожно ведет себя, наблюдает все мирские условия, не ссорится с общим мнением, говорит то, что все говорят, так вот и вся совесть и вся нравственность... Страшно подумать! Ах, дети, дети! неужели и вас такая же участь ожидает? Если б вы были другие, если бы другое вам внушено было, вы, может быть, поняли бы мои страдания, вы постарались бы истребить следы зла, мною сделанного, вы поняли бы, что одним этим могут облегчиться мои терзания... И все напрасно! долгая, вечная жизнь предстоит мне, и мои дела, как семена ядовитого растения, — все будут расти и множиться!.. Что ж будет наконец? Ужас, ужас!..

Вот и тюрьма. Вижу в ней бедную Лизу... но что с нею? она уж не плачет, она поводит вокруг себя глазами...

Создатель! она близка к сумасшествию... Дети, знаете ли вы это?.. где они? Младший спит, старший сидит

за бумагами... Боже, что в них написано! он обвиняет Лизу в разврате, поддерживает подозрение в воровстве, тонко намекает о ее порочных наклонностях, замеченных будто еще в моем доме... И как искусно, как хитро сплетена здесь ложь с истиною! Мои уроки не потерялись: он понял искусство жить... как я понимал его! Но что с ним? он взглянул на спящего брата: какое страшное выражение в лице его! О, как бы я хотел проникнуть в его мысли... вот... я слышу голос его сердца. Ужас, ужас! он говорит сам себе: «Эта дрянь всегда будет мне во всем помехою; откуда и жалость у него взялась, и раскаяние, и заступничество? Ну, что, если он сглупа все выболтает? тогда беда! Нечего сказать — уж куда бы кстати ему умереть теперь!.. А что, мысль не дурная! почему не помочь? стоит только несколько капель в стакан... что говорится, попотчевать кофеем... А что? в самом деле! снадобье-то под рукою, стакан воды возле него на столе, впросонках выпьет, не разберет — и дело с концом».

Петруша! сын мой! что ты делаешь! остановись!.. это брат твой!.. Разве не видишь... я у ног твоих...нет! ничего не видит, не слышит, подходит к столу, в руках его стклянка... Дело сделано!..

Боже! неужели для меня не будет ни *суда*, ни *казни*? Но что это делается вокруг меня? откуда взялись эти страшные лица? Я узнаю их! это брат мой укоряет меня! это вдовы, сироты, мною оскорбленные! весь мир моих злодеяний! Воздух содрогнулся, небо разваливается... зовут, зовут меня...

В это утро Василий Кузьмич проснулся очень поздно. Он долго не мог прийти в себя, протирал глаза и смутно озирался.

— Что за глупый сон! — сказал он наконец, — индо лихорадка прошибла. Что за страхи мне снились, и как живо — точно наяву... отчего бы это? да! вчера я поужинал немного небрежно, да еще лукавый дернул меня прочесть на сон грядущий какую-то фантастическую сказку... Ох, уж мне эти сказочники! Нет чтоб написать что-нибудь полезное, приятное, усладительное! а то всю подноготную из земли вырывают! Вот уж запретил бы им писать! Ну, на что это похоже! читаешь и невольно задумываешься — а там всякая дребедень и пойдет в голову; право бы, запре-

тить им писать, так-таки просто вовсе бы запретить... На что это похоже? Порядочному человеку даже уснуть не дадут спокойно!.. Ух! до сих пор еще мороз подирает по коже... А уж двенадцать часов за полдень; эк я вчерась засиделся; теперь уж никуда не поспеешь! Надо, однако ж, чем-нибудь развлечься. К кому бы поехать? к Каролине Карловне или к Наталье Казимировне?





СВИДЕТЕЛЬ

(Посв. А. И. Кошелеву)

...Я выскочил из коляски и целовал родную землю. Звон русского православного колокола вывел меня из этого чувства самозабвения, которое находит на душу при виде отчизны, особливо после десятилетней с ней разлуки. Невдалеке на пригорке белелись стены монастыря. Забыв усталость, я бросился в отворенные врата храма, не с холодным любопытством путника, но как младенец бросается в объятия матери. Это испытали все после долгой разлуки с родиною.

Всеношная отошла. Сквозь полукруглые окна проходили длинные, багровые лучи заходящего солнца, волновались в облаках церковного фимиама и рядами ложились на светлую позолоту иконостаса — как долгая, горькая, взволнованная кровавыми страстями молитва, достигшая наконец скинии завета души человеческой. Свежий вечерний воздух проникал в растворенные двери. Миряне начали выходить из церкви; за ними черною полосой потянулась монастырская братия. Я стоял неподвижно; опустелый храм мне казался еще величественнее, еще благодатнее. Его вид наводил те мысли, которые исчезают среди толпы, в жизни мятежной, которых не может уловить слово, но которые так внятно говорят сердцу. Почти неслышный шорох заставил меня заметить, что я не один. В отдаленном углу я заметил монаха, распростертого на хладном помосте. Невольное любопытство заставило меня также остаться в церкви. Наконец отшельник встал; лицо его осветилось лучами солнца.

Незнакомец, казалось, также узнал меня. Мы сошлись ближе.

— Ты ли это, Ростислав?

— Ты ли это, Григорий? — И мы бросились друг другу на шею. Я узнал старого товарища по службе, старого товарища моего детства.

— Что значит твое платье? Что значит твое бледное, изнывшее лицо? Ты ли это, удалой гусар, украшение петербургских балов?

Монах не отвечал ни слова, вздохнул глубоко и повел меня в свою келью. Вот что он рассказал мне:

«Вскоре после твоего отъезда в чужие края я отправился в отпуск к родным; в семье я нашел матушку, уже очень слабую и больную; моего младшего брата я почти не узнал: в его возрасте человек так быстро переменяется, — а я уже лет пять не видал его; теперь ему было около семнадцати лет; он был прекрасен собою и самого милого юношеского характера. Матушка не хотела отпускать его; она его одного из всех детей кормила сама, а ты знаешь, что это обстоятельство производит между матерью и детьми какую-то таинственную, неразрывную, почти физическую связь, которая усиливает в высшей степени и без того горячее материнское чувство и не проходит с летами. Вячеслав совсем было согласился на желание матери. Но когда он увидел мой блистательный мундир, мои усы, наслышался моих рассказов о полковом, приятельском круге, о театре, о всех наслаждениях петербургской жизни, — он позабыл просьбы матери, свои обещания и стал неотступно просить у нее позволения вступить в военную службу. Я присоединил к его просьбам мои; я представил матушке все выгоды, которые ему доставит этот род жизни; напоминал ей, что мы будем друг другу подпорою; обещал быть при Вячеславе неотлучно, быть для него не только братом, но отцом. После долгой борьбы матушка однажды наедине подозвала меня к своим креслам и сказала: «Я не могу больше противиться вашим просьбам. Я не хочу, чтобы дети мои могли когда-либо обвинять меня в том, что я помешала их счастию в жизни. Возьми Вячеслава с собою; но, Ростислав, не радуйся моему согласию; ты не знаешь, какую ответственность я на тебя налагаю; если бы я могла от кресел дойти до кареты, я поехала бы с вами, но это было бы бесполезно; для меня, старухи, все равно — семьсот верст или семь сажен, — мне за вами не

угнаться; я была бы вам только помехою в жизни, а ты знаешь, что я не принадлежу к числу тех матерей, которые по какому-то эгоизму любят держать детей своих возле себя на привязи, хотя и уверены, что им собою надоедают. Теперь слушай: Вячеслав дитя; он сам не знает, чего хочет, не знает ни людей, ни жизни, но ты, Ростислав, ты уже не ребенок: ты перешел это время страшного кризиса, когда в голове человека нет ни одной собственной мысли, когда он не может себе дать ни в чем отчета, когда каждое слово, погромче другого произнесенное, может совратить его с прямого пути. Ты, естественно, будешь иметь сильное влияние над твоим братом; еще долго он будет думать твоею головою, чувствовать твоим сердцем, жить твоею жизнию. Береги себя, береги его. Я не приму от тебя никаких оправданий — что он сделает, в том ты будешь виноват передо мною; в твоих сношениях с братом ты должен все предвидеть, все предупредить, и в его поступках ты мне дашь ответ, и в сей и в будущей жизни». Эти слова до сих пор звучат в моем слухе. Матушка была растрогана — я также. Я в душе был твердо убежден, что ее доверенность ко мне не напрасна, и дал ей страшную клятву исполнить ее священный завет.

Срок моего отпуска приблизился, мы вырвались из объятий матушки. Вячеслава я уложил в коляску почти без памяти: он плакал, как ребенок.

Я не буду описывать тебе первых годов нашей петербургской жизни. Я не мог жаловаться на Вячеслава: он был немножко ветрен, но зато сохранил всю девственность души, столь редкую ныне между молодыми людьми; безделица его огорчала, безделица его же веселила; он был весь наружу, говорил все, что ему ни приходило в голову; в веселую минуту прыгал по столам и стульям, в грустный час не мог удержаться от слез; иногда по целым часам бегал по комнате с Боксеном, молодою легавою собакою; я тогда говаривал, что они любили друг друга по симпатии характеров, ибо один был такой же бешеный, как другая. В самом деле, Боксен, неприступный даже для меня, позволял Вячеславу делать с собою все, что приходило в его ветреную голову, и когда, бывало, они вместе разыграются, надобно было иметь все мое хладнокровие, чтобы или не расхохотаться, или не рассердиться не в шутку; но признаюсь, мне больше нравилось детское

простодушие моего брата, нежели ранняя расчетливость некоторых из его товарищей, которые, казалось, были дипломатами еще в колыбели. Я познакомил его со многими дамами; возил на балы; он танцевал усердно, с полным, искренним удовольствием; его веселый открытый вид не мог не нравиться: дамы волочились за ним без всякого милосердия, принимая его за настоящего ребенка, а он, проказник, как говорится, faisait le gros dos [1]. Я любовался, смотря на него, как отец на свое дитя.

Наконец наступил давно, нетерпеливо ожидаемый день: Вячеслав был произведен в корнеты; изобразить его радость невозможно; незнакомый с чинным притворством нынешней молодежи, он беспрестанно вертелся перед зеркалом то той, то другой стороной, чтобы лучше видеть свои эполеты; потом то бросался обнимать меня, то надевал трехугольную шляпу, то таскал Боксена за лапы. «Ты знаешь ли, Боксен, — говорил он, — что я теперь корнет? Понимаешь ли ты это? Знаешь ли, что ты теперь будешь ходить по Невскому проспекту со мною, с господином корнетом?..» И, казалось, Боксен понимал его; по крайней мере махал хвостом и отвечал на слова Вячеслава громким лаем. Все эти простые происшествия нашей тогдашней жизни, все слова Вячеслава так живы в моей памяти».

Слеза скатилась с ресниц отшельника; он глубоко вздохнул, призадумался, вероятно, для того, чтобы собрать свои мысли, и наконец продолжал:

«У одного из наших товарищей, Вецкого, был старший брат, служивший в статской службе. Я очень любил его; он был человек весьма замечательный по своему уму, но отроду я не видывал человека более неловкого: он был физически какой-то недоносок и потому очень слабого здоровья. Он имел сознание своего физического бессилия и потому не позволял себе никакого удальства, даже никакого гимнастического упражнения. Он ходил медленно, осматривая каждый шаг свой; ездил верхом так, что кавалеристу нельзя было смотреть на него без смеха, и когда молодежь гарцевала на горячих скакунах, он боязливо осведомлялся, какая лошадь смирнее, и тщательно осматривал, хорошо ли подтянута у ней подпруга. К тому же, он имел какой-то недостаток в выговоре, который заставлял его говорить протяжно, почти заикаясь. Можешь себе

[1] важничал (*франц.*).

представить действие, которое он производил в кругу молодых, ловких кавалеристов, полных жизни и отваги, часто доходившей до безрассудства. Вецкий был хороший товарищ; его любили, но всякий почитал обязанностию трунить над ним, над его нежным сложением, неразвязностью, над его осторожностью, которая часто походила на боязливость. Вецкий сносил все эти насмешки с величайшим хладнокровием; иногда отделывался умной шуткой, иногда сам с другими смеялся над собою, но чаще не знал, что отвечать на неожиданные вылазки, ибо казалось, и умственные его способности были так же неразвязны, как телесные. Он принадлежал к числу тех людей, которых легко сбить с толка, забросав их словами, и которые часто никак в первую минуту не найдутся. Но такое состояние было неприятно Вецкому, хотя он и старался скрывать гнев свой под всегда спокойною, холодною наружностию; видно было, что он употреблял все усилия, чтобы не терять власти над собою, приговаривая с улыбкою, что ему сердиться *нездорово*. С некоторого времени я замечал, что брат мой больше всех трунит над Вецким, но мы все так уже привыкли смеяться над нашим *фрачником*, так привыкли видеть в нем забавное препровождение времени, что я не обращал на поведение моего брата особенного внимания; оно всем нам казалось так естественным. Дело было в том, как я после узнал, что Вячеслав приревновал Вецкого к одной красавице, которой, по странному капризу, больше нравился наш неловкий чудак, нежели мой ловкий, прекрасный кавалерист.

Новые офицеры должны были, что говорится, *спрыснуть свои эполеты;* они разобрались днями, чтобы сперва пировать у одного, потом у другого, но скорый выход полков из казарм в окрестности Петербурга заставил их отложить свои пирушки до тех пор, пока не перейдут совсем на летние квартиры. Наконец наступили дни пирушек. Ты не можешь иметь об них понятия; десять лет — целый век в России; миновалось время грубых, необузданных оргий, которые ты еще помнишь; ныне молодые люди благоразумны даже за бутылкой вина; нынешние оргии — чинны, благородны; на них может присутствовать женщина не краснея, но, несмотря на это, шампанское попрежнему производит на людей свое действие, от него также поднимается кровь в голову. Правда, ныне, говорят,

уже не честь пить до того, чтобы свалиться под стол, но по-прежнему от вина человек становится веселее, быстрее, неожиданнее в движениях и по-прежнему все его чувства становятся живее; всякая мысль, иногда забытая в глубине души в трезвом состоянии, растет под поливкою шампанского, как под микроскопом. Пирушка происходила в небольшой деревенской избе; на шампанское не скупились; к тому же пирушка была не первая, и головы всех, даже Вецкого, были, как говорится, на втором взводе. Вот уже два часа за полночь. Мне стало душно; я вышел из избы, пошел по деревне; как теперь помню, ночь была холодная, светлая; я с наслаждением впивал в себя свежий воздух, любовался видом деревни, которая уже начинала багроветь от первых лучей зари; все было тихо, но светился лишь домик, в котором была пирушка; в окошках мелькали тени; до меня доходили хохот и веселые крики молодежи. Вдруг... все стихло; при этой внезапной тишине я невольно вздрогнул; сердце мое сильно забилось, будто я услышал страшную, недобрую весть. Не отдавая себе отчета в моих чувствах, я невольно удвоил шаги, возвращаясь к избе. Когда я вошел в нее, предчувствие мое оправдалось: со мною в дверях встретился Вецкий, с шляпою в руках: он не сказал мне ни слова, но был бледен как полотно и под равнодушною улыбкой тщетно хотел скрыть внутреннее волнение.

Мне тотчас рассказали, что случилось в мое отсутствие: пустая ребяческая шалость, но которая должна была окончиться кровью...

Молодые люди открыли окошко на двор; один из них вздумал выскочить из него, за ним другой, потом третий; кто падал, кто ушибался, потому что окно было довольно высоко. Общий смех, опасность возбудили в молодежи странное самолюбие: всем захотелось испытать, не сломит ли кто себе шеи при этом подвиге?

— Ну, ты что же? — сказал брат старшему Вецкому с насмешливою улыбкою.

— Я не намерен скакать, — отвечал Вецкий холодно.

— Нет! ты непременно должен скакать.

— Я тебе сказал, что не хочу.

— Ты не хочешь скакать, — отвечал брат, разгоряченный вином, — потому что ты трус.

— Я не советую тебе повторять этих слов, — сказал Вецкий.

Бедный брат не помнил сам, что говорил, что делал.

— Не только повторю, — возразил он, подбоченившись, — но еще скажу графине М... (дама, за которою они оба волочились), скажу ей: ваш нежный обожатель — трус! Не угодно ли об заклад?

Вецкий, несмотря на все свое хладнокровие, вышел из себя; он сильно схватил брата за руку и проговорил:

— Осмелься, сумасшедший!

Удар перчаткой по лицу был ему ответом.

Что тут оставалось делать? Некоторое время я думал примирить противников, но как? Заставить брата просить прощения — невозможно: его самолюбие было распалено офицерским мундиром. Он сам чувствовал, что поступил глупо, но начать свое поприще тем, что он называл подлостью, струсить, — на это он не соглашался. Я сам в то время не мог вообразить этого без ужаса. Мне оставалось действовать на Вецкого; я рассчитывал на его всегдашнюю робость, на всегдашнюю его осторожность и благоразумие. В эту минуту эгоизма, мне казалось, ничего не стоило оставить этого человека под игом всеобщего презрения, чтобы только спасти брата. Смирив свою гордость, я пошел к нашему фрачнику.

Когда я вошел в его комнату, он сидел за письменным столом и спокойно курил сигару. Его спокойствие меня встревожило.

— Я хотел говорить, — сказал я ему, — не с вашим секундантом, но с вами. Вы, как человек благоразумный, должны видеть в поступке моего брата не иное что, как шалость мальчика, который не заслуживает вашего внимания.

Вецкий посмотрел на меня с удивлением и улыбнулся.

— Вы поверите, — сказал он, — что я больше, нежели кто другой, жалею о поступке вашего брата. Но позвольте вам сказать: вы сами не думаете того, что говорите; скажите сами, можно ли это оставить без внимания?

Эти немногие слова переменили образ моих мыслей о Вецком. Я захотел тронуть чувствительность его сердца; я рассказал ему все наши домашние обстоятельства — прощание с матушкой, ее слова... Я не щадил Вячеслава, называл его безумным, шалуном; я даже выговорил слово: *прощение*.

— Позвольте вас спросить, — сказал мне Вецкий, с обыкновенною своею холодною улыбкой, — вы предлагаете мне извинение от имени вашего брата или от своего?

Я смешался и не знал, что ему отвечать. Он устремил на меня проницательный взгляд.

— Я хорошо понимаю ваше положение; я знаю, ваш брат не будет у меня просить прощения, и ему нельзя у меня просить прощения. Я очень сожалею об вас и даже об нем; я не бретер; дуэли не мое дело; мое правило в жизни было: всегда избегать повода к ним, но, — прибавил он выразительно, — никогда не отступать ни шагу назад, когда опасность неизбежна. Войдите в мое положение: сколько раз я отделывался шутками от таких слов вашего брата, за которые другой имел бы уже десятка два дуэлей? Я щадил его молодость и, признаюсь вам, щадил самого себя, ибо в жизни и без того много неприятностей, да она же и коротка: зачем ею жертвовать по пустякам? Но здесь дело другого рода. Подумайте сами, что будет со мною, если вдобавок к общему мнению о моем излишнем благоразумии, я и этот случай оставлю, как вы говорите, без внимания? Вы знаете предрассудки общества: я не найду места на земном шаре; на меня будут показывать пальцами; мне останется застрелиться, но это, согласитесь сами, было бы несогласно с моим *благоразумием*.

Его слова были холодны, просты и насмешливы; по тогдашним моим понятиям, я не мог их опровергнуть.

— Если так, — вскричал я с жаром, — то вы, милостивый государь, будете иметь дело со мною.

— Если это может вам доставить удовольствие, — отвечал Вецкий, отряхая золу с сигарки, — но не прежде, как мы окончим дело с вашим братцем. Впрочем, вы сами знаете, что и брат ваш, вероятно, не согласится на такую сделку. Извините — мне теперь надобно окончить некоторые письма.

С сими словами он холодно поклонился; я выбежал из комнаты с отчаянием в сердце.

Дома ожидал меня секундант Вецкого. Он объявил мне, что ему поручено не соглашаться ни на какие миролюбивые предложения, кроме одного, чтобы брат мой согласился пред всеми офицерами полка принести извинение Вецкому. Не знаю, как ныне, но тогда такое условие казалось совершенно невозможным.

Оставалась одна последняя надежда — Вецкий не умел стрелять. Я, по тогдашним понятиям, был естественным секундантом моего брата, я был всех ближе к нему, и это дело мне казалось неминуемым долгом родства и дружбы. Придумывая все средства, чтобы дать какой-нибудь перевес моему брату, я предложил стреляться в двадцати шагах, и выстрелившему остановиться у барьера. Я надеялся на меткость брата. Секундант Вецкого охотно принял мое предложение. Едва мы окончили эту кровавую сделку, как вошел Вячеслав. Боксен прыгал перед ним с радостным лаем. Брат старался показывать беспечность и спокойствие, играл и прыгал с собакою по-прежнему, но я видел, что он был внутренне взволнован. Вероятно, юноше представлялась жизнь во всей ее прелести; вероятно, ему не хотелось расстаться с нею; я глядел на его свежее, красивое лицо, и сердце мое обливалось кровью. В эти немногие часы я постарел двадцатью годами.

Чрез несколько минут мы были уже на месте. Мысль, что я привел брата под свинцовую пулю, отнимала у меня все способности думать и действовать; тщетно хотел я показать хладнокровие, требуемое в таких случаях, — я не помнил самого себя: секундант Вецкого исполнил мою должность. Наступила решительная минута; я собрал все свои силы; осмотрел пистолет Вячеслава; они стали на места. Вецкий был холоден как лед: едва заметная улыбка была видна на стиснутых губах его; казалось, он стоял у камина на блестящем рауте. Взглянув на Вячеслава, я с ужасом заметил, что рука его дрожала.

Дан сигнал. Противники стали медленно приближаться... Вид опасности заставил Вячеслава забыть все мои советы — он выстрелил... Вецкий зашатался, но не упал; пуля разбила ему левое плечо.

Скрывая свои страдания, он знаком пригласил Вячеслава приблизиться к барьеру; брат с невольным судорожным движением ему повиновался...

В эту минуту я оцепенел; меня облило холодным потом; я видел, как медленно приближался Вецкий, как наводил он убийственный курок, видел спокойный, неумолимый взгляд Вецкого. Вот он уже в двух шагах от брата; я вспомнил матушку, ее слова, мои обещания, и пришел в состояние, близкое к сумасшествию; у меня потемнело в глазах, я забыл все: и честь, и совесть, и условия общества; я помнил только одно, что *пред моими глазами уби-*

вают моего брата... Я не вытерпел этой минуты, я бросился к Вячеславу, обхватил его, заслонил собою и закричал Вецкому:

— Стреляйте!

Вецкий опустил курок.

— Разве такие были условия дуэли? — сказал он, спокойно обращаясь к своему секунданту.

Общий крик негодования раздался между присутствовавшими; меня оттащили от брата... Раздался выстрел — Вячеслав упал замертво!

Как рассказать, что со мною происходило в это время? Я вырвался от державших меня, кинулся к Вячеславу и, не помня ничего, смотрел на его жестокие, предсмертные муки; я видел, как он судорожно извивался в нестерпимых страданиях! я видел, как глаза его закрылись навеки!.. В эту минуту Боксен, с оборванною веревкой, прибежал на кровавое место, припал к Вячеславу, выл и лизал его рану.

Этот вид привел меня в себя; я вскочил, схватился за пистолет, но Вецкий, ослабевший от раны, лежал уже без памяти на носилках. Распаленный мщением, я было бросился к страдальцу и готов был растерзать его, но меня остановили... Как будто сквозь сон отдавались в моих ушах упреки и суждения моих сослуживцев...»

«Что тебе рассказывать далее? — продолжал отшельник. — Ты знаешь следствия дуэли. Но казнь за преступление была для меня легка: моя казнь была в моем сердце. Жизнь для меня кончилась; я жаждал одного: или в битве с врагами потерять мою ненужную жизнь, или похоронить себя заживо. Первой чести я не удостоился. Здесь, вдали от родины, не знаемый никем, я стараюсь плачем и рыданием заглушить голос моего сердца. Но до сих пор ночью будят меня страшные видения: мне представляются Вячеслав, облитый кровью... матушка, умирающая с отчаяния... и в ушах моих отдаются страшные слова писания: *«Каин, где брат твой?»*





ЖИВОПИСЕЦ

(Из записок гробовщика)

Однажды, когда я сидел у Мартына Григорьича, вошел мастеровой:

— Пришли от Данила Петровича.

— Зачем? — спросил хозяин.

— Да за гробом.

— Кто у них умер, уж не жена ли?

— Нет, Данила Петрович сам изволил скончаться...

Мартын Григорьич всплеснул руками:

— Может ли это быть? Бедный! Давно ли мы с ним виделись?.. Такой талант! Такое сердце!

— Просят дощатого гроба подешевле, а у нас такого нет, — прервал его хладнокровно работник.

— Неси какой есть готовый, не твое дело... Бедный, бедный Данила Петрович!.. — С сими словами он взял шляпу и сказал мне: — Хотите ли поклониться праху незнакомого вам, но замечательного человека? Пойдемте со мною. Вы слыхали о Шумском?..

— Никогда, — отвечал я, — но я готов идти с вами.

— Так! Участь этого человека быть неизвестным; но по крайней мере он начнет жить после смерти; может быть, мне суждено быть его проводником к бессмертию. Неужели и вы не знаете, что мой бедный неизвестный Данила Петрович был, может быть, одним из первых живописцев нашего времени?..

— Я никогда не видал ни одной его картины!..

— Не мудрено, потому что у него не было ни одной конченой; но пойдем в его мастерскую, и вы уверитесь,

что я говорю правду. Я недавно с ним познакомился; он был очень, очень беден, но все, что скрывалось в его голове, все, что нечаянно он бросил на полотно нетерпеливою кистию, того я вам пересказать не сумею... Вы сами увидите...

Мы вошли. Грустно было смотреть на мастерскую бедного художника. Бледный труп его лежал на простых досках; на лице его еще остались следы внутреннего недавно погасшего огня; черные волосы лентами струились с прекрасно образованной головы; но все было искажено, запятнано смертию; его покрывало едва держащееся рубище; вокруг были разбросанные краски, палитра, кисти; на огромной раме — натянутое полотно; оно невольно приковало мое внимание; но на холсте не было картины, или, лучше сказать, на нем были сотни картин; можно было различить некоторые подробности, начертанные верною, живою кистью, но ничего целого, ничего понятного. От нетерпения ли художника, от недостатка ли в холсте, но видно было, что он рисовал одну картину на другой; полустертая голова фавна выглядывала из-за готической церкви; на теньеровском костюме набросана фигура мадонны; сметливый глаз русского крестьянина был рядом с египетскою пирамидою; водопады, домашняя утварь, дикие взоры сражающихся, цветы, кони, атласные мантии, уличные сцены, кедры, греческие профили, карикатуры — все это было перемешано между собою на различных планах, в различных колоритах, и углем, и мелом, и красками, — и ни в чем не только нельзя было угадать мысли художника, но с большим трудом можно даже было уловить какую-либо подробность. Стены, окна мастерской, палитра, мебели были испещрены точно такими же очерками... других картин не было. Наши изыскания были прерваны разговором в ближней комнате, сперва тихим, но потом мало-помалу возвышавшимся...

— Ах, не говорите, матушка, — повторял один женский голос, рыдая, — я, я убила его!..

— Полно, полно! Что с тобой? — отвечал другой, женский же голос. — Что ты на себя клеплешь! Полно, полно горевать. Еще молода, мать моя, — другого мужа найдешь.

— Нет, не нажить мне моего Данила Петровича!

— Полно, говорят тебе, слезами не поможешь, да и что правду сказать: счастлива, что ли, ты с ним была? В довольстве, что ли? Что в нем пути-то было?..

Вдова не слушала, а только повторяла свое:

— Я убила его; он сам говорил, сердечный: ты убьешь меня... Я, точно, убила его!..

А та отвечала:

— Полно на себя клепать! он просто занемог, да и умер.

Эта сцена продолжалась довольно долго: жалобы с одной стороны, утешения с другой; наконец последние превозмогли; казалось, рассуждения собеседницы утешили вдову, по крайней мере она успокоилась. Мой товарищ хотел наведаться к ней; но дверь отворилась, и от вдовы вышла женщина пожилых лет в крепко накрахмаленном чепце, с веселым и добродушным видом.

— Ах, это ты, куманек! Добро пожаловать; а что, ты к ней, что ли? Ну, уж лучше не ходи, — пусть ее наплачется досыта; авось-либо бог милостив, поплачет, поплачет, да и перестанет; а денька через два-три как рукой снимет. Помоги-ка мне лучше отдать последний долг покойному. Сердечный! Сердечный! — прибавила она, посмотря на бледное, искаженное страданиями лицо молодого художника. — Не умел жить на сем свете. А это кто, батюшка? — продолжала она, взглянув на меня с любопытною улыбкою, которая не мешала ей отирать слезы...

— Это мой подмастерье, — отвечал Мартын Григорьич.

Я поклонился.

— Никогда еще у тебя не видала, почтенный...

— Недавно поступил, Марфа Андреевна.

Она взглянула на меня с тоном покровительства и продолжала свой разговор. Во все время печальной церемонии и потом, возвращаясь к себе домой, куда мы, перемигнувшись, пошли ее проводить, Марфа Андреевна говорила без умолку; из слов ее я скоро узнал, что она богатая мещанка и занимается скорняжеством, то есть шьет шубы. Мы скоро познакомились, я ей полюбился, она мне рассказала всю жизнь живописца; некоторые ее фразы уцелели в моей памяти; постараюсь передать их, как умею.

— Так вы, Марфа Андреевна, хорошо знавали Данила Петровича? — спросил я...

— Эка, батюшка, видно, ты молод, уж мне не знать Данила Петровича! Не только его, да и с батюшкой его хлеб-соль важивали, да и бабушку-то его знавала, — такая была из себя видная, здоровая, — помнишь, бывало, торговала в Бабьем ряду... да где тебе помнить! Ах, горемыч-

ный, горемычный, Данила Петрович! Верно уж ему так было на роду написано. Да и то правду сказать, всегда беспутный был; а кто виноват? Отец баловал. Отец был зажиточный человек, в Панском ряду на сотни тысяч торговал, — вот и Мартын Григорьич его знавал. Он, бывало, сына в ряд, а тот и руками и ногами: «Пусти, батюшка, в живописцы, пусти, да и только»; а старик-то сглупа, чем бы его себе приготовить в подмогу, послушался, да и отдал в ученье к какому-то немецкому живописцу, да, бывало, еще шутит покойник: «Хошма, говорит, у меня теперь вывеска на лавке будет даровая». Не дождался он вывески от сына, а только обанкрутился, да с горя и богу душу отдал. А сынок-то остался гол как сокол, а себе и ухом не ведет; да туда же спесив: жил, жил у немецкого живописца на квартире на всем готовом, одет, обут, да низко показалось, не ужился; вишь ты, жаловался, будто немецкий живописец, — не припомню его имени, прах его возьми, — заставлял его на своих картинах рисовать, его работу за свою выдавал, а его начал с пути сбивать. Да! важное дело! Да если бы и так, то что за беда. Известное дело — мастерство; молодой человек сперва на других поработай, а там на себя. Вот и ты у Мартына Григорьича живешь, неужли ты станешь ему указывать: «Вот эту доску я сострогал, вот этот винт я привернул, а не ты...» Говорю тебе, совсем беспутный был. Прибежал ко мне, с три короба наговорил, и все свысока. Я ничего не поняла: «И что я-де теперь, матушка Марфа Андреевна, буду на воле работать, на себя, и вся публика-то, и все господство-то меня узнает, и картину на выставку-то поставлю, золотом-то я все сундуки отцовские засыплю... и я-то буду художник». Сердце мое чуяло недоброе: «И впрямь ты будешь гудошником», — сказала я ему, смеючись, а он рассердился: вишь, будто я не могла и понять-то его! Я было, чтобы помириться, ему десять целковиков в руку, а он на стол их бряк — так разгорячился, мой батюшка; только и твердит: «У меня талан, у меня талан». Ну, подумала, посмотрим, какой тебе талан на роду написан: не увидим, так услышим.

Вот обзавелся он, горемышный: где-то лачужку сыскал на Выборжской стороне и написал вывеску: «Живописец Шумский»; так и думал, что вся публика к нему разом и соберется. Не тут-то было: где-где придет к нему какой-нибудь сиделец-выскочка вывеску написать.

Только он еще кое-как перебивался. Но как на беду попадись ему на улице смазливая девочка. Слово за слово, узнал, что она сирота, ну приставать. «Поди ко мне мадели делать». Та ему в ответ: «Я-де, батюшка, только на кухне кое-что стряпать умею, а никаких маделей никогда не делывала». — «Нужды нет, уж я тебя выучу». Девке только что отказали от дома, деваться ей было некуда, — из одной квартеры к нему пошла.

Вот, что же, батюшка! Привел он ее к себе, да и ну с нее патреты рисовать — очень нужно кому! Да еще какой, слышь, бесстыдник: и так ее поставит и сяк; то руку поднимет, то опустит; впрочем, говорят, так по их искусству надобно! — это дело не мое, кто их знает... Как бы то ни было, но только он писал, писал ее, да и вышел грех; вестимо дело: он парень молодой, она девка смазливая, дошло до того, что уж ей стыдно было в люди показаться. Он, нечего сказать, человек был честный, покойник, говорит: «Мой грех, мне и поправить». Вот они женились: живут, друг другом не нахвалятся; она девка умная, хозяйство завела; пожили немного — глядь, то хлебник, то мясник за долгом придет, то хозяин за квартеру просит, а кошель-то пуст-пустехонек. Бедная баба и туда и сюда, как бы работу сыскать, а он, покойник, не тем будь помянут, и ухом не ведет. На его счастье Сидор Иванович дочь замуж отдавал, — купец богатый, почтенный, хотел все дело по порядку исполнить, приданое приданым, а к тому же захотел с дочери да с зятя патреты повесить у себя на дому. Позвал Данилу Петровича, говорит. «Вот тебе сто рублев, а как патреты напишешь, так еще сто рублев дам, только схоже напиши». А Данила Петрович ему: «Уж это-де мое дело, так-де напишу, что от настоящего не узнаешь». Вот Сидор Иванович — купец богатый, — вестимо дело, хотел похвастать — надел на свою Дунюшку и бриллиантов, и жемчугов, и подборов, и подвесок, не только матушкиных, но что и от бабушки да прабабушки досталось, чтобы, дескать, все видели, что не нищую замуж выдает; как вошла, так индо в комнате засветлело, даже Данил Петрович остолбенел. «Ну, говорит, отец, — рисуй, как знаешь; но только так, чтобы подвески спереди, да и гребень сзади был виден». Что же Данила Петрович — ах, беспутная головушка! — как закричит себе: «Что это вы красавицу изуродовали! Она молода и свежа и собой хороша, что ее, как коломенскую куклу, мишу-

рой-то убирать?» А какая мишура: все жемчуг да бриллианты... «Долой, — говорит Данила Петрович, — и подборы, и подвески, и гребень, все-де это портит ее натуру», — да как распустит ей косы по плечам, и стала Дуняша словно русалка, а Данила-то храбрится. «Вот уже, говорит, патрет напишу, так всему свету на удивление будет». Только старик не тех мыслей был. «Нет, говорит, не дам над моим детищем издеваться, не на смех ее писать, словно какую актерку трепаную, а видно, ты, Данила Петрович, своего дела не разумеешь, коли жемчугов да брадлиантов не можешь списать; хоть одного зятя мне напиши».

Данила Петрович прикусил язычок. «Ну, давай, говорит, зятю». Привели зятя; надо тебе знать, что зять был человек чиновный, копиистом служил; ну, разумеется, также похвастаться хочет, принарядился, праздничный мундир надел. Данила Петрович и руками и ногами: «Не умею мундиров писать!» — стал на том, да и только. Тут уже купец рассердился, да и сказал Данилу Петровичу. «Ступай же, — сказал он, — куда знаешь, коли своего дела не разумеешь, а мы тебе не пешки дались». А Данила-то, чем бы спасовать, выкинул на стол сто рублев, да и поминай как звали. Так и не впервые было. Что ему ни закажут, все перехитрит, к стене не прислонишь; меж тем дома и холодно и голодно. А Данило, чем бы горю помочь, сидит у себя в нетопленной комнате, мажет по холсту каких-то нехристей да песенки попевает. Вот немного погодя на него стало находить: бродит, бродит деньденьской, да и уставится против старой стены, смотрит на нее то с той, то с другой стороны: вишь ты, представлялись ему какие-то фигуры на стене; соседи узнают, домой приведут, а он свечку зажжет, да всю ночь и марает по стенам — индо смотреть страшно — все стены испортил. Вот жена к нему придет: «Полно, Данила Петрович, свечки-то палить; мало тебе дня? Ведь свечка-то гривну стоит». А он осерчает, закричит: «Ты убьешь меня», — да и только. С таким изделием немного наживешь; вот он, сердечный, не ест, не пьет, только и твердит: «Вот погоди, найду, непременно найду». Чего уже он, клада, что ли, искал, не могу тебе сказать, только он со дня на день худел; что ночью намажет, то днем сотрет; в дом ничего, а из дома то и дело то мебель, то платье продаст. Жена его станет резонить, а он только и твердит:

«Ты убьешь меня». Поди толкуй с ним! Так они пожили немного-недолго, — не осталось в доме ни синего пороха. Видит, нечего делать — поугомонился, пошел по гостиному ряду спрашивать: нет ли где вывески подновить? Насилу поверили, таким он безумным казался. Подновил вывески две-три, другой работой забрался — зашиб копейку, и опять гордость напала. Раз вот осенью ушел из дома с раннего утра, невесть где целый день протаскался: уже после узнали, что он до Парголова доходил. Вот уж и вечер, вот и ночь, вот уж и рассветать стало, — дождь между тем ливмя, а Данила нет как нет. Жена всполошилась, бегать — туда, сюда — где! И с собаками не сыщешь; уж к утру воротился — весь измоченный, сухой нитки нет, бледный и, словно полоумный, кричит: «Нашел нашел!» А глаза-то у него так и горят; выхватил из-под мышки холстину, натянул на раму и тут же, не раздеваясь, ну на ней какую-то ладонную, что ли, писать. К вечеру прохватил его озноб. «Что, говорит, жена, кабы кофею сварить?» Той уж стало невтерпеж; она ему в ответ: «Какой тебе кофей — и хлеба в доме нет; вишь, от тебя ни шерсти, ни молока, да туда же кофею просишь!» Замолк Данила Петрович, опять за мазилку, пописал недолго, да и свалился на пол, как сноп. Подняли, положили на постель, всю ночь бредил. Вот лекарь пришел, — еще на счастье, добрый человек, — то тем, то другим — через недельку оправился. «Ну, — лекарь говорит, — ты вышел из беды, Данила Петрович; только смотри не оплошай; еще ты опасен, с постели не вставай и за работу не принимайся». Все обещал; жена как-то отлучилась, — приходит, а муж сидит за картиной, руки дрожат, еле не падает. Подняла его, уложила, прикрикнула; но что делать с безумным! День послушается, а на другой за свое, — индо лекарь отказался. Однако ж бог помог — оправился. Смотрит — в доме все чисто; последнее платье заложено — выйти не в чем; а ему и горя мало. «Незачем, говорит, теперь по улицам бродить», — и сидит за своей ладонной да малюет. Меж тем жена плачет да горюет: пошла по знакомым, проведала как-то, что в околотке мелочную лавку заводят, отыскала хозяина, уластила, вот он приходит, заказывает вывеску, дает в задаток рубля два-три: «Да смотри, говорит, ты, маляр, у меня вывески не задержи; мне скоро ее надобно; лавку скоро отделают; да смотри появственнее да поглянцевитее напиши, и чтобы все на ней было: и сахар-

ные головы, и банки с вареньями, и сыр голландский, и яблоки, и ряпушку копченую повесь, чтобы всякий-де видел, что-де все есть, чего душа ни пожелает; пожалуй, не задержи, а то другому закажу». Данила Петрович взял деньги, да и посмеивается. «Будь благонадежен, говорит, уж так тебе вывеску напишу, что, на нее глядя, и самому есть захочется».

«Ну, говорит, жена, слава богу! Деньги есть, и работа есть, только краски нужны; сходи купи; знаю, что дорого, да нечего делать, без них нельзя вывески написать; вот тебе записочка». Жена сдуру послушалась, пошла, купила: дали ей три скляночки, почти все деньги истратила. Пришла — обрадовался Данила, схватил краски, да чем бы за вывеску — опять за свою ладонную. Прошел не день и не два, — приходит купец за вывеской — куда! — ее и вполовине не было. Он к Даниле: «Давай вывеску или деньги подай!» Оно и дельно — ему было завтра лавку открывать. Данила туда, сюда. «Все брошу, говорит, в один день напишу...» Хвать — холста нет; купить не на что... Купец говорит: «Не дам ни копейки, опять обманешь». На крик собрались соседи, жена плачет, разливается. «Нечего греха таить, — вопит горемычная, — хоть вы прислушайте, добрые люди; мне уж с ним не сладить, вконец дом разорил...» Вот соседи стали его укорять: «Что ты за маляр, что и холста не имеешь? Купцу что за дело: он задаток дал; вот ведь натянута холстина, ну и пиши вывеску, чем вздор-то малевать, а слова не исполнять».

Долго слушал Данила Петрович и молчал, словно рыба; но как услышал последнюю речь, пригорюнился. «Вы правы, говорит, точно правы: слово дал, надо исполнить; — схватил кисть, замарал всю картину и ну малевать сахарные головы; к другому утру вывеска была уже готова: купец, добрый человек, не помянул лиха, поблагодарил, да на столе беленькую оставил. Жена не нарадуется, побежала скорее на рынок и кофею купила, чтоб только мужа потешить; приходит домой, смотрит — а он на полу, и трясет его лихорадка. Скорей за лекарем, да уж, видно, поздно: месяца два бедный промаялся, да и богу душу отдал. Отчего уже это ему приключилось, не знаю; лекарь толковал, что прежняя болезнь опять пришла!»

— А где же вывеска-то? — спросил я у рассказчицы...

— И, да кто ее знает! Говорят, и лавочка-то обанкрутилась.

Здесь мы приблизились к дому, и я, распростившись с Марфой Андреевной, пустился отыскивать предсмертное произведение несчастного; я узнал имя хозяина лавочки, имя того, кто купил вывеску с аукциона, кому перепродал; наконец мои искания увенчались успехом: на Щукином дворе посреди ржавого железа я отыскал наконец вывеску Шумского — ее смыло дождем!





КНЯЖНА ЗИЗИ

(Посв. Е. А. Сухозанет)

> Иногда в домашнем кругу нужно больше героизма, нежели на самом блистательном поприще жизни. Домашний круг — для женщины поле чести и святых подвигов. Зачем немногие это понимают?..
>
> *Слова женщины.*

— Откуда ты?

— С биржи.

— Ну, что?

— Каждый день выше!

— Тем лучше.

— Как тем лучше? Я от этого теряю двадцать тысяч пятьсот рублей.

— Теряешь?

— О, да что с тобой толковать? ты не поймешь меня...

— Однако ж...

— Видишь ли ты: у меня теперь свободных денег сто двадцать тысяч пятьсот рублей: на сто тысяч я покупаю землю к моей тульской деревне, на двадцать тысяч пятьсот я хотел купить акций новой страховой компании, но они теперь поднялись в такую цену, которой не стоят, и мои двадцать тысяч пятьсот рублей я должен держать у себя почти без всякой пользы.

— Это ты называешь потерять двадцать тысяч?..

— О, я уже сказал, что ты ничего не понимаешь!

С сими словами мой приятель, принадлежавший к новой породе фешенеблей-индустриялистов, бросился в кресла, погрузился в задумчивость и с досадою крутил усы свои.

— У тебя сегодня сплин? — спросил я его.

— Да, сплин, и ужасный... Чему ж ты смеешься?

— Я не смеюсь, а наблюдаю, каким образом байронизм соединяется с биржею. Если и на наше поколение повеял этот мрачно-промышленный дух, что же будет с новым?..

— Новое будет умнее нас: оно не потеряет столько времени и особенно столько денег на мечты, на звонкие слова и на филантропические бредни; оно будет заниматься солидным, положительным...

— Скажи мне, ведь ты, кажется, в старину писал элегии?..

— Как же! И про них толковали в журналах, что они *обличают во мне решительное направление к элегическому роду...*

— В самом деле, ты и теперь смотришь элегическим поэтом... И ты, разумеется, бывал и влюблен?..

— Я и теперь от этого не отказываюсь.

— Я это знаю, и это доказывает твоя коллекция писем в нескольких томах. Только берегись, я когда-нибудь ее украду, хоть для того только, чтобы посмотреть, чем ты мог нравиться женщинам и как уживаются все эти разноязычные соперницы, сдавленные одним и тем же переплетом? Нет, без шуток — давно мне хотелось спросить тебя: бывал ли ты влюблен в самом деле, влюблен хоть один раз в жизни, но так, как понимают те люди, которые занимаются сочинением романов, сказок и прочего тому подобного?

Мой промышленник встал.

— Некогда мне теперь об этом толковать, — сказал он, — прощай; мне надобно наведаться у одного человека, который обещал мне достать акций подешевле.

— Погоди! Кого ты теперь застанешь? Уж пять часов; обедай у меня — и отведаем вместе новое вино, которое мне предлагают купить. Ты между тем мне расскажешь...

— А! понимаю, зачем тебе хочется остановить меня:

у тебя требуют повести — et le baron s'embarrasse;[1] в портфеле и голове пусто; ты думаешь, не наткнешься ли на какую-нибудь мысль в моем болтанье.

— Может быть; тебе что за дело? Это моя биржевая спекуляция.

— Хорошо, я тебя потешу, буду сентиментальничать; но только вели давать обедать скорее. Повторяю тебе, мне некогда.

После нескольких рюмок вина мой приятель в самом деле сделался гораздо нежнее. Вино — великое дело; это единственная поэтическая сторона нашего века. Если оно вредно в физическом отношении, как утверждают гомеопаты, то необходимо в нравственном. Оно сдергивает с человека хоть на несколько минут его промышленную, расчетливую оболочку, естественное состояние выводит наружу и часто помогает вам открывать под холодным, насмешливым человеком — другого, у которого есть и душа и сердце или нечто похожее на то и другое. Отнимите у нас вино — мы будем хуже китайцев и американцев.

— Да, я был влюблен, — сказал наконец мой рассказчик, — то есть влюблен по-вашему, так влюблен, что и до сих пор не могу отвыкнуть от негодной привычки вздыхать, вспоминая о моей красавице... Красавице!.. Но постой, не хочу тебе сказывать конца прежде начала. Я сам, признаюсь, люблю начинать роман с четвертого тома, но по опыту знаю, что это не приносит ни пользы, ни удовольствия; к тому же надобно для тебя и исторические свидетельства: пошли своего человека принести от меня зеленый портфель, который лежит возле бритвенного столика.

В 18... я возвратился в Москву из чужих краев. Десять лет я не видал моей родины, и потому для меня все было ново — и улицы, и домы, и люди. В гостиной моего опекуна собирались каждый вечер гости; занятия были обыкновенные: пили чай, играли в вист и рассказывали городские новости; многие из этих рассказов возбуждали во всех живейшее участие, но для меня, разумеется, долго были тарабарскою грамотою: я не понимал ни условных названий, ни семейных намеков, ни занимательности имен, которые доходили до моего слуха, — словом, ничего, чем живет домашний разговор. Ты знаешь, я не принадлежу

[1] и барон смущается *(франц.)*.

к тем людям, которые из чужих краев привозят полное равнодушие ко всему отечественному и которым так же непонятна своя родина, как непонятны им были и чужие края; я не хотел быть совершенно чуждым в моем семействе, старался прислушиваться к ежедневным рассказам и почти заучивал имена. Одно из них, не знаю отчего, более привлекло мое внимание; это имя было *княжна Зизи*. Оно напомнило мне неподражаемого Грибоедова, заставило подумать, как бесполезны ваши, господа сочинители, насмешки над странным обычаем коверкать имена; или в этом имени было что-то особенное, но я невольно придвигал к кружку мои кресла, когда произносили это имя.

Вот тебе разговор о ней:

— Княжна Зизи выходит замуж, — сказала одна из моих кузин.

— За кого?

— За какого-то деревенского помещика.

— Очень бы хорошо сделала, — заметила тетушка.

— А жаль! преумная девушка, — заметил кто-то.

— Большая чудиха, — заметила одна дама.

— Настоящая христианка.

— Большая ханжа, притворщица.

— Премилая...

— Пречгордая...

— Она все ждет, что на ней женится какой-нибудь кронпринц, — проговорила пожилая дама, невольно взглянув на своего сына, пожилого архивного юношу, приготовлявшегося в дипломаты.

— И, помилуйте! — отвечала другая с видимым злобным умыслом, — кто на ней и захочет жениться? разве какой-нибудь сумасшедший: у нее ничего нет...

— Извините, она очень богата.

— Все, батюшка, буки — и пропасть долгов.

— Я вас могу уверить, — сказал с значительным видом чиновник, занимавшийся дядюшкиными делами, своему партнеру, — что княжна никогда не выйдет замуж.

— Почему же?

— На это есть важные причины, — отвечал чиновник, понизив голос.

— Скажите мне, сделайте милость, — наконец обратился я к тетушке, — что это за княжна Зизи?

— Она в родне с Городковыми. Ты, я думаю, его помнишь: один Городков хаживал к твоему отцу.

— Помню, — высокого роста, худощавый и с большими поклонами.

— Княжна в самом деле имеет большие странности в характере: например, не успела умереть ее мать, как она, не ожидая года, бросилась ездить повсюду — по театрам, по балам, то жила с сестрою душа в душу, то вдруг рассорилась с нею и хотела ее оставить; потом опять осталась у ней в доме, согласилась было выйти замуж за одного очень порядочного человека, потом вдруг ни с того ни с сего ему отказала; потом завела пренегодный процесс с своим зятем; то хотела идти в монастырь, то вдруг опять явилась в свете, — вообще в ней очень много странного. Прошлою зимою она приезжала сюда и никому визитов не сделала — даже у меня не была... В ней, говорю тебе, много странностей. Она большая кокетка — однако ж имела хорошие партии и ни за кого не вышла замуж... В ней много, много странного...

Слова тетушки не удовлетворяли моему любопытству; из них узнал я только то, что тетушка сердита на княжну Зизи, потому что княжна не была у ней с визитом. Я старался составить себе какое-нибудь понятие об этой девушке, которая успела возбудить о себе столько разноречащих мнений. То она мне представлялась просто московскою зрелою девою, вскормленною романами мадам Жанлис и со всеми причудами монастырки, то находил я, что, может быть, ее называли странною по той причине, по которой всякого человека, непохожего на других, называют чудаком. В этих размышлениях я присел к столику, где Марья Ивановна, небогатая вдова, жившая у тетушки, как говорят, «для компании», по обыкновению разливала чай. Она, как все «дамы для компании», была большая болтунья, мастерица варить варенье и страстная охотница до романов.

— Вы спрашивали тетушку о княжне Зизи, — сказала мне Марья Ивановна тихим голосом, — я не смела вмешаться в разговор, потому что все бы поднялись на меня; но никто лучше меня ее не знает. Я езжала в дом к старой княгине учиться танцевать; там мы познакомились с княжной Зинаидой, и до сих пор мы с ней в дружбе и в переписке. Придите завтра к нам перед обедом, и я вам расскажу подробно пространную жизнь этой несчастной девушки: ее совсем без вины опорочили в свете.

С сими словами мой рассказчик вынул из зеленого портфеля связку писем, вздохнул, покачал головою:

— Я храню эти письма как нечто святое, — сказал он, подавая мне одно из них.

— Нумер первый, — продолжал мой приятель. Это было письмо княжны Зизи к Марье Ивановне. Взглянув на него, я с удивлением увидел, что оно было написано по-русски довольно правильно, — а уже одно это, особенно в то время, было очень замечательно. Вот это письмо:

«Москва, 4 февр. 18...

Ты забыла меня, Маша, совсем забыла. Вот уж прошло два месяца после последнего твоего письма. Неужли ты в своей Казани нашла другую приятельницу, которая заставила тебя позабыть твою бедную Зизи? Напиши мне, что ты делаешь? Довольна ли ты своим местом? танцуешь ли ты? Дядюшка прислал нам из Парижа прекрасные эшарпы — голубой с белыми полосками для Лидии, и пунцовый для меня; но нам нет и случая надеть их. К тому же маменька хочет, чтоб я носила голубой эшарп, а Лидия пунцовый. Когда я сказала, что черноволосым голубой цвет не к лицу, маменька, по обыкновению, рассердилась. Мы живем по-прежнему: маменька все больна, все скучает, всем недовольна, никуда сама не выезжает, и к нам никто не ездит. Мы бог знает как рады, когда приедет к нам старая Ракитина, да хоть расскажет то, что она видела у обедни в своей приходской церкви; больше к нам никто не ездит. Поэтому ты видишь, что мы живем очень скучно. Поутру, пока маменька молится, мы сидим с Лидией на мезонине: она зевает за канвою, я за книгою, ибо я по-прежнему продолжаю красть книги из папенькиной библиотеки: это одна моя отрада. Хоть маменька и не дает нам ключа, говоря, что в этой библиотеке все мужские книги, но я прочла всего Карамзина, всю историю о странствиях аббата Лапорта, весь «Вестник Европы». Мне наконец удалось достать «Клариссу» из шкафа, помнишь, у которого была такая крепкая проволока, — хоть я оцарапала себе руку, зато наплакалась вдоволь; только последнего тома никак не могу достать: он упал за большой лексикон, и рука никак не доходит, — такая досада. Ракитина дала нам несколько разрозненных русских нумеров журналов, — где недостает конца, где начала; что за охота этим господам писать: *продолжение впредь*; тер-

петь не могу этого слова! Но зато я нашла там прекрасные стихи Жуковского и нового стихотворца Пушкина. Постарайся достать его стихов. Ах, никто так хорошо не пишет, как Жуковский и Пушкин! Так все у них идет к сердцу и невольно остается в памяти. Я все их стихи вписала в мою знакомую тебе тетрадку: теперь она очень потолстела. К обеду мы сходим вниз, до ночи мы сидим с маменькой и молчим. Что ни заговорим, она сердится, беспрестанно жалуется и на погоду, и на здоровье, и на людей. Мы уж с сестрою решились было молчать и считать трубы у окошка; но маменька опять сердится — говорит, что мы ее оставляем, чуждаемся, что мы неблагодарные, что, разумеется, со старухою скучно, — и знаешь все, что она обыкновенно прибирает. Бог видит мое сердце; об одном и прошу его, чтоб как-нибудь развеселить маменьку; но как это сделать — он же один и знает! Летом было еще сноснее: бывало, хоть мы езжали в Симонов монастырь, а теперь — хоть плакать. О выезде и не говори. Попросишь маменьку в карете выехать прогуляться— она вздохнет, охнет, да тем и кончится. Прощай, милая Маша. Пиши, бога ради, ко мне: по крайней мере будет хоть о чем слово сказать. Твоя верная *Зизи*.

P. S. Совсем было забыла тебе написать, да Лидия напомнила: вчера за обедней маменька устала, лакей был далеко; это заметил один молодой человек, тотчас бросился, отыскал стул, усадил маменьку; она его благодарила. Это какой-то господин Городков; мы его уже несколько раз видели в нашем приходе; кажется, сосед наш; он очень понравился маменьке, и она, ты не поверишь, кажется, даже звала его к себе. Да, дожидайся, поедет он в нашу пустыню!..»

— Нумер второй, — сказал мой приятель, подавая мне другое письмо.

«Москва. Февраля 15-го.

Благодарю тебя, Маша, за твое письмо, оно много меня порадовало. Если бы ты знала,— уж мы хохотали, хохотали, читая, как казанские кавалеры хлопают каблуками во французской кадрили; даже маменька улыбнулась. Вообще она теперь веселее. У нас был Владимир Лукьянович Городков — премилый человек. Как он умел занять маменьку! Она к нему с своими тяжбами, а он тотчас вошел в дело, успокоил маменьку и взял у нее целый пук

бумаг, обещал хлопотать в судах... Добрый человек! Сам бог его послал. Может быть, маменька будет повеселее — дай-то бог! На радости маменька поехала с нами в *город* [1]. Ах, как там весело! Пропасть народа, экипажей, шум... А какие прелести в магазинах! Я видела совсем новую материю: ее называют satin turque; [2] ее делают двуличневою — прелесть! Маменька купила для Лидии серенькую с оранжевым отливом: это теперь в большой моде; посылаю тебе образчик. Мне маменька купила также клетчатую тафтичку; посоветуй, каким фасоном сделать; я хочу, чтобы лиф был разрезной, с эполетами на плечах, кушачок с мыском, а кругом обшить выпущенной фалбалой. Не правда ли, это будет прекрасно?..»

— Во всем этом письме, — сказал я моему приятелю,— дело идет о тряпках; что тут интересного? Да и, признаюсь тебе, до сих пор не вижу никаких необычайностей, о которых ты столько толковал; вижу, что мать старая дура, в хандре, которая мучит без толку своих дочерей, а дочерям до смерти хочется наряжаться и выйти замуж: это мы каждый день видим...

— Нумер третий, — хладнокровно проговорил мой приятель.

«Москва, Апреля 3-го.

Ты не знаешь, что делается с нами, Маша. Представь себе, что я в самом деле в тюрьме, — да, в тюрьме: я не схожу с мезонина. Но постой, надобно все рассказать по порядку. Все это время Городков не переставал навещать нас; маменька от него без ума. Он устроил маменькины дела, успел уверить ее, что они совсем не так худы, как она думает, хотя и требуют внимания... Право, этот человек лучше родного. Мы так привыкли к нему, что когда он у нас день не побывает, то мы уже думаем, не болен ли он, — и маменька посылает наведываться о его здоровье. Словом... Но слушай; с некоторого времени, как скоро придет Владимир Лукьянович, маменька начнет говорить, что ей кажется, будто я не по себе, или сыщет какое-нибудь дело, какой-нибудь предлог, чтоб отправить меня на мезо-

---

[1] Так называется гостиный двор в Москве. *(Прим. В. Ф. Одоевского.)*

[2] турецкий атлас (*франц.*).

нин. Я долго не понимала, но теперь догадалась: маменька воображает, что Владимир Лукьянович делает нам глазки, и ей хочется, чтоб Лидия, как старшая, прежде меня вышла замуж; теперь она уже просто запретила мне сходить с мезонина, а Владимира Лукьяновича уверяет, что я все нездорова. Но, я думаю, все это пустое. Правда, он очень любезен с нами, но с нами обеими. Лидии он приносит узоры для канвы, мне — книги; с каждою говорит не больше, как с другою, и, верно, он и не помышляет о планах маменьки. Чем-то все это кончится! А между тем мне очень скучно сидеть на мезонине, особливо когда внизу Владимир Лукьянович: он такой веселый, такой смешливый, — всегда умеет занять; он, кажется, и литератор, но этого еще я не могла узнать хорошенько, хотя мне и очень хотелось поговорить с ним о литературе, о Жуковском, о Пушкине, но боюсь, чтоб он не счел меня педанткою, — да теперь нет и надежды. Я с досады ничего не могу читать: только и дела, что вешаюсь на лестнице да прислушиваюсь, что говорят внизу. И смех и горе! Хоть бы как-нибудь да поскорее все это кончилось. Мне бы очень хотелось, чтоб он женился на Лидии: тогда мы, верно, будем жить веселее; я буду с нею выезжать и на танцы и на гулянье, потому что она уж будет *дама*. Непременно попрошу ее, чтобы она меня свозила в книжную лавку: я еще никогда не бывала в книжной лавке. Владимир Лукьянович, верно, знаком с сочинителями, и я увижу какого-нибудь сочинителя, может быть Жуковского — какой это должен быть человек!.. А между тем я все сижу на мезонине! прощай, милая Маша. Пиши к твоей бедной затворнице

Зизи».

— Нумер четвертый.

«Маша, участь моя решилась: я... влюблена, Маша, я влюблена до безумия! Я хотела скрыть это и от тебя и от себя самой, но я не могу далее сохранить в душе моей этой тайны... Я полюбила его с первой минуты нашего свидания, я не могу жить без него... Если б ты видела его — ты бы поняла меня. Он соединение всех совершенств: прекрасен собою, глаза его — огонь, а его сердце, его доброе, прекрасное сердце, его кроткий, тихий разговор, его милое обращение... Я без ума, Маша; я стыжусь себя самой, я готова бежать за ним на край света, — и я не могу его

видеть. Целый день я как пришита к окошку на моем проклятом мезонине, чтоб услышать стук его дрожек: я их узнаю между тысячи; услышу—и кровь у меня стынет в жилах, сердце бьется, я вся дрожу, я вся в огне, в глазах темно, и голова кругом — нет сил больше. Когда он уедет, я сбегаю вниз, ищу стула, на котором он сидел, стола, к которому он подходил, двери, в которую он вышел; я готова расцеловать их, — а тут мученье; Лидия, холодная Лидия, рассказывает, что он говорил, шутит, смеется над ним, а я... я ревную, я готова растерзать Лидию... Ах, что делает со мною маменька? Зачем сначала позволила она мне видеть его? Зачем теперь запрещает?.. Он неравнодушен ко мне: он всякий раз спрашивает обо мне, спрашивает, что сказал доктор. *Его* безжалостно обманывают... Что, если моя мнимая болезнь огорчает его?.. А я должна молчать, скрывать все, что у меня на сердце, и перед сестрою и перед маменькою!.. Иногда, я готова все рассказать ей; но когда посмотрю на ее суровый вид — язык прилипнет; а она еще сердится или говорит, что и слышать не хочет о моей хандре... Но по крайней мере до сих пор ей ничего не удается; он до сих пор еще не объяснился: я жду этого, как приговора к смерти... Ах, хоть ты пожалей о твоей

Зизи!»

— Нумер пятый.

«Плачь, Маша, и молись за меня! Мне нужна твоя молитва: сама я молиться не могу — ты понимаешь, что все кончено... Он объяснился, он помолвлен... с Лидиею. Это было вчера: я в это время лежала без памяти в постели, и маменька в самом деле послала за доктором. Что может доктор? Все для меня кончилось! Мир мой — гроб, надежда — смерть. Ах, Лидия, счастливая Лидия!.. И что нашел он в ней? Она как ни в чем не бывало! Ей ли сделать его счастливым? Она холодна как лед; ей выйти замуж — как выпить стакан воды; она по-прежнему так же долго спит, так же шьет по канве, так же кушает за обедом и удивляется, отчего я брожу целую ночь как шальная, отчего мне кусок в горло нейдет, отчего я все книги раскидала по полу. Я часто не хочу верить, что все это не тяжелый сон. Часто мне кажется — вот пройдет, вот исчезнет; я силюсь проснуться — тщетная мечта! Лидия приходит ко мне показать свое подвенечное платье; она

просит меня, чтоб я помогла ей наложить оборку; она смеется, хохочет; она не понимает своего счастия... Ей ли быть женою этого ангела?.. Неблагодарный, неверный, коварный, он не знает, чего он во мне лишился. Я бы утешала его каждую минуту жизни, я бы не спала над ним ночью, я бы ухаживала за ним целый день, я бы смешила его, когда ему скучно, я бы лелеяла его, как ребенка... Но я не могу писать долее: слезы падают на бумагу, пальцы дрожат, вся комната кругом меня вертится. Молись, молись обо мне, Маша!..»

Письма княжны Зинаиды, говорила мне Марья Ивановна, занимали и пугали ее. Она знала пламенное воображение княжны, знала, что, привыкшая к суровому обращению своей матери, к ее совершенному отсутствию всякой любезности, Зинаида должна была видеть в каждом ласковом слове несомненный признак высокого сердца; знала, что, живя век в четырех стенах, она должна была влюбиться в первого мужчину, который ей на глаза попадется: но, может быть, этот человек был недостоин ее доверенности, может быть, он хотел воспользоваться ее неопытностию... Все это представлялось Марье Ивановне в виде ужасном. «Обстоятельства заставили меня, — говорила она, — с ранних лет больше вникать в людей, строже ценить их; словом, я была старее Зизи не только летами, но и жизнию».

Но что оставалось ей делать? Писать, утешать свою приятельницу — дело невозможное. Те, у которых Марья Ивановна жила в доме, собирались ехать в Москву; она упросила их взять ее с собой.

Приехав сюда, она узнала разом две новости: свадьбу княжны Лидии и смерть ее матери. Марья Ивановна нашла княжну Зинаиду в доме ее сестры. Последний удар, казалось, уменьшил действие первого. Правда, княжна очень похудела, но все еще была прекрасна; очень грустна, но спокойнее, нежели ожидала Марья Ивановна. Зинаида мало говорила о Лидии, об ее муже, но подробно рассказывала о последних днях своей матери: как она прощалась с детьми, как просила у них прощения, как просила поминать ее, как она заклинала Зинаиду никогда не оставлять сестры своей. «Ты знаешь,— говорила старуха, оставшись одна с Зинаидою, — что хотя ты и младшая, но я на тебя больше надеюсь; ты знаешь, у Лидии нет царя

в голове; я вижу теперь: она не сумеет ни с мужем ужиться, ни детей воспитать, ни с имением управиться; хоть я и рада, что выдала ее замуж, но крепко боюсь за нее. Если б бог продлил мою жизнь, я бы поддержала ее, остановила, наставила; но, верно, богу так не угодно — да будет его святая воля! Тебе поручаю мое дело, Зинаида: смотри за ней, как за ребенком, не давай ей тратить много денег, отводи ее от ссоры с мужем,— она взбалмошна, ты знаешь; люби ее детей, люби ее, люби...» Зинаида не могла выговорить кого. Но повторяю, она была спокойна: она понимала великость своей жертвы, и невольно в ее сердце вкрадывалось чувство самодовольствия. Жизнь для нее была не без цели.

Марья Ивановна познакомилась и с Городковым. Глядя на него, она поняла, что не всякая женщина могла быть к нему равнодушною. Он был прекрасный молодой человек, одевался чисто и щегольски, был веселого, даже шутливого нрава, обращался с Лидиею без излишней ласки, но с большою любезностью, с Зинаидой же — со всеми возможными знаками уважения. Марья Ивановна обедала с ними вместе в комнатах Зинаиды, которая еще была не совсем здорова: ей была отведена особая половина. Владимир Лукьянович во все время стола был очень мил и говорлив, читал несколько шарад, которые намеревался послать в «Вестник Европы», которые, как заметила Марья Ивановна, были написаны в стихах и очень замысловаты. Потом рассказывал о своем знакомстве с разными сочинителями и другими известными лицами; все его анекдоты были очень любопытны, так что, как признавалась Марья Ивановна, она и не заметила, как прошло время, и сама Зинаида несколько раз принуждена была улыбнуться. После обеда он распрощался с ними, сказав, что должен ехать хлопотать по делам, которые после старой княгини остались в большом расстройстве. Вот какое впечатление произвел Городков даже на рассудительную Марью Ивановну. Вскоре затем она снова должна была ехать в Казань с своими домашними. Прошло около года; в течение этого времени она получила от Зинаиды несколько писем, которые, впрочем, ничего не содержали для нее нового. Но вот одно из них более замечательное:

«Спешу тебя уведомить, любезная Маша, что бог даровал Лидии дочь: вчера, около полудня, она разрешилась

от бремени очень благополучно; дочь назвали Прасковьею, в честь матушки. Итак, наше семейство прибавилось еще одним лицом. Что сказать тебе об мне? Горячка прошла; я не провожу ночей напролет в слезах, но тебе могу признаться, что часто на сердце у меня бывает так тяжело, что и описать нельзя. Если бы я была за тысячу верст от Москвы, то, может быть, я бы обо всем позабыла; но иметь беспрестанно перед глазами счастье, которое никогда не будет принадлежать мне, — это ужасно; скрывать от всех, от сестры, от себя самой, от *него* мое чувство — нестерпимо; одно мое утешение — молитва. Тогда я вспоминаю слова матушки, данное мною обещание, и становлюсь спокойною. Теперь я только начинаю понимать всю истину ее слов, — с тобой могу говорить откровенно: без меня Лидия погибла бы. Я никогда не могла вообразить в ней такой неспособности быть хозяйкою; она не знает цены ничему, даст приказание, потом забудет и прикажет совсем противное; слуги не знают, что делать; теперь они привыкли спрашиваться меня, а я, пользуясь забывчивостью Лидии, без спроса отменяю ее приказания, ей и нужды до того нет — даже это ей так понравилось, что она теперь уж вовсе не вмешивается ни во что, спит половину дня, а другую ездит по магазинам; и там я ее должна удерживать, ибо она, как ребенок, готова купить все, что ей на глаза ни попадется. Часто я таким образом предупреждаю домашние вспышки, которые были бы неизбежны, ибо *он* большой хозяин и любит во всем порядок; часто в долгие зимние вечера мы разговариваем с ним о домашних наших делах; он отдает мне отчет в управлении общего нашего имения; я рассказываю ему о моих хозяйственных распоряжениях, а Лидия дремлет, — ей ни до чего нет дела, — и тогда мне кажется, что я настоящая хозяйка в доме, что я — боюсь вымолвить — жена его... Но бьют часы, он остается с Лидией, а я с сжатым сердцем бреду в мою уединенную келью и бросаюсь в холодную постелю... Но прочь эти мысли, я не буду роптать на провидение: оно создало меня на томительное, ежедневное, медленное страдание; но оно дало мне и утешение: оно дало мне способ содействовать счастию благородного, честного человека — способ сохранять спокойствие его прекрасной души, хотя он и не подозревает этого; я смотрю на себя как на жертву, принесенную его счастию, на жертву чистую, бескорыстную — и эта мысль воз-

вышает мою душу. Я почти счастлива, мои грезы вполовину исполнились. С каждым днем я стараюсь сделаться достойною моего долга. Поверишь ли, что как скоро Лидия сделалась беременна, я принялась читать книги о воспитании; эти книги, может быть, в другое время показались бы мне скучными, но нечувствительно расширили круг моих мыслей: многое я вижу яснее, и многие новые чувства родились в душе моей; иногда в забвении мне кажется, что на меня возложено звание матери, что я могу ему сказать «*наш* ребенок». О, тогда мое сердце бьется сильно, кровь поднимается в голову, и странные вещи проходят чрез мои мысли, такие мысли, что я пугаюсь себя самой, вскакиваю и бросаюсь на колени перед иконою. Вчера, когда я слезно молилась, раздался первый крик младенца Лидии... *его* младенца. Что со мною сделалось в эту минуту — рассказать нет сил; это было — и невыразимая скорбь и невыразимая радость, и ад и рай; я и плакала и смеялась, я молилась и проклинала; я чувствовала трепетание в каждом нерве, в ушах звенело, дух захватывало, я была готова броситься к младенцу, расцеловать и — растерзать его... Такое состояние не могло быть продолжительно; я упала без чувств; когда очнулась, все порочное во мне затихло, передо мной носился образ матушки; я видела перед собой только его ребенка и долг мой. А Лидия, Лидия... она еще слаба, но уж горюет только о том, что ей нельзя будет выезжать в продолжение нескольких недель. Как она счастлива, или, лучше сказать, как она несчастлива!..»

Чрез несколько времени после этого письма из Казани отправился в Москву на службу молодой человек, родственник домашним Марьи Ивановны; он был человек не без состояния, молод, недурен собою, стихотворец и с совершенно романическим характером; он попросил у Марьи Ивановны писем в Москву к ее знакомым, и тогда, при взгляде на него, какая-то неясная мысль пробежала в голове Зинаидиной приятельницы: она дала ему записочку к княжне с поручением вручить ей лично, только не влюбиться. «Почему знать, — думала Марья Ивановна, — ей этот молодой человек может понравиться; она молода, чувства ее живы, и тогда, может быть, в душе ее произойдет счастливая перемена, и она избавится от своего мучи-

тельного положения». Письмо, которое вскоре после того Марья Ивановна получила от Зизи, убедило ее в том, что она хорошо сделала. Вот оно:

«Лидия совершенно оправилась. Мы уже начали выезжать. Часто я бы хотела оставаться дома с моей Пашенькой, которая день от дня хорошеет, любит меня больше, нежели свою кормилицу, протягивает ко мне ручки: но нельзя Лидию оставлять одну; она, как я тебе писала, настоящий ребенок, любит моды, но не может понять, которые пристали к ней и которые нет; великого труда стоит мне иногда уговорить ее не поднимать талии так высоко, что ее совершенно безобразит. В обществе она приводит меня в совершенное отчаяние: она так рада музыке, балу, своему наряду, что не может скрыть своего восхищения; иногда, забывшись, она захохочет во всю залу так, что все на нее оглянутся; особенно в театре я должна беспрестанно дергать ее за рукав, чтобы она не сказала чего-нибудь неприличного молодым людям, которые толпою приходят к нам в ложу. Владимир Лукьянович, кажется, замечает это и стороною дает мне чувствовать свою благодарность. Вчера, пока Лидия в десятый раз примеривала в уборной новое платье, я, сидя в спальне, качала на руках Пашу. Он подошел ко мне и долго смотрел на меня, задумавшись. Я невольно смутилась; чтоб прекратить это странное состояние, я спросила у него: о чем он задумался? «Об вас, — отвечал он ласково, — вы, может быть, не знаете, как я часто об вас думаю, Зинаида». Тут он подошел ко мне, взял меня за руку и с меланхолическим взглядом пожал ее... Я затрепетала; еще в первый раз в жизни он с такою нежностию прикоснулся к руке моей... Не зная, что отвечать, я принялась ласкать Пашеньку, а он бросился в кресла, стоявшие в другом углу. Не знаю, заметил ли он мое смущение, или точно такой был смысл его слов, но он продолжал с особенным выражением и придавая вес каждому слову: «Мне бы хотелось устроить ваше имение, чтоб отделить вам вашу часть, чтоб вы имели свое, независимое». — «А зачем это? — спросила я. — Разве оно не может оставаться под вашим управлением?» — «Но вы можете выйти замуж, — отвечал он, глядя на меня пристально, — надобно, чтобы все было в порядке». — «О, никогда!» — вскричала я, забывшись, и потом, одумавшись, стала говорить разные незначащие слова, чтоб

объяснить мою мысль; но они еще более обнаруживали мое смущение. «Таковы-то вы все, девушки: как можете вы за себя на один день отвечать?» — продолжал он с тем же выражением и не сводя с меня глаз. Я не отвечала ничего, а он продолжал: «Да, это необходимо будет сделать; я теперь стараюсь окончить нашу тяжбу о лесе, тогда у нас руки будут развязаны». Тут вошла Лидия, повертываясь и показывая свое платье; наш разговор прекратился. Выйти замуж... До сих пор эта мысль мне не приходила еще в голову; выйти замуж за кого-нибудь другого... Боже, пощади меня!»

Письмо от княжны Зизи к Марье Ивановне, месяц спустя.

«Благодарю тебя, любезная Маша, за письмо твое, которое мне привез твой казанский знакомый, Радецкий. Я не могла тебе отвечать тотчас, потому что Паша была больна и Лидия также: она опять беременна и, несмотря на все увещания докторов, танцует без отдыха, — вот что говорится, не сходит с доски. Твой знакомый очень мил, но только, кажется, слишком романического характера; он на меня смотрит такими странными глазами, что мне становится смешно, или у вас в Казани уж такая мода? Мне кажется, он не слишком понравился и Владимиру Лукьяновичу: он с ним учтив и вежлив, по обыкновению, но, между нами, Владимир Лукьянович шутя называет его *размазнею*, в чем и я, признаюсь тебе, согласна. Владимир Лукьянович очень заботится о нашей тяжбе с казною; как ни тверд его характер, но это дело его, видимо, беспокоит. Часто, когда Лидия бывает на бале, он приезжает прежде ее домой и часто ночи просиживает за бумагами; я это очень хорошо знаю, ибо он всегда заходит ко мне. Теперь, благодаря бога, он не настаивает больше, чтоб я выезжала с Лидиею, и, кажется, рад, что я остаюсь дома, потому что Пашенька беспрестанно больна, а Лидия не может обойтись без танцев. Меня же на бале ничто не занимает, и я так счастлива, когда могу добраться до моей комнаты. Прощай».

Это письмо, несмотря на его холодный тон, очень встревожило Марью Ивановну; в нем было что-то недосказанное; княжна что-то от нее скрывала. Письмо Радецкого объяснит тебе до некоторой степени эту загадку.

Письмо Радецкого к Марье Ивановне:

«Милостивая государыня, Марья Ивановна! Хорошее дали вы мне поручение; я исполнил его в точности: влюбился в вашу прекрасную приятельницу, да так, как никогда не ожидал, то есть до безумия. Как это случилось, рассказывать вам не буду, потому что сам не знаю. Дело в том, что моя участь решена; я чувствую, что не могу жить без княжны Зинаиды. Вы начали, вы должны кончить; вы были причиною моего знакомства с нею, вы должны помогать мне. Вы, может быть, спросите меня: нравлюсь ли я ей — в этом вся и задача. Чувства княжны Зинаиды для меня непроницаемы; в разговорах с нею я заметил прекрасный, образованный ум; но что скрывается за этим умом — неизвестно. Мне кажется, она принадлежит к числу женщин, одаренных от природы нежным сердцем, но которому гордость мешает чувствовать. Чувство им кажется слабостью, чем-то унизительным. Они боятся обнажить свое сердце, они стараются прикрыть его всякою мишурою, чтоб избегнуть от проницательных глаз мужчины. Может быть, я ошибаюсь, но такою мне кажется княжна Зинаида; отчего это происходит, от образа ли воспитания, или от ложной системы, — не знаю, только я не всегда понимаю мою княжну. Я еще и не заговаривал ей о моей любви: так я боюсь этой девушки; от одного ее слова зависит жизнь или смерть моя, а может быть, ее гордость или излишняя скромность заставит ее произнести страшное «нет» даже тогда, как сердце ее будет противоречить этому слову. Вы лучше меня знаете княжну Зинаиду: научите меня, что должно мне делать, что говорить, как глядеть на нее. Она умеет одним взглядом приводить меня в трепет, и слова, которые рвутся из моей души, замирают на языке. Скажите, не лучше ли будет, если бы вы к ней написали, если бы вы стороною постарались выпытать ее обо мне мысли. Не может быть, чтоб она не понимала, что во мне происходит; неужли она думает, что я стараюсь ездить к ним в дом так часто только для того, чтоб слушать холодные учтивости ее зятя, его толкования о литературе «Вестника Европы», перемешанные с рассказами о больших обедах? Сверх того, она должна понимать, что я, говоря по-светски, имею право предложить ей руку: я, как вы знаете, не беден, лета наши сходны, я имею порядочный чин, надежды на будущее — все это, разумеется,

вздор, но я упоминаю обо всем этом потому только, что все это должно было бы обратить на меня внимание княжны в ту или другую сторону, но ничего не бывало; вот уже третий месяц, как я езжу к ним в дом, и княжна обходится со мною, как в первое свидание: ни знака неудовольствия, ни знака приязни; она по-прежнему со мною ласкова, любезна и холодна. Как объяснить? С другой стороны, неужли ей так дорога ее теперешняя девическая жизнь? У ней нет матери, живет она почти в чужом доме, целый день нянчится с чужим ребенком, играет в доме роль какой-то гувернантки или даже ключницы; она — женщина с большим умом, с начитанностью, с пламенным воображением!.. Не понимаю. Бога ради, объясните мне все это, если можете, и не замедлите ответом; каждая минута для меня век страдания.

Радецкий».

Получив это письмо Марья Ивановна, как видно, пришла в большое недоумение. Что, в самом деле, ей было отвечать Радецкому? Вверить ему тайну Зинаиды — было делом невозможным; писать к Зинаиде, описывать ей все достоинства Радецкого — было бы бесполезно. Она могла ожидать успеха от молодых его глаз, от его ума, любезности, но не от своих писем. Сколько я мог догадаться, эгоизм, кажется, уже нашептывал Марье Ивановне, что она напрасно вмешалась в это дело, и она решилась, на что обыкновенно решаются нерешительные люди, то есть ничего не делать, не отвечать Радецкому и предоставить развязку его собственному уму и времени. Но не прошло двух почтовых дней, Марья Ивановна получила новое письмо от Радецкого. Вот оно:

«Вы не отвечаете мне, бог вам судья! Не отвечать мне в такую минуту, когда вся жизнь моя есть цепь непрерывных терзаний!.. Мое дело не только не подвинулось вперед, но еще отодвинулось назад, потому что я рассорился с Городковым, и сам не знаю как. Вот как это случилось. У них был вечер; все уселись за карты; из неиграющих остались только трое: хозяйка дома, княжна и я. Я присел к столу у дивана, на котором сидели обе сестры; я очень был рад этому случаю говорить с нею наедине, потому что хозяйки дома нечего было считать: она или молчала, не понимая нашего разговора, или хохотала без всякой при-

чины, или вскакивала с места. Княжна была задумчивее обыкновенного.

— Вы не играете? — сказала мне княжна, подняв на меня свои блестящие, черные глаза.

— И без игры, — отвечал я, — довольно терзаний на свете. Я не знаю, зачем человеку изобретать новое средство себя мучить, когда слишком довольно и старых.

Княжна улыбнулась; но если не ошибаюсь, в ее улыбке было что-то грустное.

— Сделайте милость, — сказала она насмешливым тоном, — перестаньте притворяться; я знаю, теперь в моде у молодых людей играть роль страдальцев, твердить об увядшей молодости, о потерянных надеждах; вы не можете себе представить, как все это смешно.

Эти слова тронули меня за живое.

— Неужли, — сказал я, — оттого, что есть люди, которые притворяются больными, вы в состоянии засмеяться, видя человека на смертной постели?

— Нет, но я бы послала за доктором.

— А если б доктор не захотел прийти?

— Я бы послала за другим.

— Неужли вы думаете, что менять докторов так легко? Не знаю, отчего этот незначащий вопрос заставил княжну задуматься, по крайней мере мне так показалось,— но она скоро переменила разговор.

— Вы еще долго останетесь в Москве?

— Не знаю; я не принадлежу самому себе...

— Кому же? — спросила княжна простодушно.

— Я принадлежу одному из тех слов, над которыми вы смеетесь.

— Опять! Как вы странны теперь, молодые люди!

— Столько же странны, как и все молодые люди от сотворения мира, разумеется в известных случаях.

— Я без шуток думаю, что по большей части вы сами не знаете, чего хотите; в голове у вас бродит несколько слов, несколько заученных стихов, из которых вы составляете что-то похожее на жизнь, и потом уверяете себя, что эта жизнь вас терзает.

— Неужели, княжна, вы обо всех так думаете без исключения?..

— О нет! — сказала она с обыкновенным выражением, —

но о многих, — прибавила она спокойно. — Так мало надобно для счастия жизни, а это не многие понимают: все гоняются за невозможным, как дети за тенью, и потом жалуются, что не могут поймать ее.

— Вы справедливо заметили, что для счастия надобно мало, но так же мало надобно и для страданий. Иногда в них виноват сам человек, нечистая совесть, корыстные чувства, порочная, непозволенная страсть — об этом и говорить нечего. Но бывает, что в душе горит чистое, святое чувство, что ощущаешь в себе способность посвятить всю свою жизнь, например женщине, что на это отвечают холодностию, презрением...

Мои слова явно производили впечатление на княжну: она была в волнении — то краснела, то бледнела; грудь ее высоко поднималась; я видел это действие, производимое моими словами, старался воспользоваться редкою минутою пробудившегося в княжне чувства и выразить в словах все, что волновалось в душе моей; но ко мне подошел хозяин дома.

— Сделайте мне одолжение, — сказал он приветливо, — займите на минуту мое место за бостоном: мне надобно кое-что приказать в доме...

В сию минуту я готов был выбросить его за окошко.

— Я не играю... я не умею играть! — сказал я с видимою досадою.

— Но одну минуту, только одну минуту подержать карты в руках, — отвечал он, улыбаясь. — Впрочем, как вам угодно; я не хочу принуждать вас сделать мне одолжение. Извините, что обеспокоил вас, — прибавил он холодно.

Я опамятовался, хотел было просить у него карты, но он уже раскланивался со входившим гостем, который с радостью принял его предложение. Я посмотрел вокруг себя — княжна исчезла; я остался с глаза на глаз с хозяйкой дома.

— Что сделалось с княжною? — спросил я ее.

— Ей спать захотелось, — отвечала Лидия и захохотала во все горло.

О чем мне было говорить с нею? Я был огорчен, взбешен и не в состоянии пересыпать из пустого в порожнее. Воспользовавшись первою минутою, когда Лидия Петровна вскочила, по своему обыкновению, я выбежал из дома как сумасшедший.

Вы можете себе представить, что во мне происходило в это время! Дожидаться в течение долгих дней этой минуты, как заветного рая; быть прерванным тогда, как, может быть, душа ее стала открываться для чувства, и остаться, не разрешив загадки, не высказав вполне души своей... это ужасно!

Я целую ночь не мог заснуть и поутру рано поехал к Городкову, чтоб извиниться в моей невежливости; меня не приняли. На другой день то же, на третий день опять то же. Я осведомляюсь о здоровье всех домашних поименно; лакеи мне отвечают, что все, слава богу, здоровы и изволили уехать со двора; но это была неправда: на дворе стояли экипажи, следственно, хозяева были дома; это значило просто, что меня не хотели принимать. Я не знал, что делать; я уже решился писать к Городкову и откровенно объяснить ему все; но страх подвергнуть свою участь одному слову, не приготовив княжну к моему объяснению, удержал меня. Вечером я встретил Городкова в одном знакомом доме и скрепя сердце подошел к нему, начал было извиняться в моей невежливости; он прервал мои слова с обыкновенною своею улыбкою, говоря: «И! помилуйте, как это можно! есть ли о чем и говорить! сделайте милость, не беспокойтесь!» — и прочее тому подобное; а между тем он обратился к другому. Еще раз начать говорить с ним — в эту минуту было выше сил моих; однако ж я решился ехать к нему на другой день, но меня опять не приняли. Я был совершенно в отчаянии и не знал, что предпринять; каждый день ходил я на почту, чтоб узнать, нет ли от вас письма, не затерялось ли оно — тщетно! Бога ради, не медлите ответом, не мучьте меня. Вы лучше знаете семейственные отношения этого дома: объясните мне, что все это значит. Неужели Зинаидин зять мог на меня рассердиться за вещь столь обыкновенную в свете? Тут должна скрываться какая-то тайна, над которой я тщетно ломал себе голову. Я не могу скрыть от вас, что поведение г. Городкова мне кажется очень странным: он пользуется прекраснейшею репутациею в свете; он принят в лучших домах; он очень любезен в обращении, но мне не понравился он с первого раза — и знаете отчего? Он входит в комнату боком, всегда как-то пролезает между людьми. Не хочу без вины обвинять его; это невольное движение может происходить и от глубоко сокрытого в душе низкого чувства, может

происходить и от излишней скромности, и от застенчивости; но, воля ваша: он, право, что-то слишком любезен, слишком приветлив, слишком уступчив; достигнув в свете некоторой оседлости, или что называют aplomb, он все во всяком чего-то ищет, соглашается, с чем не должно соглашаться, улыбается тому, кто ему надоедает; все это, как хотите, переступает пределы обыкновенной светскости и переходит за ту черту, где любезности не отличишь от притворства и бесцветность характера — может быть, от грехов тайных и тяжких. Я не могу постигнуть существования человека, который никогда никому не противоречит, точно так же как человека, который спорит только для спора. Словом, есть что-то непонятное в этом Городкове. В нынешнем свете, когда искусство лицемерия вошло в правила воспитания между грамматикой и нравственностью, человека угадать трудно: надобно знать всю его историю с колыбели, чтоб составить себе о нем какое-нибудь понятие. Я старался наведываться о Городкове сколько можно и узнал, что он целый век служил, взяток не брал, что он *классик*, прекрасно играет в бостон, пишет шарады — и только. Но когда я смотрю на его голову, уплывшую в воротник фрака, на эту едва приметную складку возле глаз под висками, на его румяное, вечно улыбающееся лицо, — что-то тайное говорит мне, что все это маска и что в душе его не то. Бога ради, расскажите о нем все, что вы знаете и что вы заключаете из последнего его поступка, а больше всего напишите о Зинаиде. Писали ли вы к ней? что она отвечала вам? Бога ради, не морите меня медленною смертью. Родных у ней никого нет: вы одни моя надежда. Я не знаю, на что я в состоянии теперь решиться».

Бедная Марья Ивановна, получив это письмо, была не в меньшем замешательстве. Пока она собиралась отвечать ему, пришло новое, следующее письмо:

«Спешу вас уведомить, что участь моя решена. Я счастлив, так счастлив, что не могу этого и выразить: *княжна Зинаида соглашается выйти за меня замуж!* Я плачу от радости, как ребенок. Наше объяснение с княжною было очень странно. Вот как это случилось, посудите сами.

Получая беспрестанно отказы в доме, я, как пошлый любовник, бродил под окнами моей красавицы; но все было тщетно: княжна не выезжала со двора и не подходила к окошку; люди, у которых я осведомлялся об ее здоровье, смотрели на меня с насмешкою; неприязнь господ перешла к слугам, как обыкновенно случается, без всякого с их стороны сознания: барин косится и они также. Но, к счастию, на сем свете существуют могущественные полтинники, которыми отпираются двери и от которых немые делаются говорливыми; этим способом узнал я однажды, что княжна в церкви — я поспешил туда; вхожу: в церкви темно; с трудом в отдаленном углу за столбом я узнаю княжну: прихожан мало; она, вероятно думая, что на нее нимало не обращают внимания, стояла на коленях, горячо молилась и горько плакала. Я не хотел мешать ей и стал так, чтоб она не могла меня заметить. Что значили эти слезы? Были ли они действием одной набожности, или тайной скорби? Как бы то ни было, мне показалось, что теперь говорить с княжною было для меня долгом. Я дождался окончания службы и, когда княжна вышла с другими в притвор, подошел к ней. Взглянув на нее при тусклом свете свечи, горевшей у образа, я испугался: глаза ее были красны, щеки впали, лицо носило отпечаток жестокого внутреннего страдания.

— Княжна! — сказал я ей, — мне необходимо сказать вам несколько слов.

В первую минуту она как будто испугалась и хотела скрыться от меня; но потом, подумав немного, остановилась и отвечала:

— Говорите, я вас слушаю.

Мы вышли на паперть; она отослала провожавшего ее лакея к церковной ограде. Никогда еще она не казалась мне столь прекрасною... Вечер был тихий, последние багряные лучи солнца освещали ее прекрасное, благородное лицо, вокруг которого из-под соломенной шляпки вились по плечам в беспорядке черные, мелкие кудри.

— Княжна! — сказал я твердым голосом, — вы несчастливы!

В одно мгновение на этом лице, удрученном горестью, блеснуло ее обыкновенное, гордое чувство.

— Кто дает вам право, — отвечала она, — спрашивать у меня отчета?!

— Мне на это дает право то чувство, которое вы мне внушили, и клятва, данная мною перед богом, которому мы вместе теперь молились, посвятить вам жизнь мою до последнего издыхания. В моем теперешнем положении я должен говорить прямо и решительно.

Княжна задумалась; горькие слезы полились из ее глаз; исчезло выражение гордости, на минуту мелькнувшее в лице ее: я видел пред собою слабую, истерзанную женщину...

Вдруг она взяла меня за руку:

— Скажите, вы меня не обманываете?..

— Княжна!..

— Вы были бы готовы на мне жениться, если бы я согласилась?

— Я был бы счастливейшим человеком.

— Здесь говорить нам нельзя; не спрашивайте меня ни о чем... Чрез несколько часов я пришлю к вам в дом записку...

Я хотел поцеловать ее руку, но она, отдернув ее, поспешно пошла к ограде; я хотел за ней следовать, но она дала мне знак рукою, чтоб я оставил ее одну. Я возвратился домой в большом раздумье; как ни радовала меня надежда на счастье, но такое быстрое, неожиданное исполнение моих желаний пугало меня; в поведении княжны по-прежнему было что-то странное и неизъяснимое; я терялся в догадках. Не прошло получаса, как я получил от нее следующую записку: «Я согласна отдать вам мою руку и вввериться вам, как благородному человеку; но особенные обстоятельства заставляют меня желать, чтобы наш брак совершился как можно скорее. Одно мое условие: не спрашивать меня о причине такой странной просьбы: не спрашивать меня ни о чем; ввериться безусловно моей совести... Когда-нибудь вы все узнаете».

Я отвечал на эту записку, что верю ее благородному сердцу, не буду ее ни о чем спрашивать и что надеюсь завтра же устроить все для нашей свадьбы.

Вот что со мной было! Хотя я и не получил еще от вас ответа, но здесь не имею никого, с кем поделиться моим странным счастием. Пишу к вам ночью: душевное волнение мешает мне сомкнуть глаза. Со светом отправляюсь

хлопотать, чтоб устроить все для венчания. Едва ли кому-нибудь удавалось жениться так чудно!»

На следующей почте Марья Ивановна получила следующее письмо от молодого человека:

«Все кончено; участь моя решена! Вот новая записка ко мне от княжны Зинаиды. «Простите меня, не проклинайте меня, сочтите меня безумною, если хотите... Нет, благородный молодой человек, я не могу быть вашею женою! Я не хочу вас обманывать: я не могу любить вас. Постарайтесь найти другую женщину, которая бы была вас достойна. Я знаю, для моего поступка нет оправдания, но в вашем сердце я найду себе по крайней мере прощение. Не спрашивайте отчета у несчастной жертвы судьбы; не допытывайтесь узнать мою тайну; забудьте, забудьте меня!»

Мне нечего прибавлять к этому письму: вы можете вообразить себе мое положение. Бога ради, напишите мне, что вы можете понять во всем этом. Если я и не могу сам быть счастливым, то это не мешает мне пожертвовать, если нужно, моей жизнию, чтоб спасти бедную девушку от козней неизъяснимых, но действительных, которые, может быть, ее окружают. Проникнуть эти козни я почитаю святым долгом; я уже начинаю подозревать некоторые из них, но, может быть, все это мечта... Мои мысли не имеют никакого прочного основания; сеть, в которой находится княжна, заплетена так искусно, что укрывается от самого проницательного взора. В смертной скорби моей я не имею даже сил действовать; мысли мои мешаются, одна истребляет другую, и после долгого напряжения я нахожу только то, что я страдаю, страдаю ужасно и не вижу конца моим страданиям. Напишите мне хоть два слова; может быть, они наведут меня на открытие того, над чем я тщетно терзаюсь».

Марья Ивановна на этот раз решилась отвечать молодому человеку; она, кажется, отвечала ему пустыми фразами и уверениями, что ей самой совершенно непонятен поступок Зинаиды. Приязнь к подруге своего детства мешала ей открыть страшную тайну, но между тем она написала к ней письмо, где, как мне говорила, в самых сильных выражениях, какие умела только найти, упрекала ее за ее поступки, намекала, что догадывается об их при-

чине, и первый раз в жизни осмелилась говорить княжне о том, как порочно ее чувство. Ответ княжны Зинаиды довольно любопытен. Вот он:

«Если бы кто-нибудь другой упрекал меня, а не ты, я бы оставила эти упреки без внимания; но ты — ты знаешь мое положение, ты знаешь все терзания моего сердца, все долгое борение с самой собою, продолжающееся не день, не два, но годы, — и ты можешь упрекать меня! Да, мой поступок с Радецким может быть неизвинительным в глазах света, но не в твоих глазах. Мне жаль молодого человека, но что же делать? В минуту скорби и отчаяния я думала, что могу замужеством с ним заглушить то, что происходит в моем сердце и о чем говорить не смею; но когда я прочла в его записке, что завтра я должна предстать с ним пред алтарем, вся твердость меня оставила. Обмануть человека, поклясться ему в вечной любви, когда я... нет, это было невозможно! Я решилась лучше принести себя в жертву, прослыть ветреною, безумною... Моя участь решена: никогда никому не буду принадлежать я; и когда ни Лидия, ни ее дети не будут во мне нуждаться, монастырь сокроет несчастную если не от собственных страданий, то по крайней мере от светских толков. Впрочем, если я во многом виновата перед Радецким, то и он нанес мне оскорбление жесточайшее, какое только могла изобрести его ревность. Радецкий человек без сердца. То, что он говорит обо мне, оскорбительное подозрение, которого он не мог скрыть, — это все я ему прощаю; но, в негодовании на меня, он старается излить желчь на все, меня окружающее. Представь себе, он осмелился написать ко мне, что проникнул в жизнь мою, что он угадывает, кто мне *препятствует* выйти за него замуж; он осмелился предостерегать меня и обвинять в каких-то корыстных видах — кого ты думаешь? — *его*, ангела доброты, бескорыстия... Оттого, что прямота его ума, прямота его сердца не допускают его до романических бредней; оттого, что он видит жизнь яснее других и в глубине сердца скрывает свои высокие чувства, твой Чайльд-Гарольд manqué [1] почитает *его* способным к низким, корыстным видам!.. Это письмо, признаюсь тебе, даже утешило меня: я показалась себе не столь ви-

[1] неудавшийся (*франц.*).

новною пред Радецким, как прежде; ибо лишь тот, кто сам способен к низким расчетам, мог изобрести такую выдумку, и против кого же?.. Где справедливость на свете? Юноша влюбляется, его намерение не удается, и он почитает себя вправе чернить героя добродетели, несчастного... несчастного, может быть, столько же, сколько и я?»

В этом письме также, как ты видишь, много недосказанного: княжна многое скрывала от своей приятельницы.

Уж впоследствии Марья Ивановна узнала все, что случилось в промежутках между сими письмами.

С некоторого времени, когда княжна начала более выезжать, Городков приметно стал беспокоен; он изыскивал разные предлоги, чтоб удерживать жену свою от выездов; он часто заводил речь о семейственном счастии, о расходах, с которыми сопряжены выезды, и о святой обязанности отца семейства стараться умерять свои издержки, чтобы оставить более детям; но эти слова трогали одну княжну Зинаиду, — для Лидии они были непонятны. Как ни ограниченны были ее понятия, но все она была правнучка Евы и умела с непостижимым искусством так направлять разные домашние обстоятельства, чтобы выезды делались необходимостью; сам муж ее, несмотря на всю свою прозорливость, невольно увлекался жениным влиянием: то являлся неожиданный визит, который необходимо надобно отплатить, а этот визит втягивал в какое-нибудь новое знакомство; то являлось приглашение в такой дом, где можно было ему сойтись с нужным человеком; все это устраивалось как бы нечаянно, а между тем было делом простодушной Лидии. Для этого у ней являлась и хитрость и сметливость; с молодыми людьми, с которыми она кокетничала, у ней устроен был действительный заговор против мужа; посредством их она действовала на тетушек, бабушек — словом, на все *приглашающие* лица, — и благодаря этой тактике выезды не перемежались. Не успев с этой стороны, Владимир Лукьянович обратился к другому средству: за несколько дней до выезда он начинал беспокоиться о здоровье своей дочери. «Что это, — говорил он, — Зинаида Петровна? кажется, Паша как будто нездорова; посмотрите, и глазки у нее посоловели, и кушает мало». Зинаида пугалась, посылала за доктором: доктор советовал дать дитяти

гуфландов порошок: тогда дитя действительно занемогало, а княжна, разумеется, оставалась дома. Появление Радецкого в доме немало озаботило проницательного Владимира Лукьяновича; он вообще терпеть не мог людей не по себе, тех людей, которые читали не то, что он читал, говорили не то, что он говорил, не восхищались его шарадами, без внимания слушали его литературные суждения и особенно — засматривались на княжну. К сожалению, Радецкий соединял в себе все эти качества и недостатки. Крепко задумался Владимир Лукьянович: он не знал, на что решиться; страшил его выезд, страшил его и гость неприглашенный. Предвидя беду заранее, он начал, как мы видели, исподволь, и очень тонко, над ним подшучивать, разумеется в его отсутствие; стороною заводил он речь о появлявшейся тогда романтической школе, которая тогда журналистам служила мишенью для холостых зарядов, как ныне искренность, благородство, бескорыстие и прочее тому подобное. В это счастливое время даже журналисты занимались только литературою; теперь они хватились за ум — литература у них последнее дело. Владимир Лукьянович часто толковал лишь о самонадеянности, о тщеславии молодых людей, о их дурном вкусе. Известно, что самые пошлые мысли суть самые высокие, и, наоборот, самые высокие суть самые пошлые, точно как самая смешная острота есть всегда самая грубая: все зависит от той точки зрения, с которой они представлены, и кем представлены. Когда Байрон говорит о ненависти к жизни, о презрении к людям, его слова поражают; те же самые мысли смешны в устах какого-нибудь журнального рифмотворца; книги Сильвио-Пеллико нельзя читать без особенного чувства, а между тем каждая строка в ней была уже двадцать тысяч раз прежде сказана. Эти, по-видимому, столь простые мысли, вошедшие, так сказать, в домашний обиход нашей жизни, равно являются невольно гению среди его высоких мечтаний; ими же пользуется и человек, повторяющий их понаслышке, без всякого сознания. Что может быть выше мысли, заключающейся в сих словах: «Для истины я готов пожертвовать жизнию»? И что может быть смешнее этого выражения, когда оно встречается в наших газетных нравоописательных статейках?.. Все это длинное рассуждение было необходимо, чтоб объяснить тебе, каким образом Владимир Лукьянович производил такое сильное впечатление на княжну Зинаиду;

весь его разговор был составлен из подобных фраз, но для княжны они были выражением искреннего, глубокого, внутреннего чувства; и когда от этих фраз Владимир Лукьянович искусно переходил к оценке людей, которые почему-либо казались ему странными, — как мелки, как ничтожны казались эти люди для княжны Зинаиды, в сравнении с предметом ее обожания! Разговор Радецкого с княжною сильно поразил Владимира Лукьяновича. На его лице не было приметно никакого движения; но он поставил несколько ремизов, чего с ним еще никогда не случалось — и не мудрено: слух его был напряжен и направлен к тому месту, где сидели молодые люди; немногие слова доходили до его ушей, но по этим словам он мог судить, что дело идет не на шутку. Чтоб прервать этот разговор, он употребил описанный Радецким маневр, который, с одной стороны, удался совершенно. На княжну последние слова Радецкого, которыми он нечаянно намекнул на ее собственное положение, сильно подействовали; в ее слухе беспрестанно звучали: *непозволенная страсть, нарушение долга;* она убежала в свою комнату в совершенном отчаянии. Это не укрылось от проницательного дипломата; но он видел только волнение княжны и, не постигая вполне его причины, приписывал начинающемуся расположению к Радецкому. С этой минуты Владимир Лукьянович начертал себе предварительно полный план атаки: первое дело было — отдалить опасного соперника, а второе — самому принять решительные меры; прежде всего надлежало увериться, до какой степени Радецкий мог быть ему препятствием. На другой день Владимир Лукьянович, оставив жену на бале, под предлогом дел возвратился домой и прямо пошел в комнаты Зинаиды. Зинаида, отослав няньку ужинать, осталась одна с Пашенькою на руках... Представь себе маленькую комнату, темно-синие обои, ковры; в углу небольшой турецкий диван, небольшой открытый шкап с книгами, фортепьяно, на окошках и по столам цветы. В комнате темно; тусклым светом лампы освещается один диван, а на нем прекрасная девушка в белой блузе, в этой самой обольстительной женской одежде (которая лишь начинала входить в моду и которую дамы тогда осмеливались надевать только дома); темноватого цвета лента обхватывает тонкую талию; черные лоснистые волосы рассыпаются по плечам мелкими кудрями; на стройной ножке бархатные туфли,

опушенные мехом. Княжна держит на руках младенца; он улыбается ей, хватает ее за кудри, за блестящие серьги; княжна отвечает ему улыбкою, играет с ним, но черные мысли отражаются в ее задумчивом взоре; ее улыбка горька; ее веселый разговор с ребенком печален; она наклоняется к нему, целует его, как бы для того, чтоб вдохнуть в себя воздух невинности и спокойствия, — но тщетно: вся жизнь ее развертывается пред нею; она вспоминает свои детские игры, первые впечатления, которые произвели на нее в первый раз прочитанные украдкою стихи; она помнит их от слова до слова; она вспоминает, как трепетало ее сердце при чтении первого попавшегося ей романа, как искренно плакала над судьбою героини и прятала драгоценную запрещенную книгу под изголовье, чтоб прочесть ее вновь и с новым наслаждением; потом представляется ей, как нечувствительно чтением расширился круг ее понятий, как твердел ее ум и крепло сердце; как новые нежданные мысли из глубины души, как будто из другого таинственного мира, возникали пред нею; как она ощущала в себе зарождение новых чувств, которые невольно вмешивались во все ее существование и наводили магический свет на все, ее окружавшее: тогда, как часто, обративши внимание на собственные движения души, она не узнавала самой себя и дивилась своему перерождению; тогда с насмешкою она смотрела на себя в прошедшем, сравнивала себя с своими сверстницами, и в ее сердце зарождалась могучая гордость, эта сила и болезнь человека; вот уже является в ней нетерпение выйти из тесного круга, в котором заключила ее домашняя жизнь: она мечтает быть супругою, матерью, хочет жить, действовать; в ее голове звучат беспрестанно стихи Залиса, так счастливо переданные одним русским поэтом:

> Действуй! мудрец познается делами;
> Слава с бессмертьем грядет им вослед.
> Действуй! означи благими трудами
> Алчного времени быстрый полет.

Но вот все ее мечтания, все чувства сливаются в один определенный предмет: пред ней является наяву исполнение всех ее идеалов — прекрасный мужчина, скромный, тихий, добрый; в его разговоре она слышит те заветные, любимые слова, которые до того она встречала только в книгах, которые отзывались в ее сердце и были непонятны всем ее окружающим; и это соединение всех совер-

шенств — первый мужчина, которого она видит; с ним является первая любовь, первые надежды, первые муки... И этот мужчина возле нее; она видит его каждый день, — но их разделяет страшная, вечная бездна! Она скрывает пред ним душевные бури; когда сердце ее полно, голова горит и грудь высоко поднимается, она убегает его, она не смеет прикоснуться к нему, не смеет выговорить ему лишнего ласкового слова; она не может, она не должна любить его! И так протечет вся ее жизнь, жизнь неполная, ложная, как жизнь блестящего насекомого, пригвожденного к дереву холодным наблюдателем; тщетно оно расправляет радужные крылышки, трепещет, рвется; вокруг — солнце, вольный душистый воздух, а внутри — долгая, томительная боль, и нет сил от нее оторваться, — нет конца и страданиям бедной девушки: что бы ни случилось, какое бы ни было стечение обстоятельств, какие бы перевороты ни потрясли общества, всю землю, — бездна между ним и ею останется вечною, а перед нею еще долгая, долгая жизнь! Достанет ли у ней сил переносить это непрерывное страдание? Достанет ли ей сил каждый день быть с ним вместе и скрывать это борение с самой собою, когда часто оно доводит ее до степени, близкой к сумасшествию? Достанет ли ей сил убегать в свою комнату, когда при одном его взгляде кровь кипучим ключом бьет в ее жилах, когда все мысли о долге, о чести, о стыде улетают из ее головы, как будто волшебством — и она готова броситься в его объятия? «Нет, — думает княжна, пора этому положить конец, должно оставить этот дом; матушка простит меня; бог сохранит Лидию и ее ребенка... келья в дальнем монастыре, власяница и камень в изголовье — вот что лишь может спасти меня от самой себя!» Но в эту минуту младенец, как будто понявший ее мысли, схватил ее за шею своими ручонками; княжна очнулась; она снова вспомнила о матери этого ребенка, о последних словах своей матери, — и все ее мысли смешались: ее душа пришла в то страшное, тяжкое состояние, когда два противоположные долга борются между собою, когда одна мысль уничтожает другую, когда человек обвиняет себя и в эгоизме и в неблагоразумном самоотвержении, когда он тщательно перебирает все изгибы своего сердца, боится обмануть себя, ищет первой отдаленной причины каждого своего чувства, каждой своей мысли, взвешивает каждое движение и в отчаянии не находит ответа...

В эту минуту дверь отворилась, и вошел Городков. Он остановился на пороге; его поразила прекрасная картина, бывшая пред его глазами. Княжна сначала не узнала его, но невольно вздрогнула; не знаю, что происходило в его душе в эту минуту, но он был задумчив. Он тихо, почти шепотом, поздоровался с княжною и в глубоком молчании бросился в кресла, стоявшие возле дивана. Так прошло несколько минут.

— Что с вами? — спросила наконец его Зинаида с беспокойством. — Отчего вы так задумчивы?

— Мало ли о чем мне думать! — отвечал он печально, — много бывает на сердце такого, чего не расскажешь и что между тем наводит невольную тоску.

— Но, говорят, рассказ того, что на сердце, облегчает печаль.

Городков вздрогнул.

— Да, — отвечал он, — есть люди счастливые, вот как, например, наш романтик, у которого для всего есть готовые фразы и который, мимоходом сказать, кажется, делает вам глазки — вероятно, чтоб иметь предлог сочинить туманную элегию в модном вкусе.

Княжна вздрогнула. Городков посмотрел на нее со вниманием.

— Я не думаю, чтоб из моих слов он мог сочинить нежную элегию, — сказала она, улыбаясь, — я ему всегда говорю столько резких истин, что, верно, они отобьют у него охоту толковать о своих романтических страданиях.

Городков вздохнул еще раз; но, кажется, от удовольствия, по лицу отгадать этого было невозможно.

— Что до него! — продолжала княжна, — скажите мне лучше, что с вами?

Городков придвинул кресла.

— Я буду говорить с вами откровенно, — сказал он, положив на стол свои прекрасные, белые, аристократические руки. — Скажите, что моя за жизнь? С кем могу я поделиться сердцем? Что ожидает меня в будущем? Вы знаете вашу сестру; вы знаете... — прибавил он, запинаясь, — она не может понимать меня, она мне не может быть помощницею в жизни, ни другом в печали, ни матерью детей, ни даже хозяйкою дома. Хорошо, что вы теперь из любви к ней взяли на себя все ее обязанности; но вы можете выйти замуж, я могу занемочь, умереть — что тогда будет с моим ребенком?

Княжна затрепетала, хотела что-то говорить, но стискивала зубы. Городков не сводил с нее глаз.

— Смотрите, как покойно Пашенька заснула на ваших руках; она вас знает больше, нежели Лидию, и в самом деле, вы настоящая мать, вы единственный друг мой.

Городков закрыл лицо свое руками, но, вероятно, не так плотно, чтоб не видать, что делается с княжною.

— Но надолго ли это? Вы выйдете замуж; у вас будут свои обязанности, другого рода привязанность, свои дети...

— Никогда! — вскричала княжна вне себя.

Он взял ее за руку; Зинаида была как в огне. Невнятные слова срывались с ее языка и замирали.

— Как это может быть? — отвечал Городков, смотря на нее нежно. — Вы сами не можете отвечать за себя; да и с моей стороны было бы слишком бессовестно требовать от вас такой жертвы. Не правда ли?

Княжна была в сильном волнении. Городков снова взял ее за руку, поцеловал ее; бедная девушка невольно прижалась к его щеке; ее густые кудри рассыпались по их сомкнутым лицам и, как бы непроницаемой пеленою, сокрыли то, что происходило в эту минуту; но ребенок, разбуженный этим движением, вскрикнул; княжна опамятовалась.

— Паше пора спать, — сказала она, поспешно встала и понесла ребенка в детскую. Городков последовал за нею в размышлении; княжна наклонилась над колыбелью, говорила скоро, отрывисто несвязные слова; вся она была как в лихорадке, лицо ее горело, руки дрожали. В эту минуту явилась Лидия в бальном платье, напевая мазурку и почти танцуя. Она не заметила ничего, хотя княжна смотрела на нее как преступница.

— Паша нездорова, — сказал муж, — мы с сестрицей насилу могли ее успокоить.

— Что такое? — сказала Лидия с своим остолбенелым взглядом, который один служил ей для выражения всех возможных чувств. Посмотрев на колыбельку, Лидия прибавила: — Она, кажется, започивала, и мне также спать очень хочется; я так устала!

Ребенок в самом деле заснул спокойно, ибо нисколько не был болен. Слова Городкова были ложь, но Зинаида разделила ее своим молчанием; между ней и мужем Лидии уже как будто заключилось тайное условие; она уже чувствовала необходимость что-то скрывать от сестры своей...

Лидия рассеянно благословила Пашу, чего никогда не забывала делать и чем, кажется, ограничивала весь долг материнский, и отправилась в спальню. Зинаида всю ночь промолилась пред образами и к рассвету почти в беспамятстве бросилась в постель.

В следующие дни посещения Городкова сделались чаще прежнего; иногда он говорил княжне такие слова, которые она одна могла понимать; иногда просто смотрел на нее, но такими глазами, которые говорили больше слов. Борение в сердце княжны достигло высшей степени; она не смела смотреть на сестру, хотя Лидия ничего не понимала, что вокруг нее происходило, и только радовалась тому, что муж не мешает ей выезжать. Княжна проводила ночи без сна, а когда засыпала, то воспаленное воображение повторяло ей все слова, сказанные во время дня, все движения ее сердца, досказывало недосказанное и увлекало ее в мир обольстительных, сладострастных видений. Просыпаясь, она с ужасом и наслаждением вспоминала свои ночные грезы; она видела, что стоит на краю пропасти, и не имела сил остановиться. Ее комната, в которой все напоминало обольстительный вечер, сделалась ей невыносимой, ее постель — ужасной; она потеряла способность молиться в этой комнате. Однажды вечером, когда она сидела у растворенного окна и теплый летний вечер коварно раздражал ее воображение, послышался благовест — и тысяча воспоминаний возродились в душе ее: она вспомнила свою детскую невинность, свою детскую, чистую, безмятежную молитву. Как бы ей хотелось снова пробудить эти тихие чувства в душе своей! Она почти невольно вышла из комнаты и, сама не зная как, очутилась в церкви. Там произошла сцена, описанная в письме Радецкого. Молитва придала бодрости княжне; слова молодого человека, столь ясные, простые, столь исполненные чувства, поразили ее; они ей показались нежданною помощию, ниспосланною свыше; твердость ее воли восторжествовала; она решилась одним ударом рассечь узел преступной страсти, принести себя в жертву, не отнимая у себя средств исполнить последнюю волю матери; она с геройскою решительностью предложила свою руку молодому человеку. Но когда она написала записку Радецкому, тогда осталось ей еще другое, трудное дело — объявить о своем решении Городкову. Она выбрала ту минуту, когда муж и жена были вместе, собралась с силою, и за-

дыхающимся голосом выговорила: «Я выхожу замуж за Радецкого». Лидия захохотала, Городков побледнел, княжна поспешила договорить: «У нас уже все условлено; завтра наша свадьба; он едет отсюда... надобно скорее...» С этими словами ее голос прервался... она удалилась. Городков остался с женою и проговорил несколько незначащих фраз, которых она почти не слыхала, потому что ей тотчас в уме представился бал, который надобно будет дать по случаю свадьбы.

Когда Лидия заснула, муж ее отправился в комнату Зинаиды; он знал, что она не может спать. Княжна сидела на диване; слезы ручьями лились из ее глаз.

— Я пришел поговорить с вами о ваших делах, — сказал Владимир Лукьянович прерывающимся голосом. — Времени остается немного, а мне нужно кое о чем с вами условиться. Как родственник ваш, я должен позаботиться о том, о чем, может быть, вы сами позабыли. У вас есть имение...

Княжна рыдала.

— Мне ничего не надобно, — говорила она, — я оставляю все вам, вашим детям, сестре.

— Это невозможно; ваш муж найдет это странным, неприличным; вы сами будете жалеть; у вас будут новые обязанности... новая привязанность... могут быть дети.

Эти слова, напоминавшие княжне прежний, обольстительный вечер, разрушили ее последнюю твердость; она бросилась на шею к Городкову и с отчаянием произнесла только одно слово: *«Владимир!..»* Но в этом слове были забыты и долг, и данное обещание, и девическая стыдливость. Обольститель сжал ее в своих объятиях, и длинный, длинный поцелуй помешал княжне договорить это слово. Но вдруг она вырвалась из его объятий, прислонилась к столу и трепещущим голосом произнесла:

— Владимир! именем бога, оставь меня!

Городков хотел к ней приблизиться; но она сложила руки с умоляющим видом.

— Именем бога, оставь меня!.. Завтра, завтра все узнаешь, — произнесла она, задыхаясь от слез.

— Но завтра, — отвечал Городков, — завтра ты будешь замужем?

Княжна всплеснула руками и закрыла лицо свое:

— Как ты мог поверить этому, Владимир?.. Разве ты

не видишь?.. разве ты не знаешь?.. Ты... один, ты... один! — вскричала она вне себя и выбежала из комнаты.

Городков хотел за ней последовать, но, боясь разбудить домашних, возвратился в свою комнату. Вошедши в нее, он насмешливо улыбнулся. «Черт возьми! — сказал он, — дело не на шутку!» Но он взглянул в зеркало и испугался своего собственного образа; оглянулся, нет ли в комнате кого из посторонних, и — в одно мгновение исчезла с его лица насмешливая улыбка, — как будто ее и не бывало; он лег в постель и преспокойно проспал до утра.

На другой день княжна написала свою вторую записку к Радецкому. Радецкий отвечал на нее и в тот же день уехал из Москвы.

Не знаю, что бы могло случиться с княжною в это время; к ее счастию, особенное происшествие сделало большой переворот в ее семейной жизни. Лидия, уже беременная, танцевала, как я говорил выше, без устали; в то самое утро, когда Зинаида решила судьбу Радецкого, Лидия почувствовала себя нездоровою. Послали за доктором; он, осмотрев Лидию, значительно покачал головою и попросил пригласить других докторов для консилиума; прежде нежели начался консилиум, Лидия выкинула; доктор объявил ее в самом опасном положении.

Долго тянулась болезнь несчастной жертвы легкомыслия. Зинаида не отходила от ее постели. Иногда больная приподнималась с постели и говорила слабым голосом, вспоминала о назначенных днях городских балов, просила посмотреть свое последнее платье, которое она еще не успела примерить, — и ей расстилали на постели блонды, бархаты, атласы; она любовалась, играла ими, как ребенок; потом начинала плакать и приказывала уносить все свои уборы.

Иногда, показывая на мужа, она говорила Зинаиде:

— Пожалуйста, будь его женою, когда я умру; он такой добрый... ты умеешь лучше угодить ему, нежели я; ты умница, а я бедная, глупенькая!

Но иногда в минуты бреда на Лидию находил припадок ревности.

— Что вы на меня смотрите? — говорила она, — вы дожидаетесь, скоро ли я умру. Вы любите друг друга...

я это знаю. Только берегись, Зинаида! он ужасно хитр и ужасно зол; он и тебя обманет... У него много бумаг, разных бумаг... он все пишет, пишет...

Слова ее превращались в рыдание или хохот.

Однажды в Казани небольшое общество чиновников сидело за чайным столиком: все люди должностные, давно служащие, что говорится, *кореняки;* между ими несколько дам, а между дамами и наша Марья Ивановна. Разговор шел дельный: толковали о том, кто как сделал свою карьеру, рассказано было многое в пользу случая, а многое в пользу ума и сметливости.

— Нет! — сказал полковой лекарь, который любил играть ролю балагура и, мимоходом будь сказано, несколько приволакивался за Марьей Ивановной, как она очень тонко дала мне это почувствовать. — Нет, нет, — сказал он, — я узнал недавно шутку, так уж чудо как хитра! На днях, разбирая бумаги покойного брата (у него незадолго перед тем умер брат, уездный стряпчий), я нашел письмо одного человека, немалозначащего чиновника в Москве, — так уж могу сказать, удивительную вещь придумал! Как вы думаете? У него есть свояченица, сестра его жены, девушка небедная; имение у них еще не разделено, вместе обе части составляют, как видно, богатый кус, и он в него порядочно запустил лапки; но вот зятюшка-то думает и гадает: неравно она, окаянная, выйдет замуж, муж потребует половины имения, а с именьицем-то расстаться жаль. Как тут быть? Как вы думаете, что тут делать?

Все призадумались.

— Купить у нее за бесценок, — сказал старый советник палаты.

— Нет, Флор Игнатьич! — отвечал лекарь, — это все старина; нынче люди поумнее, потоньше стали! Купишь за бесценок — молва будет, репутации повредишь; нынче умный человек разные обороты имеет — на такие хитрости подымается, что век гадай, не отгадаешь. Вот что он выдумал, господа: он подъехал к свояченице с турусами на колесах, свел девку с ума, да и отбивает от нее женихов, а между тем в нераздельном имении то крестьян переведет, то пустошь обменяет, то людей на волю выпустит — вот какой молодец!

Марья Ивановна вздрогнула и, как сама она говорила, ей при рассказе лекаря что-то под сердце подступило: но на эту минуту со всею женскою хитростию она скрыла свое волнение.

Не знаю уж, какие средства Марья Ивановна употребила для убеждения своего обожателя, но только чрез несколько дней таинственное письмо очутилось в ее руках и в подлиннике летело в Москву на имя княжны Зинаиды.

Между тем в Москве Лидия с каждым днем ослабевала; доктора называли ее болезнь изнурительною чахоткою и другими латинскими, французскими и немецкими названиями, с утешительным замечанием, что она неизлечима.

Однажды, когда Зинаида вышла в переднюю, чтоб поскорей послать с рецептом в аптеку, незнакомый человек вошел, спрашивая: не здесь ли живет княжна Зинаида Петровна?

— На что вам ее? — спросила княжна.

— Я имею поручение, — отвечал незнакомец, — отдать ей письмо очень важное.

— Пожалуйте мне его, — сказала Зинаида.

— Я должен отдать ей собственноручно.

— Я сама княжна Зинаида.

Она подумала, что это письмо какого-нибудь бедного, и не затруднилась принять его; развернула его, быстро пробежала — едва ноги у нее не подкосились! В другой комнате послышались шаги; она проворно спрятала письмо под косынку; незнакомец между тем удалился.

В тот же день княжна, жалуясь на головную боль, попросила кареты проехаться. Лицо ее было бледно, но спокойно. Городков приписал ее бледность нескольким ночам, проведенным без сна, и советовал ей поберечь себя. Княжна отвечала ему улыбкою. «Я постараюсь, — сказала она, — сохранить себя для вас». В последнем слове было особое выражение. Городков нежно поцеловал у нее руку. Княжна села в карету и отправилась к одной из своих приятельниц.

— Ты должна оказать мне услугу, — сказала ей княжна, — и услугу важную: вели заложить свою карету и вези меня к предводителю дворянства.

Приятельница княжны не могла прийти в себя от изумления; любопытство ее было сильно встревожено, но она не могла добиться от княжны никакого ответа. Они оставили карету княжны Зинаиды на дворе, а сами поехали, не сказав у подъезда куда. Приехав в дом предводителя,

княжна оставила свою приятельницу в гостиной, а сама с неженскою смелостью пошла прямо в кабинет.

— Ваше превосходительство! — сказала она твердым и несколько торжественным голосом. — Вы поставлены от правительства для защиты сирот...

Предводитель, пораженный таким необыкновенным тоном, улыбнулся и сказал:

— Что с вами, княжна? за кого вы так горячо вступаетесь?

— За тех, — отвечала княжна Зинаида, — за которых некому, кроме меня, вступиться. Не смейтесь, бога ради, и не удивляйтесь тому, что буду говорить! Забудьте, что я девушка! В эту минуту в нескольких шагах от вас совершается преступление, которого никакой закон не может предвидеть, ни наказать, но которое может предупредить твердая воля человека.

Предводитель слушал княжну с возрастающим изумлением.

— То, что я вам скажу, должно остаться между нами: у меня умирает сестра, у ней остается ребенок. Я прошу вас быть у него опекуном.

— Помилуйте, — отвечал предводитель, — у ребенка остается отец!

— Этот человек, — отвечала княжна в сильном волнении, — не заслуживает доверенности ни правительства, ни честных людей.

Предводитель остолбенел; одумавшись, он отвечал:

— Позвольте, однако ж, княжна! ваши слова слишком сильны; но если б я и поверил им, то, по законам, я могу быть только назначен в помощь Владимиру Лукьяновичу, и то если на это будет согласие матери.

— Согласие матери? — сказала княжна с беспокойством. — Вы, как благородный человек, и в этом должны мне помочь; что надобно для этого?

— Надобно, чтоб она назначила меня в духовном завещании в помощь своему мужу.

— Вы должны к ней ехать вместе со мною.

— Помилуйте, вам ближе это сделать.

— Я не могу, она мне не поверит. Прибавлю к этому, что вы должны вместе с духовным отцом говорить с нею и, не забудьте, в отсутствие ее мужа.

— Признайтесь, княжна, что вы ставите меня в самое затруднительное положение, заставляете ехать секретно

к умирающей женщине для того, чтоб заставить ее сделать то, что может быть неприятно ее мужу, человеку почтенному, уважаемому в целом городе. Нет, воля ваша, княжна, я на это не согласен.

Княжна была в отчаянии.

— Почтенного... уважаемого... — повторяла она, — когда я вам говорю, что он без чести, без совести...

— Но где же доказательства? — сказал наконец предводитель, вышедши из терпения.

— Доказательства! — воскликнула княжна, — доказательства! у меня есть доказательства, и неоспоримые. Но умоляю вас — дайте мне честное слово, что вы никогда не откроете тайны, которую я вам поверю.

— Даю вам слово честного и благородного человека.

Княжна несколько минут была в недоумении; наконец, скрепив сердце и произнеся про себя: «Господи, еще жертва!..» — сказала: — Читайте, сударь!

Письмо Городкова к покойному казанскому уездному стряпчему:

«М. Г. и почтеннейший товарищ, Фома Иванович! Премного и чувствительно я одолжен вам за исполнение всех моих комиссий: истинно вы показываете свою старую дружбу и приязнь. Ваше благорасположение ко мне осмеливает меня просить вас: во-первых, прочесть сие письмо поотдаль от всех, ибо я имею сообщить вам нечто весьма секретное, для чего и письмо сие посылаю не по почте, но с верною оказией. Предупреждаю вас, что по ходу дел мне надобно объяснить вам мое положение в подробности, но это дело весьма деликатное; почему я в будущих письмах уже не буду прибегать к объяснениям, кои не всегда могут быть удобны, а уже по этому письму, почтеннейший, понимайте то, о чем впоследствии буду только намекать. Неоднократно я уже относился к вам, почтеннейший товарищ и однокорытник, поспешить окончанием продажи леса при селе Анисовке;[1] вы пишете ко мне, что, несмотря на мое согласие, остановили продажу, потому что считаете цену слишком дешевою и боитесь, чтобы я не переменил мыслей. Я за такой знак приязни вас чувствительно благодарю, но мои обстоятельства не позволяют мне ждать других покупщиков; я вынуждаюсь

[1] общее имение обеих сестер. (*Прим. В. Ф. Одоевского.*)

объяснить вам откровенно, с тем, разумеется, чтобы сие сохранилось в величайшей тайне и никому не было поверено. Описание сих обстоятельств убедит вас, почтеннейший друг, сколько необходимо нужно поспешать, ибо случай, как говорили древние писатели, плешив, — тотчас из-под руки выскользнет. Вы знаете, почтеннейший, что у меня, собственно за мною, ни кола ни двора; чтобы поправить мое состояние и сделать себе карьеру, я, как вам небезызвестно, долго искал себе невесты; наконец бог мне послал жену, правда, глупенькую, но небезбедную, как вам также известно. Пока положение мое недурно, я на хорошей дороге, и в связях, и в родстве, и, благодаря бога, могу не только себе, но и приятелям моим быть полезен. Но, любезнейший друг, вникните хорошенько в мое положение. Вы знаете:

«Все на свете сем не прочно»;

должно помышлять о будущем; умри жена — чего боже сохрани! — я опять, с позволения сказать, останусь гол как сокол! Правда, есть у нас ребенок, но и ребенок — чего боже сохрани! — может умереть; да если останется жив, то все я буду ни при чем, а разве при его милости. Это бы еще ничего, да опека, почтеннейший!.. Знаю, что и с нею можно концы с концами свести, но все хлопотно, опасно... хотелось бы иметь свое, отдельное, независимое... понимаете, любезнейший друг! Для сего-то я и желаю, елико возможно, поспешить продажею леса — хотя бы то было за бесценок — лишь бы не пропустить случая, когда дают чистые деньги; а вы знаете: чистоган святое дело! Да к тому же, признательно вам сказать, я не знаю, зачем мне упускать из вида и другую половину имения, когда бог его так кстати мне посылает, тем более что обе половины вместе — настоящий объект, а врозь уже гораздо теряют свою цену. Тут дело, почтеннейший, повторяю вам за тайну, так сказать,პределикатного свойства. Извольте видеть, ведь свояченица может выйти замуж — понимаете?.. Правда, она ко мне, с позволения сказать, на шею вешается; я, разумеется, как благородный человек, не стараюсь воспользоваться ее слабостью, но, с другой стороны, смотря на сие обстоятельство с сурьезной точки зрения, нахожу сие весьма сообразным с моими намерениями. А между тем и то приходит в ум, что все-таки ей мужем быть не могу; но, не ровен час, может

подвернуться какой-либо смазливенький — тогда, вы сами понимаете, почтеннейший, беда, да и только. Мне необходимо воспользоваться временем, пока в моих руках доверенность от обеих сестер на нераздельное управление общим имением. Во всех отношениях для меня нужно спешить. Все для меня опасно — выйдет ли свояченица замуж, или не выйдет: на грех мастера нет. Мало ли что может случиться!.. Боюсь зазору, молвы людской; вы знаете — я человек благородный, с амбициею; хочу, чтобы под меня нельзя было иголки подпустить; так и дорожу своей репутацией. Все сие пишу к вам, как к другу, и прошу вас покорнейше по прочтении сего письма оное уничтожить, и в ваших письмах ко мне не упоминать о моих обстоятельствах иначе, как весьма аллегорически. Постарайтесь, почтеннейший, тотчас по совершении купчей на лес немедленно доставить мне свидетельство на залог всего имения, о чем я уже к вам писал. Бога ради, поспешайте, елико возможно; денег не жалейте, только бы не замедлили. Прежде взятья свидетельства спросите у Клементья Федорова, хочет ли он выкупиться, или нет; если хочет, то деньги бы выслал ко мне немедленно; иначе я должен буду принять свои меры. Прощайте, почтеннейший! не замедлите вашим ответом. Извините, что я обременяю вас своими комиссиями; но что делать, почтеннейший! живой о живом и помышляет. Я человек благородный и нравственный: никогда для своей выгоды, даже если бы не имел и дневного пропитания, не в состоянии прибегнуть к непозволенному средству; но, с другой стороны, было бы слишком глупо и не воспользоваться теми видами, кои ныне представляются. Повторяю мою просьбу об уничтожении сего письма. Прекратя все сие, честь имею быть с совершенным почтением и таковой же преданностию ваш истинный друг и слуга

В. Городков».

Пока это письмо было читано предводителем, княжна Зинаида не сводила с него глаз. Она знала письмо наизусть; она следовала за каждым словом; она видела краску, выступившую на лице ей почти незнакомого человека, видела его полуулыбку, когда глаза его дошли до того места, которое относилось к княжне, — она все это видела. Все, что она перенесла, сколькими годами постарела в эти немногие минуты, — рассказывать не нужно.

Прочитав письмо, предводитель сказал:

— Теперь я на все согласен: располагайте мною как хотите.

В тот же день, в минуту, когда Городкова не было дома, предводитель, духовный отец и двое свидетелей были в комнате Лидии; она подписала завещание, в котором предводитель был назначен душеприказчиком и опекуном в помощь Владимиру Лукьяновичу, а дети сверх того вверялись особому попечению княжны Зинаиды. Когда все кончилось и все бывшие в комнате умирающей удалились, возвратился Владимир Лукьянович. Предводитель, встретившись с ним в дверях, холодно поклонился и сказал, что он не замедлит к нему отнестись официально как душеприказчик жены его, — Владимир Лукьянович уже знал о вчерашней поездке Зинаиды; теперь загадка для него разгадалась, но только вполовину. Взволнованный, взбешенный, он побежал в комнату Зинаиды, но за дверью остановился и, приняв на себя нежно-печальный вид, вошел тихими шагами.

— Что это значит, княжна? вы и мне не доверяете? — сказал он, устремив на нее свои глаза, которых знал магнетическое действие.

Впервые и, верно, в последние, злобная улыбка появилась на устах княжны. Она посмотрела на своего обожателя с презрением и бросила ему в лицо письмо его к казанскому стряпчему...

Положение Городкова было затруднительно. Благоразумие требовало немедленно бежать в комнату больной, расспросить ее, заменить старое завещание новым, — но уже Лидия была без языка. Несколько мгновений — и ее не стало. Кончина человека поражает невольно самое загрубелое сердце; в эту минуту остающийся в живых смотрит на окружающих, ищет в их глазах убеждения в жизни... Городков встретил лишь холодный, укоряющий взор Зинаиды.

Прошли дни похорон. В доме все вымыто, выметено, накурено; аптекарские стклянки выброшены за окошко, мебель поставлена на место, в стекла светит солнце, на кухне готовят кушанье... Городков ожил; сперва стенания его слышались только за дверью; потом, в рассчитанное с толком время, двери для приезжающих утешителей отворились. Владимир Лукьянович плакал и вздыхал уже

официально; мимоходом он принимал на себя вид оскорбленной невинности и легкими намеками наводил черную краску на княжну Зинаиду. Между тем к ней был послан управитель с низким поклоном и извещением, что барин хочет переселиться в занимаемые ею комнаты, потому что, дескать, ему очень тяжело оставаться в тех, где находилась покойная Лидия Петровна.

Зинаида оставила дом, переехала к одной приятельнице — у княжны не было ни копейки денег.

Мало-помалу приезжающим утешителям было растолковано, что княжна Зинаида в последнее время оказала очень дурной характер; что она старалась овладеть больною сестрою и выманить у покойницы разные щедроты в изъян мужу и детям; что даже при ее заносчивом характере опасно было оставлять ее при ребенке, и прочее тому подобное. Эти краски очень хорошо ложились на приготовленную растушевку.

Наступило время чтения завещаний. Их было два: первое предоставляло Городкову неограниченное право располагать детьми и имением, второе — то, о котором я говорил выше. Оно одно, как последнее, имело законную силу.

Городков, выслушав все, хладнокровно сказал:

— Я весьма радуюсь, что имею в почтенном Иване Гавриловиче (имя предводителя) столь достойного помощника; но долгом считаю объявить, что покойница состояла мне должною на такую сумму, которая превосходит цену имения. Если бы мне, отцу (это сказано было сквозь слезы), было оказано больше доверенности и не было никакого постороннего вмешательства, я бы изорвал заемные письма: на что мне они? разве я не отец моему ребенку? Но теперь я считаю себя в обязанности предъявить их, дабы иметь право предохранять от постороннего управления достояние моего ребенка.

Все эти слова были произнесены тоном достойным, благородным и трогательным. Они произвели видимое действие на всех слушателей: многие из них плакали, другие с негодованием говорили об *интриганке* Зинаиде. Одна она не потеряла головы.

— Неправда! — сказала она, когда предводитель почти упрекал ее, что она посвятила его в дураки, — неправда! сестра не могла быть ему должною — ему нечего ей дать; я буду доказывать пред судом безденежность заемных писем.

— Как, княжна! вам, девушке, входить в процесс с мужем вашей сестры?

— Так вы подайте просьбу...

— Это легко сказать: какие доказательства могу я представить в безденежности этих заемных писем? Знаете ли, к чему ведет это? Ведь Городкова надобно будет обвинить в бесчестном поведении...

— А вы еще сомневаетесь в этом, после письма его?..

— Да, письмо! разве письмо бы годилось. Но подумайте о себе: оно компрометирует вас...

— Что нужды! — отвечала она, но потом, одумавшись, спросила с трепетом: — Это письмо необходимо?

— Необходимо.

— Оно — у Городкова!

У опекуна опустились руки. Он решительно отказался от всякого процесса.

Княжна была в отчаянии, но не теряла духа. Без денег, без друзей, поражаемая светской болтовней, негодованием честных, но обманутых людей, она начала процесс о безденежности заемных писем, данных ее сестрою. К такому действию ее еще более понуждала открытая ею связь Городкова с одною безнравственною женщиною, которая, перехитрив и самого Владимира Лукьяновича, вытягивала из него деньги и, наверное, должна была обвенчать его на себе. Необходимость иметь капитал для такого процесса заставила княжну завести другой — о разделе имения, а к этому процессу третий — о разорении, сделанном Городковым в имении. И во всех гостиных, в присутственных местах толковали, смеялись, порицали девушку, которая забыла стыд, обложила себя указами, окружила себя стряпчими, приказными; болтливость и клевета прибавляли к сему тысячи оскорбительных небылиц, которые имели вид истины.

Посреди самого разгара этого дела в Москву возвратился из Парижа дядя обеих сестер, князь З... Княжна бросилась к нему, как к своему избавителю; она рассказала ему всю историю — рассказала с жаром, с чувством, с силою. Старый князь, чопорный, чинный, в коричневом фраке с иностранною звездою, сначала ничего не понимал; но жар, с которым говорила его племянница, как-то подействовал на его благоприличную душу: он сам ни с того ни с сего разгорячился и начал приговаривать:

— Comment donc! nous lui ferons rendre, gorge mordicus! [1]

Один мой приятель сделал очень глубокомысленное замечание, а именно: что есть люди, которые очень умны, когда говорят по-французски, и делаются невыразимо пошлы и глупы, как скоро заговорят по-русски. Это довольно странно, но справедливо и понятно. Мы учимся не языку, но только заучиваем тысячи фраз, сказанных на этом языке умными людьми; говорить хорошо по-французски — значит повторять эти тысячи готовых фраз; эти фразы и мешают мыслям и избавляют от своих собственных; вы слушаете, чужой ум выглядывает из болтовни, обманывает вас: кажется — дело, переведите по-русски — пустошь, ни к селу ни к городу. Князь принадлежал к числу таких людей. Едва ввалился он в гостиные, как посыпались к нему со всех сторон нарекания на Зинаиду; добрый князь обомлел. Едва заговорил он по-русски с деловыми людьми, как и совсем потерялся; в голове его осталось только одно, что племянница его играет самую смешную, самую неприличную ролю — un rôle ridicule et peu convenable! [2]

Князь счел долгом принять на себя достойный вид старшего родственника и, положив одну ногу на другую, преподать княжне нужные, спасительные советы самым чистым парижским наречием, с заветными поговорками и с особенною интонациею, которая так несносно скучна в разговоре и природных французов.

Хотя он с княжною говорил и по-французски, следственно очень умно, но не убедил ее; она продолжала начатое, и в гостиных явился ее новый гонитель — ее собственный дядя: он пожимал плечами, поутру уверял встречного и поперечного, что он в этом деле умывает руки, а вечером, вздыхая, ездил смотреть французские водевили.

Однажды к княжне Зинаиде явился ее стряпчий.

— Ваше сиятельство, — сказал он, — вам остается теперь одно: *очистительная присяга,* — и я долгом считаю вас уведомить, что ваш соперник, говоря, что для детей отец должен на все решиться, не прочь от такой присяги.

---

[1] И как еще! мы у него все вырвем обратно, черт побери! *(франц.).*
[2] роль смешная и неприличная! *(франц.)*

— Что такое очистительная присяга?

— Вы должны будете идти с большой церемонией в церковь и публично присягать в истине вашего показания касательно безденежности заемных писем...

Княжна окаменела при таком известии. Это было слишком!

Но твердость ее не оставила; она готова была принести и эту жертву любимому ей ребенку, но ее спасло одно из тех нечаянных происшествий, которые неправдоподобны, но очень просто разрешают, по воле провидения, самые трудные задачи. Городкова разбили лошади — и он умер. При последнем издыхании он не хотел или не успел испросить прощения Зинаиды.

Смерть Городкова возвратила все права несчастной девушке над ее племянницею. Она взяла ее к себе, не выходит замуж и все минуты жизни посвящает на ее воспитание: а в гостиных толкуют, что она, расстроив свое семейство, теперь надела маску и играет роль нежной родственницы, чтобы прикрыть старые грехи и между тем воспользоваться имением племянницы.

— Вот что я узнал, — продолжал мой приятель, — от Марьи Ивановны. Разумеется, она рассказывала все это короче, нежели как я тебе сказываю. Но ты человек аккуратный — тебе надобно было знать все подробности. Этот рассказ возбудил во мне сильное любопытство познакомиться с столь необыкновенною женщиною, которая в малом семейном круге умела показать более благородства и твердости души, нежели многие мужчины на поприщах более возвышенных.

У графини Дарфельд бывали по вторникам маскарады. В тогдашнюю зиму на маскарады была мода; все рядились, мистифировали друг друга, танцевали и волочились без ума; под снега севера перенеслись все обольстительные прелести старинных итальянских маскарадов.

Однажды я с любопытством осматривал пестрый мир, вертевшийся вокруг меня, и почти с досадой отгрызался от масок, которые не давали мне покоя. «Княжна Зизи здесь», — сказал кто-то за мною. «Где? где?» — спросил другой. «Вот сидит в зеленом домино; моя племянница с нею».

Этого разговора с меня было довольно; я отправился к зеленому домино... В жизни я не видывал такой стройной талии, таких прекрасных ножек, которые, ты знаешь,

в женщине для меня — почти все; из-под капюшона были видны знакомые мне черные, мелкие кудри, а в отверстиях маски горели живые, блестящие глаза.

— Позвольте мне вас мистифировать, — сказал я, — хотя я и без маски.

Я сел подле княжны и ни с того ни с сего принялся рассказывать ей всю ее историю со всеми подробностями. Княжна была встревожена моим рассказом; но участие в ней, уважение к ее подвигу, которым дышало каждое мое слово, ее тронуло. Когда я окончил, она мне сказала.

— Благодарю вас; вы мне доставили первое наслаждение в жизни: видеть, что клевета не совсем могла очернить меня и что есть люди, убежденные в чистоте моего сердца.

На следующий вторник мы встретились уже как знакомые. Разговор княжны был жив, умен и занимателен, я не замечал, как проходили часы и как посматривали на нас любопытные.

На третий вторник я счел уже нужным также нарядиться в домино, чтобы спокойнее говорить с княжною...

Что тебе рассказывать! Чрез несколько времени быть с княжною сделалось для меня необходимостию; тщетно я искал ее в гостиных: она выезжала только в маскарады — без домино она боялась показываться в свете и сначала лишь под маскою хотела к нему привыкнуть.

Однажды, после долгого вечера, который я считаю одним из счастливейших в моей жизни, сходя с подъезда, я сказал ей:

— Княжна! мне тяжело видеть вас только один раз в неделю; позвольте мне быть у вас.

Она задумалась, и потом отвечала:

— Это невозможно!

— Почему же?

— Я живу почти одна. Вы знаете Москву и знаете, что заговорят, если вы будете ко мне ездить.

Эти слова заставили меня в мою очередь задуматься.

— Послушайте, — сказал я, — не сочтите меня ветреным, легкомысленным. Что вам до толков? Неужли нет средства посмеяться над клеветниками?

— Как же? — спросила она почти с насмешкою.

Эта насмешка рассердила меня. Я говорил, говорил — и сам не знаю, как сказал ей, что я влюблен в нее до безумия, и предложил ей свою руку.

Княжна вздохнула.

— И я люблю вас, молодой человек — отвечала она,— но вы знаете, что о таком деле надобно подумать...

Тут закричали карету с условленным именем; княжна поспешно меня оставила, говоря:

— До будущего вторника! ко мне пока я вам ездить запрещаю...

В эту ночь я прошел все степени любовного безумия: я и писал несколько писем, и бросался в кресла, и закрывал себе лицо руками, и бродил из угла в угол — и... как все это у вас описывается?

К утру не стало мне больше сил. Я бросился в карету и велел ехать к княжне Зинаиде; она заставила меня довольно долго ждать у подъезда, но наконец меня приняли. Я взбежал на лестницу как угорелый, и первый предмет, который бросился в глаза в гостиной, была княжна — и в своем домино.

— Вы не исполнили моей просьбы, — сказала она, — что делать! Но за то я хочу наказать вас, вы будете говорить со мною, но не увидите меня...

Я бросился к ней и стал умолять, чтобы она сняла маску; чего уже тут я наговорил, не помню, потому что был в совершенном бреду.

— Сядемте, — сказала она мне, — и поговорим; дело серьезное... Вы любите меня, молодой человек; я вам верю, верю чистой, юной, прекрасной душе вашей; когда смотрю на вас, мне приходит на мысль, что я бы могла еще быть счастливою в жизни... да, сударь, я к вам почти неравнодушна... вы воскресили для меня старые, забытые чувства... как бы я желала продолжить эту минуту...

Я был вне себя, целовал ее руку, дыхание мое захватывало.

— Постойте! — сказала княжна, — в этом деле есть препятствие, и очень важное...

— Препятствие! — сказал я, — какое? Вы свободны.

— Препятствие небольшое, но важное, — повторила княжна со смехом, срывая с себя маску, — мне сорок, а вам едва ли восемнадцать! Моя племянница вам ровес-

ница и уже замужем! Жаль мне разрушить свое и ваше очарование, но — вы опоздали, и я также; мне не суждено этого рода счастия в жизни, вы — найдете другое.

— Что тебе рассказывать далее! — продолжал мой приятель. — Я было принялся выдумывать пошлые фразы о том, что я молод на лицо, что неравенство лет не мешает счастью, и прочее тому подобное; но мои слова как-то не вязались, а княжна грустно и насмешливо забавлялась моим смущением... На другой день я уехал из Москвы — а теперь мне пора ехать за акциями.

Он взял шляпу.

— Постой! постой! — кричал я ему вослед. — Как же ты не догадался о летах княжны по письмам?

— Разве я тебе не сказал, что получил их после всей этой истории? — отвечал мой приятель.





ГОРОД БЕЗ ИМЕНИ

> В пространных равнинах Верхней Канады, на пустынных берегах Ориноко, находятся остатки зданий, бронзовых оружий, произведения скульптуры, которые свидетельствуют, что некогда просвещенные народы обитали в сих странах, где ныне кочуют лишь толпы диких звероловов.
>
> *Гумбольд, Vues des Cordilières, т. I.*

...Дорога тянулась между скал, поросших мохом. Лошади скользили, поднимаясь на крутизну, и наконец совсем остановились. Мы принуждены были выйти из коляски...

Тогда только мы заметили на вершине почти неприступного утеса нечто, имевшее вид человека. Это привидение, в черной епанче, сидело недвижно между грудами камней в глубоком безмолвии. Подойдя ближе к утесу, мы удивились, каким образом это существо могло взобраться на вышину почти по голым отвесным стенам. Почтальон на наши вопросы отвечал, что этот утес с некоторого времени служит обиталищем *черному человеку*, а в околотке говорили, что этот черный человек сходит редко с утеса, и только за пищею, потом снова возвращается на утес и по целым дням или бродит печально между камнями, или сидит недвижим, как статуя.

Сей рассказ возбудил наше любопытство. Почтальон указал нам узкую лестницу, которая вела на вершину. Мы дали ему несколько денег, чтобы заставить его ожидать нас спокойнее, и через несколько минут были уже на утесе.

Странная картина нам представилась. Утес был усеян обломками камней, имевшими вид развалин. Иногда причудливая рука природы или древнее незапамятное искусство растягивали их длинною чертою в виде стены, иногда сбрасывали в груду обвалившегося свода. В некоторых местах обманутое воображение видело подобие перистилей; юные деревья, в разных направлениях, выказывались из-за обломков; повилика пробивалась между расселин и довершала очарование.

Шорох листьев заставил черного человека обернуться. Он встал, оперся на камень, имевший вид пьедестала, и смотрел на нас с некоторым удивлением, но без досады. Вид незнакомца был строг и величествен: в глубоких впадинах горели черные большие глаза; брови были наклонены, как у человека, привыкшего к беспрестанному размышлению; стан незнакомца казался еще величавее от черной епанчи, которая живописно струилась по левому плечу его и ниспадала на землю.

Мы старались извиниться, что нарушили его уединение...

— Правда... — сказал незнакомец после некоторого молчания, — я здесь редко вижу посетителей; люди живут, люди проходят... разительные зрелища остаются в стороне; люди идут дальше, дальше — пока сами не обратятся в печальное зрелище...

— Не мудрено, что вас мало посещают, — возразил один из нас, чтоб завести разговор, — это место так уныло, оно похоже на кладбище.

— На кладбище... — перервал незнакомец, — да, это правда! — прибавил он горько, — это правда — здесь могилы многих мыслей, многих чувств, многих воспоминаний...

— Вы, верно, потеряли кого-нибудь, очень дорогого вашему сердцу, — продолжал мой товарищ.

Незнакомец взглянул на него быстро; в глазах его выражалось удивление.

— Да, сударь, — отвечал он, — я потерял самое драгоценное в жизни — я потерял отчизну...

— Отчизну?..

— Да, отчизну! вы видите ее развалины. Здесь, на самом этом месте, некогда волновались страсти, горела мысль, блестящие чертоги возносились к небу, сила искусства приводила природу в недоумение... Теперь остались

одни камни, заросшие травою — бедная отчизна! я предвидел твое падение, я стенал на твоих распутиях: ты не услышала моего стона... и мне суждено было пережить тебя. — Незнакомец бросился на камень, скрывая лицо свое... Вдруг он вспрянул и старался оттолкнуть от себя камень, служивший ему подпорою.

— Опять ты предо мною, — вскричал он, — ты, вина всех бедствий моей отчизны, — прочь, прочь — мои слезы не согреют тебя, столб безжизненный... слезы бесполезны... бесполезны?.. не правда ли?... — Незнакомец захохотал.

Желая дать другой оборот его мыслям, которые с каждою минутою становились для нас непонятнее, мой товарищ спросил незнакомца, как называлась страна, посреди развалин которой мы находились?

— У этой страны нет имени — она недостойна его; некогда она носила имя, — имя громкое, славное, но она втоптала его в землю; годы засыпали его прахом; мне не позволено снимать завесу с этого таинства...

— Позвольте вас спросить, — продолжал мой товарищ, — неужели ни на одной карте не означена страна, о которой вы говорите?..

Этот вопрос, казалось, поразил незнакомца...

— Даже на карте... — повторил он после некоторого молчания, — да, это может быть... это должно так быть; так... посреди бесчисленных переворотов, потрясавших Европу в последние веки, легко может статься, что никто и не обратил внимания на небольшую колонию, поселившуюся на этом неприступном утесе; она успела образоваться, процвесть и... погибнуть, не замеченная историками... но, впрочем... позвольте... это не то... она и не должна была быть замеченною; скорбь смешивает мои мысли, и ваши вопросы меня смущают... Если хотите... я вам расскажу историю этой страны по порядку... это мне будет легче... одно будет напоминать другое... только не прерывайте меня...

Незнакомец облокотился на пьедестал, как будто на кафедру, и с важным видом оратора начал так:

«Давно, давно — в восемнадцатом столетии, все умы были взволнованы теориями общественного устройства; везде спорили о причинах упадка и благоденствия государств: и на площади, и на университетских диспутах, и в спальне красавиц, и в комментариях к древним писателям, и на поле битвы.

Тогда один молодой человек в Европе был озарен новою, оригинальною мыслию. Нас окружают, говорил он, тысячи мнений, тысячи теорий; все они имеют одну цель — благоденствие общества, и все противоречат друг другу. Посмотрим, нет ли чего-нибудь общего всем этим мнениям? Говорят о правах человека, о должностях: но что может заставить человека не переступать границ своего права? что может заставить человека свято хранить свою должность? одно — собственная его польза! Тщетно вы будете ослаблять права человека, когда к сохранению их влечет его собственная польза; тщетно вы будете доказывать ему святость его долга, когда он в противоречии с его пользою. Да, *польза* есть существенный двигатель всех действий человека! Что бесполезно — то вредно, что полезно — то позволено. Вот единственное твердое основание общества! Польза и одна польза — да будет вашим и первым и последним законом! Пусть из нее происходить будут все ваши постановления, ваши занятия, ваши нравы; пусть польза заменит шаткие основания так называемой совести, так называемого врожденного чувства; все поэтические бредни, все вымыслы филантропов — и общество достигнет прочного благоденствия.

Так говорил молодой человек в кругу своих товарищей — и это был — мне не нужно называть его, — это был Бентам.

Блистательные выводы, построенные на столь твердом, положительном основании, воспламенили многих. Посреди старого общества нельзя было привести в исполнение обширную систему Бентама: тому противились и старые люди, и старые книги, и старые поверья. Эмиграции были в моде. Богачи, художники, купцы, ремесленники обратили свое имение в деньги, запаслись земледельческими орудиями, машинами, математическими инструментами, сели на корабль и пустились отыскивать какой-нибудь незанятый уголок мира, где спокойно, вдали от мечтателей, можно было бы осуществить блистательную систему.

В это время гора, на которой мы теперь находимся, была окружена со всех сторон морем. Я еще помню, когда паруса наших кораблей развевались в гавани. Неприступное положение этого острова понравилось нашим путешественникам. Они бросили якорь, вышли на берег, не нашли на нем ни одного жителя и заняли землю по праву первого приобретателя.

Все, составлявшие эту колонию, были люди более или менее образованные, одаренные любовию к наукам и искусствам, отличавшиеся изысканностию вкуса, привычкою к изящным наслаждениям. Скоро земля была возделана; огромные здания, как бы сами собою, поднялись из нее; в них соединились все прихоти, все удобства жизни; машины, фабрики, библиотеки — все явилось с невыразимою быстротою. Избранный в правители лучший друг Бентама все двигал своею сильною волею и своим светлым умом. Замечал ли он где-нибудь малейшее ослабление, малейшую нерадивость, он произносил заветное слово: *польза*, — и все по-прежнему приходило в порядок, поднимались ленивые руки, воспламенялась погасавшая воля; словом, колония процветала. Проникнутые признательностию к виновнику своего благоденствия, обитатели счастливого острова на главной площади своей воздвигнули колоссальную статую Бентама и на пьедестале золотыми буквами начертали: *польза*.

Так протекли долгие годы. Ничто не нарушало спокойствия и наслаждений счастливого острова. В самом начале возродился было спор по предмету довольно важному. Некоторые из первых колонистов, привыкшие к вере отцов своих, находили необходимым устроить храм для жителей. Разумеется, что тотчас же возродился вопрос: полезно ли это? и многие утверждали, что храм не есть какое-либо мануфактурное заведение и что, следственно, не может приносить никакой ощутительной пользы. Но первые возражали, что храм необходим для того, дабы проповедники могли беспрестанно напоминать обитателям, что польза есть единственное основание нравственности и единственный закон для всех действий человека. С этим все согласились — и храм был устроен.

Колония процветала. Общая деятельность превосходила всякое вероятие. С раннего утра жители всех сословий поднимались с постели, боясь потерять понапрасну и малейшую частицу времени, — и всякий принимался за свое дело: один трудился над машиной, другой взрывал новую землю, третий пускал в рост деньги — едва успевали обедать. В обществах был один разговор — о том, из чего можно извлечь себе пользу? Появилось множество книг по сему предмету — что я говорю? одни такого рода книги и выходили. Девушка вместо романа читала трактат о прядильной фабрике; мальчик лет двенадцати уже на-

чинал откладывать деньги на составление капитала для торговых оборотов. В семействах не было ни бесполезных шуток, ни бесполезных рассеяний, — каждая минута дня была разочтена, каждый поступок взвешен, и ничто даром не терялось. У нас не было минуты спокойствия, не было минуты того, что другие называли самонаслаждением, — жизнь беспрестанно двигалась, вертелась, трещала.

Некоторые из художников предложили устроить театр. Другие находили такое заведение совершенно бесполезным. Спор долго длился — но наконец решили, что театр может быть полезным заведением, если все представления на нем будут иметь целию доказать, что польза есть источник всех добродетелей и что бесполезное есть главная вина всех бедствий человека. На этом условии театр был устроен.

Возникали многие подобные споры; но как государством управляли люди, обладавшие Бентамовою неотразимою диалектикою, то скоро прекращались ко всеобщему удовольствию. Согласие не нарушалось — колония процветала!

Восхищенные своим успехом, колонисты положили на вечные времена не переменять своих узаконений, как признанных на опыте последним совершенством, до которого человек может достигнуть. Колония процветала.

Так снова протекли долгие годы. Невдалеке от нас, также на необитаемом острове, поселилась другая колония. Она состояла из людей простых, из земледельцев, которые поселились тут не для осуществления какой-либо системы, но просто чтоб снискивать себе пропитание. То, что у нас производили энтузиазм и правила, которые мы сосали с молоком матерним, то у наших соседей производилось необходимостью жить и трудом безотчетным, но постоянным. Их нивы, луга были разработаны, и возвышенная искусством земля сторицею вознаграждала труд человека.

Эта соседняя колония показалась нам весьма удобным местом для так называемой *эксплуатации*;[1] мы завели с нею торговые сношения, но, руководствуясь словом

---

[1] К счастию, это слово в сем смысле еще не существует в русском языке; его можно перевести: наживка на счет ближнего. *(Прим. В. Ф. Одоевского.)*

польза, мы не считали за нужное щадить наших соседей; мы задерживали разными хитростями провоз к ним необходимых вещей и потом продавали им свои втридорога; многие из нас, оградясь всеми законными формами, предприняли против соседей весьма удачные банкротства, от которых у них упали фабрики, что послужило в пользу нашим; мы ссорили наших соседей с другими колониями, помогали им в этих случаях деньгами, которые, разумеется, возвращались нам сторицею; мы завлекали их в биржевую игру и посредством искусных оборотов были постоянно в выигрыше; наши агенты жили у соседей безвыходно и всеми средствами: лестию, коварством, деньгами, угрозами — постоянно распространяли нашу монополию. Все наши богатели — колония процветала.

Когда соседи вполне разорились благодаря нашей мудрой, основательной политике, правители наши, собравши выборных людей, предложили им на разрешение вопрос: не будет ли полезно для нашей колонии уже совсем приобрести землю наших ослабевших соседей? Все отвечали утвердительно. Засим следовали другие вопросы: как приобрести эту землю, деньгами или силою? На этот вопрос отвечали, что сначала надобно испытать деньгами: а если это средство не удастся, то употребить силу. Некоторые из членов совета хотя и соглашались, что народонаселение нашей колонии требовало новой земли, но что, может быть, было бы согласно более с справедливостию занять какой-либо другой необитаемый остров, нежели посягать на чужую собственность. Но эти люди были признаны за вредных мечтателей, за идеологов; им доказано было посредством математической выкладки, во сколько раз более выгод может принести земля уже обработанная в сравнении с землею, до которой еще не прикасалась рука человека. Решено было отправить к нашим соседям предложение об уступке нам земли их за известную сумму. Соседи не согласились... Тогда, приведя в торговый баланс издержки на войну с выгодами, которые можно было извлечь из земли наших соседей, мы напали на них вооруженною рукою, уничтожили все, что противопоставляло нам какое-либо сопротивление; остальных принудили откочевать в дальние страны, а сами вступили в обладание островом.

Так по мере надобности поступали мы и в других случаях. Несчастные обитатели окружных земель, казалось,

разрабатывали их для того только, чтоб сделаться нашими жертвами. Имея беспрестанно в виду одну собственную пользу, мы почитали против наших соседей все средства дозволенными: и политические хитрости, и обман, и подкупы. Мы по-прежнему ссорили соседей между собою, чтоб уменьшить их силы; поддерживали слабых, чтоб противопоставить их сильным; нападали на сильных, чтоб восстановить против них слабых. Мало-помалу все окружные колонии, одна за другою, подпали под нашу власть — и Бентамия сделалась государством грозным и сильным. Мы величали себя похвалами за наши великие подвиги и нашим детям поставляли в пример тех достославных мужей, которые оружием, а тем паче обманом обогатили нашу колонию. Колония процветала.

Снова протекли долгие годы. Вскоре за покоренными соседями мы встретили других, которых покорение было не столь удобно. Тогда возникли у нас споры. Пограничные города нашего государства, получавшие важные выгоды от торговли с иноземцами, находили полезным быть с ними в мире. Напротив, жители внутренних городов, стесненные в малом пространстве, жаждали расширения пределов государства и находили весьма полезным затеять ссору с соседями, хоть для того, чтоб избавиться от излишка своего народонаселения. Голоса разделились. Обе стороны говорили об одном и том же: об общей пользе, не замечая того, что каждая сторона под этим словом понимала лишь свою собственную. Были еще другие, которые, желая предупредить эту распрю, заводили речь о самоотвержении, о взаимных уступках, о необходимости пожертвовать что-либо в настоящем для блага будущих поколений. Этих людей обе стороны засыпали неопровержимыми математическими выкладками; этих людей обе стороны назвали вредными мечтателями, идеологами; и государство распалось на две части—одна из них объявила войну иноземцам, другая заключила с ними торговый трактат [1].

---

[1] Американский республиканский журнал: Tribune (из коего отрывок напеч<атан> в Сев<ерной> пчеле, 1861, сент. 21, № 209, стр. 859, кол. 4), исчисляя следствия торжества ультрадемократической партии, говорит: «Один штат немедленно объявит недействительным тариф Союза, другой воспротивится военным налогам, третий не позволит ходить в своих пределах почте; вследствие всего этого Союз придет в полное расстройство. *(Прим. В. Ф. Одоевского.)*

Это раздробление государства сильно подействовало на его благоденствие. Нужда оказалась во всех классах; должно было отказать себе в некоторых удобствах жизни, обратившихся в привычку. Это показалось нестерпимым. Соревнование произвело новую промышленную деятельность, новое изыскание средств для приобретения прежнего достатка. Несмотря на все усилия, бентамиты не могли возвратить в свои домы прежней роскоши — и на то были многие причины. При так называемом благородном соревновании, при усиленной деятельности всех и каждого, между отдельными городами часто происходило то же, что между двумя частями государства. Противоположные выгоды встречались; один не хотел уступить другому: для одного города нужен был канал, для другого железная дорога; для одного в одном направлении, для другого в другом. Между тем банкирские операции продолжались, но, сжатые в тесном пространстве, они необходимо, *по естественному ходу вещей*, должны были обратиться уже не на соседей, а на самих бентамитов; и торговцы, следуя нашему высокому началу — пользе, принялись спокойно наживаться банкротствами, благоразумно задерживать предметы, на *которые было требование*, чтоб потом продавать их дорогою ценою; с основательностию заниматься биржевою игрою; под видом неограниченной, так называемой священной свободы торговли учреждать монополию. Одни разбогатели — другие разорились. Между тем никто не хотел пожертвовать частию своих выгод для общих, когда эти последние не доставляли ему непосредственной пользы; и каналы засорялись; дороги не оканчивались по недостатку общего содействия; фабрики, заводы упадали; библиотеки были распроданы; театры закрылись. Нужда увеличивалась и поражала равно всех, богатых и бедных. Она раздражала сердца; от упреков доходили до распрей, обнажались мечи, кровь лилась, восставала страна на страну, одно поселение на другое; земля оставалась незасеянною; богатая жатва истреблялась врагом; отец семейства, ремесленник, купец отрывались от своих мирных занятий; с тем вместе общие страдания увеличились.

В этих внешних и междоусобных бранях, которые то прекращались на время, то вспыхивали с новым ожесточением, протекло еще много лет. От общих и частных

скорбей общим чувством сделалось общее уныние. Истощенные долгой борьбою, люди предались бездействию. Никто не хотел ничего предпринимать для будущего. Все чувства, все мысли, все побуждения человека ограничились настоящей минутой. Отец семейства возвращался в дом скучный, печальный. Его не тешили ни ласки жены, ни умственное развитие детей. Воспитание казалось излишним. Одно считалось нужным — правдою или неправдой добыть себе несколько вещественных выгод. Этому искусству отцы боялись учить детей своих, чтоб не дать им оружия против самих себя: да и было бы излишним; юный бентамит с ранних лет, из древних преданий, из рассказов матери, научался одной науке: избегать законов божеских и человеческих и смотреть на них лишь как на одно из средств извлекать себе какую-нибудь выгоду. Нечему было оживить борьбу человека; нечему было утешить его в скорби. Божественный, одушевляющий язык поэзии был недоступен бентамиту. Великие явления природы не погружали его в ту беспечную думу, которая отторгает человека от земной скорби. Мать не умела завести песни над колыбелью младенца. Естественная, поэтическая стихия издавна была умерщвлена корыстными расчетами пользы. Смерть этой стихии заразила все другие стихии человеческой природы; все отвлеченные, общие мысли, связывающие людей между собою, показались бредом; книги, знания, законы нравственности — бесполезною роскошью. От прежних славных времен осталось только одно слово — *польза*; но и то получило смысл неопределенный: его всякий толковал по-своему.

Вскоре раздоры возникли внутри самого главного нашего города. В его окрестностях находились богатые рудники каменного угля. Владельцы этих рудников получали от них богатый доход. Но от долгого времени и углубления копей они наполнились водой. Добывание угля сделалось трудным. Владельцы рудников возвысили на него цену. Остальные жители внутри города по дороговизне не могли более иметь этот необходимый материал в достаточном количестве. Наступила зима; недостаток в уголье сделался еще более ощутительным. Бедные прибегнули к правительству. Правительство предложило средства вывести воду из рудников и тем облегчить добывание угля. Богатые воспротивились, доказывая неопровержимыми выкладками, что им выгоднее продавать малое количество за до-

рогую цену, нежели остановить работу для осушения копей. Начались споры, и кончилось тем, что толпа бедняков, дрожавших от холода, бросилась на рудники и овладела ими, доказывая с своей стороны также неопровержимо, что им гораздо выгоднее брать уголь даром, нежели платить за него деньги.

Подобные явления повторялись беспрестанно. Они наводили сильное беспокойство на всех обитателей города, не оставляли их ни на площади, ни под домашним кровом. Все видели общее бедствие — и никто не знал, как пособить ему. Наконец, отыскивая повсюду вину своих несчастий, они вздумали, что причина находится в правительстве, ибо оно, хотя изредка, в своих воззваниях напоминало о необходимости помогать друг другу, жертвовать своею пользою пользе общей. Но уже все воззвания были поздны; все понятия в обществе перемешались; слова переменили значение; самая общая польза казалась уже мечтою; эгоизм был единственным, святым правилом жизни; безумцы обвиняли своих правителей в ужаснейшем преступлении — в поэзии. «Зачем нам эти философические толкования о добродетели, о самоотвержении, о гражданской доблести? какие они приносят проценты? Помогите нашим существенным, положительным нуждам!» — кричали несчастные, не зная, что существенное зло было в их собственном сердце. «Зачем, — говорили купцы, — нам эти ученые и философы? им ли править городом? Мы занимаемся настоящим делом; мы получаем деньги, мы платим, мы покупаем произведения земли, мы продаем их, мы приносим существенную пользу: мы должны быть правителями!» И все, в ком нашлась хотя искра божественного огня, были, как вредные мечтатели, изгнаны из города. Купцы сделались правителями, и правление обратилось в компанию на акциях. Исчезли все великие предприятия, которые не могли непосредственно принести какую-либо выгоду или которых цель неясно представлялась ограниченному, корыстному взгляду торговцев. Государственная проницательность, мудрое предвидение, исправление нравов, все, что не было направлено прямо к коммерческой цели, — словом, что не могло приносить процентов, — было названо мечтами. Банкирский феодализм торжествовал. Науки и искусства замолкли совершенно; не являлось новых открытий, изобретений, усовершенствований. Умножившееся народонаселение требовало новых сил промышленности;

а промышленность тянулась по старинной избитой колее и не отвечала возрастающим нуждам.

Предстали пред человеком нежданные, разрушительные явления природы: бури, тлетворные ветры, мор, голод... униженный человек преклонял пред ними главу свою, а природа, не обузданная его властью, уничтожала одним дуновением плоды его прежних усилий. Все силы дряхлели в человеке. Даже честолюбивые замыслы, которые могли бы в будущем усилить торговую деятельность, но в настоящем расстраивали выгоды купцов-правителей, были названы предрассудками. Обман, подлоги, умышленное банкротство, полное презрение к достоинству человека, боготворение злата, угождение самым грубым требованиям плоти — стали делом явным, позволенным, необходимым. Религия сделалась предметом совершенно посторонним; нравственность заключилась в подведении исправных итогов; умственные занятия — изыскание средств обманывать без потери кредита; поэзия — баланс приходо-расходной книги; музыка—однообразная стукотня машин; живопись — черчение моделей. Нечему было подкрепить, возбудить, утешить человека; негде было ему забыться хоть на мгновение. Таинственные источники духа иссякли; какая-то жажда томила, — а люди не знали, как и назвать ее. Общие страдания увеличились.

В это время на площади одного из городов нашего государства явился человек, бледный, с распущенными волосами, в погребальной одежде. «Горе, — восклицал он, посыпая прахом главу свою, — горе тебе, страна нечестия: ты избила своих пророков, и твои пророки замолкли! Горе тебе! Смотри, на высоком небе уже собираются грозные тучи: или ты не боишься, что огнь небесный ниспадет на тебя и пожжет твои веси и нивы? Или спасут тебя твои мраморные чертоги, роскошная одежда, груды злата, толпы рабов, твое лицемерие и коварство? Ты растлила свою душу, ты отдала свое сердце в куплю и забыла все великое и святое; ты смешала значение слов и назвала златом добро, добром — злато, коварство — умом и ум — коварством; ты презрела любовь, ты презрела науку ума и науку сердца. Падут твои чертоги, порвется твоя одежда, травою порастут твои стогны, и имя твое будет забыто. Я, последний из твоих пророков, взываю к тебе: брось куплю и злато, ложь и нечестие, оживи мысли ума и чувства сердца, преклони колени не пред алтарями куми-

ров, но пред алтарем бескорыстной любви... Но я слышу голос твоего огрубелого сердца; слова мои тщетно ударяют в слух твой: ты не покаешься — проклинаю тебя!» С сими словами говоривший упал ниц на землю. Полиция раздвинула толпу любопытных и отвела несчастного в сумасшедший дом. Чрез несколько дней жители нашего города в самом деле были поражены ужасною грозою. Казалось, все небо было в пламени; тучи разрывались светло-синею молнией; удары грома следовали один за другим беспрерывно; деревья вырывало с корнем; многие здания в нашем городе были разбиты громовыми стрелами. Но больше несчастий не было; только чрез несколько времени в «Прейс-куранте», единственной газете, у нас издававшейся, мы прочли следующую статью:

«Мылом тихо. На партии бумажных чулок делают двадцать процентов уступки. Выбойка требуется.

P. S. Спешим уведомить наших читателей, что бывшая за две недели гроза нанесла ужасное повреждение на сто миль в окружности нашего города. Многие города сгорели от молнии. К довершению бедствий, в соседственной горе образовался вулкан; истекшая из него лава истребила то, что было пощажено грозою. Тысячи жителей лишились жизни. К счастию остальных, застывшая лава представила им новый источник промышленности. Они отламывают разноцветные куски лавы и обращают их в кольца, серьги и другие украшения. Мы советуем нашим читателям воспользоваться несчастным положением сих промышленников. По необходимости они продают свои произведения почти задаром, а известно, что все вещи, делаемые из лавы, могут быть перепроданы с большою выгодою и проч...»

Наш незнакомец остановился.

«Что вам рассказывать более? Недолго могла продлиться наша искусственная жизнь, составленная из купеческих оборотов.

Протекло несколько столетий. За купцами пришли ремесленники. «Зачем, — кричали они, — нам этих людей, которые пользуются нашими трудами и, спокойно сидя за своим столом, наживаются? Мы работаем в поте лица; мы знаем труд; без нас они бы не могли существовать. Мы приносим существенную пользу городу — мы должны быть правителями!» И все, в ком таилось хоть какое-либо общее понятие о предметах, были изгнаны из города; ремесленники сделались правителями — и правление обратилось

в мастерскую. Исчезла торговая деятельность; ремесленные произведения наполнили рынки; не было центров сбыта; пути сообщения пресеклись от невежества правителей; искусство оборачивать капиталы утратилось; деньги сделались редкостью. Общие страдания умножились.

За ремесленниками пришли землепашцы. «Зачем, — кричали они, — нам этих людей, которые занимаются безделками и, сидя под теплою кровлею, съедают хлеб, который мы вырабатываем в поте лица, ночью и днем, в холоде и в зное? Что бы они стали делать, если бы мы не кормили их своими трудами? Мы приносим существенную пользу городу; мы знаем его первые, необходимые нужды — мы должны быть правителями». И все, кто только имел руку, не привыкшую к грубой земляной работе, все были изгнаны вон из города.

Подобные явления происходили с некоторыми изменениями и в других городах нашей земли. Изгнанные из одной страны, приходя в другую, находили минутное убежище; но ожесточившаяся нужда заставляла их искать нового. Гонимые из края в край, они собирались толпами и вооруженной рукою добывали себе пропитание. Нивы истаптывались конями; жатва истреблялась прежде созрения. Земледельцы принуждены были, для охранения себя от набегов, оставить свои занятия. Небольшая часть земли засевалась и, обрабатываемая среди тревог и беспокойств, приносила плод необильный. Предоставленная самой себе, без пособий искусства, она зарастала дикими травами, кустарником или заносилась морским песком. Некому было указать на могущественные пособия науки, долженствовавшие предупредить общие бедствия. Голод, со всеми его ужасами, бурной рекою разлился по стране нашей. Брат убивал брата остатком плуга и из окровавленных рук вырывал скудную пищу. Великолепные здания в нашем городе давно уже опустели; бесполезные корабли сгнивали в пристани. И странно и страшно было видеть возле мраморных чертогов, говоривших о прежнем величии, необузданную, грубую толпу, в буйном разврате спорившую или о власти, или о дневном пропитании! Землетрясения довершили начатое людьми: они опрокинули все памятники древних времен, засыпали их пеплом; время заволокло их травою. От древних воспоминаний остался лишь один четвероугольный камень, на котором некогда возвышалась статуя Бентама. Жители удалились в леса, где ловля зве-

рей представляла им возможность снискивать себе пропитание. Разлученные друг от друга, семейства дичали; с каждым поколением терялась часть воспоминаний о прошедшем. Наконец, горе! я видел последних потомков нашей славной колонии, как они в суеверном страхе преклоняли колени пред пьедесталом статуи Бентама, принимая его за древнее божество, и приносили ему в жертву пленников, захваченных в битве с другими, столь же дикими племенами. Когда я, указывая им на развалины их отчизны, спрашивал: какой народ оставил по себе эти воспоминания? — они смотрели на меня с удивлением и не понимали моего вопроса. Наконец погибли и последние остатки нашей колонии, удрученные голодом, болезнями или истребленные хищными зверями. От всей отчизны остался этот безжизненный камень, и один я над ним плачу и проклинаю. Вы, жители других стран, вы, поклонники злата и плоти, поведайте свету повесть о моей несчастной отчизне... а теперь удалитесь и не мешайте моим рыданиям».

Незнакомец с ожесточением схватился за четвероугольный камень и, казалось, всеми силами старался повергнуть его на землю...

Мы удалились.

Приехав на другую станцию, мы старались от трактирщика собрать какие-либо сведения о говорившем с нами отшельнике.

— О! — отвечал нам трактирщик, — мы знаем его. Несколько времени тому назад он объявил желание сказать проповедь на одном из наших митингов (meetings). Мы все обрадовались, особливо наши жены, и собрались послушать проповедника, думая, что он человек порядочный; а он с первых слов начал нас бранить, доказывать, что мы самый безнравственный народ в целом свете, что банкрутство есть вещь самая бессовестная, что человек не должен думать беспрестанно об увеличении своего богатства, что мы непременно должны погибнуть... и прочие, тому подобные, предосудительные вещи. Наше самолюбие не могло стерпеть такой обиды национальному характеру — и мы выгнали оратора за двери. Это его, кажется, тронуло за живое; он помешался, скитается из стороны в сторону, останавливает проходящих и каждому читает отрывки из сочиненной им для нас проповеди.





4338-й ГОД[1]

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ПИСЬМА

ПРЕДИСЛОВИЕ

Примечание. Эти письма доставлены нижеподписавшемуся человеком весьма примечательным в некоторых отношениях (он не желает объявлять своего имени). Занимаясь в продолжение нескольких лет месмерическими опытами, он достиг такой степени в сем искусстве, что может сам собою по произволу приходить в сомнамбулическое состояние; любопытнее всего то, что он заранее может выбрать предмет, на который должно устремиться его магнетическое зрение.

Таким образом он переносится в какую угодно страну, эпоху или в положение какого-либо лица почти без всяких усилий; его природная способность, изощренная долгим упражнением, дозволяет ему рассказывать или записывать все, что представляется его магнетической фантазии; проснувшись, он все забывает и сам по крайней мере с любопытством прочитывает написанное. Вычисления астрономов, доказывающих, что в 4339 году, то есть 2500 лет после нас, комета Виелы должна непременно

[1] По вычислениям некоторых астрономов, комета Виелы должна в 4339 году, то есть 2500 лет после нас, встретиться с Землею. Действие романа, из которого взяты сии письма, проходит за год до сей катастрофы. (*Прим. В. Ф. Одоевского.*)

встретиться с Землею, сильно поразили нашего сомнамбула; ему захотелось проведать, в каком положении будет находиться род человеческий за год до этой страшной минуты; какие об ней будут толки, какое впечатление она произведет на людей, вообще какие будут тогда нравы, образ жизни; какую форму получат сильнейшие чувства человека: честолюбие, любознательность, любовь; с этим намерением он погрузился в сомнамбулическое состояние, продолжавшееся довольно долго; вышедши из него, сомнамбул увидел пред собою исписанные листы бумаги, из которых узнал, что он во время сомнамбулизма был китайцем XLIV столетия, путешествовал по России и очень усердно переписывался с своим другом, оставшимся в Пекине.

Когда сомнамбул сообщил эти письма своим приятелям, тогда ему сделаны были разные возражения; одно казалось в них слишком обыкновенным, другое невозможным; он отвечал: «Не спорю, — может быть, сомнамбулическая фантазия иногда обманывает, ибо она всегда более или менее находится под влиянием настоящих наших понятий, а иногда отвлекается от истинного пути, по законам до сих пор еще не объясненным»; однако же, соображая рассказ моего китайца с разными нам теперь известными обстоятельствами, нельзя сказать, чтобы он во многом ошибался: во-первых, люди всегда останутся людьми, как это было с начала мира: останутся все те же страсти, все те же побуждения; с другой стороны, формы их мыслей и чувств, а в особенности их физический быт должен значительно измениться. Вам кажется странным их понятие о нашем времени; вы полагается, что мы более знаем, например, о том, что случилось за 2500 лет до нас; но заметьте, что характеристическая черта новых поколений — заниматься настоящим и забывать о прошедшем; человечество, как сказал некто, как брошенный сверху камень, который беспрестанно ускоряет свое движение; будущим поколениям столько будет дела в настоящем, что они гораздо более нас раззнакомятся с прошедшим; этому поможет неминуемое истребление наших письменных памятников: действительно, известно, что в некоторых странах, например, в Америке, книги по причине одних насекомых не переживут и столетия; но сколько других обстоятельств должны истребить нашу тряпичную бумагу в продолжении нескольких столетий; скажите, что бы мы

знали о временах Нехао, даже Дария, Псамметиха, Солона, если бы древние писали на нашей бумаге, а не на папирусе, пергаменте или, того лучше, на каменных памятниках, которые у них были в таком употреблении; не только чрез 2500 лет, но едва ли чрез 1000 останется что-либо от наших нынешних книг; разумеется, некоторые из них будут перепечатываться, но когда исчезнут первые документы, тогда явятся настоящие и мнимые ошибки, поверить будет нечем; догадки прибавят новое число ошибок, а между тем ближайшие памятники истребятся в свою очередь; сообразите все это, и тогда уверитесь, что чрез 2500 лет об нашем времени люди несравненно меньше будут иметь понятия, нежели какое мы имеем о времени за 700 лет до Р.Х., то есть за 2500 лет до нас.

Истребление пород лошадей есть также дело очевидное, и тому существуют тысячи примеров в наше время. Не говоря уже о допотопных животных, об огромных ящерицах, которые, как доказал Кювье, некогда населяли нашу землю, вспомним, что, по свидетельству Геродота, львы водились в Македонии, в Малой Азии и в Сирии, а теперь редки даже за пределами Персии и Индии, в степях Аравийских и Африке. Измельчание породы собак совершилось почти на наших глазах и может быть производимо искусством, точно так же как садовники обращают большие лиственные и хвойные деревья в небольшие горшечные растения.

Нынешние успехи химии делают возможным предположение об изобретении эластического стекла, которого недостаток чувствует наша нынешняя промышленность и которое некогда было представлено Нерону, в чем еще ни один историк не сомневался. Нынешнее медицинское употребление газов также должно некогда обратиться в ежедневное употребление, подобно перцу, ванили, спирту, кофе, табаку, которые некогда употребляли только в виде лекарства; об аэростатах нечего и говорить; если в наше время перед нашими глазами паровые машины достигли от чайника, случайно прикрытого тяжестию, до нынешнего своего состояния, то как сомневаться, что, может быть, XIX столетие еще не кончится, как аэростаты войдут во всеобщее употребление и изменят формы общественной жизни в тысячу раз более, нежели паровые машины и железные дороги. Словом, продолжал мой знакомый, в рассказе моего китайца я не нахожу ничего такого, существо-

вание чего не могло бы естественным образом быть выведено из общих законов развития сил человека в мире природы и искусства. Следственно, не должно слишком упрекать мою фантазию в преувеличении.

Мы сочли нужным поместить сии строки в виде предисловия к нижеследующим письмам.

Кн. В. Одоевский.

От Ипполита Цунгиева, студента Главной Пекинской школы, к Лингину, студенту той же школы.

Константинополь, 27-го декабря 4337-го года.

ПИСЬМО 1-е

Пишу к тебе несколько слов, любезный друг, — с границы Северного Царства. До сих пор поездка моя была благополучно; мы с быстротою молнии пролетели сквозь Гималайский туннель, но в Каспийском туннеле были остановлены неожиданным препятствием: ты, верно, слышал об огромном аеролите, недавно пролетевшем чрез южное полушарие; этот аеролит упал невдалеке от Каспийского туннеля и засыпал дорогу. Мы должны были выйти из электрохода и с смирением пробираться просто пешком между грудами метеорического железа; в это время на море была буря; седой Каспий ревел над нашими головами и каждую минуту, кажется, готов был на нас рухнуться; действительно, если бы аеролит упал несколькими саженями далее, то туннель бы непременно прорвался и сердитое море отомстило бы человеку его дерзкую смелость; но, однако ж, на этот раз человеческое искусство выдержало натиск дикой природы; за несколько шагов нас ожидал в туннеле новый электроход, великолепно освещенный гальваническими фонарями, и в одно мгновение ока Ерзерумские башни промелькнули мимо нас.

Теперь, — теперь слушай и ужасайся! я сажусь в Русский гальваностат! — увидев эти воздушные корабли, признаюсь, я забыл и увещания деда Орлия, и собственную опасность, — и все наши понятия об этом предмете.

Воля твоя, — летать по воздуху есть врожденное чувство человеку. Конечно, наше правительство поступило основательно, запретив плавание по воздуху; в состоянии нашего просвещения еще рано было нам и помышлять об

этом; несчастные случаи, стоившие жизни десяткам тысяч людей, доказывают необходимость решительной меры, принятой нашим правительством. Но в России совсем другое; если бы ты видел, с какою усмешкою русские выслушали мои опасения, мои вопросы о предосторожностях... они меня не понимали! они так верят в силу науки и в собственную бодрость духа, что для них летать по воздуху то же, что нам ездить по железной дороге. Впрочем, русские имеют право смеяться над нами; каждым гальваностатом управляет особый профессор; весьма тонкие многосложные снаряды показывают перемену в слоях воздуха и предупреждают направление ветра. Весьма немногие из русских подвержены воздушной болезни; при крепости их сложения они в самых верхних слоях атмосферы почти не чувствуют ни стеснения в груди, ни напора крови — может быть, тут многое значит привычка.

Однако я не могу от тебя скрыть, что и здесь распространилось большое беспокойство. На воздушной станции я застал русского министра гальваностатики вместе с министром астрономии; вокруг них толпилось множество ученых, они осматривали почтовые гальваностаты и аэростаты, приводили в действие разные инструменты и снаряды — тревога была написана на всех лицах.

Дело в том, любезный друг, что падение Галлеевой кометы на землю, или, если хочешь, соединение ее с землею, кажется делом решенным; приблизительно назначает время падения нынешним годом, — но ни точного времени, ни места падения, по разным соображениям, определить нельзя.

С.-Пбург. 4 Янв. 4338-го.

ПИСЬМО 2-е

Наконец я в центре русского полушария и всемирного просвещения; пишу к тебе, сидя в прекрасном доме, на выпуклой крышке которого огромными хрустальными буквами изображено: *Гостиница для прилетающих.* Здесь такое уже обыкновение: на богатых домах крыши все хрустальные или крыты хрустальною же белою черепицей, а имя хозяина сделано из цветных хрусталей. Ночью, как дома освещены внутри, эти блестящие ряды кровель представляют волшебный вид; сверх того, сие обыкновение очень полезно, — не так, как у нас, в Пекине, где ночью

сверху никак не узнаешь дома своего знакомого, надобно спускаться на землю. Мы летели очень тихо; хотя здешние почтовые аеростаты и прекрасно устроены, но нас беспрестанно задерживали противные ветры. Представь себе, мы сюда из Пекина дотащились едва на восьмой день! Что за город, любезный товарищ! что за великолепие! что за огромность! Пролетая через него, я верил баснословному преданию, что здесь некогда были два города, из которых один назывался Москвою, а другой собственно Петербургом, и они были отделены друг от друга едва ли не степью. Действительно, в той части города, которая называется Московскою и где находятся величественные остатки древнего Кремля, есть в характере архитектуры что-то особенное. Впрочем, больших новостей от меня не жди; я почти ничего не мог рассмотреть, ибо дядюшка очень спешил; я успел заметить только одно: что воздушные дороги здесь содержат в отличном порядке, да — чуть не забыл — мы залетели к экватору, но лишь на короткое время, посмотреть начало системы теплохранилищ, которые отсюда тянутся почти по всему северному полушарию; истинно, дело достойное удивления! труд веков и науки! Представь себе: здесь непрерывно огромные машины вгоняют горячий воздух в трубы, соединяющиеся с главными резервуарами; а с этими резервуарами соединены все теплохранилища, особо устроенные в каждом городе сего обширного государства; из городских хранилищ теплый воздух проведен частию в дома и в крытые сады, а частию устремляется по направлению воздушного пути, так что во всю дорогу, несмотря на суровость климата, мы почти не чувствовали холода. Так русские победили даже враждебный свой климат! Мне сказывали, что здесь общество промышленников хотело предложить нашему правительству доставлять, наоборот, отсюда холодный воздух прямо в Пекин для освежения улиц; но теперь не до того: все заняты одним — кометою, которая через год должна разрушить нашу Землю. Ты знаешь, что дядюшка отправлен нашим императором в Петербург для негоциаций именно по сему предмету. Уже было несколько дипломатических собраний: наше дело, во-первых, осмотреть на месте все принимаемые меры против сего бедствия, и, во-вторых, ввести Китай в союз государств, соединившихся для общих издержек по сему случаю. Впрочем, здешние ученые очень

спокойны и решительно говорят, что если только рабочие не потеряют присутствия духа при действии снарядами, то весьма возможно будет предупредить падение кометы на Землю: нужно только знать заблаговременно, на какой пункт комета устремится; но астрономы обещают вычислить это в точности, как скоро она будет видима в телескоп. В одном из следующих писем я тебе расскажу все меры, предпринятые здесь по сему случаю правительством. Сколько знаний! сколько глубокомыслия! Удивительная ученость, и еще более удивительная изобретательность в этом народе! Она здесь видна на каждом шагу; по одной смелой мысли воспротивиться падению кометы ты можешь судить об остальном: все в таком же размере, и часто, признаюсь, со стыдом вспоминал я о состоянии нашего отечества; правда, однако ж, и то, что мы народ молодой, а здесь, в России, просвещение считается тысячелетиями: это одно может утешить народное самолюбие.

Смотря на все меня окружающее, я часто, любезный товарищ, спрашиваю самого себя, что было бы с нами, если б за 500 лет перед сим не родился наш великий Хун-Гин, который пробудил наконец Китай от его векового усыпления или, лучше сказать, мертвого застоя; если б он не уничтожил следов наших древних, ребяческих наук, не заменил наш фетишизм истинною верою, не ввел нас в общее семейство образованных народов? Мы, без шуток, сделались бы теперь похожими на этих одичавших американцев, которые, за недостатком других спекуляций, продают свои города с публичного торгу, потом приходят к нам грабить, и против которых мы одни в целом мире должны содержать войско. Ужас подумать, что не более двухсот лет, как воздухоплавание у нас вошло во всеобщее употребление, и что лишь победы русских над нами научили нас сему искусству! А всему виною была эта закоснелость, в которой наши поэты еще и теперь находят что-то поэтическое. Конечно, мы, китайцы, ныне ударились в противоположную крайность — в безотчетное подражание иноземцам; все у нас на русский манер: и платье, и обычаи, и литература; одного у нас нет — русской сметливости, но и ее приобретем со временем. Да, мой друг, мы отстали, очень отстали от наших знаменитых соседей; будем же спешить учиться, пока мы молоды и есть еще время. Прощай; пиши ко мне с первым телеграфом.

P. S. Скажи твоему батюшке, что я исполнил его комиссию и поручил одному из лучших химиков снять в камер-обскуру некоторые из древнейших здешних зданий, как они есть, с абрисом и красками; ты увидишь, как мало на них походят так называемые у нас дома в русском вкусе.

ПИСЬМО 3-е

Один из здешних ученых, г-н Хартин, водил меня вчера в Кабинет Редкостей, которому посвящено огромное здание, построенное на самой средине Невы и имеющее вид целого города. Многочисленные арки служат сообщением между берегами; из окон виден огромный водомет, который спасает приморскую часть Петербурга от наводнений. Ближний остров, который в древности назывался Васильевским, также принадлежит к Кабинету. Он занят огромным крытым садом, где растут деревья и кустарники, а за решетками, но на свободе, гуляют разные звери; этот сад есть чудо искусства! Он весь построен на сводах, которые нагреваются теплым воздухом постепенно, так, что несколько шагов отделяют знойный климат от умеренного; словом, этот сад — сокращение всей нашей планеты; исходить его то же, что сделать путешествие вокруг света. Произведения всех стран собраны в этом уголке, и в том порядке, в каком они существуют на земном шаре. Сверх того, в средине здания, посвященного Кабинету, на самой Неве, устроен огромный бассейн нагреваемый, в котором содержат множество редких рыб и земноводных различных пород; по обеим сторонам находятся залы, наполненные сухими произведениями всех царств природы, расположенными в хронологическом порядке, начиная от допотопных произведений до наших времен. Осмотрев все это хотя бегло, я понял, каким образом русские ученые приобретают такие изумительные сведения. Стоит только походить по сему Кабинету — и, не заглядывая в книги, сделаешься очень сведущим натуралистом. Здесь, между прочим, очень замечательна коллекция животных... Сколько пород исчезло с лица земли или изменилось в своих формах! Особенно поразил меня очень редкий экземпляр гигантской лошади, на которой сохранилась даже шерсть. Она совершенно походит на тех лошадок, которых дамы держат ныне вместе с постельными собачками;

но только древняя лошадь была огромного размеру: я едва мог достать ее голову.

— Можно ли верить тому, — спросил я у смотрителя Кабинета, — что люди некогда садились на этих чудовищ?

— Хотя на это нет достоверных сведений, — отвечал он, — но до сих пор сохранились древние памятники, где люди изображены верхом на лошадях.

— Не имеют ли эти изображения какого-нибудь аллегорического смысла? Может быть, древние хотели этим выразить победу человека над природою или над своими страстями?

— Так думают многие, и не без основания, — сказал Хартин, — но кажется, однако же, что эти аллегорические изображения были взяты из действительного мира; иначе, как объяснить слово «конница», «конное войско», часто встречаемое в древних рукописях? Сверх того, посмотрите, — сказал он, показывая мне одну поднятую ногу лошади, где я увидел выгнутый кусок ржавого железа, прибитого гвоздями к копыту, — вот, — продолжал мой ученый, — одна из драгоценнейших редкостей нашего Кабинета; посмотрите: это железо прибито гвоздями, следы этих гвоздей видны и на остальных копытах. Здесь явно дело рук человеческих.

— Для какого же употребления могло быть это железо?

— Вероятно, чтоб ослабить силу этого страшного животного, — заметил смотритель.

— А может быть, их во время войны пускали против неприятеля; и этим железом могли наносить ему больше вреда?

— Ваше замечание очень остроумно, — отвечал учтивый ученый, — но где для него доказательства?

Я замолчал.

— Недавно открыли здесь очень древнюю картину, — сказал Хартин, — на которой изображен снаряд, который употребляли, вероятно, для усмирения лошади; на этой картине ноги лошади привязаны к стойкам, и человек молотом набивает ей копыто; возле находится другая лошадь, запряженная в какую-то странную повозку на колесах.

— Это очень любопытно. Но, как объяснить умельчение породы этих животных?

— Это объясняют различным образом; самое вероятное мнение то, что во втором тысячелетии после Р.Х. всеобщее распространение аеростатов сделало лошадей более ненужными; оставленные на произвол судьбы, лошади ушли в леса, одичали; никто не пекся о сохранении прежней породы, и большая часть их погибла; когда же лошади сделались предметом любопытства, тогда человек докончил дело природы; тому несколько веков существовала мода на маленьких животных, на маленькие растения; лошади подверглись той же участи: при пособии человека они мельчали постепенно и наконец дошли до нынешнего состояния забавных, но бесполезных домашних животных.

— Или должно думать,—сказал я, смотря на скелет,— что на лошадях в древности ездили одни герои, или должно сознаться, что люди были гораздо смелее нынешнего. Как осмелиться сесть на такое чудовище!

— Действительно, люди в древности охотнее нашего подвергались опасностям. Например, теперь неоспоримо доказано, что пары, которые мы нынче употребляем только для взрыва земли, эта страшная и опасная сила в продолжение нескольких сот лет служила людям для возки экипажей...

— Это непостижимо!

— О! я в этом уверен, что если бы сохранились древние книги, то мы много б узнали такого, что почитаем теперь непостижимым.

— Вы в этом отношении еще счастливее нас: ваш климат сохранил хотя некоторые отрывки древних писаний, и вы успели их перенести на стекло; но у нас — что не истлело само собою, то источено насекомыми, так что для Китая письменных памятников уже не существует.

— И у нас немного сохранилось, — заметил Хартин.— В огромных связках антикварии находят лишь отдельные слова или буквы, и они-то служат основанием всей нашей древней истории.

— Должно ожидать многого от трудов ваших почтенных антиквариев. Я слышал, что новый словарь, ими приготовляемый, будет содержать в себе две тысячи древних слов более против прежнего.

— Так! — заметил смотритель, —но к чему это послужит? На каждое слово напишут по две тысячи диссертаций, и все-таки не откроют их значения. Вот, например,

хоть слово *немцы*; сколько труда оно стоило нашим ученым, и все не могут добраться до настоящего его смысла.

Физик задел мою чувствительную струну; студенту истории больно показалось такое сомнение; я решился блеснуть своими знаниями.

— Немцы были народ, обитавший на юг от древней России, — сказал я, — это, кажется, доказано; немцев покорили Аллеманны, потом на месте Аллеманнов являются Тедески, Тедесков покорили Германцы или, правильнее, Жерманийцы, а Жерманийцов Дейчеры — народ знаменитый, от которого даже язык сохранился в нескольких отрывках, оставшихся от их поэта, Гете...

— Да! Так думали до сих пор, — отвечал Хартин, — но теперь здесь между антиквариями почти общее мнение, что Дейчеры были нечто совсем другое, а Немцы составляли род особой касты, к которой принадлежали люди разных племен.

— Признаюсь вам, что это для меня совершенно новая точка зрения; я вижу, как мы отстали от ваших открытий.

В таких разговорах мы прошли весь Кабинет; я выпросил позволение посещать его чаще, и смотритель сказал мне, что Кабинет открыт ежедневно днем и ночью. Ты можешь себе представить, как я рад, что познакомился с таким основательным ученым.

В сем же здании помещаются различные Академии, которые носят общее название: Постоянного Ученого Конгресса. Через несколько дней Академия будет открыта посетителям; мы с Хартиным условились не пропустить первого заседания.

ПИСЬМО 4-е

Я забыл тебе сказать, что мы приехали в Петербург в самое неприятное для иностранца время, в так называемый *месяц отдохновения*. Таких месяцев постановлено у русских два: один в начале года, другой в половине; в продолжение этих месяцев все дела прекращаются, правительственные места закрываются, никто не посещает друг друга. Это обыкновение мне очень нравится: нашли нужным определить время, в которое всякий мог бы войти в себя и, оставив всю внешнюю деятельность, заняться внутренним своим усовершенствованием или, если угодно, своими домашними обстоятельствами. Сначала боялись,

чтобы от сего не произошла остановка в делах, но вышло напротив: всякий, имея определенное время для своих внутренних занятий, посвящает исключительно остальное время на дела общественные, уже ничем не развлекаясь, и от того все дела пошли вдвое быстрее. Это постановление имело, сверх того, спасительное влияние на уменьшение тяжб: всякий успевает одуматься, а закрытие присутственных мест препятствует тяжущимся действовать в минуту движения страстей. Только один такой экстренный случай, каково ожидание кометы, мог до некоторой степени нарушить столь похвальное обыкновение; но, несмотря на то, до сих пор вечеров и собраний нигде не было. Наконец сегодня мы получили домашнюю газету от первого здешнего министра, где, между прочим, и мы приглашены были к нему на вечер. Надобно тебе знать, что во многих домах, особенно между теми, которые имеют большие знакомства, издаются подобные газеты; ими заменяется обыкновенная переписка. Обязанность издавать такой журнал раз в неделю или ежедневно возлагается в каждом доме на столового дворецкого. Это делается очень просто: каждый раз, получив приказание от хозяев, он записывает все ему сказанное, потом в камер-обскуру снимает нужное число экземпляров и рассылает их по знакомым. В этой газете помещаются обыкновенно извещение о здоровье или болезни хозяев и другие домашние новости, потом разные мысли, замечания, небольшие изобретения, а также и приглашения; когда же бывает зов на обед, то и le menu [1]. Сверх того, для сношений в непредвиденном случае между знакомыми домами устроены магнетические телеграфы, посредством которых живущие на далеком расстоянии разговаривают друг с другом.

Итак, я наконец увижу здешнее высшее общество. В будущем письме опишу тебе, какое впечатление оно на меня сделало. Не худо заметить для нас, китайцев, которые любят обращать ночь в день, что здесь вечер начинается в пять часов пополудни, в восемь часов ужинают и в девять уже ложатся спать; зато встают в четыре часа и обедают в двенадцать. Посетить кого-нибудь утром считается величайшею неучтивостью; ибо предполагается, что утром всякий занят. Мне сказывали, что даже те, которые ничего не делают, утром запирают свои двери для тона.

---

[1] меню *(франц.)*.

Дом первого министра находится в лучшей части города, близ Пулковой горы, возле знаменитой древней Обсерватории, которая, говорят, построена за 2500 лет до нашего времени. Когда мы приблизились к дому, уже над кровлею было множество аеростатов: иные носились в воздухе, другие были прикреплены к нарочно для того устроенным колоннам. Мы вышли на платформу, которая в одну минуту опустилась, и мы увидели себя в прекрасном крытом саду, который служил министру приемною. Весь сад, засаженный редкими растениями, освещался прекрасно сделанным электрическим снарядом в виде солнца. Мне сказывали, что оно не только освещает, но химически действует на дерева и кустарники; в самом деле, никогда мне еще не случалось видеть такой роскошной растительности.

Я бы желал, чтобы наши китайские приверженцы старых обычаев посмотрели на здешние светские приемы и обращение; здесь нет ничего похожего на наши китайские учтивости, от которых до сих пор мы не можем отвыкнуть. Здешняя простота обращения с первого вида походит на холодность, но потом к нему так привыкаешь, оно кажется весьма естественным, и уверяешься, что эта мнимая холодность соединена с непритворным радушием. Когда мы вошли в приемную, она уже была полна гостями; в разных местах между деревьями мелькали группы гуляющих; иные говорили с жаром, другие их слушали молча. Надобно тебе заметить, что здесь ни на кого не налагается обязанности говорить: можно войти в комнату, не говоря ни слова, и даже не отвечать на вопросы, — это никому не покажется странным; записные ж фешионабли решительно молчат по целым вечерам, — это в большом тоне; спрашивать кого-нибудь о здоровье, о его делах, о погоде или вообще предложить пустой вопрос считается большою неучтивостью; но зато начавшийся разговор продолжается горячо и живо. Дам было множество, вообще прекрасных и особенно свежих; худощавость и бледность считается признаком невежества, потому что здесь в хорошее воспитание входит наука здравия и часть медицины, так, что кто не умеет беречь своего здоровья, о том, особенно о дамах, говорят, что они худо воспитаны.

Дамы были одеты великолепно, большею частию в платьях из эластичного хрусталя разных цветов; по иным

струились все отливы радуги, у других в ткани были заплавлены разные металлические кристаллизации, редкие растения, бабочки, блестящие жуки. У одной из фешенебельных дам в фестонах платья были даже живые светящиеся мошки, которые в темных аллеях, при движении, производили ослепительный блеск; такое платье, как говорили здесь, стоит очень дорого и может быть надето только один раз, ибо насекомые скоро умирают. Я не без удивления заметил по разговорам, что в высшем обществе наша роковая комета гораздо менее возбуждала внимания, нежели как того можно было ожидать. Об ней заговорили нечаянно; одни ученым образом толковали о большем или меньшем успехе принятых мер, рассчитывали вес кометы, быстроту ее падения и степень сопротивления устроенных снарядов; другие вспоминали все победы, уже одержанные человеческим искусством над природою, и их вера в могущество ума была столь сильна, что они с насмешкою говорили об ожидаемом бедствии; в иных спокойствие происходило от другой причины: они намекали, что уже довольно пожито и что надобно же всему когда-нибудь кончиться; но большая часть толковали о текущих делах, о будущих планах, как будто ничего не должно перемениться. Некоторые из дам носили уборки á la comête;[1] они состояли в маленьком электрическом снаряде, из которого сыпались беспрестанные искры. Я заметил, как эти дамы из кокетства старались чаще уходить в тень, чтобы пощеголять прекрасною электрическою кистью, изображавшею хвост кометы, и которая как бы блестящим пером украшала их волосы, придавая лицу особенный оттенок.

В разных местах сада по временам раздавалась скрытая музыка, которая, однако ж, играла очень тихо, чтобы не мешать разговорам. Охотники садились на резонанс, особо устроенный над невидимым оркестром; меня пригласили сесть туда же, но, с непривычки, мои нервы так раздражились от этого приятного, но слишком сильного сотрясения, что я, не высидев двух минут, соскочил на землю, чему дамы много смеялись. Вообще, на нас с дядюшкою, как на иностранцев, все гости обращали особенное внимание и старались, по древнему русскому обычаю, показать нам всеми возможными способами свое радушное гостеприимство, преимущественно дамы, которым, сказать

---

[1] в виде кометы *(франц.)*.

без самолюбия, я очень понравился, как увидишь впоследствии. Проходя по дорожке, устланной бархатным ковром, мы остановились у небольшого бассейна, который тихо журчал, выбрасывая брызги ароматной воды; одна из дам, прекрасная собою и прекрасно одетая, с которою я как-то больше сошелся, нежели с другими, подошла к бассейну, и в одно мгновение журчание превратилось в прекрасную тихую музыку: таких странных звуков мне еще никогда не случалось слышать; я приблизился к моей даме и с удивлением увидел, что она играла на клавишах, приделанных к бассейну: эти клавиши были соединены с отверстиями, из которых по временам вода падала на хрустальные колокола и производила чудесную гармонию. Иногда вода выбегала быстрою, порывистою струей, и тогда звуки походили на гул разъяренных волн, приведенный в дикую, но правильную гармонию; иногда струи катились спокойно, и тогда как бы из отдаления прилетали величественные, полные аккорды; иногда струи рассыпались мелкими брызгами по звонкому стеклу, и тогда слышно было тихое, мелодическое журчание. Этот инструмент назывался гидрофоном; он недавно изобретен здесь и еще не вошел в общее употребление. Никогда моя прекрасная дама не казалась мне столь прелестною: электрические фиолетовые искры головного убора огненным дождем сыпались на ее белые, пышные плечи, отражались в быстробегущих струях и мгновенным блеском освещали ее прекрасное, выразительное лицо и роскошные локоны; сквозь радужные полосы ее платья мелькали блестящие струйки и по временам обрисовывали ее прекрасные формы, казавшиеся полупризрачными. Вскоре к звукам гидрофона присоединился ее чистый, выразительный голос и словно утопал в гармонических переливах инструмента. Действие этой музыки, как бы выходившей из недостижимой глубины вод; чудный магический блеск; воздух, напитанный ароматами; наконец, прекрасная женжина, которая, казалось, плавала в этом чудном слиянии звуков, волн и света, — все это привело меня в такое упоение, что красавица кончила, а я долго еще не мог прийти в себя, что она, если не ошибаюсь, заметила.

Почти такое же действие она произвела и на других, но, однако ж, не раздалось ни рукоплесканий, ни комплиментов, — это здесь не в обыкновении. Всякий знает степень своего искусства: дурной музыкант не терзает ушей

слушателей, а хороший не заставляет себя упрашивать. Впрочем, здесь музыка входит в общее воспитание, как необходимая часть его, и она так же обыкновенна, как чтение и письмо; иногда играют чужую музыку, но всего чаще, особенно дамы, подобно моей красавице, импровизируют без всякого вызова, когда почувствуют внутреннее к тому расположение.

В разных местах сада стояли деревья, обремененные плодами — для гостей; некоторые из этих плодов были чудное произведение садового искусства, которое здесь в таком совершенстве. Смотря на них, я не мог не подумать, каких усилий ума и терпения стоило соединить посредством постепенных прививок разные породы плодов, совершенно разнокачественных, и произвести новые, небывалые породы; так, например, я заметил плоды, которые были нечто среднее между ананасом и персиком: ничего нельзя сравнить со вкусом этого плода; я заметил также финики, привитые к вишневому дереву, бананы, соединенные с грушей; всех новых пород, так сказать, изобретенных здешними садовниками, невозможно исчислить. Вокруг этих деревьев стояли небольшие графины с золотыми кранами; гости брали эти графины, отворяли краны и без церемонии втягивали в себя содержавшийся в них, как я думал, напиток. Я последовал общему примеру; в графинах находилась ароматная смесь возбуждающих газов; вкусом они походят на запах вина (bouquet) и мгновенно разливают по всему организму удивительную живость и веселость, которая при некоторой степени доходит до того, что нельзя удержаться от беспрерывной улыбки. Эти газы совершенно безвредны, и их употребление очень одобряется медиками; этим воздушным напитком здесь в высшем обществе совершенно заменились вина, которые употребляются только простыми ремесленниками, никак не решающимися оставить своей грубой влаги.

Через несколько времени хозяин пригласил нас в особое отделение, где находилась магнетическая ванна. Надобно тебе сказать, что здесь животный магнетизм составляет любимое занятие в гостиных, совершенно заменившее древние карты, кости, танцы и другие игры. Вот как это делается: один из присутствующих становится у ванны, — обыкновенно более привыкший к магнетической манипуляции, — все другие берут в руки протянутые

от ванны снурок, и магнетизация начинается: одних она приводит в простой магнетический сон, укрепляющий здоровье; на других она вовсе не действует до времени; иные же тотчас приходят в степень сомнамбулизма, и в этом состоит цель всей забавы. Я по непривычке был в числе тех, на которых магнетизм не действовал, и потому мог быть свидетелем всего происходившего.

Скоро начался разговор преинтересный: сомнамбулы наперерыв высказывали свои самые тайные помышления и чувства. «Признаюсь, — сказал один, — хоть я и стараюсь показать, что не боюсь кометы, но меня очень пугает ее приближение». — «Я сегодня нарочно рассердила своего мужа, — сказала одна хорошенькая дама, — потому что, когда он сердит, у него делается прекрасная физиономия». — «Ваше радужное платье, — сказала щеголиха своей соседке, — так хорошо, что я намерена непременно выпросить его у вас себе на фасон, хотя мне и очень стыдно просить вас об этом».

Я подошел к кружку дам, где сидела и моя красавица. Едва я пришел с ними в сообщение, как красавица мне сказала: «Вы не можете себе представить, как вы мне нравитесь; когда я вас увидела, я готова была вас поцеловать!» — «И я также,—и я также»,—вскричало несколько дамских голосов; присутствующие засмеялись и поздравили меня с блестящим успехом у петербургских дам.

Эта забава продолжалась около часа. Вышедшие из сомнамбулического состояния забывают все, что они говорили, и сказанные ими откровенно слова дают повод к тысяче мистификаций, которые немало служат к оживлению общественной жизни: здесь начало свадеб, любовных интриг, а равно и дружбы. Часто люди, дотоле едва знакомые, узнают в этом состоянии свое расположение друг к другу, а старинные связи еще более укрепляются этими неподдельными выражениями внутренних чувств. Иногда одни мужчины магнетизируются, а дамы остаются свидетелями; иногда, в свою очередь, дамы садятся за магнетическую ванну и рассказывают свои тайны мужчинам. Сверх того, распространение магнетизации совершенно изгнало из общества всякое лицемерие и притворство: оно, очевидно, невозможно; однако же дипломаты, по долгу своего звания, удаляются от этой забавы, и оттого играют самую незначительную роль в гостиных. Вообще, здесь не любят тех, которые уклоняются от участия в об-

щем магнетизме: в них всегда предполагают какие-нибудь враждебные мысли или порочные наклонности.

Усталый от всех разнообразных впечатлений, испытанных мною в продолжение этого дня, я не дождался ужина, отыскал свой аэростат; на дворе была метель и вьюга, и, несмотря на огромные отверстия вентилятёров, которые беспрестанно выпускают в воздух огромное количество теплоты, я должен был плотно закутываться в мою стеклянную епанчу; но образ прекрасной дамы согревал мое сердце — как говорили древние. Она, как узнал я, единственная дочь здешнего министра медицины; но, несмотря на ее ко мне расположение, как мне надеяться вполне заслужить ее благосклонность, пока я не ознаменовал себя каким-нибудь ученым открытием, и потому считаюсь недорослем!

ПИСЬМО 6-е

В последнем моем письме, которое было так длинно, я не успел тебе рассказать о некоторых замечательных лицах, виденных мною на вечере у Председателя Совета. Здесь, как я уже тебе писал, было все высшее общество: Министр философии, Министр изящных искусств, Министр воздушных сил, поэты и философы, и историки первого и второго класса. К счастию, я встретил здесь г. Хартина, с которым я прежде еще познакомился у дядюшки; он мне рассказал об этих господах разные любопытные подробности, кои оставляю до другого времени. Вообще скажу тебе, что здесь приготовление и образование первых сановников государства имеет в себе много замечательного. Все они образуются в особенном училище, которое носит название: Училище государственных людей. Сюда поступают отличнейшие ученики из всех других заведений, и за развитием их способностей следят с самого раннего возраста. По выдержании строгого экзамена они присутствуют в продолжение нескольких лет при заседаниях Государственного совета, для приобретения нужной опытности; из сего рассадника они поступают прямо на высшие государственные места; оттого нередко между первыми сановниками встречаешь людей молодых — это кажется и необходимо, ибо одна свежесть и деятельность молодых сил может выдержать трудные обязанности, на них возложенные; они стареют преждевременно, и им

одним не ставится в вину расстройство их здоровья, ибо этою ценою покупается благосостояние всего общества.

Министр примирений есть первый сановник в империи и Председатель Государственного совета. Его должность самая трудная и скользкая. Под его ведением состоят все мирные судьи во всем государстве, избираемые из почетнейших и богатейших людей; их должность быть в близкой связи со всеми домами вверенного им округа и предупреждать все семейственные несогласия, распри, а особенно тяжбы, а начавшиеся стараться прекратить миролюбно; для затруднительных случаев они имеют от правительства значительную сумму, носящую название примирительной, которую употребляют под своею ответственностию на удовлетворение несогласных на примирение; этой суммы ныне, при общем нравственном улучшении, выходит втрое менее того, что в старину употреблялось на содержание Министерства юстиции и полиции. Замечательно, что мирные судьи, сверх внутреннего побуждения к добру (на что при выборе обращается строгое внимание) обязаны и внешними обстоятельствами заниматься своим делом рачительно, ибо за каждую тяжбу, не предупрежденную ими, они должны вносить пеню, которая поступает в общий примирительный капитал. Министр примирений, в свою очередь, ответствует за выбор судей и за их действия. Сам он есть первый мирный судья, и на его лично возложено согласие в действиях всех правительственных мест и лиц; ему равным образом вверено наблюдение за всеми учеными и литературными спорами; он обязан наблюдать, чтобы этого рода споры продолжались столько, сколько это может быть полезно для совершенствования науки и никогда бы не обращались [на] личность. Поэтому ты можешь себе представить, какими познаниями должен обладать этот сановник и какое усердие к общему благу должно оживлять [его]. Вообще заметим, что жизнь сих сановников бывает кратковременна, — непомерные труды убивают их, и не мудрено, ибо он не только должен заботиться о спокойствии всего государства, но и беспрестанно заниматься собственным совершенствованием, — а на это едва достает сил человеческих.

Нынешний Министр примирений вполне достоин своего звания; он еще молод, но волосы его уже поседели от беспрерывных трудов; в лице его выражается доброта, вместе с проницательностию и глубокомыслием.

Кабинет его завален множеством книг и бумаг; между прочим, я видел у него большую редкость: Свод русских законов, изданный в половине XIX столетия по Р. X.; многие листы истлели совершенно, но другие еще сохранились в целости; эта редкость как святыня хранится под стеклом в драгоценном ковчеге, на котором начертано имя Государя, при котором этот свод был издан.

«Это один из первых памятников, — сказал мне хозяин, — Русского законодательства; от изменения языка, в течение столь долгого времени, многое в сем памятнике сделалось ныне совершенно необъяснимым, но из того, что мы до сих пор могли разобрать, видно, как древне наше просвещение! такие памятники должно сохранять благодарное потомство».

ПИСЬМО 7-е

Сегодня поутру зашел ко мне г-н Хартин и пригласил осмотреть залу общего собрания Академии. «Не знаю, — сказал он, — позволят ли нам сегодня остаться в заседании, но до начала его вы успеете познакомиться с некоторыми из здешних ученых».

Зала Ученого Конгресса, как я тебе уже писал, находится в здании Кабинета Редкостей. Сюда, сверх еженедельных собраний, собираются ученые почти ежедневно; большею частию они здесь и живут, чтобы удобнее пользоваться огромными библиотеками и физическою лабораторией Кабинета. Сюда приходят и физик, и историк, и поэт, и музыкант, и живописец; они благородно поверяют друг другу свои мысли, опыты, даже и неудачные, самые зародыши своих открытий, ничего не скрывая, без ложной скромности и без самохвальства; здесь они совещаются о средствах согласовать труды свои и дать им единство направления; сему весьма способствует особая организация сего сословия, которую я опишу тебе в одном из будущих моих писем. Мы вошли в огромную залу, украшенную статуями и портретами великих людей; несколько столов были заняты книгами, а другие физическими снарядами, приготовленными для опытов; к одному из столов были протянуты проводники от огромнейшей в мире гальвано-магнетической цепи, которая одна занимала особое здание в несколько этажей.

Было еще рано и посетителей мало. В небольшом кружку с жаром говорили о недавно вышедшей книжке; эта книжка была представлена Конгрессу одним молодым археологом и имела предметом объяснить весьма спорную и любопытную задачу, а именно о древнем названии Петербурга. Тебе, может быть, неизвестно, что по сему предмету существуют самые противоречащие мнения. Исторические свидетельства убеждают, что этот город был основан тем великим государем, которого он носит имя. Об этом никто не спорит; но открытия некоторых древних рукописей привели к мысли, что, по неизъяснимым причинам, сей знаменитый город в продолжение тысячелетия несколько раз переменял свое название. Эти открытия привели в волнение всех здешних археологов: один из них доказывает, что древнейшее название Петербурга было Петрополь, и приводит в доказательство стих древнего поэта:

Петрополь с башнями дремал...

Ему возражали, и не без основания, что в этом стихе должна быть опечатка. Другой утверждает, также основываясь на древних свидетельствах, что древнейшее название Петербурга было Петроград. Я не буду тебе высчитывать всех других предположений по сему предмету: молодой археолог опровергает их всех без исключения. Перерывая полуистлевшие слои древних книг, он нашел связку рукописей, которых некоторые листы больше других были пощажены временем. Несколько уцелевших строк подали ему повод написать целую книгу комментарий, в которых он доказывает, что древнее название Петербурга было Питер; в подтверждение своего мнения, он представил Конгрессу подлинную рукопись. Я видел сей драгоценный памятник древности; он писан на той ткани, которую древние называли *бумагою* и которой тайна приготовления ныне потеряна; впрочем, жалеть нечего, ибо ее непрочность причиною тому, что для нас исчезли совершенно все письменные памятники древности. Я списал для тебя эти несколько строк, приведших в движение всех ученых; вот они:

«Пишу к вам, почтеннейший, из Питера, а на днях отправляюсь в Кронштадт, где мне предлагают место помощника столоначальника... с жалованьем по пятисот рублей в год...» Остальное истребилось временем.

Ты можешь себе легко представить, к каким любопыт-

ным исследованиям могут вести сии немногие драгоценные строки; очевидно, что это отрывок из письма, но кем и к кому оно было писано? вот вопрос, вполне достойный внимания ученого мира. К счастию, сам писавший дает уже нам приблизительное понятие о своем звании: он говорит, что ему предлагают место помощника столоначальника; но здесь важное недоразумение: что значит слово столоначальник? Оно в первый раз еще встречается в древних рукописях. Большинство голосов того мнения, что звание столоначальника было звание важное, подобно званиям военачальников и градоначальников. Я совершенно с этим согласен, — аналогия очевидная! Предполагают, и не без основания, что военачальник в древности заведовал военною частию, градоначальник — гражданскою, а столоначальник, как высшее лицо, распоряжал действиями сих обоих сановников. Слово «почтеннейший», которого окончание, по мнению грамматиков, означает высшую степень уважения, оказываемого людям, показывает, что это письмо было писано также к важному лицу. Все это так ясно, что, кажется, не подлежит ни малейшему сомнению; в сем случае существует только одно затруднение: как согласить столь незначительное жалованье, пятьсот рублей, с важностию такого места, каково долженствовало быть место помощника столоначальника. Это легко объясняется предположением, что в древности слово рубль было общим выражением числа вещей: как, например, слово мириада; но, по моему мнению, здесь скрывается нечто важнейшее. Эта незначительность суммы не ведет ли к заключению, что в древности количество жалованья высшим сановникам было гораздо менее того, которое выдавалось людям низших должностей; ибо высшее звание предполагало в человеке, его занимавшем, больше любви к общему благу, больше самоотвержения, больше поэзии; такая глубокая мысль вполне достойна мудрости древних.

Впрочем, все это показывает, любезный друг, как еще мало знаем мы их историю, несмотря на все труды новейших изыскателей!

В первый раз еще мне удалось видеть в подлиннике древнюю рукопись; ты не можешь представить, какое особенное чувство возбудилось в моей душе, когда я смотрел на этот величественный памятник древности, на этот почерк вельможи, может быть великого человека, переживший его по крайней мере четыре тысячи столетия,

человека, от которого, может быть, зависела судьба миллионов; в самом почерке есть что-то необыкновенно стройное и величественное. Но только чего стоило древним выписывать столько букв для слов, которые мы ныне выражаем одним значком. Откуда они брали время на письмо? а писали они много: недавно мне показывали мельком огромное здание, сохраняющееся доныне от древнейших времен; оно сверху донизу наполнено истлевшими связками писаной бумаги; все попытки разобрать их были тщетны; они разлетаются в пыль при малейшем прикосновении; успели списать лишь несколько слов, встречающихся чаще других, как-то: *рапорт*, или правильнее *репорт*, *инструкция*, *отпуск провианта* и прочее т. п., которых значение совершенно потерялось. Сколько сокровищ для истории, для поэзии, для наук должно храниться в этих связках, и все истреблено неумолимым временем! Если мы во многом отстали от древних, то по крайней мере наши писания не погибнут. Я видел здесь книги, за тысячу лет писанные на нашем стеклянном папирусе — как вчера писаны! разве комета растопит их?!

Между тем, пока мы занимались рассмотрением сего памятника древности, в залу собрались члены Академии, и как это заседание не было публичное, то мы должны были выйти. Сегодня Конгресс должен заняться рассмотрением различных проектов, относящихся до средств воспротивиться падению кометы; по сей причине назначено тайное заседание, ибо в обыкновенные дни зала едва может вмещать посторонних посетителей: так сильна здесь общая любовь к ученым занятиям!

Вышедши наверх к нашему аеростату, мы увидели на ближней платформе толпу людей, которые громко кричали, махали руками и, кажется, бранились.

«Что это такое?» — спросил я у Хартина.

«О, не спрашивайте лучше, — отвечал Хартин, — эта толпа — одно из самых странных явлений нашего века. В нашем полушарии просвещение распространилось до низших степеней; оттого многие люди, которые едва годны быть простыми ремесленниками, объявляют притязание на ученость и литераторство; эти люди почти каждый день собираются у передней нашей Академии, куда, разумеется, им двери затворены, и своим криком стараются обратить внимание проходящих. Они до сих пор не могли постичь, отчего наши ученые гнушаются их сообществом, и в досаде

принялись их передразнивать, завели также нечто похожее на науку и на литературу; но, чуждые благородных побуждений истинного ученого, они обратили и ту и другую в род ремесла: один лепит нелепости, другой хвалит, третий продает, кто больше продаст — тот у них и великий человек; от беспрестанных денежных сделок у них беспрестанные ссоры, или, как они называют, партии: один обманет другого — вот и две партии, и чуть не до драки; всякому хочется захватить монополию, а более всего завладеть настоящими учеными и литераторами; в этом отношении они забывают свою междоусобную вражду и действуют согласно; тех, которые избегают их сплетней, промышленники называют аристократами, дружатся с их лакеями, стараются выведать их домашние тайны и потом взводят на своих мнимых врагов разные небылицы. Впрочем, все эти затеи не удаются нашим промышленникам и только увеличивают каждый день общее к ним презрение.

«Скажите, — спросил я, — откуда могли взяться такие люди в русском благословенном царстве?»

«Они большею частию пришельцы из разных стран света; незнакомые с русским духом, они чужды и любви к русскому просвещению: им бы только нажиться, — а Россия богата. В древности такого рода людей не существовало, по крайней мере об них не сохранилось никакого предания. Один мой знакомый, занимающийся сравнительною антропологиею, полагает, что этого рода люди происходят по прямой линии от кулашных бойцов, некогда существовавших в Европе. Что делать! Эти люди — темная сторона нашего века; надобно надеяться, что с большим распространением просвещения исчезнут и эти пятна на русском солнце».

Здесь мы приблизились к дому.

ФРАГМЕНТЫ

I

В начале 4837 года, когда Петербург уже выстроили и перестали в нем чинить мостовую, дорожний гальваностат[1] быстро спустился к платформе высокой башни,

---

[1] Воздушный шар, приводимый в действие гальванизмом. *(Прим. В. Ф. Одоевского.)*

находившейся над *Гостиницей для прилетающих;* почтальон проворно закинул несколько крюков к кольцам платформы, выдернул задвижную лестницу, и человек в широкой одежде из эластического стекла выскочил из гальваностата, проворно взбежал на платформу, дернул за шнурок, и платформа тихо опустилась в общую залу.

— Что у вас приготовлено к столу? — спросил путешественник, сбрасывая с себя стеклянную епанчу и поправляя свое полукафтанье из тонкого паутинного сукна.

— С кем имею честь говорить? — спросил учтиво трактирщик.

— Ординарный Историк при дворе американского поэта Орлия.

Трактирщик подошел к стене, на которой висели несколько прейс-курантов под различными надписями: поэты, историки, музыканты, живописцы, и проч., и проч. Один из таких прейскурантов был поднесен трактирщиком путешественнику.

— Это что значит? — спросил сей последний, прочитавши заглавие: «Прейскурант для Историков».

— Да! я и забыл, что в вашем полушарии для каждого звания особый обед. Я слышал об этом — признайтесь, однако же, что это постановление у вас довольно странно.

— Судьба нашего отечества, — возразил, улыбаясь, трактирщик, — состоит, кажется, в том, что его никогда не будут понимать иностранцы. Я знаю, многие американцы смеялись над этим учреждением оттого только, что не хотели в него вникнуть. Подумайте немного, и вы тотчас увидите, что оно основано на правилах настоящей нравственной математики: прейскурант для каждого звания соображен с той степенью пользы, которую может оно принести человечеству.

Американец насмешливо улыбнулся:

— О! страна поэтов! у вас везде поэзия, даже в обеденном прейскуранте... Я, южный прозаик, спрошу у вас: что вы будете делать, если вам захочется блюдо, не находящееся в историческом прейскуранте?..

— Вы можете получить его, но только за деньги...

— Как, стало быть, все, что в этом прейскуранте?..

— Вы получаете даром... от вас потребуется в нашем крае только жизни и деятельности, сообразной с вашим званием, — а правительство уже платит мне за каждого путешественника по установленной таксе...

— Это не совсем дурно, — заметил расчетливый американец, — мне подлинно неизвестно было это распоряжение — вот что значит не вылетать из своего полушария. Я не бывал дальше новой Голландии.

— А откуда вы сели? — смею спросить.

— С Магелланского пролива... но поговорим об обеде... дайте мне: хорошую порцию крахмального экстракта на спаржевой эссенции; порцию сгущенного азота à la fleur d'orange, ананасной эссенции и добрую бутылку углекислого газа с водородом. — Да после обеда нельзя ли мне иметь магнетическую ванну — я очень устал с дороги...

— До какой степени, до сомнамбулизма или менее?..

— Нет, простую магнетическую ванну для подкрепления сил...

— Сейчас будет готова.

Между тем к эластическому дивану на золотых жердях опустили с потолока опрятный стол из резного рубина, накрыли скатертью из эластического стекла; под рубиновыми колпаками поставили питательные эссенции, а кислоугольный газ — в рубиновых же бутылках с золотыми кранами, которые оканчивались длинною трубочкою.

Путешественник кушал за двоих — и попросил другую порцию азота. Когда он опорожнил бутылку углекислоты, то сделался говорливее.

— Превкусный азот! — сказал он трактирщику, — мне случалось только один раз есть такой в Мадагаскаре.

II

Пока дядюшка занимался своими дипломатическими интригами, я успел здесь свести многие интересные знакомства. Я встретился у дядюшки с г. Хартиным, ординарным историк[ом] при первом здешнем поэте Орлии. (Это одно из почтеннейших званий в империи; должность историка приготовлять исторические материалы для поэтических соображений Поэта, или производить новые исследования по его указаниям; его звание учреждено недавно, но уже принесло значительные услуги государству; исторические изыскания приобрели больше последовательности, а от сего пролили новый свет на многие темные пункты истории.)

Я, не теряя времени, попросил мне Хартина объяснить подробно, в чем состоит его должность, которая, как известно, принадлежит у русских к почетнейшим, — и о чем мы в Китае имели только поверхностное сведение; вот что он отвечал мне:

«Вам, как человеку учившемуся, известно, сколько усилий употребляли знаменитые мужи для соединения всех наук в одну; особливо замечательны в сем отношении труды 3-го тысячелетия по Р. Х. В глубочайшей древности встречаются жалобы на излишнее раздробление наук; десятки веков протекли, и все опыты соединить их оказались тщетными, — ничто не помогло — ни упрощение метод, ни классификация знаний. Человек не мог выйти из сей ужасной дилеммы: или его знание было односторонне, или поверхностно. Чего не сделали труды ученых, то произошло естественно из гражданского устройства; [давнее] разделение общества на сословия Историков, Географов, Физиков, Поэтов — каждое из этих сословий действовало отдельно [или] — дало повод к счастливой мысли ныне царствующего у нас Государя, который сам принадлежит к числу первых поэтов нашего времени: он заметил, что в сем собрании ученых естественным образом одно сословие подчинилось другому, — он решился, следуя сему естественному указанию, соединить эти различные сословия не одною ученою, но и гражданскою связью; мысль, по-видимому, очень простая, но которая, как все простые и великие мысли, приходят в голову только великим людям. Может быть, при этом первом опыте некоторые сословия не так классифицированы — но этот недостаток легко исправится временем. Теперь к удостоенному звания поэта или философа определяется несколько ординарных историков, физиков, лингвистов и других ученых, которые обязаны действовать по указанию своего начальника или приготовлять для него материалы: каждый из историков имеет, в свою очередь, под своим ведением несколько хронологов, филологов-антиквариев, географов; физик — несколько химиков, ...ологов, минерологов, так и далее. Минеролог и пр. имеет под своим ведением несколько металлургов и так далее до простых копистов [...] испытателей, которые занимаются простыми грубыми опытами.

От такого распределения занятий все выигрывают: недостающее знание одному пополнится другим, какое-либо

изыскание производится в одно время со всех различных сторон; поэт не отвлекается от своего вдохновения, философ от своего мышления — материальною работою. Вообще обществу это единство направления ученой деятельности принесло плоды неимоверные; явились открытия неожиданные, усовершенствования почти сверхъестественные — и сему, но единству в особенности, мы обязаны теми блистательными успехами, которые ознаменовали наше отечество в последние годы».

Я поблагодарил г. Хартина за его благосклонность и внутренно вздохнул, подумав, когда-то Китай достигнет до той степени, когда подобное устройство ученых занятий будет у нас возможно.

ЗАМЕТКИ

Сочинитель романа The last man[1] так думал описать последнюю эпоху мира и описал только ту, которая чрез несколько лет после него началася. Это значит, что он чувствовал уже в себе те начала, которые должны были развиться не в нем, а в последовавших за ним людях. Вообще редкие могут найти выражение для отдаленного будущего, но я уверен, что всякий человек, который, освободив себя от всех предрассудков, от всех мнений, в *его* минуту господствующих, и отсекая все мысли и чувства, порождаемые в нем привычкою, воспитанием, обстоятельствами жизни, его собственными и чужими страстями, предастся инстинктуальному свободному влечению души своей, — тот в последовательном ряду своих мыслей найдет непременно те мысли и чувства, которые будут господствовать в близкую от него эпоху.

История природы есть каталог предметов, которые были и будут. История человечества есть каталог предметов, которые только были и никогда не возвратятся.

Первую надобно знать, чтобы составить общую науку предвидения, — вторую для того, чтобы не принять умершее за живое.

---

[1] «Последний человек» *(англ.)*.

Довольно замечательно, что все так называемые житейские условия возможны лишь в определенном пространстве — и лишь на плоскости; так что все условия торговли, промышленности, местожительства и проч. будут совсем иные в *пространстве;* так что можно сказать, что продолжение условий нынешней жизни зависит от какого-нибудь колеса, над которым теперь трудится какой-нибудь неизвестный механик, — колеса, которое позволит управлять аэростатом. Любопытно знать, когда жизнь человечества будет в пространстве, какую форму получит торговля, браки, границы, домашняя жизнь, законодательство, преследование преступлений и проч. т. п. — словом, все общественное устройство?

Замечательно и то, что аэростат, локомотивы, все роды машин, независимо от прямой пользы, ими приносимой в их осуществлении, действуют на просвещение людей самым своим происхождением, ибо, во 1-х, требуют от производителей и ремесленников приготовительных познаний, и, во 2-х, требуют такой гимнастики для разумения, каковой вовсе не нужно для лопаты или лома.

Зеленые люди на аэростате спустились в Лондон.

Письма из Луны.

Нашли способ сообщения с Луною; она необитаема и служит только источником снабжения Земли разными житейскими потребностями, чем отвращается гибель, грозящая земле по причине ее огромного народонаселения. Эти экспедиции чрезвычайно опасны, опаснее, нежели прежние экспедиции вокруг света; на эти экспедиции единственно употребляется войско. Путешественники берут с собой разные газы для составления воздуха, которого нет на Луне.

ЭПОХА 4000 ЛЕТ ПОСЛЕ НАС

Орлий, сын Орлия поэта, не может жениться на своей любезной, если не ознаменует своей жизни важным открытием в какой-либо отрасли познаний; он избирает историю — его археолог доставляет ему рукописи за 4000 лет, которые никто разобрать не может. Его комментарии на сии письма.

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ПИСЬМА

XIX век. Через 2000 лет.

Сын поэта, чтобы удостоиться руки женщины, должен сделать какое-либо важное открытие в науках, как прежде ему должно было отличить себя на турнирах и битвах. В развалинах находят манускрипт — неизвестно к какому времени принадлежащий. Ординарный философ при поэте-отце отправляет его к ординарному археологу при поэте-сыне в другое полушарие чрез туннель, сделанный насквозь земного шара, дабы он разобрал ее, дабы восстановить прошедшее неизвестное время.

Сын находит, что по сему манускрипту можно заключить, что тогда Россия была только частию мира, а не обхватывала обоих полушарий. Что в это время люди употребляли для своих сношений письмо. Что в музыке учились играть, а не умели с первого раза читать ее.

Судии находят, что поэт не нашел истины и что все изъяснения его суть игра воображения; что хотя он и прочел несколько имен, но что это ничего не значит. Отчаяние молодого поэта. Он жалуется на свой век и пишет к своей любезной, что его не понимают, и спрашивает, хочет ли она любить его просто, как не поэта.

В Петербург[ских] письмах (чрез 2000 лет). Человечество достигает того сознания, что природный организм человека не способен к тем отправлениям, которых требует умственное развитие; что, словом, оказывается несостоятельность орудий человека в сравнении с тою целию, мысль о которой выработалась умственною деятельностию. Этою невозможностью достижения умственной цели,

этою несоразмерностью человеческих средств с целию наводится на все человечество безнадежное уныние — человечество в своем общем составе занемогает предсмертною болезнию.

Там же: кочевая жизнь возникает в следующем виде — юноши и мужи живут на севере, а стариков и детей переселяют на юг.

Нельзя сомневаться, чтобы люди не нашли средства *превращать климаты* или по крайней мере улучшать их. Может быть, огнедышащие горы в холодной Камчатке (на южной стороне этого полуострова) будут употреблены, как постоянные горны для нагревания сей страны.

Посредством различных химических соединений почвы найдено средство нагревать и расхолажать атмосферу, для отвращения ветров придуманы вентиляторы.

Петербург в разные часы дня.

Часы из запахов: час кактуса, час фиалки, резеды, жасмина, розы, гелиотропа, гвоздики, муксуса, ангелики, уксуса, эфира; у богатых расцветают самые цветы.

Усовершенствование френологии производит то, что лицемерие и притворство уничтожаются; всякий носит своя *внутренняя* в форме своей головы et les hommes le savent naturellement [1].

Увеличившееся чувство любви к человечеству достигает до того, что люди не могут видеть трагедий и удивляются, как мы могли любоваться видом нравственных несчастий, точно так же как мы не можем постигнуть удовольствия древних смотреть на гладиаторов.

---

[1] и люди осознают это естественно *(франц.)*.

Ныне — модная гимнастика состоит из аэростатики и животного магнетизма; в обществах взаимное магнетизирование делается обыкновенною забавою. Магнетическая симпатия и антипатия дают повод к порождению нового рода фешенебельности, и по мере того как государства слились в одно и то же, частные общества разделились более яркими чертами, производимыми этою внутреннею симпатиею или антипатиею, которая обнаруживается при магнетических действиях.

Удивляются, каким образом люди решились ездить в пароходах и в каретах — думают, что в них ездили только герои, и из сего выводят заключение, что люди сделались трусливее.

Изобретение книги, в которой посредством машины изменяются буквы в несколько книг.

Машины для романов и для отечеств[енной] драмы.

...Настанет время, когда книги будут писаться слогом телеграфических депешей; из этого обычая будут исключены разве только таблицы, карты и некоторые тезисы на листочках. Типографии будут употребляться лишь для газет и для визитных карточек; переписка заменится электрическим разговором; проживут еще романы, и то не долго — их заменит театр, учебные книги заменятся публичными лекциями. Новому труженику науки будет предстоять труд немалый: поутру облетать (тогда вместо извозчиков будут аэростаты) с десяток лекций, прочесть до двадцати газет и столько же книжек, написать на лету десяток страниц и по-настоящему поспеть в театр; но главное дело будет: отучить ум от усталости, приучить его переходить мгновенно от одного предмета к другому; изощрить его так, чтобы самая сложная операция была ему с первой минуты легкою; будет приискана математическая формула для того, чтобы в огромной книге нападать именно на ту страницу, которая нужна, и быстро расчислить, сколько затем страниц можно пропустить без изъяна.

Скажете: это мечта! ничего не бывало! за исключением аэростатов — все это воочью совершается: каждый из нас — такой труженик, и облегчительная формула для чтения найдена — спросите у кого угодно. Воля ваша. Non multum sed multa [1] — без этого жизнь невозможна.

Сравнительную статистику России в 1900 году.

Шелковые ткани заменялись шелком из раковины.

Все наши книги или изъедены насекомыми, или истребились от хлора (которого состав тогда уже потерян) — в сев[ерном] климате еще более сохранилось книг.

Англичане продают свои острова с публичного торга, Россия покупает.



[1] В немногом — многое (*лат.*).

ПРИМЕЧАНИЯ

В основу настоящего издания положены тексты собрания «Сочинений князя В. Ф. Одоевского» в 3 частях, издание книгопродавца Иванова, СПб., в типографии З. Праца, 1844, выпущенного при жизни автора.

За несколько лет до смерти (начиная с 1862 г.)[1] Одоевский приступил к подготовке второго издания своих сочинений, которое не успел осуществить. В рукописном отделе Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде (ОР ГПБ), в обширном архиве В. Ф. Одоевского хранится экземпляр «Сочинений» 1844 года, куда автор внес на вклеенных листах примечания и дополнения и сделал большое количество стилистических исправлений. Этот экземпляр должен был служить оригиналом для второго издания сочинений. Сам Одоевский это подтверждал, написав на первом листе: «Экземпляр князя Одоевского, приготовленный ко второму изданию» (опись № 1, пер. 67).

К этому изданию писатель предпослал несколько проектов предисловия и пространное примечание к «Русским ночам». Последнее произведение вообще подверглось наиболее значительной переработке. Примечания и дополнения к «Русским ночам» были частично использованы С. А. Цветковым при издании Одоевского в 1913 году («Русские ночи», М., изд-во «Путь»).

Рассказ «Бал» был Одоевским столь значительно отредактирован, что позволяет говорить о второй редакции произведения. Много новых сносок и примечаний было сделано автором к «Себастияну Баху», и большой правке подверглись рассказы «Насмешка мертвеца» и «Живой мертвец». Остальные исправления незначительны и носят немного-

[1] Еще П. А. Сакулин, в своей книге «Из истории русского идеализма. Князь В. Ф. Одоевский. Мыслитель-писатель», т. I, ч. II, М. 1913, стр. 214, обратил внимание на сохранившееся в архиве условие с издателем О. Г. Стеллевским, заключенное 1 ноября 1862 г., что позволяет датировать начало работы над вторым изданием.

численный стилистический и корректорский характер. Сам Одоевский, принимаясь за новое издание, писал в своем предисловии к собранию сочинений: «Я полагал в них многое исправить, многое переделать, но вскоре убедился, что такое дело невозможно. Семнадцать лет — есть почти половина деятельной жизни. В такой период времени многое передумалось, многое забылось, многое наплыло вновь — нет возможности попасть в тот лад, с которого начал; камертон изменился, и внутренняя жизнь и внешняя среда — другие, — всякая переделка будет не живым органическим произведением, но механическою приставкою» (ОР ГПБ, фонд Од., оп. № 1, пер. 79, стр. 151—152).

Все тексты настоящего издания сверены со вторым, подготовлявшимся собранием сочинений Одоевского, и все разночтения и авторские поправки включены в текст или оговорены в примечаниях к отдельным произведениям.

Целый ряд повестей, как: «Последний квартет Бетховена», «Opere del Gavaliere Giambatista Piranesi», «Бригадир», «Бал», «Насмешка мертвеца» и «Город без имени» были включены автором в 1844 году в цикл «Русские ночи» как литературные иллюстрации к его философским диалогам. До этого они печатались в журналах и альманахах как самостоятельные произведения. Это обстоятельство дало нам право извлечь их из текста книги. Интересно отметить, что Белинский при разборе «Русских ночей» оспаривал право писателя на подобный прием — включение ранее написанных и опубликованных повестей в новое произведение — и считал, что диалоги снижают впечатление от рассказов (см. В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., изд. Академии наук СССР, т. VIII, статья «Сочинения князя В. Ф. Одоевского») [1].

Отрывок из романа «Катя, или История воспитанницы» печатается по тексту, впервые опубликованному в альманахе «Новоселье», ч. II, СПб. 1834, стр. 369—402, как единственному тексту, напечатанному при жизни автора. В собрание «Сочинений В. Ф. Одоевского» 1844 года отрывок включен не был, по-видимому, из-за незаконченности романа, но, судя по некоторым дополнениям в журнальном экземпляре, также хранящемся в архиве, Одоевский предполагал включить его во второе собрание сочинений (ОР ГПБ, фонд Од., оп. № 1, пер. 80). То же относится к рассказу «Живописец», который печатается по первому изданию в «Отечественных записках» 1839, т. VI.

Утопия «4338-й год», не опубликованная при жизни Одоевского, печатается по публикации, сделанной впервые в советское время Оре-

---

[1] Здесь и далее все цитаты из статей В. Г. Белинского даются по тексту Полного собрания сочинений, изд. Академии наук СССР, тт. I—XII, М. 1953—1956,

стом Цехновицером, изд-во «Огонек», М. 1926, с последующей сверкой с рукописями, хранящимися в ОР ГПБ, фонд Од., оп. № 1, пер. 1, 13, 20, 23, 26, 31, 54, 55, 80, 92 и др.

Порядок расположения повестей и рассказов хронологический. Примечания, сделанные Одоевским, а также переводы иноязычных текстов, встречающиеся в тексте, даются в сносках на соответствующих страницах. Текст настоящего издания печатается по новой орфографии с сохранением своеобразия словаря Одоевского и некоторых морфологических и лексических особенностей, характерных для русского языка 20—30-х годов прошлого столетия.

ПОСЛЕДНИЙ КВАРТЕТ БЕТХОВЕНА

Впервые опубликован в альманахе «Северные цветы» на 1831 год, СПб. 1830, стр. 101—119, за подписью «ь, ъ, й». Псевдоним является последними буквами имени писателя: «Князь Владимиръ Одоевский». При переиздании в 1832 году (СПб., Типография департамента внешней торговли) на титуле обозначено: «Соч. К. В. О.». Впоследствии повесть вошла в цикл «Русских ночей» как часть «ночи шестой» в «Сочинения князя В. Ф. Одоевского», часть первая, СПб. 1844, стр. 157—168. В это издание автором внесены некоторые стилистические изменения по сравнению с журнальной публикацией. Подготовляя второе издание своих сочинений в 1862 году, Одоевский оставил повесть без изменений. Печатается по изданию 1844 года.

Полная глубокого содержания, боевая и принципиальная музыкальная деятельность Одоевского чрезвычайно широка и многообразна[1]. Своими бесчисленными статьями, брошюрами, личным влиянием на крупнейших композиторов своего времени, он, вместе со своими последователями: Серовым и Стасовым, — заложил фундамент русского музыкознания. Завершая свою почти полувековую деятельность в этом направлении, Одоевский писал: «Минуют эти дни... рано или поздно в мир общей музыки — этого достояния всего человечества вольется новая, живая струя, не подозреваемая еще Западом, струя русской музыки» («Музыкальная грамота для немузыкантов», М. 1868, Предисловие, стр. 8).

Придавая исключительное значение национальной самобытности в искусстве, Одоевский в целом ряде статей четко сформулировал свои идеи о народности в музыке, доказывая, что «дело не в том, чтобы перенести в какое-либо сочинение народный напев, а нечто

---

[1] О музыкальной деятельности Одоевского см. В. Ф. Одоевский, Музыкально-литературное наследие. Музгиз. М. 1956, под редакцией Г. Б. Бернандта.

труднейшее: ...*воспроизвести в себе тот процесс, посредством которого с незапамятных времен творилось русское народное пение* — сочинителями безыменными» (ст. «Русская и так называемая общая музыка», газета «Русский» 1867, 24 апреля).

Деятельность Одоевского как идеолога и историка русской музыки сыграла огромную роль в биографии Глинки, в истолковании первой оперы гениального русского композитора. Статьи о Глинке были выдающимся явлением в русской жизни того времени. Но любовь к русской музыке, понимание ее значения для народа не снимали у Одоевского глубокого уважения, огромной любви к великим мастерам Запада. «Мы благоговеем перед именами Себастияна Баха, Гайдна, Генделя, Моцарта, Бетховена, мы изучаем их бессмертные творения, как филологи изучают Гомера и Виргилия», — писал он о творениях великих классиков (Рукописный отдел Государственного Центрального музея музыкальной культуры им. Глинки, материалы по вопросам древнерусского песнопения, арх. Од., том $\frac{x}{233-279}$, стр. 83).

Повесть Одоевского, как и его статьи о Бетховене сыграли большую роль в пропаганде музыки великого композитора в России. В своих музыкальных статьях, рецензиях, письмах писатель дает великолепную характеристику его творчества. Об увертюре Бетховена «Кориолан» Одоевский писал: «Он один стоит передо мною, как колоссальный призрак души, посетившей наш мир для того, чтобы оставить ему в наследство свою тень, независимую и вечную, как вселенная» («О концерте филармонического общества, данном в пользу вдов и сирот 23 декабря 1831 года», «Северная пчела», 1832, 2 января).

Новаторское значение бетховеновского творчества понятно и дорого Одоевскому. В письме к композитору А. Н. Верстовскому в 1834 году он писал о 9-й симфонии: «Это чудо, в ней Бетховен проложил новую дорогу для музыки, которую никто не предполагал». Имя Бетховена наряду с именами Баха и Моцарта открывает, по его мнению, «новую эпоху передового движения» в истории музыки.

Вместе с В. А. Жуковским Одоевский работает над русским переводом стихотворения Шиллера «К радости» для финала 9-й симфонии Бетховена. «Посылаю вам перевод Freude, — писал Жуковский, — уломайте на ноты и возвратите с нотами» («Из переписки князя В. Ф. Одоевского», «Русская старина», 1904, июль, стр. 154). Первое в России публичное исполнение 9-й симфонии в Петербурге 7 марта 1836 года шло с этим переводом. Глубина мысли и драматическая сила бетховеновского симфонизма были сродни самым задушевным мыслям Одоевского о музыке — «искусстве страстно любимом».

«Ничья музыка не производит на меня такого впечатления, — признавался он в «Русских ночах», — кажется, она касается до всех изгибов души, поднимает в ней все забытое, самые тайные страдания и дает им образ; веселые темы Бетховена — еще ужаснее: в них, кажется, кто-то хохочет — с отчаяния... странное дело: всякая другая музыка, особенно Гайднова, производит на меня чувство отрадное, успокаивающее; действие, производимое музыкою Бетховена, гораздо сильнее, но она вас раздражает: сквозь ее чудную гармонию слышится какой-то нестройный вопль; вы слушаете его симфонию, вы в восторге, — а между тем у вас душа изныла. Я уверен, что музыка Бетховена должна была его самого измучить. Однажды, когда я не имел еще никакого понятия о жизни самого сочинителя, я сообщил странное впечатление, производимое на меня его музыкою, одному горячему почитателю Гайдна. «Я вас понимаю, — отвечал мне гайднист, — причина такого впечатления та же, по которой Бетховен, несмотря на свой музыкальный гений (может быть, высшей степени, нежели гений Гайдна), никогда не был в состоянии написать духовной музыки, которая приближалась бы к ораториям сего последнего». — «Отчего так?» — спросил я. «Оттого, — отвечал гайднист, — что Бетховен не верил тому, чему верил Гайдн» («Русские ночи», М. 1913, стр. 200—201).

В оценке творчества гениального композитора Одоевский проявил себя как один из самых серьезных исследователей Бетховена и обнаружил глубину понимания, далеко превосходящую его современников.

Мысль о литературном произведении, посвященном Бетховену, зародилась у Одоевского вскоре после смерти композитора, в 1827 году. Уже в письме к М. П. Погодину от 29 апреля 1827 года он писал: «Поверите ли тому, что я в петербургских книжных лавках ничего не мог найти о Бетховене, кроме того, что он был побочный сын Фридриха Вильгельма II, короля прусского; родился в Бонне в 1772 году; учился у знаменитого Альбрехтсбергера и одиннадцати лет разыгрывал труднейшие сочинения Себастияна Баха. Что же касается до его музыкального характера, то об нем речь после будет в одной музыкальной статье, которую к вам пришлю» (Рукописный отдел Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина — Москва. Архив М. П. Погодина, II 46/42).

Так как в период 1827—1830 годов в журналах не было опубликовано ни одной большой теоретической статьи Одоевского о Бетховене, речь идет в этом письме, безусловно, о «Последнем квартете Бетховена».

Повесть была высоко оценена передовой литературной общественностью. Не только Пушкин, Гоголь и Белинский откликнулись на нее. Она вызвала реакцию и в кругах петрашевцев. В документах следствия по делу поэта-петрашевца А. П. Баласогло, опубликованных

в 1941 году, мы читаем: «Самая полная биография Бетховена, преусердно настроенная даже немецким критиком по ремеслу для наполнения тысячу в 1-й раз и тысяча 2 — уездного журнальца не дает ни малейшего понятия о Бетховене, если читатель не набредет случайно либо на «Последний квартет Бетховена», либо на «Бал», либо на «Себастьян Баха» — статьи князя Одоевского («Дело петрашевцев», том II, вып. I, изд. Академии наук СССР, М. — Л. 1941, стр. 25).

Повесть о Бетховене неоднократно переиздавалась. Как образец русской художественной прозы она была напечатана в восьми изданиях «Русской хрестоматии» А. Д. Галахова, в изданиях «Дешевой библиотеки» А. С. Суворина и в «Журнале для чтения воспитанникам военно-учебных заведений» (СПб. 1845, том 56, книжка 222, стр. 142—153) и других. Повесть была переведена на немецкий язык и издана в сб. «Russische historische und romantische Erzählungen Begebenheiten und Skissen», в переводе Фридриха Тица, Berlin, 1838, стр. 151—163. В ОР Госуд. библиотеки им. Ленина хранится французский перевод с подписью «Prince Woldemar Od...y», рукою Одоевского (фонд А. Веневитинова, II, 51(7). В переводе M. P. Douhaire повесть была напечатана в сборнике «Le decomeron russe histoires et nouvelles», Paris, 1855. Интересно, что рядом с повестями Одоевского напечатаны в этом сборнике повести безыменных русских авторов, с комментариями переводчика на то, что эти повести написаны русскими политическими ссыльными («politique exie»).

Стр. 41. *Я был уверен... Гофман.* — Эпиграф взят из «Серапионовых братьев» (рассказ о безумном советнике Креспеле) Теодора-Амедея Гофмана (1776—1822) — немецкого писателя, виднейшего представителя романтической школы; перевод Одоевского сокращен. У Гофмана это место выглядит таким образом: «Я не сомневался ни одной минуты, что Креспель сошел с ума, но профессор утверждал противное. «Есть люди, — говорил он, — у которых природа или судьба сорвала покрывало с таких сторон жизни, которые показались бы безумными в каждом из нас, не будь они обыкновенно скрыты от взгляда посторонних. Люди эти похожи на тех животных, с прозрачной кожей, у которых можно наблюдать движение их мускулов, что, конечно, отвратительно на вид, но тем не менее совершенно правильно, что у нас остается мыслью, то у Креспеля сейчас же переходит в дело» (Т. Гофман, Собр. соч., т. II, СПб. 1896, стр. 36).

...новый квартет Бетховена. — В 1827 году в России были изданы последние квартеты Бетховена, и Одоевский не мог не знать их. Описание последнего квартета — плод художественного вымысла подчиненного задаче повести и противоречит оценкам, данным писателем в статье «Интересное музыкальное произведение» («Наше

время», 1863, 8 марта, № 51), где Одоевский писал о «знаменитых последних квартетах Бетховена cis-moll, op. 31 и a-moll, op. 32, «которых исполнение так редко бывает удовлетворительно и которые между тем превосходят все доныне существующие квартетные сочинения».

Стр. 42. *Галль* Франц-Иосиф (1758—1828) — австрийский врач и анатом, выдвинувший антинаучную теорию — «френологию» — о якобы существующей связи между наружным строением черепа и умственными способностями и характером человека.

Стр. 43. *...ватерлооской баталии...* — Имеется в виду симфоническая увертюра Бетховена «Битва Веллингтона при Витториа». Была впервые исполнена 8 декабря 1813 года в Вене; в Петербурге исполнялась весною 1820 года.

Стр. 44. *...блаженной памяти Фридерика.* —Называя Фридерика отцом Бетховена, Одоевский следует легенде о том, что Бетховен был незаконным сыном Фридриха Вильгельма II, возникшей на том основании, что последний был в Бонне в 1770 году. Год рождения композитора 1772. Эта анекдотическая версия была упомянута в «Dictionnare historique de musiciens, artistes et ametcurs» А. Э. Корона и Ф. Ж. М. Файоля, Paris, 1817. Экземпляр этого словаря имелся у Одоевского и ныне, с пометками писателя, хранится в Государственной библиотеке СССР им. В И. Ленина.

«Es war einmal ein König» — «Песнь о блохе» (1809); это единственный текст из «Фауста» Гете, на который Бетховен написал музыку. В конце песни композитор допустил забавную шутку: в заключение фортепианного аккомпанемента раздаются резкие диссонирующие звуки. Они должны изображать казнь блохи. Биографы композитора рассказывают, что, играя у знакомых свою песню, Бетховен громко выстукивал эти звуки и хохотал, приговаривая: «Теперь она раздавлена!»

Стр. 45. *...мелодию, которой Бетховен объяснил Миньону.* — Имеется в виду песнь Бетховена «Миньона» (1809) на слова Гете «Ты знаешь край» («Ученические годы Вильгельма Мейстера») — шедевр из лирического песенного цикла великого композитора. Беттина Брентано Элизабет фон Арним (1785—1859), подруга Гете, рассказывает о возникновении этой мелодии. Однажды, будучи в Вене, она без приглашения пришла к Бетховену. «Композитор сидел у себя дома за фортепиано и проигрывал только что написанную, прекрасную песню на слова Гете «Миньону». Две руки легли на его плечо. Композитор недовольно оглянулся и увидел незнакомую молодую девушку, которая сказала ему на ухо: «Меня зовут Брентано». Бетховен ответил ей: «Я только что сочинил для вас красивую песню. Хотите ее прослушать?» Он спел «Миньону» своим режущим ухо, острым голосом».

Стр. 47. *«Эгмонт» (1810)* — одно из крупнейших симфонических произведений Бетховена. В 1782—1787 годах Гете написал трагедию, в центре которой поставил полководца Эгмонта, восставшего против деспотизма испанского короля Филиппа II и казненного в 1568 году в Брюсселе. Бетховен настолько усилил бунтарские элементы трагедии, что «Эгмонт» стоит в ряду наиболее революционных по духу творений великого композитора. Одоевский прекрасно понимал глубокое значение этого произведения, когда писал, что «целый мир ими наполняется, и никто заглушить их не может...»

OPERE DEL CAVALIERE GIAMBATISTA PIRANESI

Впервые опубликована в альманахе «Северные цветы» на 1832 год (СПб., стр. 47—65) с посвящением А. С. Хомякову, за подписью «ь, ъ, й» и с французским эпиграфом: «Cet artiste, n'ayant pu trouver à exercer les rares talents dont il était doul, a pris plaisir â dessiner les édifices imaginaires, à mettre fabrique sur fabrique et à présenter des masses d'architecture á l'érection desquelles les travaux de plusieurs siécles et les revenus des plusieurs empires n'auraient pu suffire».

Roscoe «Vie de Léon *X*»

(Этот артист, не найдя применения редким талантам, которыми он был одарен, увлекался тем, что рисовал воображаемые здания, громоздил строения на строения и изображал архитектурные массы, для возведения которых были бы недостаточны труды многих веков и доходы нескольких царств. *Роско «Жизнь Льва X»*.

Альманах был издан по инициативе Пушкина в память умершего в 1831 году А. А. Дельвига, издателя «Северных цветов» с 1825 по 1831 год, и был подготовлен к печати великим поэтом.

Рассказ «Opere...», включенный в «Русские ночи» в 1844 году, как часть «ночи третьей», подвергся большой авторской правке: был снят эпиграф и посвящение, изменено начало рассказа, повествующее о библиомании, место действия перенесено из Петербурга в Неаполь и др. По-видимому, писатель пытался найти соотношение рассказа с философским диалогом, окаймляющим его в «Русских ночах». Возможно, что изменение места действия рассказа было вызвано цензурными соображениями.

По первоначальному плану Одоевского это произведение должно было открывать задуманный им философский цикл «Дом сумасшедших», впоследствии переработанный в «Русские ночи». Название «Дом сумасшедших» имело глубоко символический характер. Включая в себя истории «гениальных безумцев», эта книга не могла не перекликаться с современностью. Ведь кличка «сумасшедшего» легко раз-

давалась людям, которые мыслили и жили не так, как хотелось николаевскому правительству. Чацкие казались Фамусовым сумасшедшими. Булгарин так же отзывался о членах «кружка любомудров». Чаадаев был Николаем I официально объявлен сумасшедшим. Таким образом, название задуманного цикла Одоевского несло в себе яркую социальную окраску.

В письме от 17 ноября 1836 года к Шевыреву Одоевский более подробно писал о плане своего цикла: «...Что пишешь о недоумениях московской цензуры, должно было ожидать, и этому помочь нельзя... Как мне жаль, что я не успел прежде окончить печатание моего «Дома сумасшедших»; два года тому назад, не имея почти никакого понятия о мыслях Ч<аадаева>, я написал эпилог, заключающий книгу и как будто нарочно совершенно противоположный статье Ч.; то, что он говорит о России, я говорю об Европе, и наоборот. Ты знаешь мою мысль, о которой я намекнул мимоходом в Введении к «Дому сумасшедших» (смотри в «Библиотеке для чтения»: «Кто сумасшедший» и в «Русских ночах», о том, что Россия должна такое же действие произвести на ученый мир, как некогда открытие новой части света, и спасти издыхающую в европейском рубище науку... Теперь уже поздно! И досадно, и грустно!» («Русский архив», 1878, № 5, стр. 57—58. Из бумаг С. П. Шевырева).

В альманахе «Северные цветы» на 1832 год Одоевский напечатал примечание, которое раскрывает связь «Opere...» с «Последним квартетом Бетховена». Он писал: «Для тех, которые найдут сходство между предметом сей статьи и статьи, напечатанной в «Сев. цвет.» 1831 года, под названием «Последний квартет Бетховена», — считаем нужным заметить, что они суть отрывки из одного и того же сочинения, лишь несколько округленные».

Отметим, что в том же альманахе «Северные цветы» на 1832 год, где была напечатана повесть Одоевского, появилась одна из маленьких трагедий Пушкина — «Моцарт и Сальери». Не лишена основания догадка, что музыкально-исторические сведения, использованные Пушкиным в этом произведении, были получены им от В. Ф. Одоевского. Последний, к этому времени, — уже широко известен в музыкальных и литературных кругах Москвы и Петербурга, как образованнейший музыкант и автор статей о музыкальном искусстве. Общение между писателями на почве музыкальных интересов — весьма возможно. Недаром именно повесть «Последний квартет Бетховена» из всех произведений Одоевского получила наиболее высокую оценку Пушкина.

По отзыву Белинского, «...в основе этих пьес (Последний квартет Бетховена, Piranesi и др.) — глубокое миросозерцание и благородный юмор, форма дышит красками вдохновенной поэзии, мысль мощно

охватывает душу читателя и высказывается резко и определенно» (В. Г. Белинский, т. V, стр. 65).

Рассказ под названием «L'architecte» был переведен на французский язык и напечатан в сборнике «La décameron russe histoires et nouvelles» в переводе M. P. Douhaire, Paris, 1855.

Стр. 50. *Эльзевир* — так называются высокоценимые знатоками-библиографами издания книг, выпущенных семьей голландских типографов-издателей XVI—XVII веков Эльзевиров. В их типографиях был выработан и особый шрифт, называемый «эльзевир».

Жанлис Стефания-Фелисите (1746—1830) — французская писательница, многочисленные романы которой отличались сентиментальностью и напыщенным стилем.

Стр. 51. ...*издание Альдов* — издания семьи итальянских печатников XV—XVI веков.

Стр. 53. *Каратыгин* Василий Андреевич (1802—1853) — знаменитый русский трагический актер, первый исполнитель роли Чацкого. Одоевский высоко оценивал актера и писал: «Теперь на европейской сцене никто не в состоянии исполнить в таком совершенстве роль Гамлета» (Кн. В. О. ст. «Гамлет. Принц датский»... «Литературные прибавления к «Русскому инвалиду», 1837, 6 ноября, № 45, стр. 440).

«*Жизнь игрока*», или «Тридцать лет, или Жизнь игрока» (1827)— мелодрама французского драматурга и писателя Виктора Дюканжа (1783—1833), имевшая шумный успех на всех европейских сценах.

НОВЫЙ ГОД

(Из рассказов ленивца)

Впервые напечатан в «Литературных прибавлениях к «Русскому инвалиду», 1837, 2 января, № 1, стр. 4—6, за подписью Безгласный.

Впоследствии опубликован в «Сочинениях князя В. Ф. Одоевского», СПб. 1844, часть вторая, и начинает серию бытовых повестей, которым писатель дал общее название «Домашние разговоры». Датирован рассказ 1831 годом. Печатается по изданию 1844 года.

Большой разрыв в сроках между написанием рассказа (1831) и его опубликованием (1837) объясняется, видимо, содержанием «Нового года», посвященного событиям пред- и последекабрьского периода. Возможно, Одоевский, боясь цензуры, оставлял некоторое время рассказ ненапечатанным.

Белинский, перечисляя повести, особенно его заинтересовавшие, как-то: «Бригадир», «Бал», «Насмешка мертвеца», «Город без имени», «Черная Перчатка», отмечал, что «лучше других кажется нам «Новый год» (В. Г. Белинский, т. VIII, стр. 297—323).

«В этих произведениях, — прибавляет критик, — преобладает юмор, и они, не теряя своего дидактического характера, начинают наклоняться к повести» (там же, стр. 311). Это замечание тем более многозначительно, что, как известно, Белинский под термином «повесть» понимал не столько обозначение жанра художественного произведения, сколько актуальное для него приближение прозы к вопросам реальной действительности.

В первой части этого рассказа мы имеем одно из немногочисленных художественных описаний литературного объединения молодежи преддекабрьского периода. Одоевский в рассказе дает острую картину расслоения литературных партий, причем позиция его прямо противоположна «журнальному триумвирату» — Булгарину, Гречу, Сенковскому. Намеком на Булгарина (реакционного журналиста, который после разгрома декабрьского восстания был агентом III отделения) является место, где автор говорит о том, что «сначала раздаватели литературной славы приняли было новых авторов с отеческим покровительством, но мы, в порыве беспристрастия, в ответ на нежности задели этих господ без милосердия». На страницах «Мнемозины» Одоевский не раз очень резко с уничтожающей иронией разоблачал Булгарина. Недаром М. П. Погодин через много лет вспоминал, что «грозные послания Одоевского к Булгарину и Гречу составляли новое явление в нашей журналистике» (см. «В память о князе В. Ф. Одоевском», М. 1869, стр. 51).

Вспоминая о дискуссии 1825 года по поводу «Горя от ума», Одоевский писал в письме к А. Н. Верстовскому в 1834 году: «...не знаю, выйдет ли из меня что-нибудь путное, но только знаю, что люди, которых я защищал... теперь сделались классическими у нас писателями» (см. журнал «Советская музыка», 1952, № 8).

БРИГАДИР

Впервые напечатан в альманахе А. Ф. Смирдина «Новоселье», СПб. 1833, ч. I, стр. 501—517, за подписью «ь, ъ, й» и с посвящением И. С. Мальцеву. Первоначальное заглавие было: «Русский Пиранези» (ОР ГПБ, оп. № 1, пер. 43, л. 3—21). Впоследствии рассказ вошел в цикл «Русских ночей» как часть «ночи четвертой». В тексте «Русских ночей» посвящение отсутствует. Печатается по изданию 1844 года.

Сам Одоевский считал, что рассказ этот «писан юношею вскоре после выхода из школы; он носит на себе печать ума молодого, внезапно встревоженного зрелищем света и в особенности того келейного задушевного лицемерия, которое под личиной нравственных сентенций, подтачивает все нравственные и общественные связи» («Со-

чинения князя В. Ф. Одоевского», часть первая, СПб. 1844, стр. 66).

Рассказ вызвал сочувственные рецензии. Так, В. Плаксин в статье «Взгляд на последние успехи русской словесности 1833 и 1834 гг.» писал: «Последние два года ознаменованы счастливым появлением сильных талантов, украшенных новым просвещением, талантов деятельных» и с похвалой упоминал такие повести Одоевского, как «Бригадир», «Катя», «Княжна Мими» и др. («Летопись факультетов на 1835 г.», изд. в 2-х томах, СПб. 1835, т. I—IV, стр. 21).

В «Библиотеке для чтения» О. И. Сенковский в своей тенденциозной рецензии издевательски передавал содержание рассказа, «как глупый бригадир приходил после смерти доказывать, что он не был глуп» (1844, т. 66, № 9, стр. 4).

Демократическая критика высоко оценила это произведение. Белинский писал, что «Бригадир», «Бал», «Насмешка мертвеца»... — не выдумки, не игрушки праздной фантазии, не риторические олицетворения отвлеченных мыслей, общих добродетелей и пороков, но уроки высокой мудрости тем более плодотворные, что их корни скрываются глубоко в почве русской действительности. Прочтите «Бригадира»: это история многих тысяч наших бригадиров — история, к несчастию, всегда одинаковая. Беспокойный и страстный юмор составляет... одно из неотъемлемых достоинств этих пьес... (В. Г. Белинский, т. VIII, стр. 305—306).

Стр. 67. *Калиостро* Александр — международный авантюрист, мистик и фокусник, называвший себя разными вымышленными именами и якобы обладавший секретом философского камня. Настоящее имя — Иосиф Бальза. В 1780 году приезжал в Петербург под именем графа Феникса, занимался врачеванием и пользовался покровительством Потемкина.

БАЛ

Впервые напечатан вместе с рассказом «Бригадир» в альманахе «Новоселье», 1833, ч. I, стр. 443—448, за подписью «ь, ъ, й», в оглавлении «О. К. В. Ф.» и с посвящением «Г. А. Ф. 3-й». Вошел в издание 1844 года как часть «ночи четвертой» цикла «Русские ночи», где посвящение отсутствует.

Для второго издания (1862) автор основательно переработал свое произведение. В экземпляре Одоевского «Русских ночей» (ОР ГПБ, оп. № 1, пер. 67, стр. 79/84) после напечатанного текста «Бала» вклеена рукопись писателя, которая по большому количеству вставок и исправлений дает нам возможность говорить о второй редакции рассказа. Печатается по тексту этой рукописи.

Сам писатель, выпуская в 1844 году первую книгу своих сочинений, писал о «Бале»: «После восьмилетней уединенной жизни, посвященной сухим цифрам и выкладкам, сочинитель сих отрывков, кажется, начал уже ощущать неудовлетворительность своих теорий, и для того ли, чтоб рассеять себя, или чтоб послушать мнений живых людей, или даже чтоб минутным отдыхом освежить свои силы, он бросился в светский вихрь. Эта атмосфера была ему не по сердцу, и, вероятно в минуту досады, он набросал на бумагу эти строки, из которых одним я дал название «Бала»...» («Русские ночи», 1844, кн. 1, стр. 79).

Рассказ был высоко оценен Белинским (т. VIII, стр. 305). «Бал» ярче других иллюстрирует связь Одоевского с эстетикой декабризма. Описание бала с танцующими мертвецами — это отзвук настроений, бытовавших в среде декабристов, отрицательно относившихся к мертвенной жизни фальшивого и лицемерного светского общества. Примечательно, что Александр Одоевский в своем стихотворении «Бал» (1825) так же трактует эту тему:

...Весь огромный зал
Был полон остовов... Четами
Сплетясь, толпясь, друг друга мча,
Обнявшись желтыми костями,
Кружася, по полу стуча,
Они зал быстро облетали.

Стихотворение «Бал» впервые было опубликовано в альманахе «Северные цветы» на 1831 год, СПб. 1830, и не могло остаться неизвестным В. Ф. Одоевскому, который в этом же альманахе печатал «Последний квартет Бетховена».

Рассказ был переведен на немецкий язык Johannes fon Guenter и вошел в сборник «Magische Novellen», Мюнхен, 1924.

СКАЗКА О ТОМ, ПО КАКОМУ СЛУЧАЮ КОЛЛЕЖСКОМУ СОВЕТНИКУ ИВАНУ БОГДАНОВИЧУ ОТНОШЕНЬЮ НЕ УДАЛОСЬ В СВЕТЛОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОЗДРАВИТЬ СВОИХ НАЧАЛЬНИКОВ С ПРАЗДНИКОМ

Впервые напечатана в сборнике В. Ф. Одоевского под названием «Пестрые сказки, с красным словцом, собранные Иринеем Модестовичем Гомозейкою, магистром философии и членом разных учебных обществ, изданные В. Безгласным», СПб. 1833, стр. 75—88.

В собрании «Сочинений князя В. Ф. Одоевского» 1844 года помещена в «третьей части», в разделе «Отрывки из «Пестрых сказок». Во втором издании авторской правке не подверглась. Печатается по изданию 1844 года.

Литературный герой Одоевского — Ириней Модестович Гомозейко, от лица которого рассказано много повестей, рассказов и

сказок, — излюбленный персонаж Одоевского, которого он считает сотрудником пушкинского Белкина и гоголевского Рудого Панька.

К циклу рассказов Гомозейко принадлежат, помимо «Пестрых сказок» «Отрывок из записок Иринея Модестовича Гомозейко, или История о петухе, кошке и лягушке», и повесть «Привидение». К этому герою писатель возвращается на различных этапах своей деятельности. От имени «дяди Иринея» он обращается к народным кругам в «Сельском чтении», как «дедушка Ириней» рассказывает свои сказки для детей.

Интересно, что в марте 1833 года Одоевский вместе с Гоголем задумывает объединение литературных персонажей в сборнике «Тройчатка, или Альманах в 3 этажа». Об этом говорится в письме Одоевского к Пушкину от 28 сентября 1833 года: «Скажите, любезнейший Александр Сергеевич, что делает наш почтенный г. Белкин? Его сотрудники Гомозейко и Рудый Панек, по странному стечению обстоятельств, описали: первый *гостиную*, второй *чердак*; нельзя ли г. Белкину взять на свою ответственность *погреб*? Тогда бы вышел весь дом в три этажа, и можно было бы к Тройчатке сделать картинку, представляющую разрез дома в три этажа с различными в каждом сценами. Рудый Панек даже предлагал самый альманах назвать таким образом: «*Тройчатка, или альманах в три этажа*», соч. и проч. — Что на это скажет г. Белкин? Его решение нужно бы знать немедленно, ибо заказывать картинку должно теперь, иначе она не поспеет, и Тройчатка не выйдет к Новому году, что кажется необходимым. А что *сам* Александр Сергеевич?» *Одоевский»* («Русский архив», 1864, стр. 814. Из бумаг кн. В. Ф. Одоевского. Письма разных лиц; А. С. Пушкин, изд. АН СССР, 1948, т. XV, стр. 90). Издание альманаха «Тройчатка» не было осуществлено, но мысль о соединении под одним переплетом трех литературных героев говорит о полной принципиальной солидарности Одоевского с Пушкиным и Гоголем. Сам он признавался в своих записных книжках, что «судьба жизни не раз ставила меня в весьма близкие сношения с замечательнейшими организациями нашего времени (Д. Веневитинов, Грибоедов, Пушкин, Жуковский, Лермонтов, Кольцов, Глинка и мн. др.)» (ОР ГПБ, фонд Од., оп. № 1, пер. 55, л. 110). Сказка вошла в сборник «La décameron russe, histoires et nouvelles», Paris, 1855.

СКАЗКА О МЕРТВОМ ТЕЛЕ, НЕИЗВЕСТНО КОМУ ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ

Впервые напечатана в сборнике «Пестрые сказки» (стр. 29—52).

Печатается по изданию «Сочинения князя В. Ф. Одоевского», 1844, часть третья, стр. 179—194, с внесением незначительной правки по второму изданию собр. соч. Одоевского (ОР ГПБ, оп. № 1, пер. 69).

Эпиграф, взятый из «Вечеров на хуторе близ Диканьки», указывает на связь с тематикой Гоголя. И действительно, «Сказка о мертвом теле» даже в мелких деталях напоминает «Нос» Гоголя. Так, сцена, когда потерпевший в сказке Одоевского диктует заявление о пропаже своего собственного тела, совпадает с объяснением майора Ковалева и чиновника газетной экспедиции, которого он просит дать объявление о пропаже своего носа. Заметны в обоих произведениях и другие совпадения. Так, вопрос ничего не понимающего приказного Севастьяныча в сказке Одоевского: «Что же покойник, крепостной, что ли, ваш был?» — совпадает с репликой чиновника у Гоголя: «А сбежавший был ваш дворовый человек?»

По свидетельству М. П. Погодина, Гоголь «впервые явился на сцену большого света» в гостиной Одоевского, который встретил его... «с дружеским участием» (сб. «В память о кн. В. Ф. Одоевском», 1869, стр. 57). Об отношениях Гоголя с Одоевским рассказывает и С. Т. Аксаков (см. С. Т. Аксаков, «История моего знакомства с Гоголем» — Собр. соч., М. 1956, т. 3, стр. 182 и 218).

О дружеской связи обоих писателей красноречиво говорит письмо Гоголя к Одоевскому из Рима от 15 марта 1838 года: «Любит ли меня князь Одоевский так же, как прежде? вспоминает ли он обо мне? Я его люблю и вспоминаю. Воспоминание о нем заключено в талисмане, который ношу на груди своей; талисман составлен из немногих сладких для сердец имен — имен, унесенных из Родины; но, переселенцы, они дышат там не так, как цветы, пересаженные в теплицу, нет, они там живут живее, чем жили прежде. Талисман этот меня хранит от невзгод, и когда нечистое подобие тоски или скуки подступит ко мне, я ухожу в мой талисман и в кругу мне сладких заочных и вместе присутствующих друзей нахожу свой якорь и пристань». На конверте Гоголь написал: «Много-многолюбимому мною князю Одоевскому» (Н. В. Гоголь, Полн. собр. соч., т. IX, стр. 130—131).

Показательно, что Гоголь принимает участие в издании «Пестрых сказок». Так, в письме к А. С. Данилевскому от 8 февраля 1833 года он пишет: «Один только князь Одоевский деятельнее. На днях печатает он фантастические сцены под заглавием «Пестрые сказки». Рекомендую: очень будет затейливое издание, потому что производится под моим присмотром» (Н. В. Гоголь, Полн. собр. соч., т. X, стр. 260).

Выпуская свои «Пестрые сказки», Одоевский много труда затратил на внешнюю сторону издания и даже занялся усовершенствованием литографии и делал оттиски для этой книги на совершенно новых основах. «Цель была, — писал Одоевский в предисловии к «Отрывкам из «Пестрых сказок», — доказать возможность роскошных изданий в России и *пустить в ход резьбу на дереве*, а равно и другие полити-

пажи—дело тогда совершенно новое...» («Сочинения князя В. Ф. Одоевского», часть третья, стр. 169). П. А. Вяземский писал Жуковскому в письме от 15 апреля 1833 года: «Одоевский издал свои «Пестрые сказки» фантастические. Я еще не видал их, но издание, сказывают, очень красивое, кокетное и фантастическое. Кажется, род Одоевского не фантастический, то есть в смысле гофмановском. У него ум более наблюдательный и мыслящий, а воображение вовсе не своенравное и не игривое» (Из писем кн. Вяземского к Жуковскому, «Русский архив», 1900, т. I, стр. 373).

Стр. 84. *Сивиллина книга* — собрание пророчеств и изречений, которое, по преданию, купил римский царь Тарквиний у Кумской прорицательницы Сивиллы в VI веке до н. э.

Стр. 87. *...о похождениях Ваньки Каина* — известная в XVIII веке история знаменитого вора и сыщика, литературная обработка которой принадлежала Матвею Комарову.

...о путешествии купца Коробейникова в Иерусалим. — Имеется в виду «Путешествие московских купцов Трифона Коробейникова и Юрия Грекова по святым местам». В 1582 году по приказанию царя Ивана Васильевича, московские купцы Трифон Коробейников и Юрий Греков совершили путешествие в Царьград, Иерусалим, Антиохию и на Синайскую гору. Описания их хождений стали народными. Первое издание было напечатано В. Рубыном в 1783 году и много раз переиздавалось. Н. И. Новиков напечатал путешествие в 1826 году.

...взяли город Трою... а Царьград уступили туркам. — Подразумевается воспетое Гомером в «Илиаде» сказание о Троянской войне, закончившейся после десятилетней осады разрушением города Трои греками. Царьград (нынешний Константинополь) был взят турками 29 мая 1453 года.

Гнилое море — залив Азовского моря.

...процессия погребения кота — популярная лубочная картинка, изображавшая, как мыши кота хоронили.

...птица Строфокамил — страус.

Стр. 92. *Бистурий* (бистури) — хирургический нож.

СКАЗКА О ТОМ, КАК ОПАСНО ДЕВУШКАМ ХОДИТЬ ТОЛПОЮ ПО НЕВСКОМУ ПРОСПЕКТУ

Впервые напечатана в сборнике «Комета Белы», альманах за 1833 год (СПб. 1833, стр. 259—278), под псевдонимом «Влад Глинский» и с гравюрой, изображающей, как «басурмане» превращают девушку в куклу. Впоследствии сказка эта вошла в сборник, вышедший в 1833 году под названием «Пестрые сказки», СПб., стр. 113—133.

В собрании «Сочинений князя В. Ф. Одоевского», 1844 года сказка помещена в третьей части, в разделе «Отрывки из «Пестрых сказок» и исправлениям при подготовке ко второму изданию не подвергалась. Печатается по изданию 1844 года.

«Пестрые сказки» вызвали оживленный отклик у современников. Не лишена интереса оценка, которую дает в своем письме мать Одоевского, женщина с большим умом и литературными интересами — Е. А. Филиппова: «Читала я твои препестрые сказки: иного не поняла, другое догадалась, третьему рассмеялась... девушка, из которой вынул сердце француз, слишком зла, я думаю, тебе за нее досталось... но всего мне лучше понравился этот сидящий в углу и говорящий «оставьте меня в покое»; это очень на тебя похоже... Достанется и тебе, впрочем, я думаю, нет гостиной, в которой бы тебе не душно было» (ОР ГПБ, фонд Од., оп. № 2, пер. 991).

Белинский, давая блистательную характеристику творчества Одоевского, под псевдонимом Безгласного, в своих «Литературных мечтаниях» (т. I, стр. 20—105) выделяет как лучшую «Сказку о том, как опасно девушкам...»

«Московский телеграф» в лице Полевого резко осудил «Пестрые сказки»: «...это холодная, бесцветная, ничего не сказывающая аллегория, усыпанная блестками начитанности, обдает холодом прозаизма» (1833, № 8, апрель, стр. 572—582).

Группа московских друзей, среди которых находились будущие славянофилы, в это время всячески старались сохранить Одоевского в своей среде. А. И. Кошелев, П. В. Киреевский, С. П. Шевырев, Н. Ф. Павлов в восторге от «Пестрых сказок». В письме А. И. Кошелева от 12 февраля 1833 года говорится, что он и Киреевский «с удовольствием велием» прочитали сказку в «Комете Белы»: «она очень хороша и имеет глубокое значение». Н. Ф. Павлов в письме от 6 апреля 1833 года писал: «Сказку твою о «Беле» я ставлю гораздо выше того, что ты дал в «Новоселье», то есть выше «Бала» и «Бригадира» (ОР ГПБ, фонд, Од., оп. № 2, пер. 845, стр. 32 об.). С. П. Шевырев на том же письме Павлова сделал приписку: «Жду с нетерпением твоих пестрых сказок, которых оболочку, виньетки и отрывки видал и читал у Кошелева. Славно! Славно!»

Кюхельбекер отнесся сдержанно к «Пестрым сказкам», а по поводу «Отрывка из записей Гомозейко» он записал в своем дневнике 19 октября 1834 года: «Одоевского отрывок — отрывок Одоевского, то есть сочинение человека, который пишет не свое» (Дневник В. Кюхельбекера, изд-во «Прибой», Л. 1929, стр. 214). Позже, в письме от 3 мая 1845 года, он писал Одоевскому: «Очень люблю твою княжну Мими и кое-что из пестрых сказок» (Отчет императорской публичной библиотеки за 1893 г., СПб. 1896, стр. 70).

Стр. 96. *Честерфильдовы письма.*—Имеется в виду произведение Честерфильда Филиппа Дормер Стенхоп (1694—1777), английского политического деятеля, автора «Писем лорда к сыну» (1774), которые являлись сводом житейских и моральных правил английской аристократии XVIII века.

НАСМЕШКА МЕРТВЕЦА

Впервые напечатана в альманахе, издававшемся М. Максимовичем: «Денница на 1834 г.», М. 1834, стр. 218—240, под заглавием «Насмешка мертвого» (отрывок) и с подписью: ***. Впоследствии была включена под заглавием «Насмешка мертвеца» как часть «ночи четвертой» в «Сочинении князя В. Ф. Одоевского», часть первая, 1844, стр. 87—99. Печатается по этому тексту с внесением значительного количества стилистических правок по экземпляру второго издания его сочинений (ОР ГПБ, фонд, Од., оп. № 1, пер. 67).

Среди романтических повестей Одоевского «Насмешка мертвеца» занимает особое место. Именно здесь наиболее четко выявились черты, сближающие писателя с «истинным» русским романтизмом: возмущение эгоизмом, корыстью и ничтожеством высших классов.

В картине потопа автор поднимается до подлинного обобщения, до призыва к возмездию, которое придет и со стихийной силой уничтожит общество с его социальной неправдой. Патетически звучат его проклятия; их политический смысл совершенно отчетлив в этой повести: «Еще минута, и взмокнут эти роскошные, дымчатые одежды наших женщин! Еще минута, и то, что так отрадно отличало вас от толпы, только прибавит к вашей тяжести и повлечет вас на холодное дно» (стр. 105).

Недаром эта повесть вдохновляла молодого Белинского, который, конечно, в разбушевавшейся стихии, затопляющей петербургский бал, видел выражение народного гнева. Поэтому в своей статье «О русской повести и повестях г. Гоголя», давая оценку «гумору» Гоголя, он обращает особое внимание великого писателя на сатирическое истолкование действительности у Одоевского. Он пишет: «...в творчестве есть еще другой гумор, грозный и открытый, он кусает до крови, впивается в тело до костей, рубит со всего плеча, хлещет направо и налево своим бичом, свитым из шипящих змей, гумор желчный, ядовитый, беспощадный. Хотите ли видеть его? Я покажу вам его — смотрите: вот бал, куда собралась толпа мишурных знаменитостей, ничтожного величия, чтоб убить время, своего всегдашнего врага, — убийцу, толпа бледная, чудовищная, утратившая образ и подобие божие, позор людей и бессловесных» и далее цитирует большой отрывок из повести «Насмешка мертвеца» (В. Г. Белинский, т. I, стр. 299—300). Этот отрывок произвел такое впечатление на критика, что в своей статье,

посвященной разбору произведений В. Ф. Одоевского, он вновь обращается к нему, считая, что «картина бала и смятение, произведенное страхом потопа, исполнены вдохновения бурного и порывистого, негодования пророчески-энергического. Здесь красноречие возвышается до поэзии, а поэзия становится трибуной» и что «это едва ли не лучшее произведение князя Одоевского и в то же время одно из замечательнейших произведений русской литературы» (В. Г. Белинский, т. VIII, стр. 308).

«Насмешка мертвеца» была переведена на немецкий язык и вошла в сб. Одоевского «Magische Novellen», Мюнхен, 1924. Russische Bibliothek.

ИСТОРИЯ О ПЕТУХЕ, КОШКЕ И ЛЯГУШКЕ

(*Рассказ провинциала*)

Впервые опубликован в «Библиотеке для чтения» 1834, т II, стр. 192—211, под заглавием «Отрывок из записок Иринея Модестовича Гомозейки» за подписью «В. Безгласный».

Впоследствии вошел в собрание «Сочинений князя В. Ф. Одоевского», 1844, часть третья, стр. 141—166, под заглавием «История о петухе, кошке и лягушке» (рассказ провинциала) и с посвящением Д. В. Путяте; по этому тексту и печатается рассказ с внесением незначительной правки по экземпляру второго собрания сочинений (ОР ГПБ, оп. № 1, пер 69, л. 141).

В произведениях Одоевского 30-х годов город Реженск служит своего рода символом русской провинции, как для Герцена — Малинов, или Салтыкова-Щедрина — Крутогорск.

Стр. 119 *Лаврентий Гейстер* (1683—1758) — врач, анатом и хирург.

Стр. 120. *«О предчувствиях и видениях»* — книга голландского врача Гофмана Бургаве (1668—1738).

КАТЯ, ИЛИ ИСТОРИЯ ВОСПИТАННИЦЫ

Отрывок из романа «Катя, или История воспитанницы» был впервые опубликован в альманахе «Новоселье», ч. II, СПб. 1834, стр. 369—402, за подписью: «ь, ъ, й, Безгласный». В фонде Одоевского, помимо опубликованного отрывка, сохранились отдельные сцены, продолжающие начало, но цельности нет в этих отрывках. Одоевский предполагал дать этому роману эпиграф из грибоедовского «Горя от ума»: «Воспитанниц и мосек полон дом». Несколько цитат из Грибоедова использует он и в тексте, например — когда говорит, что граф

Жано вывез из Италии Паулино «для замыслов каких-то непонятных» и др.

Печатается по тексту альманаха.

В повести Одоевский поднимает вопрос о новом демократическом герое в современной ему литературе. «Вы не знаете, — говорит писатель, — что такое жизнь нашего среднего класса, — она очень любопытна. Жаль, что еще никто из авторов не обращал на нее внимания» (стр. 127).

Из одного зачеркнутого в рукописи листа можно заключить, что описание нравов высшего общества в «Кате», должно было быть столь же сатирическим, как и в «Пестрых сказках» или в «Княжне Мими»: «Многие из наших писателей, как весьма основательно замечает мой почтенный приятель Ириней Модестович Гомозейко в неизданной своей биографии, — а с ними и я, их ревностный подражатель, — очень любят нападать на гостиные. Это занятие очень легко и очень выгодно. Вы браните гостиные — всякий подумает, что вы человек кабинетный. А все вздор! Байрон и в гостиной Байрон; господин А, В, С, Д и в кабинете господин А, В, С, Д. Так нет! учредили закон: если ты ученый, если ты философ, то не заглядывай в гостиную, если ты человек светский, то не заглядывай в кабинет. От этого похвального постановления все люди, а иногда один и тот же человек, разделились на две половины, из которых одна другую не понимает; что делается в кабинете, над тем смеются в гостиной, что делается в гостиной, о том не знают в кабинете; к чему приготовляет воспитание, то избегается в свете, что читается в книгах — то в книге и остается; между наукою и жизнью, между искусством и жизнью, между религиею и жизнью — целая бездна...» (ОР ГПБ, оп. № 1, пер. 13, л. 3).

В «Воспоминаниях» Ю. Арнольда мы находим описание вечеров у Одоевского, раскрывающее возможную причину того, что писатель вычеркнул приведенный абзац из текста повести, как слишком напоминавший обстановку его собственного дома.

«...Само собою разумеется, — вспоминал Ю. Арнольд, — что я прежде всего подошел к хозяйке дома засвидетельствовать должное «высокопочитание со стороны всепокорнейшего ее слуги» в виде самого этикетного реверанса. Ее сиятельство удостоили меня милостивым легоньким наклонением головы, но ручки своей протянуть не изволили: это в переводе с мистериозного языка великосветского цермониала значило: «Mesdames et messieurs, sa appartientá la rôture, et pire même, c'est un homme de rien: a ne vous regarde dons nullement» <Господа и госпожи; это вот принадлежит к простолюдию, хуже даже, человек ничтожный; это вот, следовательно, никак вас не касается>. Я же, не подав ни малейшего вида, что я сведущ в этой

китайщине, скорчил еще более сладкую мину и поклонился еще отборнее этим членам того общества, которое, называя само себя «хорошим», нередко выказывало и еще выказывает себя далеко не хорошим. Но, улыбаясь им, я думал: господа и госпожи, да я сюда и вовсе не для вас явился: Je me fiche pas mal devous <Ни на что вы мне не нужны>. Не вы есть то «хорошее» общество, которое я без сомнения найду в соседней комнате (Ю. Арнольд «Воспоминания», М. 1892, вып. II, стр. 201—202). Думая о светском обществе, писатель с горечью записывает в дневнике: «Моя беда в том, что хочу дышать чистою совестью в гнилой атмосфере» (ОР ГПБ, фонд Од., оп. № 1, пер. 59, л. 34).

Безыменный критик из «Молвы», за которым скрывался Белинский, писал о повести «Катя»: «Из всех прозаических статей «Новоселья» это, неоспоримо, лучшая... Отрывок сей показывает в авторе и внимательную наблюдательность подробностей, и философический взгляд на целость жизни, и твердый навык в языке; все стихии, необходимые для романиста!» («Молва», СПб. 1834, № 23, стр. 350).

Стр. 124. *Гетевы слова о Гамлете.* — Подразумевается характеристика, которую Гете дал Гамлету в «Вильгельме Мейстере», как существу с тонкой духовной организацией, неспособной сопротивляться трудностям жизни. Гете писал: «Прекрасное, чистое, благородное, высоконравственное существо, лишенное силы чувства, делающей героя, гибнет под бременем, которого он не мог ни снести, ни сбросить, всякий долг для него священен, а этот непомерно тяжел. От него требуют невозможного, — невозможного не самого по себе, а того, что для него невозможно. Как он мечется, бросается туда и сюда, пугается, идет вперед и отступает, вечно получает напоминания, вечно сам вспоминает и наконец почти утрачивает сознание поставленной себе цели, не становясь, однако, уже никогда больше радостным» (Гете, Собр. соч., т. VII, М. 1935, стр. 248).

Стр. 129. *Брянвилье*—маркиза Бранвилье, известная в XVII веке своей жестокостью.

Стр. 130. *«Барнав»* — роман французского критика-фельетониста Жюля Жанена (1831); *«Саламандра»* — роман Эжена Сю (1832).

Стр. 135. ... *итальянской кавалетты* — музыкальная фраза, повторяемая в конце каватины или арии.

Стр. 136. *Ламенне* Фелисите-Робер (1782—1854)—французский реакционный писатель-богослов, один из главных проповедников христианского социализма 30—40-х годов XIX века.

Стр. 138. *Карло Дольчи* (1616—1686) — итальянский художник.

КНЯЖНА МИМИ

Впервые опубликована в «Библиотеке для чтения», СПб. 1834, т. VII, отд. I; вошла в «Сочинения князя В. Ф. Одоевского», часть третья, раздел «Домашние разговоры» (стр. 17—72) с датой Ревель, 1834, и за подписью В. Безгласный. В подготовлявшемся втором издании правки нет. Печатается по изданию 1844 года.

В фонде Одоевского (РО ГПБ, пер. 20, л. 55) находится автограф с перечнем действующих лиц повести и начало сцены бала, написанной в драматической форме. В переплете № 68 (РО ГПБ, фонд Од., оп. № 2) в расклеенном экземпляре сочинений Одоевского 1844 года на стр. 303 существует приписка: «прежние замечания» и на стр. 354 приписка в конце повести: «Не мешало бы объяснить поступок молодого барона и следствие его, особенно (зачеркн.) поведение графини Рифейской после смерти мужа (одно неразб. слово)», возможно, сделанное рукой Одоевского или кем-либо из его критиков.

В своей записной книжке Одоевский писал о светском обществе: «Петербуржское общество, как петербуржское солнце: греть не греет— но покоробить мебель, переплеты, зазелинить стекла, обесцветить обои, — словом, всякая гадость — это его дело» (ОР ГПБ, фонд Од., оп. № 1, пер. 22, л. 93 об.).

Именно в этой повести Одоевский указал на Грибоедова, как «едва ли на единственного... писателя, который постиг тайну перевести на бумагу наш разговорный язык» (стр. 166). Белинский, соглашаясь с этим мнением, писал: «Недавно один из наших примечательнейших писателей, слишком хорошо знающий общество, заметил, что только один Грибоедов умел переложить на стихи разговор нашего общества...» (В. Г. Белинский, т. I, стр. 82).

В тексте Одоевский не раз упоминает Грибоедова: «Тут и те лица, которым сам Грибоедов не мог приписывать другого характеристического имени, как г-н N и г-н Д» и грибоедовское выражение: «старух зловещих, стариков» и т. д.

Литературные достоинства повести были отмечены современниками. Белинский неоднократно возвращался к своим оценкам о ней в основных своих статьях. Еще в «Литературных мечтаниях» он писал, что в этой повести писатель «народен в высочайшей степени» (т. I, стр. 92). В статье «О русской повести и повестях г. Гоголя» критик ставит имя княжны Мими рядом с крупнейшими образами русской литературы: «В самом деле, Онегин, Ленский, Татьяна, Зарецкий, Репетилов, Хлестова, Тугоуховский, Платон Михайлович Горич, княжна Мими, Пульхерия Ивановна, Афанасий Иванович, Шиллер, Пискарев, Пирогов — разве все эти собственные имена теперь уже не нарицательные? И, боже мой! как много смысла заклю-

чает в себе каждое из них! Это повесть, роман, история, поэма, драма, многотомная книга, короче: целый мир в одном, только в одном слове» (т. I, стр. 296).

Декабристская критика высоко оценила повесть Одоевского. В. К. Кюхельбекер записал в своем дневнике 20 декабря 1834 года в ссылке в Свеаборге: «В «Библиотеке» прочел я три повести; одна из них: «Княжна Мими» Одоевского — чрезвычайно хороша; это первое сочинение Володи, которым я доволен» (В. К. Кюхельбекер «Дневник». Изд-во «Прибой», 1929, стр. 222).

Не случайно, что именно те произведения Одоевского, которые положительно оценивал Белинский, вызывали резкие нападки реакционных критиков из «Библиотеки для чтения». Так случилось и с «Княжной Мими». См. рецензию О. Сенковского (1844, т. 66, № 9, стр. 1—9).

Повесть была переведена на немецкий язык и напечатана в сборнике «Russische Hundred und Eins», Berlin, 1838.

Стр. 145. *Гинекей* — женские покои в греческом доме.

Стр. 151. *...глубокомысленными описателями нравов...* — иронический намек на Ф. Булгарина, автора многочисленных бульварных романов, среди которых известностью пользовался «Иван Выжигин». Когда Н. И. Греч в «Чтениях о русском языке», вышедшем в 1840 году, не постеснялся назвать Булгарина «родоначальником русского романа», Одоевский с возмущением заклеймил его в своей рецензии. (См. «Отечественные записки», 1840, т. XII, № 9, отд. VI, стр. 17).

Каньзу — корсаж.

Стр. 154. *Г-н N и г-н Д* — персонажи из комедии Грибоедова «Горе от ума», распространявшие сплетню о сумасшествии Чацкого.

Стр. 156. *«Антони»* — нашумевшая в 30-х годах XIX века драма французского романиста и драматурга Александра Дюма (отца) (1803—1870).

Стр. 158. *Прочти хоть Брантома.* — Имеются в виду «Мемуары» Пьера Брантома (1540—1614), посвященные описаниям французских придворных нравов XVI века.

...прочти «Поездку на остров любви», точнее «Езда в остров любви» (1730) — переведенный поэтом В. К. Тредиаковским, роман французского писателя Поля Тальмана (1642—1712).

Стр. 159. *Лафагер Иоганн-Каспар* (1741—1801) — немецко-швейцарский писатель, философ и богослов. Автор «Физиогномики» (1772—1778), создатель псевдонаучной теории, устанавливающей связь характера с наружностью человека.

Стр. 169. *Парни Эварист-Дезире* (1753—1814) — французский поэт-лирик.

Бентам Иеремия (1748—1832) — буржуазный английский писатель по вопросам права, проповедник утилитаризма. Теория Бентама посвящена восхвалению капитализма и защите ничем не ограниченной свободы деятельности капиталистической конкуренции.

Стр. 176. *«Племянник Рамо»* — произведение Дени Дидро (1713—1784), французского просветителя, энциклопедиста.

IMBROGLIO

Впервые напечатано в собрании «Сочинений князя В. Ф. Одоевского», СПб. 1844, ч. II, под заголовком «Из записок путешественника», стр. 59—103, с датой 1835.

Слово «Imbroglio», помимо прямого перевода, обозначающего путаницу, недоразумение, является еще музыкальным термином, обозначающим шаловливое исполнение. Этот смысл совпадает с формой повести: ее затейливым и легким содержанием, неожиданными сюжетными поворотами, юмористическими экспромтами.

Рассказ этот характерен для увлечений итальянскими разбойничьими сюжетами в литературе времен Одоевского. В 20—30-х годах Италия была символом «прекрасного далека» для романтически настроенных русских писателей. Италию воспевает Гоголь («Рим»), Веневитинов, Зин. Волконская и многие другие. Италия была местом паломничества русских художников (Брюллов, Ал. Иванов).

Одоевский задумывает целый «итальянский цикл», но не приводит его в исполнение.

Стр. 182. *Тассо Торквато* (1544—1595) — итальянский поэт эпохи Возрождения. Автор эпической поэмы «Освобожденный Иерусалим» (1580).

Стр. 195. *«Анна Болейн»* — опера итальянского композитора Доницетти Гаэтано (1797—1848), либретто Романи. Исполнялась впервые в миланском театре Сан-Карло 26 декабря 1830 года.

Стр. 196. *Беллини Винченцо* (1801—1835) — итальянский композитор, автор опер «Норма», «Монтекки и Капулетти», «Пуритане», «Сомнамбула» и др. Верный своему отрицательному отношению к «итальяномании», Одоевский в многочисленных музыкальных статьях с неодобрением отзывается о Беллини, называя его музыку «стукотней», возражая против засилия произведений этого композитора в репертуаре московских театров. Нередко повторял писатель бытовавший в России каламбур о том, что «музыка в Европе *взбеллинилась*». В своей статье «Концерты» Одоевский писал: «Кому не известно, что Беллини принадлежит несколько счастливых мотивов, но что он самый плохой инструменталист на свете» («Литературные прибавления к «Русскому инвалиду» 1837, 27 марта, № 13, приложение.)

СЕБАСТИЯН БАХ

Впервые опубликована в журнале «Московский наблюдатель», 1835, часть II, май, стр. 55—112, с датой «Ревель 1834», за подписью «Безгласный» и с примечанием «Из неизданной книги, «Дом сумасшедших». В издании «Московского наблюдателя» имеется посвящение графу Мих. Ю. Виельгорскому — образованнейшему музыканту, одному из первых пропагандистов Бетховена в России. Музыкальные вечера в доме Виельгорского пользовались в 30—40-х годах большой известностью в петербургском высшем обществе. Второе посвящение князю Гр. Петр. Волконскому — председателю Петербургского учебного округа. На почве музыкальных интересов он был хорошо знаком с Одоевским, Глинкой и другими русскими музыкантами. Именно через Волконского Одоевский помогал «Отечественным запискам», и особенно Белинскому, обходить цензурные запреты.

В этом же издании имеются два эпиграфа по-французски, в примечании, переведенные самим автором:

1. Il avoit un doigté particulieur; contre l'usage des musiciens de son tems; il se servoit beaucoup de pouce.

Méthode pour apprendre facilement a jouer du piano.

[У него в игре была особенная расстановка пальцев. Вопреки обыкновению музыкантов того времени, он многое играл большим пальцем.

Самолегчайшая фортепьянная школа.]

2. Il reste à dire ce qu'on croit savoir et qu'on, ignore; quels hommes c'etoient qu'Annibal et Ce'sar.

Michelet.

[Мы думаем, что знаем, — но нам еще неизвестно: что за люди были Аннибал и Цесарь?

Мишле.]

Впоследствии повесть вошла в цикл «Русские ночи» как «ночь восьмая» (продолжение рукописи) — «Сочинения князя В. Ф. Одоевского», часть первая, «Русские ночи», 1844, стр. 211—273. Подготовляя в 1862 году второе издание своих сочинений, писатель внес в эту повесть исправления и дополнения. Печатается по экземпляру, подготовлявшемуся к второму изданию.

Оба эпиграфа и посвящения в позднейших изданиях были сняты автором.

Начало работы над повестью относится еще к московскому периоду жизни Одоевского до 1826 года. В письме к А. Н. Верстовскому от 6 ноября 1831 года он писал: «В нынешнем <году>, если успею докончить, то помещу Биографию Себастияна Баха» (журнал «Советская музыка», 1952, № 8, стр. 70—79). Однако прошло три с половиной года прежде чем Одоевский, отсылая повесть, писал в редакцию

журнала: «Посылаю вам, любезная моя редакция М[осковского] наблюдателя, Себастияна Баха, написанного con amore <с любовью *(лат.)*>, которого соблаговолите тиснуть. Это почти единственная новая статья, которую я готовил для издания всего «Дома сумасшедших», и потому я не могу дать ее вам даром» (цит. по книге П. Н. Сакулина, Из истории русского идеализма. Князь В. Ф. Одоевский. Мыслитель-писатель, т. I, часть вторая, М. 1913, стр. 210). Закончил Одоевский «Себастияна Баха» в 1834 году в Ревеле, где он проводил лето.

Одоевский с глубокой любовью относился к творчеству великого композитора. В примечании к повести 1862 года он писал, что для него «Бах был первою учебною музыкальной книгой, которой большую часть я знал наизусть». Вспоминая о годах, проведенных в Московском университетском пансионе, Одоевский всегда называл своего учителя музыки, Даниила Ивановича Шпревича, познакомившего его с сочинениями Баха, «которого имя едва было известно тогда в Москве» («Русский архив», 1864, вып. 7—8, стр. 810. Примечание Одоевского к письму А. С. Грибоедова).

В письме к своему родственнику А. Ф. Львову Одоевский писал: «Вы знаете мое благоговение к этому великому человеку. Вы знаете, что он мне служит масштабом для оценки всех музыкальных произведений; я признаю их достоинство лишь в той мере, насколько они приближаются к сочинениям Себастияна Баха» (Рукописный отдел Государственного центрального музея музыкальной культуры имени М. И. Глинки, Москва, Архив Одоевского, № 421—422). На рукописи одного из ранних музыкальных произведений Одоевского стоит надпись: «Посв[ящается] Тени Себастияна Баха. 1827. Июля 27-го (там же, нотная тетрадь № 212, стр. 70), имеются также фуги и прелюдии Одоевского на темы Баха, и даже изобретенный писателем орган он назвал в честь Баха «Себастияном».

Современники высоко расценили эту повесть. А. И. Герцен писал Н. Х. Кетчеру из своей вятской ссылки в письме от 31 декабря 1835 года об этом произведении: «Читал ли ты в «М. наблюдателе» статью «Себастиян Бах»? Что за прелесть! Она сильно подействовала на меня» (А. И. Герцен, Полн. собр. соч. и писем, под редакцией М. К. Лемке, т. I, стр. 216).

В. Г. Белинский считал, что «Себастиян Бах» — это «род биографии-повести, в которой жизнь художника представлена в связи с развитием и значением его таланта. Это скорее биография таланта, чем биография человека» (В. Г. Белинский, т. VIII, стр. 312).

И действительно, писатель довольно свободно распоряжается фактами биографии Баха, перемежая их с романтическими «постижениями». В его задачу входит не слепое следование фактам, а созда-

ние живого глубокого образа композитора. Недаром Белинский находил повесть Одоевского «...до того мастерски изложенною, до того живою и увлекательною, что ее нельзя читать без интереса даже людям, которые недалеки в знании музыки. Это значит, что в ней автор коснулся тех общих сторон, которые и в музыканте прежде всего показывают художника, а потом уже музыканта» (т. VIII, стр. 312).

«Себастиян Бах» был переведен на немецкий язык и неоднократно переиздавался в Германии. Вошел в сб. Одоевского «Magische Novellen», Мюнхен, 1924. Russische Bibliothek.

Стр. 212. *Псамметих* — династия египетских фараонов (665—525 гг. до н. э.)

...принадлежал к партии гибеллинов — политическая партия в Италии XII—XV веков, поддерживающая германских императоров.

...гоним гвельфами — название политической партии в Италии XII—XIII веков, сторонников папы в борьбе против германских императоров.

...не видят в нем, подобно Гердеру, священного леса друидов... — Гердер Иоганн Готфрид (1744—1803) — немецкий писатель и философ, представитель умеренного буржуазного просвещения XVIII века, вероятно представлялся Одоевскому выразителем эпигонских узких взглядов, не поднимающихся до поэтического восприятия искусства. Друиды — жрецы у древних кельтов, поклонявшиеся природе и совершавшие богослужения в лесах.

Стр. 213. *...кристаллах аксинита...* — минерал, образующийся из извержений горных пород.

Мемнонова статуя — воздвигнута в Египте царю Аменофису; под влиянием изменения температуры воздуха издавала во время восхода солнца вибрирующие звуки.

Фейт Бах — имя прадеда Себастияна Баха.

Пресбург — немецкое название Братиславы, главного города Словакии.

...подобно Гайдну и Плейелю... — Иосиф Гайдн родился в деревне Popay в семье Хайденов славянского (хорватского) происхождения. Славянское происхождение Гайдна не вызвало сомнения («в чем почти нет сомнения») у Одоевского из-за западнославянской мелодики, очень сильной в творчестве Гайдна.

Одоевский не раз высказывал свои соображения по поводу славянского происхождения Баха, особенно после выхода в свет в 1850 году в Лейпциге труда Гильгенфельдта о Бахе («Y. S. Bach's Leben. Wirken und Werke: ein Beitrag zur kunstgeschichte des achzehnten Yahrhunderts»). Говоря, что «эта мысль, наведенная просто

характером некоторых мелодий Баха», он не упоминает мелодий, отмеченных славянским характером, но, несомненно, имеет в виду гениальную es-moll'ную фигуру из первого тома «клавира хорошего строя». Плейель Игнац Жозеф (1757—1831) — немецкий композитор и музыкант. Ученик Гайдна, автор многочисленных симфоний, квартетов и других музыкальных произведений, ныне забытых, был владельцем известной фабрики пианино в Париже.

...Бах есть не имя, а прозвище. — Действительно, в Эрфурте, еще в конце XVIII века, всех городских музыкантов называли «die Bache». Примечание на стр. 213 отсутствовало в первом и втором издании повести.

...ведь они основывают же первые века русской истории... — Имеются в виду труды московского историка М. Т. Каченовского, основоположника так называемой «скептической школы» в историографии, отрицавшего подлинность древних летописей и неправильно утверждавшего, что они были созданы в XIII—XIV веках.

Нибур Бартольд Георг (1776—1831) — немецкий историк античности, автор «Римской истории», составивший эпоху в исторической науке критическим методом исследования исторических источников.

...троянская война выпущена из введений к историям всех народов. — Некоторые историографы времени Одоевского считали Троянскую войну поэтическим вымыслом.

Стр. 214. *Иоганн Христофор Бах* (1671—1721) — старший брат и воспитатель Себастияна Баха.

Себ. Бах род. в Эйзенахе. — Сведения о семье Баха, приведенные в примечании, взяты писателем из книги Августа Рейсмана «Von Bach bis Wagner; zur Geschichte der Musik». Иоганн Себастиан Бах родился в Эйзенахе 21 марта 1685 года, умер 28 июля 1750 года в Лейпциге.

Бюффон Жорж Луи Леклер (1701—1788) — французский ученый-натуралист, автор многотомной «Естественной истории». В своих взглядах на развитие животных организмов признавал изменяемость видов под влиянием окружающей среды.

Стр. 215. *Гаффори* Франклино (1451—1522) — итальянский теоретик музыки. Знаменит своим сочинением «Theoricum opus musicae disciplinae» (1480).

Вальтер Иоганн-Готфрид (1684—1748) — композитор и органист в Веймаре, автор музыкального словаря (Лейпциг, 1732). Характерно, что Вальтер, друг Баха, в своем словаре ограничился небольшой малопримечательной заметкой о своем великом современнике.

Соболевский Сергей Александрович (1803—1870) — библиофил и библиограф, друг Пушкина и Одоевского, поэт, прославившийся

своими эпиграммами. Е. П. Растопчина назвала его «неизвестный сочинитель всем известных эпиграмм». В 20-х годах Соболевский, один из представителей «архивных юношей», являлся членом кружка Раича, где он и познакомился с В. Ф. Одоевским и где началась их дружба, продолжавшаяся сорок восемь лет, до смерти писателя. Автор эпиграмм на Одоевского, всегда подтрунивавший над его многочисленными учеными занятиями. Приведем наиболее известную:

Случилось раз во время оно,
Что с дерева упал комар:
Запиской в комитет ученый
Тебя зовут, князь Вольдемар.

Приняв в соображенье казус,
Ты, рывшись в книгах, рассудил,
Что в Роттердаме жил Эразмус,
Который в парике ходил.

Одушевлен его примером,
Ты сбрил власы, надел парик
И свойственным тебе манером
Таинственно главой поник.

«Комар, без всякого сомненья, —
Ты провещал, — есть божья тварь;
Но в музыкальном отношеньи
Меж насекомых он — звонарь!

И так как он паденьем в поле
Не причинил лесам вреда,
Предать сей случай божьей воле,
А тварь избавить от суда».

(С. А. Соболевский, Эпиграммы и экспромты, под ред. В. В. Каллаша, М. 1912, стр. 36). В этом же сборнике помещены и другие эпиграммы на Одоевского: «С тобою, милый Исидор»; «Салон В. Ф. Одоевского», «Утку изжарить».

В письме к М. А. Корфу от 28 марта 1869 года («Русский архив», 1878, кн. III, стр. 387) Соболевский описал кончину «своего старого, лучшего друга» — Одоевского.

После смерти писателя Соболевский работал над систематизацией его архива, о чем свидетельствует в пер. 14 (ОР ГПБ, фонд Од., оп. № 1) лист без номера, на котором написано: «Из бумаг князя В. Ф. Одоевского. После его кончины. № 13, том 14, подлежит возвращению княгине к собранию рукописей, приведенных в порядок С. А. Соболевским».

«Цецилия» — музыкальный журнал (1824—1839), издававшийся немецким музыкальным теоретиком, Готфридом Вебером.

Керль Иоганн-Каспар (1625—1690) — немецкий композитор и органист.

Стр. 216. *Фробергер* Иоганн-Якоб (1616—1667) — органный композитор.

Фишер Иоганн (1650—1746) — автор многочисленных мадригалов, увертюр, сюит, арий и танцев.

Пахельбель Иоганн (1653—1706) — немецкий композитор, выдающийся органист.

Букстегуде Дитрих (1637—1707) — композитор и виртуоз-органист, с 1668 года и до конца жизни — органист церкви св. Марии в Любеке, потрясший Баха своей игрой (в 1705 г.).

Стр. 220. *...которой живой портрет можете видеть в Эрмитаже, в изображении молодой девушки, нарисованной Лукою Кранахом...* — Имеется в виду портрет принцессы из Саксонского дома немецкого живописца Лукаса Кранаха-старшего (1472—1553), находящийся и сейчас в картинной галерее Государственного Эрмитажа в Ленинграде.

Стр. 223. *В одну из моих заграничных поездок... говорят, что г. Бах умер, — отвечал аккуратный лакей.* — Это примечание было включено писателем в подготовлявшееся второе издание сочинений (ОР ГПБ, фонд Од., пер. 67, стр. 234).

Стр. 225. *Клоц* — фамилия немецкого семейства скрипичных мастеров XVII—XVIII веков.

Штейнер Якоб (1621—1683) — немецкий скрипичный мастер.

Стр. 232. *...при взгляде на Цецилию Дюрера...* — ошибка писателя. У Альбрехта Дюрера (1471—1528) нет картины с изображением Цецилии. Творчество известного немецкого художника часто ассоциировалось у Одоевского с творчеством Баха. В дневнике от 12 декабря 1864 года он писал: «В концерте Музыкального общества — Suite de S. Bach. Точно ходишь по галерее, наполненной Гольбейном и А. Дюрером» («Литературное наследство», т. 22—24. М. 1935, стр. 188).

Стр. 234. *Я тебе выхлопотал место придворного скрипача в Веймаре.* — Бах прожил в Веймаре с 1708 по 1717 год.

Рейнкен Иоганн-Адам (1623—1722) — немецкий органист и композитор, с 1654 года и до своей смерти органист в церкви св. Екатерины в Гамбурге.

Стр. 235. *...тогда мы всегда будем вместе.* — Анна-Магдалина, жена Баха с 1721 года, была дочерью придворного немецкого трубача Вюлькена. Ее итальянское происхождение — вымысел Одоевского.

Стр. 236. *Тальма* Франсуа-Жозеф (1763—1826) — знаменитый французский трагик. Его «Мемуары» переведены на русский язык (изд. «Academia», М.—Л. 1931).

Стр. 237. *Маршанд* Жан-Луи (1669—1732)—французский органист.

Стр. 240. *...ученик знаменитого аббата Оливы, последователя славного Чести.* — Аббат Олива — вымышленный персонаж. Чести Марк Антонио (1623—1669) — итальянский оперный композитор.

Кариссими Якоб (ок. 1604—1674) — римский капельмейстер, автор ораторий.

Кавалли Франческо (1599 или 1602—1676) — итальянский композитор.

Стр. 244. *Гуммель* Ян Непомук (1778—1837) — композитор, пианист, педагог, ученик Моцарта и Сальери. В 1811 году концертировал в Петербурге и Москве. Темой баховской cis-dur'ной фуги Гуммель воспользовался в своем F-dur'ном ноктюрне, который Глинка инструментовал в 1854 году: «В память дружбы — ноктюрн Гуммеля».

Стр. 245. *Passion's Musik* — «Страсти» — одно из самых крупных и значительных произведений Баха. Грандиозный цикл, включающий «Страсти по Иоанну» (1723—1725), «Страсти по Матвею» (1729) и «Страсти по Марку» (1731), является непревзойденным памятником вокально-симфонического стиля Баха. В монументальных творениях «Passion's Musik» с огромной силой Бах выразил философские воззрения гуманизма. «Страсти по Иоанну» написаны на либретто Брокеса, «Страсти по Матвею» основаны на сюжете традиционной евангельской легенды. Либретто составлено самим композитором в 1728—1829 годах при близком участии литератора Пикандера (псевдоним Генрици).

...когда Магдалина была уже на смертной постели — вымысел Одоевского. В действительности Анна-Магдалина умерла через 10 лет после Баха.

ЧЕРНАЯ ПЕРЧАТКА

Впервые опубликована в «Литературных прибавлениях к «Русскому инвалиду», 1838, № 1 и 2, с датой 1835, с посвящением Ю. М. Дюамель (Козловской) и за подписью К. В. О. Печатается по собранию «Сочинений князя В. Ф. Одоевского», 1844, часть вторая, стр. 17—58, с внесением небольшой правки из второго собрания сочинений (ОР ГПБ, фонд Од., оп. № 1, пер. 68).

В бумагах Одоевского хранится не опубликованная им статья «Англомания» (ОР ГПБ, фонд Од., пер. 13, л. 23—24 и л. 48—51), в которой писатель дает резко отрицательную оценку английской культуре, особенно в области просвещения. В связи с мыслями об Англии, о механическом перенесении ее устоев и традиций на русскую почву и была задумана повесть «Черная Перчатка».

Повесть тематически перекликается со «Сказкой о том, как опасно девушкам...», пародирующей воспитание дворянской молодежи, и с «Городом без имени», критикующем бентамовскую буржуазную организацию общества с его принципом «пользы».

В архиве Одоевского хранится письмо А. А. Краевского (в то время редактора «Литературных прибавлений») от 30 мая 1837 года (ОР ГПБ, фонд Од., оп. № 2, пер. 641, стр. 18—19), в котором он пишет: «Да благословит бог продолжение «Черной Перчатки» и «Живописца». О первой не хлопочите, что якобы велика: упрячем». 19 декабря 1838 года он снова пишет Одоевскому: «Присылайте, пожалуйста, «Черную Перчатку»: очень, очень нужна мне она теперь; ею начнется первый номер» (ОР ГПБ, оп. № 2, пер. 641, стр. 34).

Стр. 248. *Томсон Джемс* (1700—1748) — английский поэт, автор поэмы «Времена года» (1726—1730), в которой любовь к природе и трудовая сельская жизнь противопоставлены праздной и пустой жизни богачей в больших городах. Томсону принадлежит песня «Правь, Британия» (1740), ставшая английским национальным гимном.

Палей Вильям (1743—1805) — английский консервативный богослов и публицист.

Стр. 250. *«Клариса Гарлоу»* — известный роман в письмах английского писателя Сэмюэля Ричардсона (1689—1761), автора многотомных «семейно-нравоучительных» произведений.

Стр. 264. *Аббат Гальяни* (1728—1787) — итальянский философ и публицист.

Стр. 270. *«Редгонтлет»* (точнее «Редгунтлет») (1824) — исторический роман Вальтера Скотта (1771—1832).

Якобиты — политическая партия изгнанных в 1689 году из Англии представителей королевской династии Стюартов.

СИЛЬФИДА

Впервые напечатана в «Современнике», 1837, т. V, стр. 147—182 (цензурное разрешение от 11 ноября 1836 г.). Впоследствии вошла в собрание «Сочинений князя В. Ф. Одоевского», 1844, часть вторая, стр. 104—140, в серию «Домашние разговоры, под заглавием: «Сильфида (из записок благоразумного человека)» с датой 1837 г. и с посвящением Анас. Серг. П-вой (Пашковой).

Пушкин, помещая этот рассказ в «Современнике», не мог удержаться от оговорок и, ожидая для своего журнала два произведения Одоевского: «Княжну Зизи» и «Сильфиду», отдавал решительное предпочтение первой. В уже цитированном письме в октябре — ноябре

1836 года он писал Одоевскому: «Кажется, письмо тестя холодно и слишком незначительно. Зато в других местах много прелестного. Я заметил одно место знаком (?) — Оно показалось мне невразумительно. Во всяком случае Сильфиду ль, Княжну ли, но оканчивайте и высылайте. Без вас пропал «Современник». Письмо тестя Реженского, как свидетельствует сам Одоевский, «впоследствии было переделано по замечаниям А. С. Пушкина» («Русский архив», 1864, стр. 821).

Белинский в своих многочисленных статьях и рецензиях 30-х— начала 40-х годов чрезвычайно высоко расценивал творчество Одоевского. Значительно сложнее выглядит отношение Белинского к тому виду творчества, к которому принадлежит «Саламандра», «Косморама», «Сегелиель» и др. В них писатель пытался воплотить свои философские и мистические взгляды, уводя читателя в мир фантазии, ничего общего не имеющего с окружающей действительностью. Поводом для высказываний взглядов Белинского на этот вид творчества и оказалась повесть «Сильфида», разбору которой посвятил Белинский часть своей большой статьи.

Отдавая дань заслугам Одоевского перед русской литературой, Белинский со всей силой своего полемического темперамента обрушился на то, что ему казалось вредным и наносным в творчестве писателя. Отклонение «в пользу какого-то странного фантазма» было справедливо расценено критиком как отход от реализма, как ослабление в его произведениях прогрессивных элементов. Белинский констатировал в рассказах, подобных «Сильфиде», «Саламандре», некоторое сочувствие славянофильству, слабость связей с передовой действительностью, наличие книжных влияний, в частности Гофмана.

Великий критик, страстно желая вернуть писателя на путь критического истолкования действительности, на путь приближения к правде жизни, резко и справедливо высказал это при разборе повести.

«Сильфида», — писал критик, — принадлежит к тем произведениям князя Одоевского, в которых он решительно начал уклоняться от своего прежнего направления в пользу какого-то странного фантазма. Отсюда происходит то, что с сих пор каждое из его произведений имеет две стороны — сторону достоинств и сторону недостатков. Пока автор держится действительности, его талант увлекателен попрежнему и проблесками поэзии и необыкновенно умными мыслями; но как скоро впадает он в фантастическое, изумленный читатель поневоле задает себе вопрос: шутит с ним автор или говорит серьезно? Герой повести «Сильфида» очень занимает нас, пока мы видим его в простых человеческих отношениях к людям и жизни, но наше участие к нему, несмотря на искусство и высокий талант автора, тотчас

погасает, как скоро он начал отыскивать какую-то Сильфиду на дне миски с водою и бирюзовом перстнем» (В. Г. Белинский, т. VIII, стр. 313—314).

В частном письме к своему другу В. П. Боткину от 16 января 1841 года Белинский еще резче заклеймил этот тип произведений: «Саламандра» — Одоевского — дрянь мнимофантастическая» (т. XII, стр. 19).

Статья Белинского произвела большое впечатление на Одоевского. В письме к А. А. Краевскому, как официальному редактору «Отечественных записок», он выступил против статьи Белинского. Возражая против того, что автор статьи «жестоко не понял» ни его личности, ни его творчества, Одоевский не признавал правильности выдвинутых против него обвинений, считая их результатом «странного оптического обмана». Не поняв, что Белинский призывает его к сближению с передовой общественностью, Одоевский настаивает на свободе творчества:

«Терпимость, господа, терпимость!.. Она пригодится некогда и для вас, ибо, помяните мое слово, — если вы и не приблизитесь к моим убеждениям, то все-таки перемените те, которые теперь вами овладели: невозможно, чтобы вы наконец не заметили вашего оптического обмана» (ОР ГПБ, фонд А. А. Краевского, Б. № 24 а).

И все же взгляды, выдвинутые Белинским и так горячо оспариваемые Одоевским, делали свое дело и неуклонно уводили писателя из мира фантазии в мир окружающей его действительности.

«Сильфида» была переведена на немецкий язык Варнгагеном фон Энзе и напечатана в журнале «Freihafen», 1839, кн. I. В переводе на французский язык под названием «L'alchimiste» была напечатана в сборнике «La décameron ruse, histoiers et nouvelles», Paris, 1855.

Стр. 274. *...отчего Карла X начали называть Дон-Карлосом...* — Карл X — французский король 1824—1830 годов. Заняв престол после Людовика XVIII, проводил крайне реакционную политику и после Июльской революции 1830 года принужден был отказаться от престола, так же как Дон-Карлос, испанский инфант, один из реакционных приверженцев абсолютизма и духовенства в 1820—1830 годах, был принужден Наполеоном отречься от своих прав.

Стр. 277. *Парацельсий, граф Габалис, Арнольд Вилланов, Раймонд Луллий* — авторы сочинений по алхимии, кабалистике и мистике.

Стр. 288. *Мусикийское орудие* — музыкальный инструмент.

Стр. 292 *...рядную написал* — рядная запись—роспись приданого невесты.

ПРИВИДЕНИЕ

(Из путевых заметок)

Впервые напечатано в «Литературном прибавлении к «Русскому инвалиду», 1838, № 40, стр. 781—785, за подписью «кн. В. О.»

Впоследствии рассказ вошел в третью часть собрания «Сочинений князя В. Ф. Одоевского», 1844, и при подготовке второго собрания сочинений правке не подвергался. Печатается по изданию 1844 года.

Рассказ был переведен на французский язык и под названием «Une apparation» был напечатан в сборнике «La décameron russe», 1855.

Стр. 298. «*Epitre à Uranie*» («Послание к Урании») или «*Discours en vers*» («Рассуждение в стихах») — произведения Франсуа-Мари-Аруэ Вольтера (1694—1778), французского писателя и философа, одного из крупнейших просветителей XVIII века.

ЖИВОЙ МЕРТВЕЦ

Впервые опубликовано в «Отечественных записках», 1844, XXXII, стр. 305—332, с датой 1838 г., и посвящением Е. П. Растопчиной, за подписью «к. В. О.»

Печатается по собранию «Сочинений князя В. Ф. Одоевского», 1844, часть третья, куда «Живой мертвец» вошел в серию «Опытов рассказа о древних и новых преданиях», стр. 98—140 и где указана дата — 1839 год.

В 1839 году В. Ф. Одоевский вместе с А. П. Заблоцким-Десятовским взял на себя неофициальное руководство журналом «Отечественные записки». Роль официального редактора А. А. Краевского в создании этого журнала была второстепенной и искусственно преувеличенной. Исследование архива Одоевского и особенно писем к нему Краевского (ОР ГПБ, опись № 2, пер. 641, 644 и др.) обнаруживает большое значение Одоевского в работе журнала, его руководящее участие и авторство важнейших редакционных статей. Именно в «Отечественных записках» осуществилась мечта Одоевского в создании толстого, всесторонне освещавшего русскую жизнь журнала, которому он посвятил не один проект. «Цель Отеч. Зап.» — стояло в программе обновленных «Отечественных записок», напечатанной в № 43 «Литературных прибавлений» за 1838 г. (стр. 856—858), — «споспешествовать, сколько позволяют силы, русскому просвещению по всем его отраслям, передавая отечественной публике все, что только может встретиться в литературе и в жизни замечательного, полезного и приятного, все, что может обогатить ум знанием или настроить сердце

к восприятию впечатлений изящного, образовать вкус. На этом основании «Отечественные записки» должны сделаться и сделаются журналом *энциклопедическим* в полном значении этого слова, то есть будут вмещать в себя все заслуживающее особенного внимания русского читателя в области наук, словесности, искусства и промышленности». А. П. Могилянский в своей статье «А. С. Пушкин и В. Ф. Одоевский, как создатели «От. Зап.» (Известия Академии наук СССР, серия истории и философии, т. VI, № 3, М. 1949, стр. 209—226), сопоставляя эти программные данные с письмами Одоевского к Пушкину, с программой «Русский сборник», убедительно показывает, что последняя предвосхищена проектами «Современника» и «Русского сборника». Обследование обеих архивов: Одоевского и Краевского — показало, что существовал договор редакции журнала в лице Одоевского и Заблоцкого-Десятовского и Краевского с явным приоритетом в начальные годы издания на стороне Одоевского. И только сознательное затушевывание этой роли Краевским оставило в тени деятельность Одоевского как редактора и издателя «Отечественных записок».

Недаром в своей записной книжке 40-х годов Одоевский писал: «С летами я замечаю, что сделал в жизни большую глупость: я старался на сем свете кое-что делать, и учился искусству кое-что делать— но забыл искусство рассказывать о том, что я делаю» (ОР ГПБ, фонд Од., оп. № 1, п. 95, л. 33).

Более ста пятидесяти писем Краевского к Одоевскому говорят о непрерывной руководящей и творческой работе писателя в журнале. Участие его, как писателя, было чрезвычайно важно для Краевского. Об этом говорит его письмо (18 января 1844 г.) к Одоевскому по поводу рассказа «Живой мертвец». «Что же, отец мой? Вы приводите меня в судорожное состояние! Уже 18-е число, а у меня нет ни строчки «Живого мертвеца». Бога ради, пришлите. Иначе мне плохо будет. Пришлите хоть что-нибудь» (ОР ГПБ, фонд Од., опись № 2, пер. 644, стр. 20).

Серьезную размолвку между ними составил вопрос о печатании «Живого мертвеца» под псевдонимом Безгласного. Краевскому очень важно было иметь в числе сотрудников В. Ф. Одоевского, поэтому в одном из писем он решительно настаивает: «Избавьте меня от безвестного псевдонима — зачем это? Под статьею стоит 1838 г., в прошлом месяце вы печатали полную свою фамилию в «Современнике»; на днях выйдут книги с полным вашим именем, и в них будет эта статья: почему же только в «Отечест. записках» надо прятаться за псевдонимом?.. Перемените непременно Безгласного на Одоевского» (Из неопубликован. письма А. А. Краевского от 27 янв. 1844 г. ОР ГПБ, фонд Од., оп. № 2, пер. 644, стр. 25).

Рассказ был напечатан под литерами: «к. В. О.»

Псевдонимами Одоевский обильно пользовался на протяжении всей своей литературной деятельности. Из наиболее употребительных известны: к. В. О.; Одвский, Одвск.; В. О-й; Ь, Ъ, Й, С, Ф.; Безгласный; Московский обыватель; Тихоныч; Дедушка Приней; Иринарх Модестович Гомозейко; Плакун Горюнов; У—У; XXX; Питер Биттерман; Филат Простодумов; Любитель музыки и мн. др.

Белинский писал о произведениях писателя, типа «Бригадир», «Бал», «Насмешка мертвеца» и «Живой мертвец»: «Их цель—пробудить в спящей душе отвращение к мертвой действительности, к пошлой прозе жизни и святую тоску по той высокой действительности, идеал которой заключается в смелом, исполненном жизни сознании человеческого достоинства» (В. Г. Белинский, т. VIII, стр. 305).

Не случайно Достоевский в своем первом произведении «Бедные люди» ставит эпиграфом цитату из «Живого мертвеца» Одоевского. Даже интонация разговорного языка героя переходит в повесть Достоевского, и эпиграф кажется частью письма Макара Девушкина.

«Ох, уж эти мне сказочники! Нет чтобы написать что-нибудь полезное, приятное, усладительное, а то всю подноготную в земле вскрывают! Вот уж запретил бы им писать! Ну на что это похоже, читаешь... невольно задумаешься, а там всякая дребедень и пойдет в голову; право бы, запретить бы им писать; так-таки просто вовсе бы запретить» (стр. 330—331).

Стр. 315. *Афеньский язык* — условный воровской язык. В архиве Одоевского (фонд Од., опись № 1, пер. 2, стр. 140) отражены занятия Одоевским воровским языком. На отдельном листке выписаны 115 слов и «выражений, употребляемых на воровском языке» (Argos).

Стр. 320. *...нашей газеты*—намек на реакционную газету «Северная пчела», издававшуюся Булгариным и Гречем и вызывавшую негодование Одоевского, неоднократно засвидетельствованное в его статьях, произведениях, записных книжках и письмах.

Стр. 322. *«Волшебная флейта»* (1791)—опера Вольфганга Моцарта.

СВИДЕТЕЛЬ

Впервые напечатан в «Сыне отечества», 1839, т. VII, стр. 77—90. Вошел в часть третью «Сочинений князя В. Ф. Одоевского», стр. 5—21. Печатается по этому изданию.

Появление рассказа Одоевского в органе реакционного официоза (редактор Н. И. Греч, соредактор Ф. В. Булгарин) вызвало недоумение и осуждение со стороны современников, знавших о подлинном отношении Одоевского к этому литературному органу. Неизвестный автор под псевдонимом «Сорок лет усердно читающий журналы Б. И.» в «Письме к редактору «Литературных прибавлений» возмущался поступком Одоевского, «который всегда с такою твердостью противоборствовал тому, если угодно, литературному направлению, которое замечается в «Сыне отечества» и в «Северной пчеле», и, кажется, поставил себе правилом показывать, что между им и этим направлением нет ничего общего...» («Литературное прибавление к «Русскому инвалиду», 1839, № 9). Н. Ф. Павлов упрекал Одоевского в письме от 6 апреля 1839 года, что он срамит свое имя, «печатаясь в «Сыне отечества» (из переписки князя В. Ф. Одоевского — «Русская старина», 1904, т. IV, стр. 195).

Рассказ был напечатан, вероятно, по инициативе старого приятеля Одоевского Н. А. Полевого, с 1839 года начавшего работать в «Сыне отечества» в качестве неофициального редактора и резко изменившего свои убеждения.

Тот же Полевой привлек его к участию в музыкальном отделе «Сына отечества» и «Северной пчелы», где Одоевский в целях пропаганды своих музыкальных убеждений напечатал немало статей, мистифицируя Булгарина так и не раскрытым в то время псевдонимом «Отставного капельмейстера Карла Биттермана».

Смерть Пушкина, погибшего на дуэли, несомненно, продиктовала Одоевскому сюжет рассказа. Дуэль, как и война, — одно из вопиющих проявлений общественного одичания в глазах Одоевского. Интересно отметить, что во французском сборнике «La décameron russe...», Paris, 1855, рассказ появился под названием «La duel» («Дуэль»).

ЖИВОПИСЕЦ

Впервые опубликован в «Отечественных записках», 1839, т. VI, стр. 31—42, по тексту которого и печатается в настоящем издании.

В архиве Одоевского хранится письмо А. А. Краевского от 2 октября 1839 года, где он торопит автора с корректурой «Живописца»: «Да как вам не грех держать корректуру Живописца *пять* дней, когда его можно прочесть всего в четверть часа? Ведь типография ждет, и поневоле надо будет печатать его без вашей корректуры: за ним стало дело» (ОР ГПБ, фонд Од., оп. № 2, пер. 642, стр. 32).

Тема «Живописца» — одна из самых популярных в литературе 30-х годов. Достаточно вспомнить «Портрет» Н. В. Гоголя», «Живо-

писец» А. Тимофеева, «Живописец» и «Аббадонна» Н. Ф. Полевого, «Именины» Н. Ф. Павлова и др.

Стр. 343. *Теньер* (точнее Тенирс) Давид Младший (1610—1690) — художник фламандской школы.

КНЯЖНА ЗИЗИ

Впервые напечатана в журнале «Отечественные записки», 1839, т. I, отд. III, стр. 3—70. В 1844 году Одоевский ввел ее в серию «Домашних разговоров» в свое собрание «Сочинений князя В. Ф. Одоевского», часть вторая, стр. 355—436, по тексту которого она и печатается. Во втором подготовлявшемся издании поправок в ней нет.

Характеристику оценок высшего общества людям, подобным княжне Зизи, Одоевский повторил и в своих записных книжках: «Петербургское общество преследует людей, замечательных по странности платья, или экипажа, или занятий, — словом, всякого, кто заметен, как кочка на гнилом болоте, — но одевайтесь прилично, давайте балы, и вы можете отдавать на поругание свою жену, предать друга, не платить долгов, оттягивать наследство, подличать сколько угодно, это все *обыкновенные, свойственные человеку* слабости» (ОР ГПБ, фонд Од., оп. № 1, 48, л. 182).

Повесть «Княжна Зизи» заслужила лестную оценку Пушкина, которую он назвал «славной вещью». По свидетельству Белинского, «Княжна Зизи» князя Одоевского читается с наслаждением, хотя не принадлежит к лучшим произведениям его пера» (т. III, стр. 188). В 1844 году Белинский отмечал, что «основная идея <повести> — положение в обществе женщины, которая, по своему сердцу, по душе, составляет исключение из общества и дорого платит за свое незнание людей и жизни, которым слишком доверялась, потому что судила о них по самой себе» (т. VIII, стр. 313).

Стр. 356. *...историю о странствиях аббата Лапорта...* — Лапорт Франсис (1812—1880) — французский естествоиспытатель. Изучал фауну и собрал обширные коллекции в Америке, Азии и Австралии.

Стр. 378. Сильвио Пеллико (1788—1854)— итальянский поэт и политический деятель; преследовался за близость к революционным повстанцам.

ГОРОД БЕЗ ИМЕНИ

Впервые напечатано в «Современнике», 1839, СПб., кн. 1, т. XIII, стр. 97—120. Впоследствии вошел как часть «ночи третьей» в собрание «Сочинений князя В. Ф. Одоевского», 1844, по тексту которого и печатается.

Рассказ этот, написанный в форме утопии, открывает неоднократно поднимаемую Одоевским тему разоблачения Запада и критики капитализма. «Город без имени» — яркое свидетельство отрицательного отношения Одоевского к теории буржуазного утилитаризма И. Бентама, который защищал неограниченную свободу капиталистической конкуренции и эксплуатации и которого К. Маркс назвал «гением буржуазной глупости» (Капитал, т. I, 1949, стр. 615).

Предваряя в «Русских ночах» «Город без имени», Одоевский писал: «Бентаму, например, ничего не стоило перескочить от *частной* пользы к пользе *общественной*, не заметив, что в его системе между ними бездна: добрые люди XIX века перескочили с ним вместе и по его же системе доказали, что общественная польза не иное что, как их собственная выгода» (1844, ч. I, стр. 114).

В этом рассказе писатель пытался, по его словам, показать «практическое применение теории... логического философа, которого умозаключения, наравне с Мальтусовыми, имели честь образовать так называемую политическую экономию нашего времени» («Русские ночи», 1844, ч. 1, стр. 116).

Белинский немедленно откликнулся на повесть Одоевского. «...вы переходите, — писал он, — к «Городу без имени», прекрасной, полной мысли и жизни фантазии князя Одоевского. В этой фантазии (иначе мы не умеем назвать прекрасного произведения кн. Одоевского) с силою и энергиею показана вся пошлость и безнравственность одностороннего взгляда на развитие народов и государств, вследствие которого основою, двигателем и целью их жизни и стремления должна быть только *польза*» (В. Г. Белинский, т. III, стр. 124).

Примечание на стр. 408 Одоевский внес в экземпляр подготавливавшегося им второго издания своих сочинений.

Стр. 401. *Гумбольдт* Александр (1769—1859) — немецкий ученый-натуралист и путешественник.

Стр. 402. *Перистиль* — прямоугольный двор, сад или площадь, окруженные крытой колоннадой.

4338-й ГОД

Утопия не была опубликована при жизни Одоевского. Отрывок из второй части впервые напечатан в журнале «Московский наблюдатель», 1835, ч. I, стр. 55—69, под псевдонимом «В. Безгласный» и с заглавием «Петербургские письма».

Другой отрывок был впервые опубликован в альманахе В. Владиславлева «Утренняя заря», СПб. 1840, стр. 307—352, за подписью кн. В. Одоевского, под заглавием «4338 год. Петербургские письма». Отметим, что В. Владиславлев — литератор и жандармский офицер

издавал свой альманах при могущественной поддержке шефа III отделения Бенкендорфа. В архиве Одоевского нами обнаружены два письма Бенкендорфа к писателю с безапелляционно выраженным распоряжением поддержать своими трудами издание Владиславлева (ОР ГПБ, фонд Од., оп. № 1, пер. 14). Показательно, что всегда скрывающийся под псевдонимами писатель в этом альманахе принужден был печататься под полной фамилией.

Остальные отрывки утопии находятся в фонде Одоевского (ОР ГПБ, пер. 1, 13, 20, 23, 26, 31, 54, 55, 80, 92 и др.). Наиболее полно утопия была опубликована в 1926 году в издательстве «Огонек», под названием «4338 год. Фантастический роман» под редакцией и с вступительной статьей О. В. Цехновицера. Затем вторично переиздана в однотомнике В. Ф. Одоевского «Романтические повести», изд-во «Прибой», 1929, под той же редакцией.

Русская литература знает немного утопических произведений; поэтому утопия писателя и общественного деятеля В. Ф. Одоевского представляет собой особый интерес. Недаром на нее еще в 1912 году обратил внимание П. Сакулин («Русская Икария», Современник, 1912, кн. 12; «Из истории русского идеализма», М. 1913, т. 1, ч. 2, стр. 178—202).

Советский исследователь О. В. Цехновицер проделал в 1925—1926 годах большую работу над архивным наследием Одоевского, стараясь выявить утопию наиболее полно. Для этой цели были обследованы многочисленные переплеты фонда Одоевского, сопоставлены различные варианты писем, фрагменты отдельных глав и наиболее интересные заметки утопического содержания, разбросанные без дат и обозначений глав в бумагах Одоевского.

Большинство заметок печаталось по оригиналу рукописей, за исключением отдельных частей утопии, опубликованных в «Утренней заре» на 1840 год и в автографах не сохранившихся.

Утопия не была закончена писателем, несмотря на то что Одоевский возвращался к ней в течение всей своей жизни.

«4338 год» представляет собою третью часть предполагаемой трилогии: в первой части Одоевский хотел изобразить эпоху Петра Великого, во второй — современное ему общество, то есть 30-е годы прошлого столетия, в третьей — Россию в XL столетии.

Первая часть трилогии, вероятно, совсем не была написана, так как в архиве нет никаких следов ее, а вторая и третья значатся под общим заголовком: «Петербургские письма». Со временем Одоевский, отказавшись от написания всей трилогии, работал над утопией как над самостоятельным произведением и даже подготовил к ней предисловие, прилагаемое к «Петербургским письмам».

Отметим в утопии своеобразный, «обеденный коммунизм», характерный для необычайно разнообразных интересов Одоевского — автора «Лекций доктора Пуффа о кулинарии и домоводстве», которые он помещал в приложениях к «Литературной газете», в «Записках для хозяев».

Исторические перспективы Одоевского, как видно из заметки в его архиве, складывались из предположений, что будущая история разделится на следующие периоды: «Древняя от начала мира до Р. Х., средняя от Р. Х. до разделения мира на Китай и Россию; и от разделения мира до наших времен» (ОР ГПБ, фонд Од., оп. № 1, пер. 26, л. 95).

Стр. 416. *Месмерические опыты.* — Месмер Фридрих-Антон (1734—1815) — австрийский врач, получивший сенсационную известность своими опытами лечения болезней при помощи так называемого «животного магнетизма». В этом методе, в значительной мере шарлатанском, были некоторые зачатки гипнотического внушения.

Стр. 418. *Дарий* I (521—486 гг. до н. э.) — древнеперсидский царь из династии Ахеменидов. Провел реформы, укрепившие персидское государство. Дарий совершил неудачный поход на скифов Причерноморья и начал войны с Грецией.

Солон (ок. 638 — ок. 559 гг. до н. э.) — выдающийся политический деятель и социальный реформатор древних Афин.

Кювье Жорж (1769—1832) — известный французский ученый, натуралист и палеонтолог; отстаивал метафизическое положение о неизменности биологических видов. Стремясь объяснить изменения земной фауны, выдвинул теорию геологических катастроф, которая, по определению Энгельса, «была революционна на словах и реакционна на деле» (Ф. Энгельс, Диалектика природы, 1952, стр. 9).

Геродот (ок. 484—425 гг. до н. э.) — древнегреческий ученый, прозванный «отцом истории». Автор «Истории греко-персидских войн» — выдающейся работы, отличающейся широтой замысла, мастерством изложения, непредубежденным отношением к народам негреческого происхождения. Некоторые исторические факты, излагаемые Геродотом, были впоследствии подтверждены археологическими находками. Говоря о походе Дария на скифов, он описывает жизнь народов южнорусских степей, что имеет исключительную ценность для изучения древнейшего населения юга России.

Нерон Клавдий Цезарь (37—68 гг. н. э.) — римский император, прославившийся своей жестокостью.

Стр. 419. *Гальванические фонари* — электрические фонари (гальванический ток — старое название электрического тока, возбуждаемого химическими реакциями).

Стр. 420. *Галлеева комета* — названная по имени английского астронома и геофизика Эдмунда Галлея (1656—1742). В 1718 году ученый открыл явление собственных движений звезд, до того времени считавшихся неподвижными. Галлей высчитал элементы орбит свыше двадцати комет, в том числе большой кометы 1682 года, носящей его имя, и доказал периодичность ее возвращения к Солнцу. Отметим, что Одоевскому была известна повесть «Галлеева комета» М. П. Погодина, опубликованная в альманахе на 1833 год «Комета Белы», СПб.

Стр. 421. *Негоциации* — то есть дипломатические переговоры.

Стр. 423. *Камер-обскура.* — Имеется в виду фотоаппарат.

Стр. 436. *«Петрополь с башнями дремал»* — из поэмы Державина «Видение мурзы».

СОДЕРЖАНИЕ

Владимир Федорович
Одоевский

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Редактор В. Волина
Художеств. редактор И. Жихарев
Техн. редактор Н. Соколова
Корректор Д. Эткина

Сдано в набор 1/IV 1959 г.
Подписано к печати 22/VII 1959 г.
Бумага 84×108 1/32 — 15,5 п. л. — 25,42 усл.-печ. л.;
25,87 уч.-изд. л. + 1 вкл. = 25,92 уч-изд. л.
Тираж 90 000 экз. Зак. 275. Цена 8 руб.

Гослитиздат. Москва Б-66,
Ново-Басманная, д. 19.

Типография № 2 им. Евг. Соколовой
УПП Ленсовнархоза.
Ленинград, Измайловский пр., 29.

